1 р. 90 к.

Индекс 73293

Читайте в журнале «ОКТЯБРЬ» в конце 1991 года и начале 1992 года:

Нина БЕРБЕРОВА.
Курсив мой (часть 2-я).
Дмитрий ВОЛКОГОНОВ.
Лев Троцкий. Политический портрет.
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН.
Псалом. Роман.
Антон ДЕНИКИН.
Очерки русской смуты (Том II).
Георгий ИВАНОВ.
Книга о последнем царствовании. Роман.
Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ.
Иисус Неизвестный. Роман-эссе.
Саша СОКОЛОВ. **Палисандрия.** Роман.

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1991. № 6. 1—208.

1991 6 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

6

1991

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

1991

ИЮНЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сдано в набор 14.05.91. Подписано к печати 30.05.91. Формат 70×108[1]/16.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 242 000 экз. Заказ № 395. Цена 1 р. 90 к.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125885 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

Полуподвальный карнавал

* * *

Я был зверком на тонкой пуповине.
Смотрел узор морозного стекла.
Так замкнуто дышал посередине
Младенчества, медвежьего угла.
Струилось солнце пыльною полоской.
За крутом круг вершила кровь по мне.
Так исподволь накатывал извне
Времен и судеб гомон вавилонский,
Но маятник трудился в тишине.

Мы бегали по отмелям нагими —
Детей косноязычная орда —
Покуда я в испарине ангины
Не вызубрил твой облик навсегда.
Я телом был, я жил единым хлебом,
Когда из тишины за слогом слог
Чудное имя Лесбия извлек,
Опешившую плоть разбавил небом —
И ангел тень по снегу поволок.
Младенчество! Повремени немного.
Мне десять лет. Душа моя жива.
Я горький сплав лимфоузлов и Бога —
Уже с преобладаньем божества...

...Утоптанная снежная дорога.
Облупленная школьная скамья.
Как поплавок, дрожит и тонет сердце.
Крошится мел. Кусая заусенцы,
Пишу по буквам: «Я уже не я».
Смешливые надежные друзья —
Отличники, спортсмены, отщепенцы
Печалятся. Бреду по этажу,
Зеницы отверзаю, обвожу
Ладонью вдруг прозревшее лицо,
И мимо стендов, вымпелов, трапеций
Я выхожу на школьное крыльцо.

Пять диких чувств сливаются в шестое.
Январский воздух — лезвием насквозь.
Держу в руках, чтоб в снег не пролилось,
Грядущей жизни зеркало пустое.

1975

* * *

Рабочий, медик ли, прораб ли —
Одним недугом сражены —
Идут простые, словно грабли,
России хмурые сыны.
В ларьке чудовищная баба
Дает «Молдавского» прорабу.
Смиряя свистопляску рук,
Он выпил, скорчился — и вдруг
Над табором советской власти
Легко взмывает и летит,
Печальным демоном глядит
И алчет африканской страсти.
Есть, правда, трезвенники, но
Они, как правило, говно.

Алкоголизм, хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Мы все от мала до велика
Лакали разное вино.
Оно прелестную свободу
Сулит великому народу.
И я, задумчивый поэт,
Прилежно целых девять лет
От одиночества и злости
Искал спасения в вине,
До той поры, когда ко мне
Наведываться стали в гости
Вампиры в рыбьей чешуе
И чертенята на свинье.

Прощай, хранительница дружбы
И саботажница любви!
Благодарю тебя за службу
Да и за пакости твои.
Я ль за тобой не волочился,
Сходился, ссорился, лечился
И вылечился наконец.
Веди другого под венец,
(Молодоженам — честь и место),
Форси в стеклянном пиджаке,
Последний раз к твоей руке
Прильну, стыдливая невеста[1],
Всплакну и брошу на шарап.
Будь с ней поласковей, прораб.

1979

* * *

Когда волнуется желтеющее пиво,
Волнение его передается мне.
Но шумом лебеды, полыни и крапивы
Слух полон изнутри и мысли в западне.
Вот белое окно, кровать и стул Ван-Гога.
Открытая тетрадь: слова, слова, слова.
Причин для торжества сравнительно немного,
Категоричен быт и прост как дважды два.

О, искуситель змей, аптечная гадюка,
Ответь, пожалуйста, задачу разреши:
Зачем доверил я обманчивому звуку
Силлабику ума и тонику души?
Мне б летчиком летать и китобоем плавать,
А я по грудь в беде, обиде, лебеде
Знай камешки мечу в загадочную заводь,
Веду подсчет кругам на глянцевой воде.

Того гляди сгребут, оденут в мешковину,
Обреют наголо, палач расправит плеть...
Уже не я — другой — взойдет на седловину
Айлара, чтобы вниз до одури смотреть.
Храни меня, Господь, в родительской квартире,
Пока не пробил час примерно наказать.
Наперсница-душа, мы лишнего хватили —
Я снова позабыл, что я хотел сказать.

1978

[1] невеста в стеклянном пиджаке (сленг) — спиртное.

* * *

«Расцветали яблоки и груши», —
Звонко пела в кухне Линда Браун.
Я хлебал портвейн, развесив уши.
Это время было бравым.

Я тогда рассчитывал на счастье,
И поэтому всерьез
Я воспринимал свои несчастья.
Помню, было много слез.

Разные истории бывали.
Но теперь иная полоса
На полуподвальном карнавале:
Пауза, повисли паруса.

Больше мне не баловаться чачей,
Сдуру не шокировать народ.
Молодость, она не хер собачий,
Вспоминаешь — оторопь берет.

В тихий час заката под сиренью
На зеленой лавочке сижу.
Бормочу свои стихотворенья,
Воровскую стройку сторожу.

Под сиренью в тихий час заката
Бьют, срывая голос, соловьи.
Капает по капельке зарплата,
Денежки дурацкие мои.

Не жалею, не зову, не плачу,
Не кричу, не требую суда.
Потому что так и не иначе
Жизнь сложилась раз и навсегда.

1981

Косых Семен. В запое с Первомая.
Сегодня вторник. Он глядит в окно,
Дрожит и щурится, не понимая
Еще темно или уже темно.
Я знаю умонастроенье это
И сам, кружа по комнате тоски,
Цитирую кого-то: «Больше света»,
Со злостью наступая на шнурки.
Когда я первые стихотворенья,
Волнуясь, сочинял свои
И от волнения и неуменья
Все строчки начинал с союза «и»,
Мне не хватило кликов лебединых,
Ребячливости, пороха, огня,
И тетя Муза в крашенных сединах
Сверкнула фиксой, глядя на меня.
И ахнул я: бывают же ошибки!
Влюблен бездельник, но в кого влюблен!
Концерт для струнных, чембало и скрипки
Увы, не воспоследует, Семен.
И встречный ангел, шедший пустырями,
Отверз мне, варвару, уста,
И высказался я. Но тем упрямей
Склоняют своенравные лета
К поруганной игре воображенья,
К завещанной насмешке над толпой,
К поэзии, прости за выраженье,
Прочь от суровой прозы.
Но тупой
От опыта паду до анекдота.
Ну скажем так: окончена работа,
Супруг, супруге накупил обнов,
Врывается в квартиру, смотрит в оба,
Распахивает дверцы гардероба,
А там — Никулин, Вицин, Моргунов.

1990

Виктор МАЛУХИН

Свободное утро на улице Беговой

Мглин был жрец и жертва чистого искусства: красивее своей жены он женщин не встречал, и это обстоятельство являлось смыслом, если не оправданием его семейной жизни, вполне неудачной во всех других отношениях. К тому же нечто в жене неуловимо напоминало ему по временам нескольких других женщин, которых он любил до нее, в иные же моменты — тех, которых он мог, наверное, полюбить, если бы встретил их на своем пути, так что милый образ совершенно исчерпывал для него пугающе безграничный мир возможностей и выборов. Что-то, значит, переменилось в составе его крови. Конечно, пять лет супружеской верности наверняка не высшее мировое достижение для закрытых помещений, но все-таки это личный рекорд и по всем меркам срок не маленький. Теперь придется объясняться. Она, конечно, ни о чем не спросит, все вычислит сама, но слова-то все равно нужно говорить. Положим, ей-то эти слова не нужны... Значит, придумывать надо для самого себя? Какое идиотство! Тогда скажу: мол, дескать, так и так. Дурашливо. Пал, скажу, наш рекорд, лапушка. Как подкошенный. Ибо исполнились сроки. Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня. Судите же сами, княгиня, все ли убито: разовка, она и есть разовка. И вообще, вскричу, почему это до сих пор не видно памятника славному Корсаковскому синдрому, который символизировал бы нам вечный бой и победу над темными силами? Без сожалений, скажу, жертвую все свое сумеречное состояние на это гуманное дело. О утро наутро! Все кругом на -ованный да на -ёванный. Ни о чем не думать, миленький, лежать тихо, дышать тихо, не курить ни в коем случае. Доктора в ветвях посовещаются и, без сомнения, пропишут водки...

Мглин проснулся от пения птиц за окном, и это само по себе уже было верным указанием на то, что накануне он как следует перебрал. Побуревший и набухший бычок со следами помады на фильтре колом плавал в стакане с водянистым пивом, олицетворяя собой мерзость пробуждения. В голове самолетный гул, ладони и ступни отвратительно влажны, к сердцу раз за разом подкатывает тошнота, и смертельная истома обнимает душу. Чужая квартира тревожно и недобро выступает в рассветном сумраке, постепенно обнажая руины вчерашнего застолья. Вытянувшаяся под простыней женщина уже не была нестерпимо желанной, но напоминала длинным узким телом торпеду, начиненную зарядом грядущих тягомотных проблем. Ему вдруг остро захотелось домой, и чтобы рядом была жена, и чтобы никакого похмелья, солнце в окнах, смешливые утренние поцелуи, поздний воскресный завтрак, потом маленькое путешествие в Коломенское или в Царицыно, а вечером музыка и уютное чтение со встречными взглядами поверх раскрытых книг — покойный и полнокровный день в мире с собой и с нею... Он вспомнил, что ничего подобного давным-давно нет в их жизни.

Мглин осторожно повернул голову к спящей и уже собрался коснуться ее волос, но потом представил, как ловко она замаскирует зевок улыбкой и как потянется, зажмурив глаза и протягивая к нему руки... Есть ложь, есть большая ложь, и есть утро случайных любовников. Дай бог ему ошибиться, но лучше все же побыть одному. Мглин всматривался в лицо женщины пристально и жадно, с недоброжелательным исследовательским любопытством, пытаясь проникнуть в ее сокровенную суть и втайне чувствуя, что он делает что-то некрасивое. Забавная. Беспородная. Эффектная. Матереющая. Тридцать лет, может быть, и прекрасный возраст, но не после таких перегрузок. Впрочем, и сам он, наверное, сейчас не в лучшей форме. Действительно ли она спит или думает, как быть с ним дальше? Ему вспомнилось, что спящая женщина излучает в микроскопических дозах радиацию, для нее самой, на-

до ожидать, совершенно безвредную. Знала ли она, что они будут вместе, когда предложила вчера своим гостям дурацкий тест? Во всяком случае, это было бы вполне по-женски. Не умея ни соврать, ни отшутиться, как другие, Мглин честно ответил на все вопросы. Когда подсчитали очки, вышло, что у них с женой ни общей цели в жизни нет, ни общего мировоззрения, профессиональные интересы не совпадают, отношение к вопросам быта разное и даже утешительный приз сексуальной гармонии им не достался. Так Мглин стал героем и козлом отпущения веселого вечера, и она украдкой рассматривала его вчера почти так же, как он только что глядел на нее. Странно, но Мглин тогда впервые задумался о том, чем держится его семья. Что касается его самого, то тут все было предельно ясно: им двигали сугубо эстетические мотивы, пусть даже с оттенком жертвенного снобизма. Случись жене отвечать на его анкету, она получила бы те же баллы, Мглин знал это очень хорошо. Но тогда зачем ей он? Ее любовь ушла, оставив за себя привычку. Оправданием мог быть ребенок, но его нет. О меркантильных расчетах в их случае говорить тоже не приходится — для них просто не имеется оснований. Что же остается? — спрашивал себя Мглин. Каждый знает другого лучше, чем самого себя, но понимает чем дальше, тем хуже. Просто она застряла с ним на давней станции пересадки, или слишком устала, или выбрала когда-то меньшее зло, или страшится будущего и не готова к переменам, а идолопоклонник прибалдевший — вот он. Вотонон. Когда-то их совместная жизнь была похожа на бурную реакцию с выделением тепла и света. Прикосновения, слова и взгляды искрили, рождая вокруг них мощное любовное поле, в котором текло иное, нездешнее время... Какие времена, такие песни. Вот проснулся он в обществе другой женщины и не видит в этом ничего ненормального. А та, которой он восхищался, по-прежнему самая красивая. И все это легко совмещается в его сознании, пусть и не окончательно протрезвевшем. Но только не похоже это все ни на утро новой жизни, ни на освобождение от старых чар, потому что здесь ему муторно, а дома будет грустно, и отчего-то все растет непонятное беспокойство, и на сердце кошки скребут...

Увенчанная очками, кучка его одежд темнеет аккуратным холмиком, словно он каким-то образом выпрыгнул вчера из своей сбруи, молодецки анонсируя ожидавшей его женщине невесть какие страсти. В какой-то момент вечера Мглин вдруг отчетливо понял, что он останется здесь, с хозяйкой, хотя ничто, казалось, не предвещало такого поворота событий. Он принял свое знание спокойно и деловито, не ломая понапрасну голову, и принялся обдумывать процедурный вопрос. Уйти с последним гостем и вернуться за сигаретами? Прикинуться дохлятиной, сделав вид, что заснул и неподъемен? Взять ли ее молча за плечи и с тревогой, с надеждой, чуть смущенно, но откровенно посмотреть в глаза, запечатав послание порывистым поцелуем? Все одинаково отдавало дешевкой и школярством. Поэтому Мглин просто стал ходить с нею вместе провожать до лифта гостей и провожал до тех пор, пока они не остались вдвоем. Все это время они обменивались веселыми заговорщицкими улыбками, много пили, мололи чепуху, бегло целовались. Между этими занятиями Мглин улучил момент и продиктовал по телефону телеграмму-молнию жене. Он не испытывал ни малейшей неловкости, ибо с тех пор, как он когда-то переспал с незнакомой женщиной просто потому, что случайно оказался с ней в одной постели, только такое и было в его глазах настоящим грехом.

И все же воспоминание о минувшей ночи было почти столь же безрадостным и горчило почти так же. Слишком много выпито, слишком много выкурено, слишком поздно разошлись гости — по всем статьям был перебор. И ей было тошненько, он видел, им бы посмеяться над собой, пожелать друг другу спокойной ночи да провалиться в сон. Но, похоже, каждый считал себя должником другого и боялся обмануть чужие ожидания: во всем этом было более дружеского, чем чувственного. Значит, еще сидит в нас оголтелая юность, убежденная, что в сексе, как и в спорте, каждое выступление — дебют, вчерашние рекорды не считаются, и класс нужно подтверждать все снова и снова. Ему почему-то подумалось, что у него мог бы быть сын лет семнадцати, которому эта короткая ночь уж наверное не отозвалась бы ни превозмогаемой дурнотой, ни чем-то изнурительным, скоро наскучившим и необязательным. Если какой-нибудь закон всемирной компенсации действительно существует, подумал Мглин, какая горькая ирония должна заключаться в его присутствии здесь, на месте его мальчика.

Железнодорожная диспетчерша, всю ночь склонявшая по громкой связи какую-то восьмую Кутузовку, к утру вымоталась и притихла. Стихли саксофонные гудки тепловозов и лязг сцепляемых вагонов. Как голос из другого мира, донеслось отдаленное ржание. Первые трамваи, позвякивая, плавно двинулись по Беговой отсчитывать стыки рельсов. Шум моторов на улице все прибывал, стали слышны шаги, неожиданно вспыхнул смех. Колышущиеся шторы уже с трудом сдерживали напор нарастающего дня, и потоки солнечного света заливали больные глаза. Мглин решился вставать. Выйдя в полутемный коридор, он прислушался. Откуда-то из недр квартиры доносились неясные звуки то торопливой, то напевной, то грозной речи. Мглин пожал плечами и пошел на голос. Через полуоткрытую дверь он увидел морщинистую женщину с пронзительным взглядом, сидящую при электричестве за пустым круглым столом. Речь ее перешла в бормотание, но не прервалась, хотя явление гостя было замечено. Мглин молча поклонился. Продолжая бубнить что-то и недобро косясь, женщина сделала знак войти. Мглин прошел в убогую старушечью комнату, забитую металлической утварью, и с удивлением уставился на огоньковскую репродукцию «Гибели Помпеи», подсвеченную лампадкой. Голос женщины тем временем набирал силу, глаза ее гневно сверкали.

— Думают, что так и надо! Нет, не надо так, не надо, по-людски надо! Нет у нас такого в заводе, чтобы оставались. Не будет такой моды. Веселиться веселись, у ворот хоть до утра прощайся, а в дому оставаться не моги. При живой-то матери, бесстыжие! Девке скоро сорок, а она все на выданье. Один ходит, другой ходит, а теперь, ишь, гутен морген босой явился.

Мглин потупился и виновато переступил с ноги на ногу.

— Садись, что ли, раз пришел.— Старуха явно сбавляла обороты.— Еще небось и женатый?

— Да вроде,— признался Мглин, отдавая себе отчет в последствиях такого ответа.— Вроде женатый.

— Сами про себя ничего не знают. «Вроде»,— передразнила старуха на удивление вполне миролюбиво.—Вместе с моей, что ли, в лаболатории собакам хвост накручиваешь?

— Вместе. Правда, в разных институтах.

— То-то, что в разных, а тут, вишь, объединились. Был бы жив отец, разве бы до такого дошло? Только нет ей дела до судьбы отца. И металл из дома норовит изгнать. А я подбираю и у себя прячу,— шепотом добавила она и заплакала.

Мглин, не переносивший женских слез, нервным движением коснулся ее сухонького плеча.

— Он что... Он умер,— полуутвердительно произнес Мглин, чтобы хоть что-то сказать.

Старуха остро, оценивающе взглянула на него и сделала таинственно-страшное лицо. Ее рассказ, истовый, обстоятельный и обкатанный, производил поначалу впечатление массивного шизофренического бреда, однако Мглин слушал в великом и все возрастающем волнении, постепенно начиная дрожать всем телом и чувствуя, как чудовищная фантасмагория засасывает его в свою воронку.

Как понял Мглин, старухин муж, Иван Иваныч, всю жизнь работал формовщиком в литейке. Он крепко пил и, случалось, оставался ночевать прямо в цехе, еще с войны привыкнув к такому режиму, особенно удобному зимой. Только однажды он исчез совсем: и с завода не ушел, и домой не явился. На это поначалу не обратили внимания, потом стали ждать, потом искать — без результата. Старуха и дочь пошли обивать пороги, стучались во все двери, были у директора, в милиции, у прокурора, у депутата, обошли больницы, вытрезвители, морги, анатомические театры и питейные заведения, расспросили заводских, разыскали старых дружков и подружек Ивана Иваныча... Все кругом были внимательны, сокрушались непритворно, обнадеживали, но помочь были не в силах. Новые обращения к тем же лицам встречали более сдержанный, а потом и вовсе сухой прием, несколько раз на них даже раздраженно прикрикнули и попросили не мешать работать: эка невидаль, мало ли людей пропадает без следа. Если жив, так вернется, а нет, так и нечего ходить. И числился бы по сей день Иван Иваныч в сомнительных нетях — то ли беглецом, то ли подлецом, то ли непогребенным мертвецом,— если бы однажды во время маневров в Белоруссии не рухнул на землю вертолет с большими генералами. Комиссия все расследовала и донесла, что у вертолета лопнула ось ротора, на котором сидит винт. А лопнула она потому, что содержание фосфора и кальция в ней было сверх всякой меры. Дальше больше. Определили, откуда сталь. Явились на завод и восстановили всю картину брака. Оказалось, что Иван Иваныч, пьяненький, забрался после смены покемарить в теплый ковш, да на свою беду заспался, а ковш тот вместе с ним, как сталь сварили, так сразу на разливку и подали. Из Иван Иванычевой стали и отлили ось-то... Писала вдова министру, чтобы выдали ей ее для христианского погребения, но оттуда ответили, что нельзя, потому как приобщена к делу, а по истечении положенного срока пойдет в переплавку. Видно, что не судьба. Вот и прибирает она с тех пор всякую железную вещицу, с пенсии тоже обязательно из нержавейки что-либо купит — Ванин век теперь железный, может, в кружке какой или в ножницах его кровиночка есть...

Слушая рассказ старухи, изобиловавший отступлениями, подробностями и повторами, Мглин в деталях представлял себе судьбу бедного Ивана Иваныча и его мученическую смерть, он чувствовал неволю, вечное томление и плач бессмертной души так, словно это его дух был до скончания времен замурован в кристаллических решетках мертвого металла. Слияние в огненной купели органической плоти и бездушной косной материи противоестественно, думал Мглин, это так же немыслимо, как если бы в наше время чеканщика фальшивой монеты наказывали на средневековый манер, заливая ему в глотку кипящее олово. Технотронная цивилизация достигла уже такого уровня, что она способна осуществить этот синтез безболезненно и незаметно. Собственно, становящийся все теснее симбиоз человека и машины, их тонкое и все более интимное взаимодействие предвещают скорые биомеханические мутации, которые рано или поздно оформятся в новый, небывалый доселе вид Homo machinalis. Возьмем программистов, слухачей, радистов, авиадиспетчеров, гонщиков, пилотов — они, без сомнения, будут первыми существами новой расы. Кто еще? — лихорадочно соображал Мглин. Станочники, машинисты, машинистки, кассирши, телефонистки... А ведь еще есть широкие массы телезрителей и автолюбителей... Мглин перевел дух. Прекрасный новый век стоял при дверях. Казалось, еще немного, и тонкая мембрана между двумя мирами прорвется, нервные волокна окончательно переплетутся с проводами, артерии и аорты сочленятся с трубками и патрубками, легкие сопрягутся с насосами и фильтрами, глаз объединится с объективом, руки сольются с клавишами, тумблерами, кнопками и манипуляторами, ноги — с педалями, мозг перестроится по законам непостижимого мышления, и из соединения биологических тел с механизмами родятся совершенные формы новой жизни. Воплотится противоречивая мечта личности об абсолютно независимом, автономном существовании и одновременно о столь же полной унификации, неотличимости от других индивидов. Впервые вопрос о достижении совершенства всеми, о всеобщем счастье получает положительное решение. Но куда девать, скажем, представителей древних профессий, связанных с индивидуальным актом творчества, таким же сокровенным, как обладание женщиной? Еще есть люди, соединившие свою судьбу с домашними животными. И еще... Конечно, все эти многообразные и тонкие изменения будут происходить постепенно, чрезвычайно медленно, на протяжении, быть может, многих лет. В итоге родится цивилизация, принципиально отличная от нашей, превосходящая все, что мы можем вообразить себе на ее счет. Проблемы, которые придется ей решать, будут неисчислимы и необозримы. Но направление эволюции уже видно отчетливо...

— Сынок, да ты слушаешь меня, ай нет? — в который уже раз прервала себя старуха.

Мглин встал со стула, рассеянно улыбнулся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты, как сомнамбула. Наша генетическая память неизлечимо больна, размышлял Мглин по пути к месту своего ночлега. Душа с рождения отравлена смутным воспоминанием о том совершенном андрогиническом существе, деве-юноше, каким был некогда человек. Два его начала были единосущны; став мужчиной и женщиной, распавшись на столь несхожие половины, он безвозвратно потерял себя. То, что мы называем любовью, на самом деле есть не что иное, как жалкая и тщетная попытка вернуть себе утраченную

целостность с помощью чужого Я, в ассоциации с ним. Идея новой цивилизации заместит фантомные боли души, утолив древнюю тоску потерянного человечества...

— Послушай,— присел Мглин в изножье постели,— да проснись ты, тут такие дела...

— Какие... тут дела? — сонным голосом спросила она и быстро открыла один глаз. Грациозно выгнулась и открыла другой, но первый тут же закрыла. Прыснула. Выпростала из-под простыни руки и сложила их на животе.

— Послушай внимательно,— попросил Мглин.— Ты же биолог, ты все поймешь. Я сейчас говорил с твоей матерью, и у меня родилось несколько идей.

Ее лицо сделалось отчужденным и злым, но Мглин не заметил этого.

— Представь себе прыжок подьячего Крякутного с колокольни или что-нибудь в этом роде. Героический, нелепый и варварский символ. А ведь его самоубийственный полет в падении был далеким предтечей воздухоплавания и парашютизма. Пойми меня правильно и не сердись, но судьба твоего отца — такой же символ, хотя, конечно, и невольный. Он тоже предтеча! Новая эра объявила себя через него, и никто этого не понял. Смотри: человек и машина уже сегодня являются продолжением друг друга, а в будущем органика и неорганика сочетаются самым удивительным образом. Человек и аппарат интегрируются в одно, станут двуедины. Произойдет революция, к которой мы психологически уже почти готовы. Человек, слившийся с совершенной машиной, оплодотворит ее своим разумом, даст ей индивидуальность и собственную судьбу. А взамен получит ее могущество, долгую жизнь и новую степень свободы, являющуюся, конечно, новым рабством. Вот что такое твой отец.

— Что такое мой отец, я знаю без тебя. Иван Иваныч Самовар теперь мой отец! — выкрикнула она.

Лицо ее сделалось пунцовым, по шее и открывшейся груди пошли пятна. Мглин поморщился, как от боли. По касательной промелькнула какая-то мысль о Богородице в связи с луковками православных куполов, но он не задержал ее. Она резким движением натянула простыню до подбородка. Глаза остервеневшие, пронзительные. У той были пронзительные и страдающие.

— Чокнулся, как моя мамаша? Добеседовались? Поздравляю, любовничек сладкий. И тебя, и ее, вас обоих надо в дурдом, в богадельню, в переплавку, на свалку. Неужели ты не понимаешь, что твоя теория — это чистая клиника, безумие, это жестокая, отвратительная, бесчеловечная глупость? Посмотри на себя, ты одержим и холоден, ты равнодушен ко всему и вся, ты можешь сыграть доброго и даже нежного, но ты же хуже самого отпетого садиста. У тебя уже сегодня все внутри из железа и пластмассы, и ты ничем не отличаешься от своих монстров. Ты же сам готовый биоробот. И можешь впредь не проявлять беспокойства — дети от таких, как ты, не родятся. И живая женщина никогда такого не полюбит. Люди не примут твоего безумного мира и посмеются над тобой. Несчастный ты сукин сын. Уходи от меня. Иди поцелуйся с моей юродивой. И оставьте меня в покое, слышишь? Оба оставьте!

Она разрыдалась и уткнулась лицом в стену. Мглин сидел в отупении на краю постели и молчал. Слезы уже не выводили его из себя, только в самой глубине его существа, там, где рождается вдох, тоненько пульсировала на разрыв какая-то жилка, сердце падало, как на американских горках, и снова одолевала тошнота. Владевшее им недавно возбуждение сменилось подавленностью. Стройные порядки крылатых мыслей рассыпались, и прелестные картинки исчезли, словно в волшебном фонаре перегорела лампочка. Мглин уже больше не хотел славить приход Железного Мессии. И впрямь, не лжепророчествует ли он, возвещая пришествие мыслящего самовара? Раздался стук в дверь, и вслед затем в комнату осторожно просунулась черепашья голова старухи. Держа в руках тарелку, на которой стояла большая пузатая рюмка зеленого стекла, женщина тихо прошла в комнату.

— На-ка, батюшка, откушай моей настоечки. Я всегда ею мужа пользовала от похмельной болезни, так что не побрезгуй.

Она неожиданно улыбнулась. Мглин принял чарку, осушил ее единым духом и почему-то поклонился. Старухина дочь сделала яростное нетерпеливое движение всем телом, словно большая рыба, угодившая в сеть, и застонала. Старуха, не говоря слова, тут же удалилась. Мглин опустился в кресло, закрыл глаза, расслабился и отключил мозг.

Спустя короткое время с ним стали происходить довольно странные ве-

щи. Мглин ощутил, как то, что было вместилищем его существа, вдруг разомкнулось, стало неудержимо расширяться, расти, распространяясь во все стороны света, и вот уже комната со всем, что в ней было, и квартира, и улица, и бог знает что еще легко вошли в состав его Я. Мглин стал колоссален. При желании он мог бы переставлять дома, как кубики, и играть автомобилями и трамваями. Голова его сделалась огромна, грудная клетка невообразимо раздалась, и теперь он охватывал собою не только города и страны — моря, горы, пустыни и острова, бесконечные пространства материков со всем их населением притекали бессчетно, становясь частью его самого. Все это было им, он видел свои владения одновременно и отчетливо, знал с рождения, но постиг только теперь, обнаружив в себе. Весь необъятный и многообразный, пестрый Божий мир перетек в него до последней капли, так что ничего внешнего по отношению к нему больше не осталось. Дух его обнимал все времена и эпохи, все прошедшие по земле поколения людей ожили и обрели в нем новую жизнь. Голоса и образы всего сущего сделались внятны и неслиянны. Взгляд его помимо воли, без усилий постигал облик, суть и соединенность всего со всем. Мглин заключал в себе все, что было, есть и будет, и тем не менее не переставал быть самим собой. Он был бесконечен во всех измерениях и, однако, непонятным образом оставался в привычных ему, постоянных границах. Он был бесплотен, взвешен, как свет, и в то же время невообразимо тяжел. Всемогущий и всеблагой, он был уже какой-то новый Мглин. Судьба мира и его собственная стали нераздельны. Он воплощал Вселенную. Он ощущал себя осью мироздания.

Мглин испытывал необыкновенный подъем, огромное наитие вело его, пронизывая великой, сверхчеловеческой радостью. Не пошевелив пальцем, Мглин отворил дверь на волю; не двинувшись с места, оказался на балконе, под полуденным небом. Солнечный расплав хлынул ему навстречу и в тот же миг стал им. Мир преобразился. Немолчный гул бесчисленных моторов окутывал землю до самых облаков. Составленный из стрекочущих, жужжащих, гудящих, поющих голосов, мощный хор с железной неутомимостью вел ликующую мелодию, звучавшую гимном новой эре. Удивительные винтокрылые существа заполнили собой пустоту небесного свода. Они были подобны железным ангелам в одночасье исполнившегося прорицания, и Мглин единственный знал об их родстве с летающим пролетарием. Вертолеты по определению, они навеки слились со своими вожатыми, став небывалыми созданиями — льтецами и льтицами. Подобно людям, они были мужчины, женщины, подростки, старики. Среди них встречались личности лысые и очкастые, были грузные и субтильные, вертлявые и тихоходные, интеллигентного вида и фатовские, урловские и дамистые... Все мыслимое разнообразие уличной толпы удивительно отражалось в обжитом небе. Манеры, лёт и повадки были столь же несхожи, как выражения физиономий или цвет корпуса. Негромко жужжа в унисон, двойками летали влюбленные. Мальчишки с ранцами за биометаллическими спинами гоняли ошалевших ворон. Потянулась из присутственных мест чиновная братия, прижимая портфели и кейсы к нежным подбрюшьям. Прострочила стайка девушек с улыбчивыми светящимися фонариками, обрамленными вьющимися по ветру волосами. Увешанные свертками и сумками, поспешали отцы семейств. Мамаши тянули на звенящем буксире канючивших, растопыривших колесики вертолетиков. Вяло перебирая лопастями, в прогулочном режиме фланировали старички. Зависнув в сторонке, стрекотало тесное сообщество старушек. Мимо них клином прошла эскадрилья военных. Гонец пулей летел за бутылкой. Два вертопраха изображали ворота, несколько их товарищей играли в наполненный летучим газом мяч. У некоторых на борту красовались эмблемы «Левиса» или «Мальборо», но как-то чувствовалось, что это не геликоптеры, а наши стрекозлы. Иные держали за лобовым стеклом фотографии красоток или любимых лидеров. Проследовал свадебный поезд. На хвосте у подозрительного сидело двое бдительных. Приглушив мотор, обмирающий фаталист рушился на землю. Смешение всех типов и передвижение кучей должно было означать экскурсию или манифестацию. В отдалении происходил жестокий воздушный бой. Сквозь прозрачные стекла огромного вертолета был виден другой, поменьше, сидевший у него внутри,— ехало начальство. Играя шагом винта, несколько железных стрекоз вершили непонятный и сложный танец, состоящий из различных па высшего пилотажа. Два балбеса, ни на что, по-видимому, более не годных, врастяжку держали лозунг, славящий новый железный порядок. Подобно то-

му, как это делали на ледяных аллеях парков конькобежные пары былых времен, двое их далеких потомков самозабвенно и великодушно являли миру совершенную слетанность. Словно призраки, безмолвно парили дельтоплановые существа. На всех этажах неба, во всех воздушных коридорах текла жизнь, наполнявшая сердце созерцателя ликованием и восторгом.

Стоя на балконе, Мглин жадно пил глазами небывалое зрелище. Однако что-то было не так в открывшейся ему великолепной картине. И Мглин увидел их. Редчайшие жалкие фигурки пешеходов упрямо и дерзко торили асфальт Беговой. К их ногам трусливо жались собаки, но детей не было видно. Многие несли книги. Винтокрылые пацаны дурашливо пикировали на отщепенцев, которые, понурив головы, семенили в тени покинутых зданий. Мглин различил среди шатунов молодую хозяйку. Охранники с мальтийскими железными крестами на фюзеляжах сгоняли антиэволюционеров в группы и конвоировали их на ипподром, приспособленный под временную резервацию. Мглин почувствовал любовь и сострадание, род болезненного влечения к этим прекрасным и обездоленным существам, которым было суждено вымереть на его глазах. Теперь, когда предсказанное им свершилось и отлилось в льтеца, Мглин смутно чувствовал, что самому ему остается лишь присоединиться к этим обреченным. На мгновение ему померещилось, что пустынный скверик перед несуразным зданием ипподрома понемногу оживает и наполняется птеродактилями, бронтозаврами и прочей доисторической нечистью, вылезающей на свет Божий будто из-под земли. На ветру разноголосо звенела металлическая листва, переодевшая деревья...

Внезапно, словно призыв гибнущего мира о помощи, от ипподромных конюшен донеслось одинокое ржание. Полное боли, недоумения и ужаса, оно на мгновение перекрыло вертолетный гул. В тот же момент небо совершенно очистилось от винтокрылых, словно их убрали простым переключением тумблера, сменяющим картину. Небо сделалось пустым и пресным, как вылинявшая декорация. Мглин в отчаянии закрыл глаза руками. Однако людские толпы вопреки его ожиданиям не хлынули из всех дверей на завоевание улиц, там было по-прежнему пустынно и ветрено, лишь бешено проносились автомобили, трамваи, троллейбусы. И — о чудо спасения! — покачнувшийся мир выправился и обрел равновесие. Ибо все эти разноликие и разнообразные троллейбусы, трамваи, автобусы, легковушки и грузовики тоже были существами новой эры. И вот уже их голосам отвечают из-под облаков нежно и мощно восхитительные винтокрылые...

Мглин вообразил себя с веселым сияющим диском из солнца, воздуха и рапирной стали, слившихся над головой в безумном вращении. Бесконечность и одиночество свободного полета влекли его неудержимо. Удивительная вертолетица появилась в небе, и Мглин впился в нее глазами. Чиркнув наискось по-ласточьи, она на долю секунды замерла и затем решительно понеслась прямо на него. Казался ли ей подавшийся вперед Мглин ростральной фигурой окаменевшего дредноута? Не долетая совсем немного до балкона, она отвернула в последний момент и, взмыв свечкой, легла на обратный курс, словно приглашая последовать за собой. Мглин, с радостно забившимся сердцем, сразу же узнал ее: она и здесь была прекраснее всех. И тем не менее она больше не была ему нужна, потому что он был теперь сама свобода. Он сдернул с шеи когда-то подаренную ею тонкую серебряную цепочку, которую в шутку называл своим ошейником. И в тот же момент рванулся вслед за нею, больше всего на свете боясь потерять ее из виду...

Положение тела на земле показывало, что смерть человека была ненасильственной и высокой. Дувший со стороны кондитерской фабрики ветер был, как всегда, напоен густым ванилиновым ароматом. На фронтоне здания бывшего Скакового общества вздыбившиеся кони цепляли чугуными копытами нежную кисею проплывающих облаков. Пробил колокол. Описывая гигантскую дугу над ипподромом, крошечный лобастый вертолетик с сияющим остеклением в пол-лица стремительно уносился в зенит. Старуха и дочь провожали его сухими пронзительными глазами, в которых застыло далекое юное небо над пропащей Беговой.

1983.

Светлана АЛЛИЛУЕВА

Книга для внучек

«Доверьте прошлое милости Божией.
Настоящее —
Его любви.
Будущее —
Его провидению».
Св. Августин

Предисловие

Путешествие на родину после семнадцати лет жизни на Западе было шагом непредусмотренным и незапланированным. В книгах всегда все выглядит таким логичным, так гладко все идет. Все объяснения, сделанные позже, выглядят такими убедительными. В жизни же все неожиданно, случайно и часто необъяснимо. Как тот первый звонок по телефону из Москвы от моего сына — первый за семнадцать лет.

Взяла я трубку в нашей с Олей снятой мансарде в Кембридже в Англии и вдруг услышала по-русски: «Мама, здравствуй!». И не поверила. Голос был каким-то неузнаваемым, совсем иным, грубым. И только когда он рассмеялся над моей торопливой путаницей в английском и русском языках, смех его прозвучал знакомо. И я поняла, что да, это сын.

С этого момента все пошло к одной неминуемой цели: увидеть его, увидеть дочь и двух внуков, потрогать их всех руками... Полтора года еще пройдет до того дня, когда мы действительно отправимся в СССР, но началом-то всему был тот никак не предвиденный телефонный звонок в середине декабря 1982 года. А до этого момента сама мысль о «путешествии на родину» была для меня полным абсурдом, так как не существовало у меня для этого никаких причин.

Все в жизни смешано. Рациональность политиков, умные речи и книги академиков, квалифицированные комментарии телевизионных обозревателей, интеллигентные рассуждения о вере — и необъяснимые поступки от сердца — ежедневно происходят по обе стороны сегодняшнего, разрезанного на две части мира. Очень, очень похожи одна на другую эти две непримиримые половины — как их правительства со всеми агентствами и пропагандой, так и жизнь людей обыкновенных. И если мне удавалось сравнительно легко приспосабливаться и тут и там, и снова тут, и снова там, естественно входить в строй иной культуры, так это, несомненно, от этого сходства.

Америка и Советская Россия просто не знают, насколько они похожие близнецы. «Различия» постоянно показываются и безмерно раздуваются телевидением, кино, книгами пропагандистов и поверхностных журналистов. Но один старый человек — господин Арманд Хаммер — вот уже несколько десятилетий продолжает свой трудный подвиг: убедить мир, как необыкновенно близки и нужны друг другу две огромные страны. И если мой голос не авторитетен то к его следовало бы прислушаться.

Однако ложь сильна и живуча, искусственная вражда основана на ложных страхах, и пропаганда раздувает пламя взаимного недоверия вот уже семьдесят лет, с некоторыми перерывами за время второй мировой войны. А жизнь-то идет своим путем. Люди любят, женятся, рожают детей, сочиняют книги, музыку... Повторяют прошедшее, взывают к будущему, молятся Богу, хоронят ушедших, обращая мало внимания на политические этикетки, на истерику сегодняшних новостей. И «здесь», и «там» надо вырастить детей честными, искренними, верующими в Добро, в Любовь, а Прощение, потому что без этого человечество неминуемо погибнет, какими бы высокими идеологиями оно ни прикрывало взаимную вражду и ненависть. Сменяются поколения, родители по обе стороны так называемого «занавеса» с одинаковыми усилиями стремятся поддержать в молодых искру божественного огня. Научить их самопожертвованию не ради комфорта среди холодильников, автомашин и телевизоров, а ради бу-

д у щ е г о этой планеты. Научить их любить природу и землю, животных и растения, детей и стариков.

Русская поэтесса Наталия Крандиевская сказала об этом вечном потоке Жизни в стихотворении «Эпитафия», помещенном после ее смерти на могильном камне над нею:

Уходят люди, и приходят люди.
Три вечных слова: б ы л о, е с т ь и б у д е т.
Не замыкая, повторяют круг.
Венок любви, и радости, и муки
Подхватят снова молодые руки,
Когда его мы выроним из рук.
Да будет он, и легкий, и цветущий
Для новой жизни, нам вослед идущей,
Благоухать всей прелестью земной,
Как нам благоухал!
Не бойтесь повторенья:
И смерти таинство, и таинство рожденья
Благословенны вечной новизной.

Сын Наталии Васильевны, московский физико-химик Федор Федорович Волькенштейн, когда-то очень давно заставил меня сесть писать историю моей семьи. «Двадцать писем к другу» были адресованы ему и без его настоятельного напора не были бы написаны. Его уже, к сожалению, нет в живых, но мы еще встретимся с ним далее на страницах этой книги—последнего тома автобиографического повествования. Работа эта тоже не планировалась подобным образом — я бы с большим удовольствием писала короткие рассказы более оптимистического характера. Но так уж вышло.*

И будет уместно именно здесь выразить глубокую признательность Ф. Ф. Волькенштейну, ученому и литератору, наставившему меня твердой рукой на путь писательства.

С этим ведь, по существу, и пришло все новое: переосмысление жизни, поиски правды и новых путей и бесконечные странствия по лицу земли.

Глубокий поклон и спасибо за все это незабвенному другу.

Пересечение границы

Сентябрьским ясным утром 1984 года я ехала поездом из Кембриджа в Лондон и везла с собой в сумке письмо в советское посольство с просьбой о разрешении возвратиться «к моей семье». Не имея понятия о том, где находится посольство, я нашла адрес в телефонной книге на Ливерпульской станции, а затем спустилась в метро, чтобы доехать туда.

На широкой улице, обсаженной старыми красивыми деревьями, находилось множество посольств, но нужных мне номеров не было. (Намного позже я узнала, что советские намеренно сняли номера «с целью предосторожности».) Однако по виду и одежде людей, перебегавших через улицу от одного здания к другому, можно было догадаться, что советское посольство находится именно здесь.

Письмо было у меня в руке, и я позвонила у запертой чугунной старомодной калитки большого особняка. Долго никто не отвечал. Прогуливавшийся по тротуару полицейский начал присматриваться ко мне. Мне становилось не по себе. «Что они, забаррикадировались?» — с раздражением подумала я, все еще не догадываясь или забыв, — что вот это и есть советский образ жизни, от которого я отвыкла за многие годы. По существу, я сейчас переходила невидимую границу в другой мир, хорошо знакомый мне, но забытый, где люди ведут себя совсем иначе.

Наконец, в микрофоне в каменной ограде прозвучал голос, и меня спросили, что мне нужно. Я сказала, что несу личное письмо к послу. «Писем не принимаем. Пошлите по почте». «Подождите! Могу я поговорить с кем-нибудь хотя бы здесь?» — заторопилась я.

Последовало долгое молчание. Наконец по ту сторону калитки появился молодой человек в коричневом костюме советского пошива и повторил, что письма следует посылать по почте. «Недавно миссис Тэтчер прислали в письме бомбу, — вспомнила я, — наверное, поэтому они боятся взять в руки письмо...» Чтобы не терять время понапрасну, я объяснила, кто я такая и почему пишу лично послу. Человек в коричневом костюме молча выслушал все и ушел, оставив меня на тротуаре возле калитки.

Через некоторое время он вернулся, отпер калитку и пригласил меня войти, сохраняя безразличное, невозмутимое выражение лица. «Посла

* «Двадцать писем к другу», 1987, США. «Только один год», 1989, США. «Далекая музыка», 1984. Дели, Индия.

нет, — сказал он. — Вы можете объяснить мне, в чем дело, а также прочесть ваше письмо».

В здании посольства (или консульства?) меня несколько раз переводили из одной комнаты в другую, где я всякий раз оставалась подолгу одна, сидя в кресле перед большим молчавшим телевизором. Очевидно, меня наблюдали или фотографировали. Наконец человек в коричневом костюме, все еще не очень дружелюбный, сказал мне после недолгого разговора, чтобы я зашла «за ответом» через неделю. «Мы ничего не решаем, как вы сами понимаете, — сказал он. — Но ваше письмо будет передано в Москву». И я ушла.

Это была моя первая встреча с советским миром и его представителями с того дня в Дели, когда я ушла из советского посольства в Индии, чтобы не вернуться. Прошло семнадцать лет.

Отвыкла от «советской речи». Эмигранты совсем иначе говорят по-русски: за границей все еще жив прекрасный, классический язык чеховских времен, с совершенно другими интонациями. Еще более отвыкла я от советских манер — или, вернее, от полного отсутствия хороших манер, когда вас не представляют собеседнику, и сами не представляются, и вообще ведут себя так, как будто вы мебель. Вежливость играет огромную роль повсюду в мире — на Западе и особенно на Востоке, — а здесь вам сухо сообщают д е л о, будьте благодарны и за это!

В других обстоятельствах меня, наверное, потрясла бы вся эта встреча с советским миром, но не теперь. Сейчас мне было важно только одно: что мне ответят. Меня ругали и кляли в Советском Союзе столько лет, давно уже объявили сумасшедшей и теперь, наверное, им потребуется долгое время, чтобы переварить мою просьбу о возвращении... Зайти через неделю? Разве они могут решить что-либо за одну неделю?

Но через неделю меня встретили у железной калитки с улыбками и провели в посольство. Там пригласили на чашку чая с поверенным в делах, и опять все вокруг улыбались. Мне вдруг стало почти что дурно. Я сидела с чашкой чая в руках, слушала дружелюбные речи, означавшие р а з р е ш е н и е, и у меня было чувство внезапной потери веса, как будто я падала куда-то в бездонное пространство... А мне тем временем уже советовали: куда лететь, когда лететь и — чем скорее, тем лучше...

«Ни в коем случае не летите из Хитроу, а лучше сначала летите в Швецию или Грецию, там вас встретят наши и пересадят на аэрофлотовский самолет». Я сидела, слушала — и падала, падала в пропасть, в пустоту, где не было н и ч е г о. О чем сейчас говорить? Надо выяснить нечто очень важное...

«Надеюсь, в Москве все еще существуют английские школы? Это очень важно для моей дочери», — собралась я наконец с мыслями. «А х в а м в с е т а м с к а ж у т, т а м с к а ж у т», — пропел радостно поверенный в делах, весь сиявший и в нетерпении оттого, что я не вылетаю в Москву завтра же.

«Но мне необходимо как-то уладить все это с дочерью, — пробовала возразить я, все еще воображая себя в совершенно иных взаимоотношениях, свойственных иному обществу. — Ведь она еще ничего не знает», — произнесла я, как будто разговаривая сама с собой и понимая, что это звучит преступно.

С трудом я выговорила задержку почти на месяц, до конца октября. Ольга будет тогда дома, на осенних каникулах, и мы смогли бы поехать с ней на неделю в Грецию — что, кстати, мы давно собирались сделать. «Ну, вот и чудесно! — обрадовался поверенный в делах. — А там — к нам, в посольство. Отдохнете немного, а потом — на самолет, в Москву!» Он был почти в восторге.

Я отправилась домой, в Кембридж, как в тумане. По дороге, сначала в метро, потом в поезде, я думала только о том, как я скажу все это Ольге? Мне казалось тогда, что как только она войдет в большой круг семьи, которого ей всегда так недоставало, все о б р а з у е т с я. Я уверяла себя в самом наилучшем исходе. До возвращения Ольги домой оставался ровно месяц. Надо обо всем подумать. Что мы возьмем с собой? Очень немного, только самое необходимое. Остальные бумаги и письма надо

уничтожить... А квартира? А мебель? Боже мой. Боже мой. Повернуть назад уже невозможно.

Через месяц мы с Ольгой ехали автобусом, как обычно, из ее школы в Эссексе домой на каникулы. Она уже знала, что мы полетим в Грецию через два дня, — мы давно планировали такую поездку вместе, весной или осенью, как сейчас. Мы много знали о Греции от наших друзей в Милуоки, и мне казалось, что я найду там большое сходство с Черноморьем, столь дорогим мне по воспоминаниям детства. Да, но теперь она увидит гораздо более серьезные сборы — как я все это ей объясню?.. Мы прожили в Англии уже два года, недавно купили маленькую квартиру и, казалось, только что, наконец, устроились и наслаждались нашим новым жильем и независимостью от домовладельцев.

Волнуясь и не дожидаясь удобного момента, я решила, что надо ей прямо так и сказать, что мы поедем из Греции в Москву, чтобы, наконец, встретиться со всей семьей. Когда наш двухэтажный автобус трясся и вихлял на узких улочках маленьких английских деревень по пути в Кембридж, я так и сказала ей. Она оторопела, но не возражала.

«А потом я вернусь в школу?» — сразу же спросила она о самом важном для нее. «Да», — заставила я себя сказать, не в силах сейчас спорить с ней, но зная, что вскоре придется открыть ей всю правду. Но лучше позже, потом... Если я все скажу ей сейчас, она не даст нам уехать. Она все остановит. В свои тринадцать лет она уже стала такой сильной. Но ей там понравится среди семьи... Я чувствовала себя противно, как будто обокрала кого-то; следовало бы все сейчас же отменить, послать ко всем чертям... Но этого я не могла уже сделать.

В последующие дни она стала подозревать нечто большее, стала расспрашивать, но я уклонялась от ответов. Когда уже было заказано такси, чтобы рано утром ехать в аэропорт Хитроу, я не спала всю ночь и готова была все отменить... Ей, может быть, очень трудно, — я понимала это рассудком. Но она уже расспрашивала с интересом о Греции — она все еще ребенок и быстро забывает. Она забудет все неприятное, она так еще молода... Двигатели уже заработали, машина готова была лететь — невозможно было остановить события...

Каким-то непонятным образом то, что хочешь скрыть, становится известным именно тем, кому не следует об этом знать. Вдруг — звонок от английского корреспондента. Говорит, что в западногерманской газете появилось сообщение о моем возвращении в СССР. Я сказала, что это неправда. Мне становилось не по себе от такого плохого начала.

В аэропорту я озиралась, не гонятся ли за нами с камерами, но до Афин мы долетели благополучно и спокойно. Там взяли такси и с помощью греческого разговорника объяснились с шофером. Узнав, что мы едем в советское посольство, он заулыбался и закивал головой. Ольга сидела с мрачным лицом.

У ворот посольства нас уже ожидала молодая пара. Они говорили по-английски и сразу же пригласили Ольгу к себе. Оказалось, что они были из агентства по продаже кинофильмов за рубежом. «Слава Богу, — думала я, — хорошее начало: они займут Ольгу, может быть, понравятся ей, и у нее будет хорошее первое впечатление...»

Меня тем временем позвали поговорить о делах. «Самолет в Москву полетит через три дня», — сказал некто, чьего имени я не запомнила. А пока что нам предлагали посмотреть Афины и купить подарки в Москву. Для последнего у нас в Англии не было времени. И вечером предстояла встреча (чай) с новым молодым послом, сыном совсем недавно умершего Андропова.

Игорь Юрьевич Андропов был дипломатом нового поколения, цивилизованным, с прекрасными манерами и хорошим знанием иностранных языков. Его по-западному очаровательная жена была театроведом по образованию, а он сам был историк. Они оба сразу же уделили большое внимание Ольге, понимая, что она будет в центре всех наших потенциальных трудностей, проблем и успехов. Игорь Юрьевич сразу же подошел к девочке, заговорил с ней по-английски, и она тут же растаяла, почувствовала себя легко и хорошо. Общительность всегда была ее прирожденным даром, и я видела, как любопытны были для нее «эти рус-

ские», которых она никогда еще в жизни не встречала. Каждая ее улыбка обнадеживала меня, и мне становилось хоть чуточку лучше.

Но остальная компания не внушала никакого энтузиазма. Помимо молодого посла и его супруги, все выглядели старомодными, официально-холодными советскими бюрократами. Особенно неприязненными были толстые круглолицые дамы. Вдруг мне стало нехорошо от пришедшего на ум вот такого же приема в советском посольстве годы назад — в Дели. Как будто начала крутить обратно старую ленту кино. Такие же мизансцены, такие же взгляды, как и тогда, когда я в последний раз сидела за столом у посла А. Бенедиктова, уже решив бежать... И вот через семнадцать лет снова, как призраки, такие же ситуации — как во сне... Только Оля — существо из реального мира, и она все время дает мне понять, что с реальностью что-то неладно.

В отведенной нам комнате с двумя кроватями ночью она, наконец, разражается негодованием. Мне уже ничего не надо объяснять — она и сама поняла, что мы не возвращаемся отсюда в Англию... Я так устала, так мне было скверно от всех сопоставлений, воспоминаний, от всего, а теперь еще надо представить себе приезд в Москву...

«Ну, ты понимаешь ли, наконец, что я не видела их столько лет?» — говорю я в полном отчаянии. Да, она понимает это. И умолкает. Мы обе молчим. И плачем, каждая на своей постели.

Потом нас возят по Афинам, показывают Акрополь, достопримечательности. Оля ведет себя великолепно, улыбается, фотографируется, покупает сувениры. Еще в Англии в каком-то журнале она прочла, что молодежь в Москве охотится за кроссовками и спортивными сумками фирмы «Адидас», и теперь она нашла именно это для подарка своему племяннику и моему внуку Илье, который на один год старше нее. Она добрая, щедрая душа, всегда хочет сделать приятное другим, и кажется, что она уже забыла о своих огорчениях. Магазины всегда развлекают ее, в ее возрасте неприятное легче забывается. Я купила греческое вышитое платьице для моей внучки Анюты и какие-то безделушки для сына и его новой жены.

Самолет «Аэрофлота» летит завтра в Москву через Софию. Меня любезно спрашивают, следует ли известить сына, чтобы встречал на аэродроме, и я в страхе прошу: «Нет, нет!» Не хватает только эмоциональных сцен перед публикой. Ведь я боюсь и жду этого момента уже давно, столько времени. Пусть уж лучше придет встречать нас в гостиницу. Мы просим о гостинице, так как я уже привыкла за все эти годы жить в гостиницах и чувствовать себя независимой. И вообще, только Богу известно, что это за новая невестка у меня, — не идти же прямо к ней в гости.

«Ну, в таком случае, — говорят мне, — вас будет встречать представительница Комитета советских женщин». Так. Значит, все на официальную ногу. Теперь уж все безразлично. Тут не выбирают. Все будет так, как решат «наверху». Вопросов не задают. Да и какое значение имеют все эти детали? Я скоро увижу сына, увижу их всех...

Самолет приближается все ближе и ближе к Москве — городу, где я родилась, выросла, ходила в школу, в университет, городу, где родились мои дети. Почему же я не волнуюсь, не плачу счастливыми слезами? У меня нехорошо на душе, я нервничаю, но это совсем не «радостное волнение». Что-то крепко держит меня внутри и не позволяет дать волю чувствам. Я даже не могу понять своих собственных чувств, когда вижу подмосковные поля и уже заснеженные леса; над ними самолет делает развороты. Зима здесь ранняя и холодная в этом году, сказали мне в Афинах. Греция показалась мне похожей на Черноморское побережье Кавказа, и это было единственным приятным впечатлением за все последние дни. Сейчас я ничего не чувствую. Ольга озирается по сторонам, рассматривает пассажиров. Что это за паралич со мною?

Вот и аэропорт Шереметьево, откуда я улетела в 1966 году в Индию. Разросся, громадный стал, модерновый. Наш самолет подруливает к какому-то отдельному входу, очевидно, для особо важных лиц. Вокруг не видно никаких толп, другие пассажиры где-то в другом месте. Знакомая социальная сегрегация. Женщина в строгом официальном ко-

стюме с букетиком цветов, завернутых в целлофан, ищет меня глазами, находит и пытается улыбнуться. Это у нее плохо выходит, и мне становится даже жаль ее, бедняжку, за эту миссию, возложенную на нее. Она говорит мне что-то вроде «добро пожаловать», и мы обе смущены нелепостью всего происходящего.

К Ольге подходит молодая миловидная переводчица, и тут, слава Богу, сразу же возникают улыбки и контакт. Чудесно она ведет себя для тринадцатилетней школьницы, какая прекрасная выдержка — или это в самом деле ей любопытно и интересно? «Из нее в будущем может получиться прекрасный дипломат», — думаю я с каким-то остервенением, потому что мне-то совсем нелегко и неприятно.

Нас всех ведут куда-то в отдельную комнату, усаживают за стол под белой скатертью, наливают в бокалы шампанское. Мы все чокаемся и пьем «за прибытие». Не знаю, как перевела это Оле ее переводчица, но Оля ведет себя исключительно хорошо. Мне надо, очень надо думать нечто положительное среди всего этого сюрреалистического сновидения...

Мы прибыли на родину. Что это значит? Как это произошло? Как это вообще сделалось возможным?.. И было ли это действительно каким-то сумасшествием или, может быть, совсем наоборот, глубоко обоснованным и необходимым шагом, который судьба заставляет нас совершить вопреки «здравому смыслу», но в соответствии с мудростью Божией, которую мы часто не в силах распознать, так как не укладывается она в наши узкие земные рамки?

Не делайте скорых выводов, дорогой читатель. Отложите ваше перо, достойный критик. Дочитайте до конца эту книгу и еще потом не сразу судите. Возможно, ответ придет нескоро, и вы сами удивитесь ему. Автору этих строк, оглядывающемуся назад, думается, что все, абсолютно все было к лучшему, включая конечные результаты этого закономерного возвращения на родину. Но тогда это все ощущалось не совсем так. В особенности в годы, прямо предшествовавшие «пересечению границы».

В Англии

Когда мы в августе 1982 года очутились с дочерью в Кембридже, этому предшествовала долгая полоса поисков. Отдать одиннадцатилетнего подростка в европейскую школу-пансион я считала совершенно необходимым. Жизнь американских подростков, ее сверстников, как в частной, так и в публичной школе меня вполне убедила в такой необходимости. Ольга становилась неорганизованной, недисциплинированной и эгоистичной, как они.

Но я тянулась совсем не в Англию, еще незнакомую мне тогда, а в Швейцарию, о которой у меня остались самые хорошие воспоминания весны 1967 года и где находились английские пансионы с высокими академическими стандартами. В Нью-Йорке имелись агенты этих школ, так что после соответствующих испытаний и тестов Ольге предложили место в школе Св. Георгия около Монтрё.

Однако выяснилось, что мне нельзя находиться в Швейцарии со статусом иностранного подданного. Намного легче было получить вид на жительство в Англии (без права работы), а потому нам пришлось спешно подавать заявления в пансионы Англии.

Для этой цели я поехала весной 1982 года в Лондон, чтобы посетить агентство, ведавшее формальной стороной поступления в пансион. Но перед этой поездкой произошло одно знакомство, которое стало впоследствии решающим для Ольги, для всей ее дальнейшей жизни. И вся наша жизнь в Англии вдруг вошла в совершенно определенные, но никак не предусмотренные рамки.

В доме одного старого друга еще по Принстону, теперь же профессора епископальной семинарии в Нью-Йорке, я познакомилась случайно с тогда еще малоизвестным в Америке Терри Уайтом. Англия уже хорошо знала этого ассистента архиепископа Кентерберийского, которому удалось благодаря личной храбрости и напору освободить нескольких английских священников из лап аятоллы Хомейни в Иране. Сегодня имя

Терри Уайта известно всему миру после его попыток освободить американских заложников в Бейруте, окончившихся пока что захватом его самого.

В годы молодости Терри Уайт вместе с нашим другом из Нью-Йорка и еще одним человеком (проживающим теперь в Кембридже, в Англии) были миссионерами англиканского причастия в Африке. В память о том прекрасном (как все трое говорили) времени они продолжали иногда встречаться. Так однажды я с ним и познакомилась. Сама внешность этого высокого приятного бородатого, еще молодого человека сразу же вызывает к нему симпатию и доверие. Спорить с ним бесполезно, да и не хочется.

Безусловно, он обладал какой-то магнетической силой убеждения, на которой и основывался до сих пор успех его миссий. В глазах его светились детскость и необыкновенная доброта (неподдельная «забота о ближнем» — хочется сказать), которые в соединении с колоссальной силой духа превращаются в ту основу, что создает святых и подвижников во имя правды.

Выслушав нашу историю о поисках школы в Англии, Терри решил этот вопрос по-своему: в Лондоне я должна буду остановиться в его семье, а лучшей школой для моей дочери будет пансион квакеров, где учились дочери его старого друга, теперь живущего в Кембридже.

Дальше все развивалось уже не по моему плану, а по плану Терри, хотя я все еще безуспешно сопротивлялась, так как полюбила католические школы (знакомые мне по Принстону) и ничего не знала о системе образования квакеров. Вообще квакеры — хотя я и знала, что они пацифисты, — представлялись мне такими же лицемерно-добродетельными пуританами, с которыми я уже сталкивалась в Америке.

Мою симпатию к католическим школам и университетам разделял мой старый друг по переписке (с 1967 года), польский художник Анджей Д., с которым мы наконец встретились в Лондоне. Я все же послала документы в несколько католических школ. По совету Анджея я выбрала Восточную Англию для нашего местопребывания, а не фешенебельные графства к западу и к югу от Лондона. Анджей как художник, проживший почти 20 лет в Лондоне, утверждал, что плоская восточная равнина, «где так много неба», кажется ему наиболее красивой частью Англии — еще не испорченной и неиндустриализированной. А поскольку Терри уже предлагал, чтобы его старый друг подыскал нам квартиру в Кембридже, то все само собой решалось в пользу Восточной Англии. Так мы и сделали наш выбор — совсем не по рациональным или еще каким-то иным, более серьезным соображениям.

Были и другие возможности. Мы могли очутиться в Оксфорде под покровительством одного из знаменитых академиков. Могли мы оказаться и в Лондоне, где была возможность работать на радиовещании для СССР. Оксфордский академик познакомил меня со своим издателем и предложил, вернее, пообещал, что в Англии издадут мою новую книгу, если я таковую напишу. Именно на этой основе и была дана мне виза на год — с правом продления — как писателю, живущему на доход от книг. Я все еще могла тогда платить за пансион и жить весьма скромно в Англии, но для колледжа дочери у нас уже не было средств. В эти обстоятельства никак не мог поверить оксфордский академик, который, подобно моим покровителям в Принстоне, был человеком весьма состоятельным. И мне было куда приятнее, сказать по правде, пользоваться помощью трех служителей англиканского причастия, людей более скромных и добрых. У меня уже был многолетний печальный опыт с высокими покровителями в Америке, никогда не опускавшимися до уровня жизни среднего достатка и занимавшимися больше политикой, нежели человеческими судьбами.

И вот на пасху 1982 года Терри Уайт со своими друзьями по Африке пригласил меня в Кембридже на ленч. Потом мы отправились посмотреть школу квакеров в близлежащем Саффрон Уолдене. Я должна сознаться, что не пришла в восторг ни от пустых угрюмых общежитий с черными железными койками, как на старых фотографиях сиротских приютов, ни от всей безрадостной и некрасивой школы, ни от ее директора. Он старался понять, отчего я интересуюсь школами квакеров, но у меня на это не было ответа. В школе не было программ, и весь разговор

свелся к нескольким общим истинам, что никак не объяснило мне их принципов воспитания молодежи. Однако директор был более чем любезен, а когда я вернулась в Штаты, его школа первой прислала нам экзаменационные материалы, а потом — и предложение места. Поскольку была уже поздняя весна и времени не оставалось, я положилась во всем на мнение Терри Уайта. Мы стали собираться в августе в Кембридж, где его друзья подыскивали нам квартиру, а определенность со школой помогала во всех бюрократических оформлениях нашего переезда в Англию. Дом в Нью-Джерси был продан летом, а наше имущество перевезено в Висконсин (я полагала, что мы можем возвратиться туда после Англии). У меня не было планов оставаться в Европе до бесконечности, мы считали себя американцами. Возвращение же на восточный берег США вряд ли возможно в будущем: все-таки жизнь на Среднем Западе менее дорога. К тому же много личных переживаний у меня было связано с Висконсином, о чем читатель еще услышит к концу этой книги.

В Кембридже, на старой зеленой улице с профессорскими домами в викторианском стиле, ныне сдаваемыми поквартирно и покомнатно приезжим преподавателям, нашими хозяевами оказались милейший профессор аграрной экономики — веселый усатый старик, внешне скорее француз, чем «типичный англичанин», и его худенькая, болезненная жена. В их громадном особняке, кроме нас, жили еще две семьи квартиросъемщиков. «Терем-теремок, кто в тереме живет? Я — лягушка-квакушка, а ты кто?»

По приезде мы с Олей сразу направились по крутой лестнице на самый верх, в мансарду, откуда открывался чудный вид на уже золотящиеся деревья большого сада. Хозяйка объяснила сложные приемы добывания горячей воды в ванной, которые показались мне устаревшими даже по сравнению с московскими квартирами. В гостиной и в спальне я не нашла никаких отопительных приборов, кроме газового камина и чрезвычайно старомодной маленькой электропечки. А красивые большие окна, глядевшие в сад, были без вторых рам и обещали стужу зимой. Уже довольно хорошо наслышавшись о холоде в английских квартирах, я старалась не выдавать своих истинных чувств.

Затем появился весельчак-профессор и сказал, что прежде всего остального мы должны отправиться в полицию, чтобы меня формально «прописали» в его доме. Это мы сделали, обсудив по дороге советский колхозный строй, пока он искусно вел машину по неимоверно узким средневековым улочкам Кембриджа. Бумаги мои были в порядке — виза на один год с необходимостью последующего ежегодного продления. С моими хозяевами мы быстро подружились и впоследствии встречались также и после возвращения из Советского Союза.

Другими съемщиками оказались молодая семья из Южной Африки с двумя малышками и несравненная мисс Мэри-Кэйт, о которой надо рассказать отдельно.

Мисс Мэри-Кэйт, библиотекарша на пенсии, была в неопределенном возрасте далеко за семьдесят. Яркие голубые глаза и горячий темперамент выдавали в ней ирландку. Она проработала в музеях Лондона и Кембриджа всю жизнь, много путешествовала и теперь являла собой кладезь знаний по искусству, и ее комната была теплейшим уголком в этом громадном доме, куда можно было постучаться в любое время.

В ее крошечной гостиной всегда горел газовый камин, она ласкала на коленях старую, хромую кошку, и истории лились из нее без перерыва. На столе у нее всегда был крепкий вкусный чай, хорошая выпечка, круглый хлеб и острый сыр. Весьма часто по вечерам Мэри-Кэйт потягивала виски, а мне наливала джину. Хотя у нее имелись родственники в Ирландии, ехать ей отсюда было некуда. Она вспоминала о не столь давних поездках в Турцию, Италию и Швейцарию, но теперь уже все это было позади. Друзей же у нее было много, и мы встретили некоторых: Мэри-Кэйт обожала, чтобы ее посещали, и чем большая толпа набивалась в ее комнатку, чем больше маленьких шумевших детей, тем больше ей это нравилось.

Южноафриканская молодая чета (муж — адвокат, жена — художница) тоже были людьми очень приятными, и уже после того, как они уехали к себе в Трансвааль, мы продолжали переписываться.

Постепенно мы познакомились и с другими обитателями Чосер Роуд и нашли здесь дружбу, которая все еще продолжается. Муж и жена, археологи с тремя детьми, были особенно доброжелательным семейством. С адмиралом военно-воздушных сил в отставке и его женой также было проведено немало вечеров. А прекрасная художница-акварелистка, жившая через дорогу от нас, любила расспрашивать о России: у нее в прошлом были семейные связи с русскими. Филиппе было где-то под семьдесят, и она отдавала много времени помощи инвалидам, перевозила их в своем автомобиле, участвовала в разных благотворительных мероприятиях и поражала меня своей неистощимой энергией. Она была вдовой известного геофизика, матерью его шести детей и бабушкой бесчисленных внуков, с которыми у нее были назначены различные дни недели для встреч. Одним словом, среди моих соседей я никогда не замечала пресловутой «чопорности и холодности», которыми наградила англичан молва и русская литература. Все были радушными, веселыми, легкими людьми, и нашу жизнь на Чосер Роуд никак нельзя было назвать одинокой.

В Лондоне мне предлагали в то время работу на Би-Би-Си (радиовещание на СССР), от которой я отказалась, так как это было бы чистейшей политикой. Мне в то время не хотелось делать ничего такого, что могло бы выглядеть как пропаганда и политика. Однако наши финансы требовали какого-то пополнения, и ничего другого не оставалось, как писать новую, третью книгу.

Тут не обошлось без сюрприза — из тех, что судьба все время подбрасывала мне. Известный лондонский издатель составлял в то время сборник рассказов в пользу благотворительного общества ОКСФАМ. Он включил в этот сборник мой нигде еще не напечатанный рассказ «Девяностый день рождения». Это была история о моем большом друге в Принстоне миссис Эдит Чемберлен и ее девяностолетии. В антологии мое имя стояло рядом с известными писателями и деятелями Англии, и все они, конечно, не нуждались в гонораре. Для меня же вновь изображать благотворительность, когда у Ольги уже не было денег на колледж, было смехотворно. Но я согласилась: писателю всегда так хочется видеть свою работу *напечатанной*! Это магия какая-то, когда листаешь *страницы* своей, пусть и небольшой работы. Ни с чем не сравнимое чувство. Я клюнула на приманку и потом наслаждалась, покупая экземпляры в книжном магазине в Кембридже и посылая их своим знакомым в Америку.

У меня было в ту пору написано около пятнадцати небольших рассказов о жизни в США, и я хотела сделать сборник под заглавием «Рассказы об Америке». Но когда я дала их прочесть знакомому издателю, он сказал, что «цельная книга была бы куда лучше». Я не знаю, почему сборник рассказов оказался «хуже». Он позволил бы мне коснуться самых разнообразных аспектов моих пятнадцати лет жизни в США. Однако надо было делать то, что сказал издатель. И книга эта — «Далекая музыка» — была несчастливой с самого начала.

Издатель, с которым я уже была знакома по антологии, отверг ее на основании того, что «книга эта — об Америке, пусть ее в Америке и издают». Затем литературный агент, к которому меня привела одна знакомая дама в Лондоне, пытался подсунуть мне «соавтора», который, по существу (и по его замыслу), написал бы книгу вместо меня. Эта затея, конечно, не встретила моего энтузиазма. После этого, расхрабрившись, я отправила рукопись в США, в издательство «Харкорт Брейс Иванович», которое когда-то очень хотело получить права на мою вторую книгу. Но ответ пришел неутешительный: вместо рассказов об Америке мне предлагали теперь вновь писать о детстве в Кремле, о Сталине, о моих родителях — обо всем, о чем уже было написано мною в моих старых книгах. Я никак не собиралась «переосмысливать» то, о чем уже писала однажды, и отказалась переделывать написанное. После долгих мытарств и полного отчаяния рукопись наконец была направлена в издательство «Даблдэй» в Нью-Йорк и пролежала там почти год. Издатель ломал голо-

ву, что с нею делать, а я полностью уверовала к тому времени, что никто в США эту книгу печатать не станет *.

И тут — как это было уже однажды, семнадцать лет тому назад, — как Deus ex machina **, появился на сцене всем известный Тикки Кауль, бывший посол Индии в Китае, в Москве, в Вашингтоне, а теперь — член правления ЮНЕСКО. Он оказался вдруг в Лондоне. Мы встретились, обрадовали друг друга взаимным заявлением: «А вы ничуть не изменились!» и пошли в небольшой лондонский ресторан... Встреча эта окончилась тем, что Тикки Кауль приехал в Кембридж где-то в ноябре 1983 года и забрал мою рукопись с собой в Индию, как он сделал это и с рукописью «Двадцать писем к другу» в 1966 году в Москве. Почему события должны так повторяться, я не знаю. Но я уверена, что если я опять встречу Тикки, то это будет опять непременно какой-то роковой момент...

И «Далекая музыка» появилась, наконец, на английском языке в Дели (Индия) в августе 1985 года. Хотя издание оставляло желать лучшего с профессиональной точки зрения, а издатель — «Лансер Интернейшнл» — так никогда и не уплатил причитавшихся мне трех тысяч рупий, — опять-таки держать в руках изданную книгу было несказанным удовольствием.

И этот факт я рассматривала как большое достижение, хотя по условиям контракта книга распространялась только на рынках Индии, Бангладеш и Пакистана для публики, читающей на английском языке. Учитывая размеры этих стран и тот факт, что на английском там читают несравненно больше, чем на каком-либо ином языке, я должна была быть довольна. Но издатель решил автору вообще не платить. Он жаловался, что «название плохое: все думают, что это какая-то специальная книга о музыке, и не покупают».

Господи! Он же прислал мне рецензии, книга была хорошо прокомментирована в печати. Никто не полагал тогда, что эта книга «для музыкантов». Должно быть, он был разочарован, что не сделал на этой книге миллионов. Знакомая история. Но все же третья книга вышла!

В Англии вы каждую минуту чувствуете, что живете в центре старой прекрасной культуры. Это приходит с чтением газет, где новости со всего мира освещены с большей объективностью и знанием дела, нежели в Америке. Я сразу же заметила это в сообщениях об СССР: намного меньше эмоциональности, предвзятости и предрассудков. Телевизионные новости отличаются таким же качеством. К сожалению, копировать во всем американские нелучшие стандарты стало уже модой. Даже в доме у Терри Уайта вся комната его дочери была увешана изображениями Снуппи и Микки Мауса, этих «героев» американской «пластиковой культуры», успешно завоевывавших весь мир.

Жизнь в Англии была проще, мы прекрасно обходились без автомобиля, общественный транспорт был вполне удобен. Если он несколько замедлял ход жизни, то это было только к лучшему.

В Лондоне давал концерты Владимир Ашкенази, теперь уже седой пятидесятилетний человек, игравший лучше, чем когда-либо. В кинотеатрах Кембриджа шли отличные фильмы «Жара и пыль» и «Ганди». Во время июльского фестиваля в Кембридже, проводившегося ежегодно, музыканты играли на всех площадях и в переулках, прекрасные камерные ансамбли давали бесплатные концерты во всех университетских церквах. Надо всем царила церковь Королевского колледжа, куда каждый вечер вы могли зайти и погрузиться в вечернюю молитву. Пел прекрасный хор мальчиков и взрослых певцов, звуки улетали ввысь, ласкали эти древние неповторимые стены. Всегда здесь было много студентов и университетских преподавателей; вдохновенные, хорошие, чистые лица вокруг...

А под Рождество здесь всегда поют кэролс — рождественские гимны, которые знает весь западный мир. Неземное пение хора транслируется по радио и передается по телевидению всему миру. Попасть в церковь невозможно — надо стоять в очереди с шести часов утра. Но зато потом

* Когда «Даблдэй» решил наконец книгу издать, мы уже собирали чемоданы для поездки в СССР.

** Deus ex machina — Бог из машины.

все двенадцать дней Рождества звучат по радио прекрасные кэролс, такие жизнеутверждающие, такие радостные...

Я узнала много нового в Англии. Друг Терри Уайта, пастор и по совместительству психолог, дал мне автобиографию Карла Густава Юнга — прекрасную книгу, которую должен прочесть всякий образованный человек. Называлась она «Воспоминания, сны, раздумья». Это был для меня новый мир, совершенно новая дверь, ведущая к глубокому пониманию загадок человеческой души.

Мой друг художник Анджей давал мне читать «Исповедь» Св. Августина и книги современных английских католических монахинь — прекрасные работы, помогающие преодолевать внутренние трудности. Мы много говорили с ним о вере и о христианстве. Как и все остальные мои друзья-католики (чета Джиансиракуза в Калифорнии, Антонино и Адриана Яннер в Швейцарии, сестра Джудит Гарсон в Принстоне), он был точно так же радушен и дружелюбен и всегда принимал меня как дорогого гостя. В маленькой однокомнатной квартирке, где он жил вместе со своей матерью, он сохранил немногие из своих картин — пейзажи, сделанные в Польше, Иране, Израиле, Восточной Англии. Он был нездоров, не работал и этим ужасно удручен. Однако это не мешало ему вникать в наши дела, советовать мне в малейших мелочах. В Англии я наконец решилась на шаг, который привлекал уже много лет...

С Русской церковью на Западе я не чувствовала связи из-за ее раздробленности, из-за вечных политических разногласий между ее различными «юрисдикциями». Каждая церковь Восточного православия была, по существу, маленьким национальным «клубом», свято охранявшим свою этническую обособленность. Для меня же христианство — это всеобъемлющая, всечеловеческая вера, охватывающая все расы и национальности, весь мир. Такой верой было римское католичество. Я поняла и ощутила это с того момента, когда впервые встретилась с католиками в Швейцарии в 1967 году. Вячеслав Иванов, великий русский ученый и поэт, принял католичество именно на этом основании. Многие прогрессивные русские переходили в католичество потому, что оно приближало их к цивилизации Западного мира. В наше время католичество не стыдится бедных, больных, униженных во всем мире, тогда как многие так называемые христианские церкви (особенно в Америке) стали служить только влиятельным богачам и деньгам.

Я долгие годы думала о переходе в католичество, говорила об этом со многими своими друзьями и вот теперь, в Англии, где католичество так сильно, почувствовала, что надо наконец сделать решительный шаг: Анджей познакомил меня с замечательным монсеньёром, служившим тогда в одной лондонской семинарии. Мы долго говорили, и я исповедовалась. «Но вы и так уже там! — повторял Анджей без конца. — Это протестантам труден такой шаг, а для вас, православных, это ведь, по существу, одно и то же!» Я вступила в Римскую церковь 13 декабря 1982 года, в день Св. Лючии.

Я стала ходить рано утром к причастию в церковь Св. Марии и Всех Английских Мучеников в Кембридже. Потом, зимой 1984 года, в холод и ледяной дождь поехала в маленький приют на восточном берегу Англии, в монастырь Святой Марии в Суффолке. Там я провела несколько незабываемых дней. И никогда не забуду этого.

Мне нужна была вера, способная охватить все человечество, весь земной шар, вера без «национальной гордости», без «патриотизма», без «побед» одного народа над другим. Я перечитывала снова и снова «Римский дневник» и другие работы Вячеслава Иванова в его сборнике «Свет вечерний» (1949, Оксфорд) и с удовлетворением чувствовала, что до меня были другие, кто мыслил так же. Это было уже сложившейся, исторически обоснованной традицией. Я только присоединилась к ней. С главой русских католиков в Америке госпожой Б. Извольской меня познакомил профессор Ричард Берджи еще в мои первые годы в США. Я хотела сделать этот шаг во время посещения Америки папой Иоанном Павлом II в 1978 году, настолько сильным было впечатление от его визита. Но священник в Принстоне не пожелал иметь со мной дела. Он чуть ли не смеялся мне в лицо, когда я пришла говорить с ним... Теперь же, в Англии, никто не смеялся надо мной, и я чувствовала себя так хорошо.

Мне только было бесконечно жаль, что моя дочь не захотела перейти в католическую школу — в прекрасную старую школу Пью Холл. Там было так красиво, что, казалось, даже деревья вокруг помогали вдохновению. Девочки были веселыми, монашки — тоже, и повсюду царил дух радостной углубленной работы. Я никак не могла согласиться с серостью квакерской обстановки, с их показной скромностью — мне это казалось борьбой с красотой, пуританским отрицанием ее. А красота создана Богом, это гармония Вселенной, без красоты нет святости жизни...

Но в этом мне пришлось уступить своей упрямой дочери, так как она не захотела расстаться со своей школой.

«Ничего не поделаешь, придется уступить», — думала я.

Нашу с Ольгой жизнь в Англии в те дни можно было бы назвать в общем приятной. Мы купили маленькую квартирку в Кембридже, и было хорошо пользоваться наконец отоплением и горячей водой. Ольга была к этому времени уже влюблена в свою школу без памяти. Летом мы ездили на небольшие острова, называемые Силли, где жизнь была простой, автомобили не дозволялись, а рыбачьи лодки развозили отдыхающих по небольшим островкам с уединенными пляжами. У нас возник свой круг знакомых, мы привыкли к атмосфере Англии, поначалу казавшейся нам серой, угрюмой и безрадостной.

К Англии нужно привыкнуть, тогда начинаешь видеть ее скрытую красоту и незаметные радости, как те скрытые за высокими кирпичными стенами маленькие садики, где англичане с необычайным вкусом и умением подбирают садовые цветы так, что они выглядят одновременно и ярко, и натурально. В нашей, так называемой Восточной Англии, где еще много земли, ферм, осенней охоты и прекрасного неба, мы повстречали многих интересных людей. И после многолетнего изучения книг индийского философа Кришнамурти я наконец поехала повидать его в его школе в Броквуд-Парке.

У меня был, не скрою, некий мистический страх и волнение перед этой встречей. Что Кришнамурти необычайно чувствительный медиум, любит шутку с посетителями и совершенно не похож в эти минуты на пророка, каким он выглядит (и является) во время своих лекций, я знала. Я все о нем знала, потому что давно прочла все им и о нем написанное. Но я знала также, что в жизни подобные люди носят маску, и то, что вы видите перед собой, есть только лишь внешняя кажимость.

Он сложил руки в индусском приветствии «намастэ», и мне сразу стало легко. Внешне он во многом старался выглядеть «человеком Запада», но, по существу, всегда оставался южноиндийским брамином. По-восточному вежливый до полного самоуничижения, он пригласил меня на прогулку. Этот маленького роста худой, как мощи, человек 88 лет гулял ежедневно несколько часов, и мне нелегко было поспевать за его стремительным шагом. Он помнил одно письмо, которое я написала ему лет десять тому назад, где я обещала «не задавать никаких вопросов, просто сидеть и молча слушать». Он ответил тогда, как ему это понравилось.

К сожалению, западные обычаи требуют беспрестанного разговора. На прогулке он шутил и обнаружил хорошее знакомство с политикой и с положением дел в СССР. Он следил внимательно за этой страной. Я сказала ему, что перевожу его «Дневник» на русский язык и что его проза на русском звучит просто прекрасно — может быть, оттого, что он так много страниц уделяет созерцанию природы, а это — в русской классической литературной традиции.

Я говорила, как мне хочется вновь побывать в Индии, на что он просто сказал: «Предоставьте это мне. Я помогу вам». Я верила, что он хочет мне помочь, но также сознавала вполне ясно, как оторван он от всех практических решений ежедневной жизни. Чтобы он смог мне помочь, нужно было, чтобы члены колоссального Треста, который издавал его книги и владел самим автором, согласились бы с ним. А в этом я совсем не была уверена. Шла какая-то скрытая вражда с индийским обществом Кришнамурти, все еще державшим копирайты его ранних книг. Все это было так далеко от маленького смуглого святого в джинсах и синем свитере, быстро шагавшего по проселку меж полей и звавшего нас всех к миру, любви и полному слиянию с природой. Хотелось забыть о копирайтах и прочем и просто идти вслед за ним, наслаждаясь этими редкими моментами.

Потом, когда мы все собрались в круглой аудитории, он вышел для лекции. Его нельзя было узнать. Какая-то сила наполняла его, глаза стали большими и горячими, голос звенел металлом. Он сидел прямо, вытянувшись, как струна, на жестком стуле со спинкой, и говорил нам — безо всякой тени вежливости и его обычной куртуазности, — какие у нас всех пустые сердца, как мы жадны, как глупы, как бесплодны его усилия вот уже более сорока лет повторять нам, что надо быть честным, искренним, видеть мир «как он есть» и не страшиться «узнать правду самому и для самого себя, одному, не полагаясь на авторитеты».

Посещение Броквуд-Парка было незабываемым. Восьмидесятивосьмилетний Кришнамурти остался в моей памяти более современным человеком, чем многие молодые люди: его мышление принадлежит будущему. Нам трудно угнаться за ним, потому что мы завязли в прошлом... «Освободитесь от прошлого, живите сейчас, в этот момент, теперь!» — повторял он в книгах и лекциях. Но это так трудно! Мы так влюблены в прошлое и в вековую обусловленность нашего мышления. Рецептов «внутреннего мира» Кришнамурти не раздает. Наоборот, то, что он говорит, требует большого усилия, внутренней борьбы, поисков, сражений с совестью, открытости ума и готовности принять свое собственное освобождение.

В девяносто лет он умер, но мы еще веками будем биться над его призывами: «Не верьте авторитетам. Узнайте сами. Я — не гуру для вас. Я только читаю эту лекцию». Он хотел, чтобы мы отрешились от всех наших идеологий, политики, пропаганды, от всех на свете «измов», от всякой организованной религии, от всех установленных веками и традицией норм поведения. «Тогда, — говорил он, — в вашу жизнь войдет непознаваемое, неведомое, огромное, как облако, горячее, как любовь, и вы пойдете за ним... Но вы должны прийти к этому сами, без жрецов и вождей. Только тогда вы узнаете, как это прекрасно».

Мы еще будем читать и изучать слова этого пророка, поскольку он передавал нам, конечно, не свое собственное слово. Я внесла свою лепту переводом на русский язык его чудесного «Дневника». Но Трест, заведовавший многомиллионными изданиями его книг, не проявил к переводу на русский никакого интереса. Это особенно удивительно, потому что Кришнамурти глубоко интересовался Россией, Советским Союзом и знал, что его там любит интеллигенция, в особенности физики и математики, читающие по-английски. Именно поэтому он принял меня: я говорила ему, как известен он был в СССР еще тридцать лет тому назад, и он был этим очень доволен.

Но над всеми этими и другими интересными встречами, поездками на острова, в Лондон, в Оксфорд, работой над новой книгой и переводом, заботами об устройстве нашей милой маленькой квартиры, посещениями Олиной школы и болтовней с Мэри-Кэйт неотступно стояло одно новое обстоятельство, не присутствовавшее в моей жизни более пятнадцати лет... Голос сына и его рассказы о жизни там, о моей дочери Кате, о внуках. Но главное — голос. И, как маленький ручеек размывает гору и понемногу уносит частицы песка и земли, пока вся гора не рухнет, так этот голос звучал все сильнее и сильнее и начинал постепенно заглушать собою все остальное.

Я сообщала сыну наш новый адрес и телефон при всех наших многочисленных переездах на новые места. Писала я всегда на адрес его медицинского института, куда письма должны были доходить с большей обязательностью, чем личная почта. Сообщила и теперь наш новый адрес в Англии, не надеясь ни на что, так как ответов никогда не поступало. Мою единственную попытку позвонить из Штатов — в 1975 году — пресекла телефонистка в Москве, заявив, что «этот номер не работает». Больше я и не пыталась.

И вдруг в нашей мансарде в Кембридже в середине декабря 1982 года раздался звонок. Незнакомый басистый голос сказал по-русски: «Мама, это ты?» — и я обомлела. Потом, испугавшись, что нас сейчас же неминуемо разъединят, начала спешно спрашивать что-то (не помню, что) и сокрушаться, что «голос-то совершенно непохожий, почему твой голос

так переменился?», забывая, что через пятнадцать лет изменяется все.

Последовали шутки по поводу моего английского акцента: «А ты разговариваешь по-русски, как иностранная туристка».— что, возможно, было правдой. Я с трудом подбирала русские слова. В ту пору мой английский был на довольно хорошем уровне, а русский был основательно подзабыт.

«Запиши мой телефон и звони мне»,—сказал сын, будто я была в Ялте на отдыхе. «А ты уверен, что это возможно?»—осторожно спросила я, совершенно обескураженная и звонком, и его уверенностью, и этим предложением. Телефон я, однако, записала. «Звони, когда хочешь!» — повторял он, понимая мое затруднение.

Я должна была, конечно, понимать, что с приходом Андропова к власти в Кремле возможны были перемены. Уж не одна ли это из них? Я знала своего сына слишком хорошо, чтобы поверить, что он затеял это все от собственной храбрости. Уверенность и спокойствие в его голосе говорили об официальном разрешении общаться нам теперь сравнительно нормальным образом, как общаются многие (но далеко не все) эмигранты и перебежчики со своими родственниками в СССР. Я положила трубку и стала думать.

Приближалось тогда Рождество — всегда радостное время на Западе, время надежд на будущее, семейных встреч, музыки, кэролс, взаимных посещений и обязательного подношения подарков. Наше с Олей первое Рождество в Англии прошло под знаком этого звонка. Мы потом сами звонили, и сын говорил с Олей по-английски, а я говорила с его новой женой Людой. Это было трудно, потому что мне всегда нравилась его первая жена, красивая полька Елена. Так было жаль, что они разошлись и она забрала мальчика... Потом я умоляла, чтобы мне прислали фотографию внука,—он был на год старше Ольги. Потом спрашивала о Кате, но не получила никаких подробностей, кроме того что «она геофизик, живет на Камчатке, замужем, и у нее дочка Анюта двух лет». На просьбы выслать мне ее последнюю фотографию было отвечено, что фотографий не имеется. Странно. Как это так? Не в близких отношениях, что ли, брат с сестрой? Странный голос у этой Люды. Первое, о чем она спросила меня, было:«Ну, так когда же повидаемся?» Я ответила: «Приезжайте когда хотите, покажу вам Англию».

Но это не вызвало никакого энтузиазма. «Да нет,— нетерпеливо перебила она.— Я говорю, когда же здесь увидимся?»

Это меня удивило, и я ответила, что таких планов у меня нет.

Звонки туда и обратно продолжались весь 1983 год, а затем и 1984-й. Мне было неожиданно трудно сочетать мою обычную жизнь за рубежом, ставшую для меня уже давно нормой, в особенности после рождения Оли, с этими вестями «оттуда». Я сделала невероятное усилие забыть, что там что-то и кто-то существует, почти перестала говорить по-русски, и мои заботы были все здесь. Теперь я вдруг узнавала новости и подробности о моих двух внуках, немного о Кате, а главное—не переставал звучать в ушах голос сына, какой-то совсем другой... А когда прибыла и его фотография, я поняла, что голос должен был быть иным.

Передо мной на фото был не тоненький элегантный мальчик с короткой стрижкой и юмором в глазах, нет, на меня смотрело стареющее лицо с мешками под глазами лысоватого, но, главное, совершенно подавленного человека. Я так испугалась этой фотографии, напомнившей мне моего брата—алкоголика в последние годы его жизни,— что немедленно позвонила в Москву и потребовала объяснений.

«Ты пьешь —сказала я без предисловий.— Я узнаю эти опухшие глаза. Мы их видели предостаточно». Сын смеялся, но ничего не объяснял. Голос его был теперь грубым, он часто сквернословил в письмах и по телефону, как это любил делать и мой брат. Что это— показная «близость к народу», как полагают сегодня многие советские интеллигенты? Он говорил, что его Люда «из простых и хорошо готовит». Так, может быть, все это, чтобы быть с ней в унисон? Он не был таким с Еленой — умной, красивой переводчицей с французского и польского языков. Вдруг стало

страшно за него. Внезапное сходство с моим братом, которое раньше не обнаруживалось, было тревожным знаком.

Я предложила, чтобы мы все встретились летом 1984 года в Финляндии, в каком-нибудь курортном месте. Советским разрешали довольно легко ездить в соседнюю Финляндию. Мне так хотелось видеть его, а не только слышать. Но он сказал, что это невозможно. Тогда я предложила, чтобы он просил правительство о посещении меня в Англии: всем было известно, что мы не виделись уже 16 лет. Разрешили звонить, может, разрешат и поехать? На недельку? Я все оплачу. Нет, он сказал, что это также невозможно. Значит, они полагают там оба, что я могу приехать. Но такая мысль была для меня все еще совершенно дикой.

Я ждала ответа от издательства «Даблдэй» о возможности публикации «Далекой музыки» в Америке. Заканчивала перевод на русский «Дневника Кришнамурти». Оля с восторгом наслаждалась своей комнатой в нашей квартирке, где все было просто, чисто, светло и так уютно и комфортабельно по сравнению с мансардой на Чосер Роуд. Окна выходили в Ботанический сад Кембриджа, прекрасные коллекции цветов и деревьев всегда были перед нашими глазами. У нас были милые соседи. Казалось, все постепенно входило в русло, и можно было бы радоваться жизни и тому, как хорошо мы устроились в этой новой для нас стране. В августе мы отправились снова на острова Силли, затерянные среди Атлантики, чтобы купаться в чистом океане, гулять по диким тропинкам на необитаемых островах этого крошечного архипелага, сидеть в прекрасном саду аббатства на острове Треско, забыв обо всем на Земле.

Однако по возвращении в Кембридж я обнаружила, что сын не провел своего отпуска на Черном море, как он обычно делал, а пробыл все это время в больнице. На мои вопросы он отвечал уклончиво, что только еще больше меня взволновало. Что-то было очень серьезное с его здоровьем—фотография только подтверждала это. Я любила старые фото Кати и Оси 1967 года, сделанные фотокорреспондентами в Москве, и они всегда стояли в моей комнате. Теперь они, казалось, говорили, укоряли, кричали на меня. Подсознательно готовясь принять мысль о возможности поездки в СССР, я написала Олиной тетке в Калифорнию, спрашивая ее, возьмет ли она на себя полную ответственность за племянницу, «если со мной случится что-либо неожиданное». Моей первой мыслью было не брать Олю с собой.

Но ответ мне ничем не помог. В отличие от своего порывистого искреннего брата, его сестра всегда подолгу обдумывала каждый шаг и слово, нередко советуясь с адвокатом. Теперь она просила, чтобы я предоставила ей письмо от врача, характеризующее мое состояние здоровья: была ли действительно какая-то серьезная опасность?.. Я вдруг совершенно разъярилась на весь американский образ жизни и мышления— такой деловой, такой бессердечный, как казалось мне в этот момент. Не могла же я сказать ей, что вдруг смогу поехать в СССР!

Смогу?.. Теперь надо было подумать об этом всерьез.

В интервью, данном в 1984 году в Англии «Обсерверу», я постаралась без обиняков сказать, как непереносима стала мне разлука с детьми и—теперь уже—двумя внуками. Мне хотелось, чтобы публика поняла, как это важно для меня. Но корреспондентка нажимала больше на политику и пропаганду, на все то, что она считала важным в моей жизни... Статья была длинной, сумбурной и совершенно не отражала (как это всегда бывает) реальностей моей жизни. Хотя она приводила дословно мои слова, в общем контексте статьи невозможно было уловить этой ноты.

Позже мне часто думалось, что, если бы мы жили в США, мы обе не испытывали бы такого чувства оторванности, которое наполняло нас в Англии. Здесь мы были чужестранцы, эмигранты. Никому и в голову не приходило считать меня американкой, хотя у меня было шесть лет натурализации и в Америке я была «одной из нас» уже давно. Даже Ольгу здесь считали какой-то полурусской эмигранткой, хотя она все еще не знала ни слова по-русски и продолжала, как всегда, считать себя американкой.

В Америке вас немедленно же включают в общую жизнь, и вы стано-

витесь частью ее, хотите вы этого или нет. В Англии вам этого никто не предлагает, ибо принадлежность к британской нации священна и ее не бросают к ногам каждого приезжего. Прибывших на Острова после Второй мировой войны хватает с избытком, и у них имеется законное право считать, что они — дома. Оля попала только в интернациональную школу именно потому, что по законам бюрократии мы принадлежали к этому «второму сорту». Учебные заведения высшего класса — для урожденных британцев, а не для нас. Это ощущение было не всегда приятным, но мы сжились с ним в силу привычного интернационализма и отсутствия ложной гордости.

Однако чувство дома было здесь нами утеряно. Возможно, что чувство, которым мы долго наслаждались в Америке — в Принстоне на Вильсон Роуд, в Калифорнии, в Висконсине, — удержало бы меня от мечтаний о «доме и семье» там, далеко, где я их оставила, в СССР. Теперь же наш американский дом не существовал более; и как ни приятна была традиционность старой, прекрасной страны, как ни восхищала красота средневекового Кембриджа и вековая история Лондона, мы все-таки чувствовали себя здесь пришельцами. Даже в малопереносимой Аризоне мы были — в свое время — дома. Сейчас же чувство отчуждения возрастало с каждой минутой и определенно помогало тянуться к тем, кто остался так далеко: к дочери, сыну, но сильнее всего — к двум внукам.

Помня отличные школы на английском и французском языках, открытые в Москве во времена Хрущева, я надеялась, что именно в одной из них Ольга сможет найти дружественную среду. Пропулярность Америки среди молодежи всегда была сильна в СССР, и отношение к девочке, безусловно, было бы дружеским, думала я. И уж, конечно, воображение рисовало теплые, даже горячие объятия, в которые заключат Олю брат, сестра и племянник (то есть мой внук Илья), почти ее ровесник. У нее сразу же появятся кузены и кузины — мои племянницы и племянник. Она встретит четырех «витязей прекрасных» — моих двоюродных братьев Аллилуевых, приходящихся ей дядьками. И все это венчает, полагала я, ее тетя Кира Аллилуева, моя кузина, актриса на пенсии — веселая, беззаботная душа, любящая молодежь. В своих мечтаниях я не видела ничего, кроме любви, которая, несомненно, окружит тринадцатилетнюю девочку, всегда так искавшую любви родственников, но не находившую ее среди своих американских братьев и кузенов. Но как подать ей эту мысль?.. Она не раз уже выражала интерес к кратковременной встрече с братом и сестрой «из России», даже говорила о том, чтобы поехать туда «ненадолго». Но как она встретит идею о «насовсем»?..

Ни на одну минуту не возникала в моих мыслях даже возможность, что встреча может оказаться для нас обеих недружелюбной. Тут работал со всей силой мой идеализм, и ничего, кроме любви, он мне не обещал. Ну, а уж если будут любовь да согласие, так со всем остальным мы там как-нибудь справимся. Все остальное, то есть реальности советского строя и общества, как-то отступило в моем сознании на второй план. Я думала лишь о людях, которые были там и были так нужны и дороги.

Правда, сын уже высказывал по телефону какие-то туманные сомнения насчет того, «напишет тебе Катя или нет». Почему-то он вообще мало что о ней знал, по-видимому, видел ее крайне редко и не очень много смог мне о ней сказать. Но я все еще видела свою Катю шестнадцатилетней девочкой, любящей и близкой мне. Несомненно, что такой же она будет и по отношению к своей сестре. Никаких иных возможностей просто не могло быть. Поразительно, как ум подтасовывает факты, предлагает доказательства, когда сердце уже приняло решение.

В сентябре Ольга отправилась в свой пансион после летних каникул, которые мы провели с ней вместе на островах Силли в Атлантическом океане. Я только что приобрела наконец деревянный круглый стол, который должен был играть роль обеденного стола в нашей большой комнате. В углу ее находилась «кухня» (плита и холодильник), а остальное пространство занимала «гостиная плюс столовая, плюс кабинет» — по современной планировке этих небольших квартир. Стол был сделан в Югославии: сосновый стол, импортированный в Англию. Фотографии сына и дочери всегда стояли на самом видном месте, где бы мы ни жили. Сейчас они смотрели на меня с полок секретера, поместившегося меж двух высоких окон, смотревших на Ботанический сад Кембриджа.

Я знала, что надо было что-то решать. Я знала, что поездка в СССР будет воспринята повсюду в мире только с политической точки зрения и что меня все будут поливать помоями. Чувства матери? Да кто этому поверит?! Не в силах больше молчать, я отправилась к знакомой на Чосер Роуд на чашку чая и спросила ее за столом: «Могли бы вы жить, не видя своих внуков? Или детей? Не показалась бы вам тогда ваша жизнь бесцельной?» Она серьезно посмотрела на меня и ответила: «Нет, я бы не хотела для себя такой жизни». Для меня в этих словах был ответ.

Дома я позвонила по телефону Владимиру Ашкенази, который был до тех пор всегда хорошим другом. Мы часто встречались во время его гастролей в Америке и в Англии. Он всегда находил для меня время, хотя был безмерно знаменит, занят и быстро уставал. Сейчас, слушая по телефону мой довольно бессвязный монолог, он едко заметил: «Ну, знаете, если вам здесь не нравится и в Штатах не нравится, так не поехать ли вам обратно в Советский Союз?»

Меня уязвил его тон: еще смеется! Хорошо ему, вся семья и дети с ним, живет королем в Швейцарии, повсюду резиденции... И я ответила в его же тоне: «А что ж, возможно, и воспользуюсь вашим советом». И повесила трубку.

Чем больше я понимала рассудком, каким шоком для всех окажется наша поездка в СССР, тем больше логика сердца настаивала на ней. Я даже заглянула в астрологический прогноз на ближайшие дни. Он советовал «не предпринимать никаких серьезных решений, так как ясное понимание сейчас затуманено».

«Глупости!» — сказала я сама себе. И села писать письмо советскому послу с просьбой разрешить мне возвращение.

Наконец — сын

Дорога в город из аэропорта Шереметьево долгая, и, насколько я припоминаю, раньше она шла через леса и сельскую местность. Теперь же мы очень скоро въезжаем в полосу пригородов Москвы, и уже нет никакого отдыха от монотонности одинаковых многоквартирных блоков, тянущихся без конца и без края. Я как-то ничего не узнаю из того, что знала об этих местах. Все переменилось, все стало чуждым. Только ближе, когда начинается Ленинградский проспект, узнаются некоторые старые здания и очертания. Все это странно, как в сновидении. Вот старые аллеи Ленинградского проспекта, старые дома...

Встречавшая нас представительница Комитета советских женщин, не умолкая, объясняет мне размах строительства и прочее — как это и следует объяснять туристу или всем тем иноплеменным женщинам, которые приезжают в Москву на конференции и которых она, несомненно, встречает вот так же, с букетиком в руках... Бедняжка! Зачем ей велели встречать нас? Ей трудно, она совершенно теряется, как с нами говорить. «Мы вас поместили, как наших гостей, в старую гостиницу «Советская», — находит она наконец тему. — Здесь останавливаются только советские гости и некоторые наши зарубежные друзья. Иностранную прессу вы здесь не увидите». Понятно. Это очень мило с ее стороны — оградить нас от прессы. Что-то я не помню, чтобы в Москве безумствовала пресса... Но, возможно, времена переменились. (Это подтвердили дальнейшие события.) Странно звучит в ее устах слово «иностранцы». Нас с Олей она уже считает советскими. Так, значит, мы — официальные гости Комитета советских женщин. В чем еще это выразится? Как трудно вот так, неожиданно, переключиться в советскую жизнь и охватить все значение этих ее слов. Как я забыла все, как вошла полностью в совершенно иные правила жизни. «За вашу комнату уплачено, не волнуйтесь об этом», — добавила она. Ее рассмешило, что в аэропорту я по привычке искала обменную кассу, чтобы обменять фунты на рубли. Она мне и подумать об этом тогда не дала, а потащила к выходу, пробормотав только: «Ах, да оставьте вы это...» Предрассудки ваши оставьте, это у вас там, в Америке — деньги, а нам тут

деньги не нужны! Эта же мысль отражалась на ее лице и теперь. Она меня презирала и жалела.

Однако мне было не до этого. Через несколько минут мы встретимся с моим сыном, его женой... У меня кружится голова от этой мысли. Хорошо бы избежать зрителей... Чтобы никого не было вокруг, никого.

Ольга озирается на огромный город. Она видела Нью-Йорк, Лондон, но обычно мы всегда жили в маленьких городках или пригородах. Это для нее — громадный город, через который мы едем вот уже около часа. Любопытство в ее глазах — скорее знак положительный. Она не угнетена.

Наконец — беломраморное громадное фойе гостиницы «Советская», куда мы входим через крутящуюся дверь. И там наконец я вижу Осю. Он идет мне навстречу с раскрытыми руками. Мы обнимаемся и стоим так, ничего не говоря, посреди этого зала. Там также его отец, Гриша, которого я совсем не ждала увидеть. Рядом с Гришей стоит полная высокая женщина лет под пятьдесят, с седеющими волосами, и я полагаю, что это его дама. Но вот мой сын берет ее за руку и подтягивает ко мне со словами: «Мама, это — Люда».

Я обнимаю и ее, она обнимает также Олю, и я не хочу ничем выдавать своего шока — она выглядит намного старше моего сына, а образ Елены, его первой жены, почему-то неотвязно стоит перед глазами. Ладно, ладно, он ведь сказал тебе уже, что счастлив, что она хорошо готовит, не суйся, не суйся не в свое дело, одергиваю я себя. Но что-то в Людином лице никак не дает мне успокоиться. Слава Богу, что Гриша здесь!

Он все делает простым и легким, насколько это возможно в наших обстоятельствах. Он уже болтает по-английски с Ольгой, он идет вперед, он говорит, что нам теперь делать, куда идти... Иначе мы все так и застыли бы там, посередине этого фойе на беломраморном, плитчатом, скользком полу. Ольга как-то очень тиха, брат не подошел к ней и не обнял ее, но, может быть, это все еще впереди. Гриша ведет нас к лифту. Спасибо, что ты пришел.

В громадном двухкомнатном номере (неимоверная роскошь по советским стандартам) мы продолжаем натыкаться друг на друга, бессвязно бормоча какие-то слова. Ведь Ося говорит по-английски, почему я не слышу этого? Он не обращается в сторону Ольги. Люда пошла в ванную налить воды в вазу для цветов: «А то завянут». Практичная. Так и надо в эти времена. Гриша, который уже обо всем распорядился, заявляет наконец, что нам следует «освежиться с дороги», а потом нас ждет стол внизу, в ресторане.

«Это же бывший «Яр»! — сообщает он радостно. — «Яр», помнишь? Цыгане, гитары». Ничего я не помню. Какой «Яр»? При чем тут «Яр»? При чем тут цыгане? Гриша выглядит самым счастливым из всех нас и наслаждается ролью распорядителя. Слава Богу, слава Богу, что он здесь.

В ванной Ольга поворачивается ко мне со злыми глазами и произносит: «Он только посмотрел на меня сверху вниз, потом снизу вверх и не сказал ни одного слова...» «Он не обнял тебя?» «Нет». Ничего, ничего, не будем волноваться и сразу же делать выводы. «Деточка, он в обалдении. И я также. Ты пойми!» Она не отвечает. Ничего, ничего. Давайте не разваливаться на части, давайте будем п р о д о л ж а т ь, ведь надо же продолжать и продолжать эту встречу, теперь уже, по-видимому, б е с к о н е ч н о...

В ресторане мы садимся за длинный под белой скатертью стол, на котором уже стоят закуски, селедка, салаты, винегреты и батарея бутылок. Ося садится слева от меня, и мы держимся за руки — хоть это напоминает мне, каким он б ы л. Он совсем не такой, каким он б ы л. Теперь я вижу это ясно. Он выглядит старше своих тридцати девяти лет, лысоват, полноват в талии, ничего не осталось от молодого стройного мальчика с веселыми глазами... Вот рука как будто еще е г о, и мы молча сжимаем руки. Говорить трудно, так как хор, помещающийся ярусом ниже, беспрестанно что-то орет и музыка запущена на всю мощь усилителей. Я беспомощно смотрю на Гришу, и он разводит руками — мол, знаешь сама — и уже накладывает что-то в тарелку Ольге, которая, слава Богу, сидит рядом с ним, напротив меня. Гриша наливает всем в о д к и — потому что вот так встречают сына после семнадцати лет разлуки... Я не пью этот яд, никогда не любила водку, но тут приходится подчиняться правилам и традициям: нам

всем надлежит напиться, упиться, лишиться всякого рассудка, плакать горючими слезами, обниматься, целоваться и р ы д а т ь друг у друга на плече... В силу своей образованности мы не можем себе этого позволить, но мы все-таки напиваемся в этот вечер как следует. Нельзя даже и помыслить, чтобы этого не произошло.

Я все время держу в своей левой руке правую руку сына и нахожу, что и рука изменилась. Она была худой, с длинными пальцами, такой изящной. Теперь пальцы стали короткими и толстоватыми — возможно ли такое? Совсем и н а я рука. Я смотрю на него, он смотрит на меня, мы молчим. Гриша ведет весь разговор, переводя кое-что и для Ольги. Он смотрится прекрасно в свои шестьдесят три, хорошо одет и выглядит почти что м о л о ж е нашего сына... Завтра, говорит он, мне предстоит встретиться с разными людьми и начать все разговоры о школе и так далее... Если я буду в состоянии делать это завтра, после всех этих непрерывных возлияний. Завтра безо всяких там эмоций надо будет иметь свежую, ясную голову. Но сегодня мы все, по-видимому, «празднуем»... Я смотрю на Ольгу, ковыряющую вилкой винегрет в своей тарелке. Гриша подливает ей лимонаду. Потом кладет ей кусок жареного мяса с картошкой. Она молчит. Ей только тринадцать с половиной лет. Ее брат не сказал ей пока что ни слова.

Встреча с властями

На следующий день к нам пришел бывший однокурсник Гриши по Институту международных отношений, а ныне преуспевающий советский дипломат и зять Громыко. Мы были знакомы, в общем, около сорока лет и могли разговаривать без формальностей. Он принес громадную коробку шоколадных конфет для Оли и бутылку шампанского, которую мы тут же распили. После этого он весьма дружески назвал мне ряд лиц в иерархии министерства иностранных дел, хорошо известных ему, с которыми он советовал мне установить связь. «Звоните им или их женам когда угодно, вас выслушают и дадут совет», — говорил он. Потом назвал имена официальных представителей правительства (тоже мидовских), которые должны появиться, чтобы помочь нам начать п р и с п о с а б л и в а т ь с я к советской жизни. Я задала несколько волновавших меня вопросов о школах на иностранных языках, но он очень мягко и дипломатично дал мне понять, что в с е в о п р о с ы мне надлежит задавать и обсуждать именно с теми двумя, которых мы скоро встретим. «Я только передаю тебе новости. А там — будь уверена, что тебе пойдут навстречу во всем! Все так рады твоему возвращению. Я всегда помнил тебя, еще со студенческих лет в университете. Помнишь семинары профессора Звавича?» Тогда у него была другая жена, и он сказал, что их сын теперь также преуспевает на дипломатическом поприще. Ну, безусловно, нашим детям было теперь уже под сорок лет!.. Он ушел, оставив после себя благоухание хорошего мужского одеколона и впечатление дружелюбия.

Затем мы встретились с двумя из МИДа, с представителями Совета министров и с министром школ * — и начался процесс у з н а в а н и я моей бывшей страны. Я совершенно отвыкла от советского образа жизни и возвращение к нему, к его обычаям и нравам было для меня сейчас так же трудно, как и для ничего не понимавшей Оли.

Министр школ была молодой, энергичной женщиной, очень приятной и открытой в обращении — совсем как молодой Андропов, посол СССР в Афинах. Она совершенно подкосила меня сообщением, что «английские школы уже давно закрыты, как эксцентричная выходка Хрущева. Теперь даже учебники этих школ трудно найти». Это был серьезный удар, так как создавалась опасность, что Оле не удастся найти легкую дружескую среду сверстников. Было предложено, чтобы она усиленно начала заниматься русским языком сейчас же, с завтрашнего утра... Преподавательница есть. Она говорит по-английски, так как готовила индийских студентов к поступлению в советские университеты.

Пока я выясняла все это, Олю увела в другую комнату миловидная молодая учительница Наташа, преподававшая английский и литературу в

* Речь идет о министерстве просвещения (Прим. ред.).

одной из школ, куда думали сейчас же послать Олю. Однако Наташа оказалась человеком нового воспитания. После часового разговора с Олей по душам она вынесла вердикт: ни в коем случае не насиловать девочку, не заставлять ее идти в советскую школу, так как это может вызвать «нервное потрясение у ребенка». Услышав такие слова, я поняла, что прогресс уже пришел в СССР: в мои дни никто не думал о таких вещах. Наташа пришла вместе с Олей, у обоих были красные от слез глаза, и, к счастью для всех нас, министр школ приняла рекомендацию детского психолога, которым также оказалась эта Наташа, как руководство к действию.

Однако власти н а в е р х у, по-видимому, настаивали, чтобы Оля немедленно же уселась в класс. Поэтому нам решили показать несколько школ с «углубленным преподаванием английского языка», то есть где дети могут объясняться по-английски.

Директор первой такой школы встретил нас с нескрываемым ужасом. Он прямо заявил мне, пока Олю водили по классам, что «будет очень трудно, очень трудно для нее и для всех нас!» Произнес он это с таким выражением, что мне стало понятно, что именно он имел в виду: Олиного дедушку, чьей тени он не желал в своей школе. Мне было жаль бедную Ольгу — мою американку, — что из нее тут делали эти примитивные политики. Но, с другой стороны, нам легче было знать, что школа ее не желает. Это даже помогало нам теперь настаивать, чтобы ее оставили заниматься дома!

Другая школа принимала ее с распростертыми объятиями, но там ученики совсем не говорили по-английски и учителя также. «Ничего! — сказала радостная директорша. — У нас тут вьетнамские дети поступают — ни словечка не знают, а смотришь, через полгода уже заговорили!» Я сказала, что спасибо, нет, мы лучше не будем экспериментировать.

В третьей школе за Олю так серьезно ухватились директор и завуч, что пришлось с ними воевать. Очевидно, они поняли «инструкции и пожелания сверху» и решили, что «справятся с задачей». Завуч с металлическими глазами и хорошим знанием английского так напугала Олю всем своим тоном холодного учителя (этого она до тех пор еще не видела), что Оля начала умолять меня не посылать ее туда. Я и не собиралась посылать ее в эту показушную школу, куда приводили каждого иностранного гостя, чтобы посмотреть на «советских ребят», немного упражнявшихся в английском языке. Тут и Олю будут показывать как достопримечательность — смотрите, мол, как мы ее быстро перевоспитали! Нет, несмотря на бассейн для плавания — редкость в советской школе неслыханная, — сюда-то уж она никогда не пойдет, решила я. А в другой школе вышел курьез: Олю отправили осматривать классы вместе с девочкой из Австралии, учившейся тут и свободно говорившей по-английски. Когда они вернулись, я заметила веселые искорки в ее глазах. «Все хорошо», — ответила она на вопросы учительниц. А дома Оля рассказала мне совсем иное: «Знаешь, эту девочку родители привезли сюда еще ребенком. Теперь она только и мечтает окончить школу, стать переводчицей, выйти замуж за иностранного туриста и уехать с ним отсюда!» Оля была взволнована такой предприимчивостью и храбростью, а я подумала: как это трогательно, что девочка захотела предупредить Олю по-своему. И не стала ей лгать.

Я заверила Олю, что ее ни в коем случае никто не станет посылать насильно в школу, но что ей придется начать учить русский язык. На это у нее не было возражений. Главное — нужно было немедленно же з а н я т ь ее голову работой, тогда она погрузилась бы в полезную деятельность, а это только содействует положительному отношению к жизни. Сказать по правде, я не подозревала, что через 30 лет после смерти Сталина политические страсти вокруг его имени все еще так накалены (даже больше, чем раньше) и что моя Оля окажется жертвой борьбы вокруг этого имени.

Мы старались тем временем повидать как можно больше родичей и друзей, чтобы хоть как-то загладить холодный прием, оказанный ей сыном, и полнейшее молчание Кати, моей дочери.

Казалось, все было хорошо по туристической части, и Оля осталась очень довольна осмотром Кремля, но не Третьяковской галереи, где репинский «Иван Грозный, убивающий сына» показался ей настолько ужасным, что она долго боялась увидеть эту картину во сне...

Большой театр ее особенно не потряс, но она просиживала часы перед советским телевизором, вперяясь в старые советские музыкальные комедии, наслаждаясь песнями и незнакомыми лицами и пытаясь догадаться о происходящем без знания языка. Казалось, телевизор и кино раскрывали ей смысл новой для нее страны куда лучше, чем гиды-переводчицы. Занятия же русским языком она встречала теперь каждое утро с интересом. До этого она немного знала французский, и еще один новый язык занимал ее. А я все еще надеялась, что как-то все о б р а з у е т с я, как-то уладится и что мы наконец окажемся с Олей в атмосфере семейного тепла. Хотя первые признаки того, что это может оказаться лишь беспочвенным мечтанием, были уже налицо.

Тем временем правительство начало оказывать на нас давление. До сих пор все шло очень гостеприимно и щедро; теперь — пожалуйте расплачиваться. Как говаривал один мой старый всезнающий друг: «Здесь вход всегда бесплатный; расплачиваешься при выходе».

«Наверху» прекрасно понимали, что, пока я не вступлю в контакт со старшей дочерью Катей, я все еще буду находиться в неопределенности относительно наших дальнейших планов. Поэтому на нас начали нажимать немедленно же, пока мы все еще были в растерянности. Мы не могли тут же уехать...

Двое из МИДа оказались сравнительно молодыми бюрократами: один — брюнет цыганистого вида с приличным знанием английского языка, другой — с розовыми щечками и голубыми глазами — говорил только по-русски, очевидно, из чувства патриотизма. Они оба немедленно же заявили, чтобы я подала прошение о восстановлении меня в гражданстве СССР и о «принятии дочери Ольги» в таковое. Последнее меня удивило — уж очень скоро они все захотели, да и двойное гражданство Ольги, уроженки США, было бы очевидным.

«Нет! — твердо заявили Розовые Щечки. — Мы не признаем двойного гражданства». «Нет, нет, не признаем», — вторил ему брюнет. Я даже рассмеялась непочтительно. «В мире существуют случаи тройного и более гражданства, я сама встречала таких людей в Америке. Мир сегодня в движении, люди больше не живут на одном месте всю жизнь!»

«Советский Союз ничего подобного не признает. Получив однажды советское гражданство, советский гражданин остается советским гражданином при всех обстоятельствах!» Я поняла, что это был просто один из тех моментов, когда в СССР полагают, что могут трактовать интернациональные правила и законы по собственному желанию. Пережитки гоголевских времен. Собакевичи. Чего с ними спорить: бесполезно. «У Ольги останется навсегда двойное гражданство», — повторила я. В этот момент было предельно ясно, что, несмотря на все вежливости и щедрости, мне дают понять — где я и к т о решает нашу судьбу. Я решила делать т о, ч т о от нас требуют, потому что в данных обстоятельствах просто не было иного выхода и потому, что я в с е е щ е надеялась как-то урегулировать все наши семейные дела.

Поэтому я написала заявление, которое мне буквально продиктовали. У меня не было никакого оружия, чтобы сражаться, и нервы были на пределе. А к формальностям особого почтения я никогда не питала.

Гриша согласился со мной, что «положение серьезное». Но теперь он, будучи опытным дипломатом на поприще международного права, с прекрасной карьерой, с поездками за рубеж, лекциями и прочими атрибутами «достижений», не хотел, конечно, вступать в борьбу. Он все еще полагал, что я такая же, как была сорок лет тому назад, не желал думать о моем американском опыте. Я же видела, что мне сейчас не под силу вступать в сражение с властями, так как самым важным было как-то обеспечить Ольге сносное существование. Я написала поэтому в с е, как мне продиктовали.

Весь процесс, обычно занимающий месяцы, завершен был в два или три дня. 1 ноября 1984 года Верховный Совет подписал указ, а приехали мы сюда только 25 октября. Скорость неслыханная *.

Затем один из наших опекунов пришел, чтобы взять наши американские паспорта и, как он выразился, «вернуть их в посольство США». Тут я поняла, что последует немедленная реакция — и она последовала.

* Официальный выход наш из гражданства СССР занял потом два года и завершился, наконец, 7 апреля 1988 года.

Мы узнали — вернее, догадались о ней — по тому факту, что возле входа в гостиницу на следующее утро собралась толпа иностранных репортеров, аккредитованных в Москве. Как ни в чем не бывало мы вышли в тот день, чтобы ехать смотреть еще одну из московских школ. Вдруг молодой человек в лыжной шапке с телевизионной камерой на плече приблизился к Ольге и спросил ее по-английски: «Вы Ольга Питерс?» «Не говори с ними!» — крикнула я, схватила ее за руку, и мы проголопировали назад в гостиницу. В последующие дни было невозможно выйти из гостиницы — нас ожидали внизу репортеры. Я пошла одним утром (пока Оля занималась русским языком) к своему кузену Сереже Аллилуеву — всего несколько кварталов от гостиницы, — но потеряла дорогу. За мной следовал высокий могучий чекист в штатском. Через несколько минут появились те репортеры с телекамерой на плече. Я просила их уйти. Чекист начал толкать их кулаками, и один чуть не упал. Я кричала на чекиста по-русски, чтобы он остановился, на репортеров — по-английски, чтобы они ушли (в СССР не дают интервью на улицах), но обе стороны упорствовали. Тогда, потеряв терпение, я «послала» его по-русски, а их по-английски, совершенно не думая о том, что смогу попасть в таком виде на экран... Оказывается — попала, но отрезали этого чекиста. Так что непонятно было, почему я так разозлилась. (Об этом я узнала после возвращения в США.)

Затем наши опекуны из МИДа доставили мне в гостиницу письмо от консула США. Его показали мне издали и в руки не дали, так как там был указан телефон, по которому я могла позвонить в консульство... Запомнить телефон с одного взгляда я была не в состоянии, но письмо говорило о том, что мне было хорошо известно: что для меня и моей дочери американское гражданство остается в полной силе, пока мы не пожелаем от него публично отказаться, — в присутствии посла США и под присягой. Значит двойное наше гражданство является теперь фактом, хотя советские спорили со мной! Письмо унесли, не оставив его в моих руках. Я не сопротивлялась и не поднимала шума; теперь надо было както сохранять силы для дальнейшего.

Я официально попросила власти дать мне возможность провести пресс-конференцию, на которой я надеялась ответить на возникшие вопросы. Мне хотелось прояснить обстановку, рассказать, что наша поездка продиктована чисто личными соображениями и что не следует делать из нее больших политических выводов.

Мне было сказано — написать мой текст по-русски, чтобы затем его перевел переводчик. Это делается для того, чтобы переводчик мог интерпретировать текст по-своему, а также чтобы исключить какое-то ни было прямое общение между мной и репортерами... Ведь все же знали, что я могу говорить по-английски.

Это была комедия. В появившихся затем сообщениях советских газет значилось, что якобы я сказала, будто «была дрессированной собачкой Си-Ай-Эй». Я вообще не упоминала Си-Ай-Эй ни разу, но действительно сказала, что «ко мне относились хорошо, я была любимицей — a pet». Вот это слово и было превращено затем Агентством «Новости» в «дрессированную собачку». Не знаю, удалось ли мне дать понять публике, что мы ехали на встречу с семьей... Репортеров было очень мало, главным образом — из стран Восточной Европы. Дальше в печати стали появляться даже приписываемые мне заявления вроде «я ненавижу Америку»*. Я знала, конечно, что все будет переврано, что весь мир против меня в эти дни, но все же пыталась объяснять снова и снова, что «поездка была вызвана только чисто личным желанием соединиться с семьей, детьми и внуками.

После этого мне позвонил ужасно рассерженный на меня Федор Федорович Волькенштейн (старый друг, которому были адресованы «Двадцать писем») и ругал меня так, как будто я действительно сказала все эти глупости о Си-Ай-Эй и т. п. Я пошла его повидать — мне было обидно, что он так огорчен.

В высоком здании у зоопарка он жил теперь с компаньонкой, смотревшей за ним; жена его умерла. Я долго ждала у двери, пока не услышала шарканья домашних туфель по полу. Это был страшный, незнакомый звук. Мне сказали, что Фефа очень постарел и серьезно болен. Но он был все таким же внутренне и был рад меня видеть. Мне пришлось уверять его, что я не говорила ничего подобного.

* Все это я узнала позже, по возвращении в США через два года.

Он долго молчал, потом сказал с силой: «Зачем ты приехала? Мы все привыкли к тому, что ты живешь за границей. Твои дети в порядке — ты же знала это. Что ты будешь теперь здесь делать? Ты видишь, как твой приезд использовали для пропаганды? Ведь тебе-то этого не нужно!»

Я молчала. Он прав, конечно, как всегда. Я еще не могла сказать ему «мы уедем», так как я все еще надеялась. Это было жестоко — не давать мне права любить своих детей. Но он был прав. Это я тоже знала.

Все в комнате было как тогда, больше двадцати лет назад. Портрет молодой, цветущей Наталии Васильевны на стене, — Фефа всегда сидел, стоял, говорил, как бы не выходя из поля зрения больших серых глаз своей матери. Безусловно, Фефа помнил их собственное возвращение из эмиграции в 1922 году, когда его отчим, Алексей Толстой, и мать, Наталия Крандиевская, решила вернуться в советскую Россию. Фефа потерял мать, навсегда разошелся с Толстым, сделавшимся советским вельможей. О, Фефа знал, что говорил! Возвращение — это иллюзия. Он был очень болен. При таком состоянии здоровья никто не притворяется и не пытается говорить приятные вещи. Федор Федорович Волькенштейн умер всего лишь через несколько месяцев.

Я чувствовала в те дни, что погружаюсь в какие-то темные воды, как это бывает в дурном сне, когда все затопляется и знаешь, что тонешь. Кошмары о потопе — говорят психологи. Глубоко подсознательная вещь. Вот так именно я и чувствовала себя в те дни.

Тем временем власти решили, что пора нам «осесть» — переехать из гостиницы (где мы жили уже несколько недель) и отправить Ольгу в ту самую показушную школу с плавательным бассейном, где она боялась завуча, — и нам была предложена колоссальная квартира в доме рядом: в новом доме, выстроенном недавно исключительно для членов Политбюро и их семей. Квартира покойного Пельше — более девяноста квадратных метров — была показана нам. Ольге понравились довольно модерновые интерьеры, великолепный вид на Москву открывался сверху, с какого-то -надцатого этажа... Но она ничего не понимала: жизнь там была бы как в клетке, с постовым у дверей, при входе.

«Начинайте жить!» — сказал официальный представитель, показывавший нам это великолепие, как будто до того мы еще никогда не существовали. По советским стандартам это был верх роскоши. Это был также верх — дальше некуда — того состояния постоянной показухи, в которой нас, по-видимому, решили теперь держать: дом был рядом с этой показушной школой, на Спиридоньевке, то есть совсем рядом и с Домом приемов МИДа, который посещает в различных обстоятельствах весь московский дипкорпус, все иностранные корреспонденты. Как ни оторвалась я от московской жизни, но тут уж даже мне было ясно, что это будет у нас за жизнь. И я сказала вежливо, что «это все прекрасно, но слишком обширная площадь для нас двоих» и что мне надо подумать.

«Подумайте, подумайте! — бодренько отозвался представитель Совмина. — Хватит уж вам кочевать. Вот и дочке понравилось здесь, да?» — сказал он весело и получил в ответ фотогеничную улыбку, без которой в Калифорнии не рождается ни одна девочка. Он истолковал это как знак согласия. Но я-то понимала, что если мы сейчас примем вот этот статус, предлагаемый нам, этот образ жизни, то мы обречены. Потому что впоследствии мы будем существовать в этой золотой клетке и моя дочь будет первой, кто взбунтуется против такой жизни. Мне дали еще некоторое время, чтобы подумать.

Дела семейные

В то же самое время мы общались с семьей сколько могли. В квартире сына меня встретила моя старая мебель. Так странно было видеть эти кресла, диван-кровать, письменный стол, книжные полки с моими

книгами — они глядели на меня в упор, как из какой-то сюрреалистической картины... Все это собиралось по крохам в 50—60-е годы: венгерские кресла для гостиной, чехословацкая спальня, белые крашеные полки для книг, сделанные плотником на заказ... В Москве никто особенно не печется о таких вещах, а я так и не научилась за годы жизни на Западе «болеть» за собственность и недвижимость. Но видеть все снова было так страино. Никаких сентиментальных ощущений, скорее какая-то онемелость, отчужденность.

Пришел мой внук, и наконец я смогла разглядеть этого приятного пятнадцатилетнего высокого подростка. Он походил иа отца Елены, своей матери. Ничего общего с моим сыном я не нашла в нем, он был как-то странно «не мой внук» — очень холоден, смущен, не знал, куда девать руки, куда смотреть. Ольга преподнесла ему кроссовки и сумку «Адидас», купленные ею в Афинах, — он не проявил никаких эмоций. Ее шокировало это, ведь это была ее собственная идея, она сама выбирала... В Америке дети всегда бросаются на любой подарок и горячо благодарят, здесь же принято не выражать чувств. Общение между ними не получалось, хотя Илья знал английский, а Ольга понимала немного по-французски. Пришел снова Гриша и как-то сгладил всю натянутость обстановки своей веселостью и добродушием; мы бы все без него заледенели.

Опять были закуски к водке и питье оной. Казалось, как только в этом доме садились за стол, так начинали пить. Сын сказал, что у него повышенное давление и гастрит. «Так что же ты не соблюдаешь диету?» — спросила я молодого врача. «Тебе творожок надо есть!» — сказала я, глядя на его хозяйку. «А мы творожок не любим!» — сказала она, немного кривляясь. Сын промолчал. Очевидно, она решает, что они должны есть и пить.

Мы ездили к ним на дачу в Жуковку — это была та самая дача, где я жила в 1966 году, перед отъездом в Индию. Нахлынули воспоминания тех дней о больиом Браджеш Сингхе. Боже, как это было давно! Тогда сюда приезжали к нам послы Тикки Кауль и Мурад Галеб с женой. Ося и Катя были еще подростками, такими легкими, послушными, на зависть всем матерям... Елена тоже приезжала в гости.

«Где такую невестушку-то откопали?» — спросила я Гришу, улучив миифуту, когда мы были одни. «Не говори! — замотал головой Гриша. — Когда Елена ушла, забрав ребенка, и он начал пить с горя, кто-то был необходим ему как нянька — вот она и появилась... Мы все говорили ему — только не женись! Но он сделал, как хотел. Она, конечно, теперь заправляет всем, сильная баба. Не в моем вкусе!» — сознался Гриша.

Невестушка тем временем громко и раскатисто хохотала, подливая водки и накладывая маринованных грибов, картошки, селедки — всех тех яств, которыми славится русская выпивка. Ольга сидела, вперившись в телевизор, — слава Богу, это ее занимало. Мне захотелось сказать нечто приятное Люде, и я сказала довольно опрометчиво: «Знаете что, Люда, если хотите — называйте меня мамой». Она ответила, вдруг взглянув на меня острым взглядом недобрых глаз, фразой, которую мне не забыть: «Ну, это мы еще посмотрим!»

«Была бы честь предложена», — заметила я. Традиционно ей следовало меня именно так и называть. Отказ означал: «Мы и без тебя просуществуем». В этом у меня не было никаких сомнений. Гриша в изумлении вертел головой.

Для компании Оле был привезен некий мальчик, якобы говоривший по-английски, но Ольга утверждала потом, что он «ничего не понимал». Илью мы видели всего дважды, потом было невозможно заполучить его в гости. Хотя он жил с матерью очень близко от нашей гостиницы и я звоиила ей с просьбой, чтобы мальчик зашел к нам, этого так и не случилось.

Еще более удивительным для меня было то, что и мой сын на просьбу зайти ко мне в гостиницу поговорить, посидеть вместе так и не удосужился этого сделать. Он все отговаривался, что «Люда не может», а когда я прямо попросила его зайти о д н о г о, придумал всякие причины, чтобы ие приходить.

Мы были в Москве уже месяц. Повидали за это время всех моих кузенов Аллилуевых, — и тут было действительное радушие к нам обеим. Мамины племянники, с которыми я почти что росла вместе, мало изменились. Теперь в возрасте от 50-ти до 58 лет они были все так же хороши собой — все высокие, стройные, худощавые, белозубые, с карими веселыми глазами — просто загляденье, — и выглядели куда моложе своего возраста. Они женаты, с детьми, с хорошей работой, их жизнь идет хорошо — после ужасающих лет, когда родители умирали, погибали в тюрьме; они знали годы нищеты, общественного остракизма, все на свете .. Теперь они наконец довольны жизнью, к Ольге они были внимательны и теплы, и она это сразу же заметила. Мне так странно, что и у них дети, — для меня они все еще «мальчики».

Один из них повел меня на Новодевичье кладбище. Возле могил мамы, бабушки и дедушки Аллилуевых, Павлуши и Жени Аллилуевых, Анны и Федора Аллилуевых прибавилась маленькая могила Василия Сталина — моего племянника, младшего сына Василия, умершего в двадцать лет от укола героина. Моя няня тоже похоронена здесь, и мы все соглашаемся, что необходимо перевезти сюда и Василия из его казанского изгнания...

Все эти мрачные дела, смерти, память о маме и посещение Новодевичьего кладбища повергли меня в такую тоску, что, казалось, я и сама прикоснулась к могильным камням и заглядывала в могилы... Чтобы отделаться от всех этих мыслей, мы с Олей пошли проведать моих племянников, приходящихся ей кузенами. Они были моложе и веселее, и это хоть немного отвлекло нас от неприятных посещений школ.

Гуля, дочь брата Якова, вышла замуж за араба — инженера из Алжира, и у них был сын, мальчик двенадцати лет, с врожденным поражением слуха. Отец его, часто бывавший во Франции по делам, хотел повезти его туда к хорошим докторам, но мальчику не разрешали выезд из СССР. Не разрешали такового и самой Гуле, теперь уже сорокалетней специалистке по алжирской литературе, хотя ее муж не раз предлагал взять на себя все ее пребывание за рубежом. Наряду с просьбой о перезахоронении Василия я хотела попросить Громыко и об этом, но мне не удалось попасть к нему. Гуля стала с возрастом еще больше похожа на брата Яшу, особенно глазами, ртом и манерами. Ну почему не дать ей поехать повидать родственников? Опять эти идиотские запреты, думала я. Ничего не изменилось с тех пор, как я уехала... Гуля и Оля понравились друг другу и как-то объяснялись наполовину по-французски, который Гуля прекрасно знала как переводчица, наполовину знаками. Хотя бы здесь, как и среди всех Аллилуевых, Оля смогла почувствовать, что она — в кругу семьи. Оле было так занятно видеть всех этих родичей, весьма близких ей по крови, но выросших в совершенно ином обществе.

Мой племянник Александр, старший сын Василия, за семнадцать лет, что я не видела его, проделал головокружительный взлет: я нашла этого тихого, боязливого мальчика теперь режиссером-постановщиком театра Советской Армии — и не могла поверить перемене к лучшему, произошедшей в нем! Всегда не успевавший в школе, болезненный и хрупкий, живший последнее время с сильно пьющей матерью и начинавшей пить сестрой, Александр ничем не проявлял тогда своих талантов. Но за прошедшие годы он окончил театральное училище и «нашел себя». Мы пошли посмотреть его спектакль — очень изящную романтическую «Даму с камелиями», и я все не могла поверить... Это ли Саша? Это ли наш Саша, выбегающий из-за кулис и быстро раскланивающийся перед публикой после спектакля, всегда имевшего успех?

Затем Александр показал нам свою небольшую квартирку, чистую, убраиную с огромным вкусом, очень просто. Он совсем не пьет и чрезвычайно чистоплотен. Так хорошо говорит, много читает — нет, не может быть! Он похож на Василия, когда тот был совсем молодым и еще не пьющим; нервное, впечатлительное «аллилуевское» лицо с мягкими карими глазами, как у них всех... Саша, Саша, какой ты стал! Спокойный, тихий, внимательный — ничего от взрослого — самолюбивого и агрессивного — Василия. Александр очень внимательно и тепло встретил Ольгу, и, хотя он не говорил по-английски, они сумели подружиться. Он водил иас в театры, мы видели песни и пляски цыган в единственном в мире Государственном цыганском театре. Мы встречались с Аллилуевыми,

с Гулей и с Александром, и постепенно Ольга получила хоть небольшое представление о своей обширной семье. От Кати, моей дочери и, соответственно, ее сестры, мы не получили пока ни слова, хотя мне сказали, что «ей было сообщено о вашем приезде». Она живет на Камчатке, изучает вулканы, работает для Академии наук.

Однако ни сын, ни внук не желают зайти к нам в гостиницу. Я никак не могу понять этой перемены в сыне. Не он ли плакал в телефон, когда я жила в Англии? Спрашивал: «Неужели я тебя больше не увижу?!» Ну вот, я здесь. Так почему же ты не зайдешь ко мне — поговорить, посидеть?.. Уму непостижимо. Он попросил денег, я дала ему, что имела. Потом он пожелал пойти в долларовый магазин — я спросила: «Что тебе там нужно? Вы с Людой не похожи на нуждающихся. Хорошая квартира, зимняя дача с поварихой, все готовое. Я лучше дам денег Наде или Саше, они так обтрепались». Он рассердился и начал кричать в телефон. «Ну, я не для того сюда ехала, чтобы слушать твой крик», — сказала я.

Эта перемена в характере, в самой натуре — признак глубоко зашедшего саморазрушения. Я наблюдала это и в своем брате. Процесс саморазрушения захватывает д у х и у м. Личность теряет свои качества, таланты, свою привлекательность. Потрясающий творческий взлет, который произошел с моим племянником Александром, и настолько же невероятный упадок всех лучших сил, увиденный в сыне — за то же время, — меня совершенно потрясли. Поэтому, когда старые друзья говорили мне: «А ты совсем не изменилась», — я считала, что и слава Богу! Хоть что-то должно остаться неизменным в этом круговращении.

Не застала я в живых Александра Александровича Вишневского и Люсю Каплера, Татьяну Тэсс и Фаину Раневскую. За то время, что мы были в СССР, скончались Федор Федорович Волькенштейн и Сергей Аполлинариевич Герасимов, два больших старых друга. Каким-то могильным духом веяло от Москвы, и у меня было такое чувство, что мы попали на кладбище.

Но на родное пепелище
Рыдать и плакать не приду:
Могил я милых не найду
На перепаханном кладбище.

Так написал поэт Вячеслав Иванов, не желавший вновь посетить родину, которая представлялась ему так же неузнаваемо разрушенной, как «перепаханное кладбище». Какой жуткий образ!.. У меня неотвязно кружились в голове эти строки, пока мы были в Москве, а неузнаваемые улицы когда-то родного города воспринимались как перепаханное, развороченное, выпотрошенное кладбище. Зачем мы приехали сюда, Боже, Боже! Какое идиотство, какая опрометчивость, какие новые цепи я надеваю на себя опять — разве мы сможем так жить? Бедная, бедная моя Оля! Ведь ее запихнут не сегодня-завтра в эту показательную школу, где завуч так похожа на тюремщицу. Она уже звонила и спрашивала, почему Оля не приходит. А разве мы договаривались, чтобы она приходила туда?! Но здесь, в Москве, дела делаются не так, как вам это сказали, а так, как сказали «наверху». Ты можешь и не знать, что т а м сказали, а узнаешь только окольным путем. Я понимала, что нас «окружили», лишили самостоятельности, теперь заставят жить в этой роскошной квартире бывшего члена Политбюро, а Оля будет ходить каждый день в эту школу рядом...

Я спрашивала совета у Гриши, но он-то полагал, что все прекрасно, что дела идут просто замечательно. «Не волнуйся, береги сердце! — говорит он, глотая успокоительные таблетки. — Хочешь валидольцу?» И я тоже беру прохладный мятный валидол в рот. Надо же что-то придумать. Куда-нибудь уехать из Москвы? Сослаться, например, на то, что, мол, «в Москве нас преследуют иностранные корреспонденты» — что было святой правдой. Даже гнались за нами в машине по Садовой, с телекамерой. Но куда уехать? В Ленинград — то же самое. Ленинград был горячо любимым городом мамы, и я любила когда-то уезжать туда и бродить по городу... Но там будет все то же самое.

И вдруг — среди ночного бдения — возник образ страны, где я никогда не жила, но где родились, жили, женились, любили почти все мои предки. Еще в Греции, в Афинах, когда нас возили по городу, показывая достопримечательности, вдруг возник образ Г р у з и и — может быть, из-за схожести синего, теплого моря с таким же Черным. А может, из-за похожести лиц вокруг с темными глазами и черными кудрями. Может быть, из-за той церкви Святого Георгия на горе посреди Афин, куда мы вошли, и вдруг я увидела там большой образ Георгия Победоносца, покровителя Грузии... Так вдруг неожиданно б л и з к а стала мне тогда Греция — я никогда раньше не думала о таком сходстве. Конечно, Христианство, Византия, такие же точно каменные церкви, церковная музыка... Танцы, песни, южная пища, южный темперамент...

Я не спала ночь, вдруг вспомнив, как п р и в и д е л а с ь мне далекая и малознакомая Грузия тогда, в Афинах. Может быть, не напрасно привиделась? Как сказал Лермонтов:

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

«Быть может, за стеной Кавказа...»

...повторяла я всю ночь. А наутро было готово решение. В России бегство на Кавказ традиционно было формой э с к а п и з м а, как сказали бы теперь. Но бежали туда, за хребет, не только прогрессивно мыслящие дворяне и офицеры девятнадцатого, классического века. Бежали туда и бедные русские крестьяне, как наш дедушка Аллилуев из-под Воронежа, и даже из Европы, как, например, предки моей бабушки из Вюртемберга. Почти со смехом подумав обо всех этих «предшественниках», я вдруг зрительно увидела, что нам с Ольгой сейчас самое место там, раз уж мы не в состоянии выдержать всего нажима Москвы.

Я схватила бумагу и настрочила письмо в правительство — а куда же еще? — умоляя, в самом деле у м о л я я позволить нам уехать «в провинцию», так как «в Москве мы слишком на виду и будем вечно подвергаться атакам западной прессы». Этот пункт должен был вызвать к нам сочувствие и сыграть в нашу пользу. Затем я ссылалась на «исторические и семейные связи с Кавказом», перечисляя всех Аллилуевых — в Тбилиси даже улица Аллилуева имеется, в честь дедушкиных подвигов во время стачек начала века. Я обещала «полное понимание и сотрудничество с местными властями», что должно было означать, что я не буду эксплуатировать чувства грузин к моему отцу и не буду играть на этом. Еще бы! Зачем мне это нужно?! Я обещала... все, что угодно, только чтобы нас туда пустили, и чем скорее, тем лучше. Я понимала прекрасно, что вниманием, уделяемым западной прессой, правительство уже раздражено, — ну вот, так я и и д у в а м н а в с т р е ч у, хочу уехать из столицы.

Написав все это, я заказала кофе и завтрак. Оля вскоре уселась за урок русского языка с учительницей, а я стала собираться с духом для новой битвы.

И точно: в полдень появились представители Совмина и наши опекуны из МИДа, торжественно несущие в руках папки с бумагами. Мы все уселись за стол.

Теперь мы уже жили в небольшом обычном номере, так как я сочла нужным отказаться от роскошных бесплатных апартаментов. Представители Совмина достали документы, касающиеся меня и моей дочери. Момент был торжественный. Я слушала все молча.

Мне, очевидно, все прощалось — во всяком случае, прошедшие восемнадцать лет отсутствия не упоминались, будто их вообще не было. Меня приняли, как библейского блудного сына. Нам предоставляли ту громадную квартиру в доме членов Политбюро, рядом со школой, машину с шофером; восстановлена была моя пенсия, данная мне по смерти отца. Декрет также выражал надежду, что вскоре я окажусь вновь «в коллективе» и что **Ольга Вильямовна Питерс** вскоре почувствует себя совсем дома. Образование в СССР, конечно, бесплатное — вы платите своей жизнью, но не деньгами.

Я сидела и ждала конца. Потом поблагодарила за все (благодарность должна быть передана правительству) и попросила разрешения прочесть им теперь письмо, которое я только что написала. Я начала читать очень

вежливое, дипломатичное письмо, наполовину составленное из благодарностей, и, читая, заметила, как вытягиваются их лица, как они столбенеют, а когда я кончила читать — молчат... «Я думаю, что это решение удовлетворит всех и будет всем на пользу», — повторяю я. Они молчат, не веря своим ушам, потом я слышу: «Хорошо, мы доведем ваше письмо до сведения правительства».

Я не ем весь остаток дня, молюсь и молюсь, «держу кулаки», даже не разговариваю с Ольгой и молю Господа, чтобы помог...

Он помогает.

Через несколько дней я получаю приглашение зайти в Представительство Грузии — крошечную миссию, одну из тех, которыми располагает каждая республика в Москве. Сразу же бросается в глаза хороший вкус, свободные, веселые манеры служащих, обилие свежих фруктов на столе представителя, элегантного человека средних лет. Он заметно нервничает и разглядывает меня с любопытством. Он сообщает мне, что нам с дочерью разрешено ехать жить в Грузию, и затем широко улыбается. После того как формальная часть закончилась, он предлагает мне фрукты, вино (я отказываюсь) и говорит уже совсем нормальным тоном: «Это очень приятный сюрприз для нас». «А также и для нас!» — отвечаю я ему в тон. И это — святая правда.

Мы летим в Тбилиси 1 декабря 1984 года. С нами летит приятный молодой человек в очках и дубленке — представитель грузинской миссии в Москве. Очень холодная погода, а я уверяла Ольгу, что Грузия — как Калифорния, то есть совсем без зимы! В наших английских демисезонках будет холодно. Молодой человек немного говорит по-английски, и Ольга оживает. Он подсовывает ей мандарины. Она говорит мне, что все, что угодно, будет лучше, чем Москва. Я согласна с нею. Этот месяц, что мы провели в Москве, был сплошным кошмаром. «Жили ли вы когда-либо в Грузии?» — спрашивает молодой человек. «Нет! — признаюсь я. — Но вся моя семья жила».

Мы смотрим вниз, под крыло, на прекрасный, занесенный снегами, сверкающий алмазами Большой Кавказский хребет. Я никогда не видела его таким. Ольга тоже захвачена величественным зрелищем. Граница Европы и Азии. Мы — в Азии теперь. Снега сверкают на солнце, а вверху небо интенсивнейшей голубизны. Все пассажиры смотрят вниз, хотя они-то видели это множество раз. Ольга ест мандарин, она заметно повеселела. Господи, Ты спас нас опять. Господи, Господи, как это оказалось возможным? Я не могу поверить, что мы вырвались из ситуации, грозившей проглотить нас. В национальных республиках совершенно иная жизнь — теоретически я это хорошо знаю. Независимая, насколько это возможно, от Москвы. Своя собственная, колоритная, теплая. Все будет хорошо. Господи, как нам это удалось?!

В аэропорту Тбилиси — небольшом и еще незаснеженном, с голыми деревьями вокруг — нас встречают несколько женщин в хороших меховых пальто. Разница во внешности сразу же бросается в глаза — грузины любят хорошо одеваться, это для них исключительно важно. Молоденькая переводчица, блондинка, берет за руки Ольгу, и у них возникает мгновенное взаимное понимание, которое впоследствии превратится в настоящую дружбу. Я могу успокоиться на некоторое время, так как уже вижу, что Ольга довольна своей новой знакомой. Все встречающие дамы сверкают улыбками. Я знаю только одну из них еще по школе; год мы были одноклассницами. Здесь все проще, веселее, натуральнее. И хотя мне понятно, что эти дамы здесь тоже представляют собой партию и правительство, они все же куда лучше и приятнее это делают. И теплее. Мы грузимся в машины и едем — куда повезут...

И вот для нас началась здесь совершенно иная жизнь по сравнению с Москвой. В первые же дни, когда нас поместили в загородной резиденции для гостей, появились Олины сверстницы — племянницы одной из встречавших нас дам. Они щебетали по-английски, сели вместе за рояль, пели песни и очень быстро подружились.

Министр школ Грузии не требовал, чтобы Оля тут же уселась за парту. Вместо этого он взял ее в школу верховой езды, которую сам создал, и посадил там на лучшую лошадь. А так как Оля была хорошей наездницей, то она быстро завоевала сердца окружающих. Ей дали постоянного тренера, и она стала ходить в манеж регулярно. К ней вернулась уверенность в себе.

Дома к урокам русского языка (которые здесь вела очень сильный педагог-грузинка) прибавились и уроки грузинского с молодой миловидной женщиной. Хотя меня уверяли, что иностранке невозможно сразу приняться за два новых языка, я хотела попробовать, так как свободного времени было слишком много. Результаты у нас были блестящими: через полгода Оля уже могла слегка объясняться и на русском и на грузинском языках. Через год она могла вести разговор! Надо сказать, что личности учителей и их отношение к Оле имели большое значение: Оля чувствовала горячую симпатию и отвечала тем же. На этом основывался успех.

Дома она занималась также математикой с педагогом, знавшим английский. Ходила в кружок акварели, где преподавала полугрузинка, полукитаянка, хорошая художница. Ее дед приехал сюда из Китая в прошлом веке, чтобы начать чайное дело возле Батуми. Чай все еще производится там, но его качество, по всеобщему признанию, сильно понизилось.

Наконец, у Оли появился большой друг, Лейла, — музыкальный директор местного театра, занимавшаяся с нею музыкой и пением. Очень скоро Оля выучила с помощью Лейлы популярные грузинские песни и научилась аккомпанировать себе на пианино. Теперь она была незаменима в компании — здесь все пели и играли на гитаре или на пианино. Жизнь девочки преобразилась. Она расцвела, похорошела, стала одеваться так, как одеваются здесь (юбка и свитер, но не брюки), и ее вечно приглашали на вечеринки, свадьбы, обеды, где всегда были незаменимы песни и веселье. Ей нравилось неожиданно отвечать по-грузински, когда молодежь подходила к ней с английскими фразами: это всегда вызывало удивление, восторг и поцелуи.

Ее сверстники здесь были в нескрываемом восхищении от Америки, и Оля была для них источником искреннего любопытства и симпатии: девочка, родившаяся в Калифорнии! Американка! Она выслушивала их дифирамбы, наивные восторги и расспросы и часто открывала им глаза на действительную Америку, которую они представляли себе как один нескончаемый Нью-Йорк с небоскребами и автомобилями.

Декабрь мы провели в загородной резиденции, но к Новому году по моей просьбе нам дали квартиру в городе, и жизнь постепенно стала более нормальной. Конечно, квартира — как и в Москве — была в доме, где живут партийные работники, которым надлежит следить за каждым нашим шагом, но здесь все проще, домашнее. Наша квартира с двумя спальнями и столовой выглядела просто и чисто: мы купили мебель в местных магазинах, украсили комнаты изделиями грузинского народного искусства, домоткаными коврами. Оля была рада, что у нее наконец имеется своя комната, где она может налепить на стены все, что пожелает, — как это делают подростки на Западе.

Нам усиленно предлагают прислугу, потом — гувернантку для Оли, но я знаю, что это еще один вид надзора, и отказываюсь. Хватит с нас шофера. Он приятный, дружелюбный, веселый парень, но безумно любопытный. Однако без него мы потеряемся в этом незнакомом городе: отказаться от машины в этих условиях невозможно. А купить свою машину и водить ее здесь мне не разрешают «из предосторожности». Мы постепенно привыкаем пользоваться троллейбусами и автобусами. Это позволяет нам навещать, кого мы хотим, без надзора. Оля уже знает, как добираться троллейбусом к своим учительницам и друзьям. Она не перестает удивляться условиям их жизни: грязным лестницам, немытым подъездам, маленьким комнатам, отсутствию красоты, стиля в интерьерах — потому что нет места, потому что все скучены. Она начинает понимать разницу в социальном положении различных семейств, которые мы посещаем. Здесь это не деньги, не богатство, не собственность — нечто иное; и по всем признакам мы помещены на этой социальной лестнице где-то наверху. Ей еще многое предстоит открыть в этом, столь новом для нее обществе. Мне все это не ново.

Но меня поражают перемены в молодых. Все девочки и мальчики, которых так притягивает к себе Ольга, молодые учительницы, ее тренер верховой езды — все они, даже наш шофер, донимают ее расспросами об Америке. Им так хочется знать об окружающем мире, закрытом для них.

Только год тому назад маленькую республику потрясла трагедия, еще не закончившаяся. Несколько молодых студентов решили угнать самолет за границу. Была перестрелка, были жертвы. Попытка не удалась, их вернули, арестовали, приговорили кого к пожизненному заключению, кого к смерти. Они не отрицали в суде, что хотели бежать за границу. Мы ощущали громадную моральную поддержку их среди всей молодежи. И не только молодежи: старшее поколение собирало подписи под петицией правительству об отмене смертной казни приговоренным. А Оля была оттуда — и перед нею не стеснялись говорить: «Я тоже хочу уехать, бежать!» Она чувствовала, что доверие и любовь к ней шли от двух источников: одни видели в ней «внучку», другие — представителя свободного мира. Эти конфликты открыли ей глаза, она необыкновенно повзрослела всего лишь за полтора года нашего «визита». Она училась «на практике». Я же, проваливаясь в темные, глубокие воды прошлого, почувствовала, что нам обеим не справиться с этим. Даже здесь, в Грузии, где было больше искренности, больше храбрости, больше страсти в сердцах, я понимала, что скорее она найдет себе место среди молодых. Но не я.

И поэтому, радуясь ее счастливому веселью, я понимала, что это все — временное. Мы были как бы подвешены в воздухе и озирали оттуда всю жизнь внизу. Но мы не жили этой жизнью. Странное чувство нереальности не покидало меня ни в театре, где мы смотрели прекрасного Брехта, ни на концерте, где современный оркестр и певцы так прелестно сплетали традиционные мелодии с новыми веяниями Запада, ни дома, где у нас уже образовался тихий уголок уюта за вечерним телевизором — вечерний мир, который дочь и я всегда находили и оберегали, куда бы ни бросала нас судьба. Все было нереально, даже если и приятно...

От поэзии к реальности

Сразу же после революции 1917 года Грузия обрела независимость от большевистского Петрограда и от России, о чем она мечтала вот уже двести лет... Присоединение к царской России в конце XVIII века, о котором просил грузинский царь-христианин, было хитро использовано Петербургом. С независимостью маленького королевства было покончено (как и с династией грузинских царей), и провинция, наводненная русской армией, просто вошла как часть России под начало губернатора. Этот обман и оскорбление, нанесенные христианской Россией стране, жаждавшей под ее крылом спастись от ислама, никогда не были забыты. Поэтому недолговечная (с 1917-го по 1924 год) Независимая Республика Грузия была здесь национально-желанным явлением. Социал-демократическая партия меньшевиков возглавляла тогда правительство и проводила политику независимости от партии Ленина. Но после беспощадного кровопролития (также не забытого здесь) Грузия была вновь присоединена к большевистской России войсками Красной Армии и с новой силой принялась мечтать о независимости в будущем... История не уникальная, а скорее типичная почти для всех национальных «окраин» России. Чувства по отношению к Москве, испытываемые сегодня украинцами, эстонцами, литовцами, армянами, узбеками, таджиками, немногим более отличны от вышеописанных. Все это я, конечно, знала из книг. Но теперь мы жили здесь и жили этими же чувствами: тут не было никаких сомнений. Мы были, конечно, с Грузией против тех, там, «на севере», как здесь говорят. И комический характер северного обитателя, «чукчи», популярного здесь в шутках даже с эстрады, всегда несет подтекст негативности по отношению к «северянам».

Однако «север» правит, присылает указы. Так же и в нашем случае. Принятая — из вежливости — местным главой партии Эдуардом Шеварднадзе, я сразу же поняла, что он будет во всем следовать Москве. Москва разрешала нам быть здесь — пожалуйста. Отменят разрешение — он, безусловно, не предоставит нам своего гостеприимства. Поэтому нам давали понять, что следует прежде всего идти в ногу с желаниями Москвы. Что делал во всех отношениях и он сам. Ничего такого, конечно, мне не было сказано прямо. Но я хорошо знаю эту среду и все подтексты партийных работников. Он напомнил мне, что следует «скорее войти в коллектив и начать делать переводы». Это было то, чего от меня желали в Москве.

Однако я попробовала предложить другое и прямо сказала, что, поскольку я по образованию историк, то мне бы очень хотелось всерьез заняться историей Грузии, в особенности ранними веками христианства, а также средними веками золотого расцвета культуры... Шеварднадзе вскинул на меня до сих пор безразличный взгляд. Некоторое время смотрел молча, потом твердо произнес: «Не надо вам этого».

Смысл его слов заключался в том, что я проявляла опасное стремление изучать грузинскую культуру — горячий, обжигающий источник всех стремлений страны к независимости, в котором христианство и церковь играли большую, если не ведущую роль. Я попала прямо в кровоточащую рану, бестактно, глупо, даже дерзко. Но я сделала вид, что ничего этого не поняла, и он снова опустил глаза, притворяясь, что ничего такого не было сказано и не было понято. А где лежало его сердце, с кем был этот человек в сердце своем — этого нам не полагалось знать. Такие вещи здесь скрываются как самая жгучая тайна, даже от своих. Я поблагодарила за прием, поблагодарила за практическую помощь и ушла. Начать «делать переводы» я, однако, не пообещала, отговорившись тем, что я должна находиться дома и воспитывать дочь. Коллектив с его надзором меня никак не привлекал.

По прошествии года, когда Ольга уже прилично говорила по-русски и понимала по-грузински, наш покровитель из Минпроса был снят с работы и на нас начали давить с уже знакомой идеей: чтобы Ольга уселась в класс русской школы как можно скорее. «Пора делать из нее советскую школьницу», — передала нам миловидная работница ЦК, наша соседка. Мы уже знали, что это означает! И так как новый министр была ничего не сведущим в вопросах образования бывшим комсомольским организатором, мы к ней даже не отправились за советом. И последние наши месяцы в Грузии Ольга сидела в классе грузинской школы, где ей было бесконечно трудно следить за происходящим — как было бы, несомненно, и в любой русской школе *. Первоначальная идея подготовки к выпускным экзаменам дома, предложенная бывшим министром, была окончательно отвергнута «наверху».

Мы встречались с художниками и скульпторами, с музыкантами и актерами театра и кино, с театроведами и кинокритиками просто уже потому, что Грузия — артистическая страна. Выставки, фильмы, спектакли и музыкальные события являли необычайно высокий уровень мастерства, красоту традиций, смелость новых поисков. Искусством здесь живут и дышат. Это воздух, а не что-то «прикладное». Оля, хорошо певшая, игравшая, легко танцующая, способная к живописи, была здесь как рыба в воде. Она ходила на выставки, мы смотрели новые фильмы. Даже балет «Лебединое озеро» здесь превращался в праздник национального торжества, потому что молодую грузинскую балерину только что отметили в этой роли в Большом в Москве. Теперь она давала гастроль на родине и публика неистовствовала. Те немногие слова, что Оля выучила и могла сказать в грузинской компании, открывали ей повсюду сердца и двери. Я совсем не говорю по-грузински, и это был громадный минус: я олицетворяла в их глазах «чуждое влияние». Поскольку более половины моих предков были грузинами, я должна была бы знать «свой язык» во что бы то ни стало. Но нас не учили грузинскому в детстве.

На меня и без этого смотрели достаточно косо. Обожатели моего отца полагали, что я должна уделять больше внимания им и памяти Сталина. Я с большим трудом отговаривалась от различных публичных появлений и посещений, таких, например, как празднование 40-летия победы

*В Грузии существуют школы как на русском, так и на грузинском языках, но институты и университет — на грузинском. Все образованные люди в стране хорошо говорят по-русски, но грузинский язык всегда предпочтительнее.

в Тбилиси и в Гори, где нас с Олей специально просили присутствовать. Мы не пошли, чтобы не стать центром общественного внимания.

С другой стороны, в Грузии, особенно в Тбилиси, много потомков жертв чисток 30-х годов: Берия начал здесь намного раньше, еще до своего появления в Москве. Целое поколение партийных работников, технической интеллигенции, артистов, поэтов было стерто с лица земли. Грузин вообще меньше двух миллионов на земле. Теперь же мы видели глаза тех, кто унаследовал их имена и их искусство. Здесь все еще жила и практиковалась кровная месть, как в Сицилии — вендетта. Мы знали, что здесь это факт, а не «паранойя», как сказали бы американцы. Особенно заметны были эти горящие ненавистью глаза в церкви. Позже мы узнали, что многие подходили к патриарху с требованием, чтобы он «не допускал» нас к службе. Ему приходилось успокаивать негодовавших, напоминая им, что церковь — не место для мщения и ненависти. К нам же он проявил большую терпимость и симпатию, но об этом — ниже.

Я, конечно, должна была познакомить свою дочь с детством ее деда — и мы отправились в Гори, смотреть музей. Крошечная лачуга, не более курятника, где вся семья ютилась в одной комнатушке, произвела неизгладимое впечатление на маленькую американку. «А где они готовили пищу?» — спросила она. Я перевела. «Летом на улице, — ответила экскурсовод, — а зимой — тут, в комнате, на керосинке». Здесь жили мальчик, его отец-пьяница и мать, зарабатывающая стиркой белья. Мать отдала мальчика в приходскую школу, где он изучал три языка: русский, грузинский, греческий (Оле показали парту, за которой он сидел). Потом он учился в семинарии, чтобы стать священником. Мы видели здание семинарии в Тбилиси. Он стал революционером: ушел из семинарии, уехал из Грузии. Долгие годы, десятилетия, не видел свою родину и свою мать, растившую его на гроши. Потом, когда он стал главой государства, ее поместили в Тбилиси в одну из комнат бывшего губернаторского дворца. Там старуха и умерла, огражденная «славой» и надзором КГБ от всего, что было ей привычно, но до самой своей смерти все так же неуклонно посещая церковь. Ольга знала, что совместно с Черчиллем и Рузвельтом ее дед выиграл войну против нацизма — у нее была фотография «большой тройки». Но только теперь, здесь, в этой маленькой лачужке, над которой возвышались холм и крепость, а дальше белели снеговые вершины, она могла увидеть жизнь не из учебников.

Музей, в который мы, как и все Аллилуевы, отдали большое количество семейных фотографий, всегда полон народа. Автобусы привозят сюда туристов со всего мира. Интерес к человеку, родившемуся здесь, в этом курятнике, и ставшему главой мирового коммунистического империализма, — не подделка. Мы буквально не раскрывали рта, мы не хотели участвовать в спорах и высказывании «мнений». Мы прекрасно знали — и уже могли повсюду видеть, что жизнь пойдет вперед, а не назад и что, возможно, здесь нам не будет в ней места. Но Оля должна была однажды увидеть эти края своими глазами и запомнить потом на всю жизнь. Тем более что трудно найти местность подобной красоты — с цветущими садами по обе стороны шоссе, с снеговым горным хребтом вдали, с голубым прозрачным воздухом. Мы знали, что здесь, в этих горах, садах и виноградниках, омываемых этой мелкой бурлящей рекой, лежали глубоко-глубоко и наши *корни*. Отрицать это было бы ложью и глупостью. Наоборот, каждый день, что мы пробыли в Грузии, мы только сильнее и сильнее ощущали, как близка была нам эта земля.

В июне 1985 года, спустя восемь месяцев после нашего приезда в СССР, наконец пришло письмо от моей старшей дочери Катерины. Я старалась повидать ее во время ее кратковременных остановок в Москве, но она не сообщала мне о своем приезде. Письмо пришло позже, посланное с Камчатки, из города Ключи, где она жила и работала на станции Академии наук, расположенной в районе сопок, вулканов и гейзеров.

Когда мы были еще в Москве, неожиданно в газетах появилась большая заметка, озаглавленная «Окнами на вулкан». Там описывалась жизнь на такой вот вулканостанции, а также отведено было место молодому научному работнику Катерине Юрьевне Ждановой, жившей здесь с трехлетней Анютой и бравшей ее с собой «в поле». Хотя никаких других обстоя-

тельств личного порядка в статье не приводилось, публика поняла, что это моя старшая дочь.

И вот, наконец, пришла весточка... С необычайным волнением открывала я стандартный советский конвертик, не обещавший ничего, кроме одного листка бумаги.

На нем хорошо знакомым детским почерком как будто совершенно чужая мне взрослая женщина писала, что она «не прощает», никогда «не простит» и «не желает прощать». Затем в словах, достойных передовицы в «Правде», я обвинялась во всех смертных грехах перед родным государством. Дальше моя дочь требовала, чтобы мы «не пытались устанавливать контакты», писала, что она не желает, чтобы мы вмешивались в ее «созидательную жизнь», и где-то уже в конце все-таки одна строчка гласила по-человечески: «Желаю Ольге терпения и упорства». Мне вообще не было никаких пожеланий. А в самом конце — что заставило меня рассмеяться — было поставлено латинское Dixit, означающее: «Судья сказал», произнес приговор! Мне стало смешно, и это скрасило кое-как во всех отношениях ужасающее письмо. Но я долго сидела с ним в руке.

Катерина почему-то всегда виделась мне как любящая дочь, то есть такая, какой она всегда и была. Она, очевидно, очень, очень сердита (наговорили ей там что-то) и нервна. Муж ее недавно умер от несчастного случая. Молодая вдова с маленьким ребенком. Упрямая, самостоятельная, хороший работник — и вдруг, пожалуйте, мамаша явилась из Америки и сестрица-американка, конечно — миллионерши, бездельницы, купаются в шоколаде (так им тут всем говорили о нас!)... Теперь-то им что надо? У меня своя жизнь, пусть не мешают. Ни слова о греческом платьице для Анюты — я послала его бабушке, где, как я узнала позже, оно и было получено адресатом. Ни слова. Проваливайте своей дорогой — у меня своя.

Я написала не одно письмо ей на Камчатку, на ее вулканостанцию — очень хорошие, любящие письма, потому что я всегда бесконечно любила и сейчас люблю свою строптивую дочь, обеих своих строптивых дочерей. Но больше не было ни слова ответа.

Умом я понимала, что с моими детьми здесь «поработала» пропаганда, что им вот уже много лет вбивали в голову скверные истории про меня. Но сердце требовало, чтобы они *вдруг* все поняли и бросились бы к нам с Ольгой на шею... То, что этого не произошло ни с сыном, ни с дочерью, повергло меня в какой-то хаос. Я перестала понимать самые основы человеческой души. У меня были очень *хорошие* старшие дети, мы жили без конфликтов, присущих многим семьям, и именно от *них* невозможно было принять подобную перемену. Сама не знаю почему, но я так верила, что уж мои-то сын и дочь *поймут* все мои действия, мой *побег* и всю мою жизнь, последовавшую за ним, куда лучше, чем кто-либо «посторонний». И невозможно мне до сей поры понять, *почему* именно они-то и оказались наихудшими жертвами всей клеветы и пропаганды. Почему именно *у них ничего* не осталось в сердце от семнадцати лет нашего несравненного семейного счастья и взаимного понимания, которыми я так всегда гордилась и все последующие годы.

В декабре 1985 года в Тбилиси неожиданно появился известный московский актер-комик, с которым мы были знакомы многие годы тому назад. Внезапно как далекое эхо отозвалось от тех времен, когда вокруг было столько друзей — вместе ходили в Дом кино, на концерты международных знаменитостей, вместе читали книги и посещали Театр кукол Образцова. Теперь ему было уже за семьдесят. Маленький человек с чаплинским характером и печальным юмором, обожаемый публикой за быстрое остроумие и неожиданные шутки. Видеть его теперь, здесь — это был праздник, привилегия, *пир*! Неожиданно встретившись, мы вдруг пустились наперебой декламировать стихи Пастернака. «Мы были в Грузии. Помножим...» — начала я, и он подхватил:

> Нужду на нежность, ад на рай,
> Теплицу льдам возьмем подножьем,
> И мы получим этот край.

Как там дальше? Ага, вот:

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех, и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Постойте, постойте, дальше — еще лучше:

Чтобы, сложившись средь бескормиц
И поражений; и неволь
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль...

Это было восхитительно. На нас уже оборачивались, потому что мы были как пьяные, бормоча и поднимая вверх указательные пальцы.

«Хотите валидолу?» — спросил он точно так же, как Гриша в Москве. Сердца здесь у всех надорванные, нечего удивляться. «Спасибо». Не повредит и мне. Как это было вдруг неожиданно хорошо! Далекие, чудесные дни вернулись обратно — дни с иными, кого уже нет в живых. А мы все скрипим.

Удалось уехать из города, уединиться и гулять по берегу холодного, но все равно прекрасного Черного моря. И говорить, говорить без конца.

Он больше слушал меня — за столько лет! И если говорил, то ничего не предлагал, не утверждал и не делал суждений. Он хотел меня понять. Но я чувствовала «по подтексту», что он был недалек от мнения Федора Федоровича Волькенштейна, так отругавшего меня в Москве. Недалек от мнения и других лиц, авторитетных для меня, считавших, что я сделала большую ошибку, вернувшись в Советский Союз, дав пищу для пропаганды, для лжи и для моего собственного разрушения.

Он понимал из моих рассказов, что мы совсем не так «счастливы», как это, возможно, он слышал, и что мы вряд ли можем рассчитывать на реальное «перевоспитание» и приспособление к «советскому образу жизни». Все образование Ольги было под ударом, и это понимали мои настоящие друзья.

Актер, оказывается, лично знал того директора школы в Москве, который так устрашился принять Ольгу. «Несомненно, родители его учеников могли выразить ему неудовольствие, — сказал он. — Эта школа рядом с университетом, и все преподаватели посылают туда своих детей. Ты понимаешь? Это лучшая школа в Москве! Директор учился в университете вместе с тобой, он тебя помнит студенткой. Он женат на итальянке, что делает его жизнь нелегкой, учитывая все наши «традиции». Он не хотел тебя огорчить, а еще больше — девочку. Н о н е б у д е т х о р о ш о н и г д е», — наконец высказался он со всей прямотой. Я это тоже поняла сама. Это все — имя моего отца. На Западе оно создает вокруг нас постоянное любопытство. Но здесь общество разбито на два лагеря: и мы как раз посередине, даже моя тринадцатилетняя калифорнийка. От этого нам никуда не уйти, каковы бы ни были мои собственные взгляды на этот вопрос. Сможем ли мы жить здесь с этим конфликтом ежедневно, ежегодно, всю жизнь? Сможем ли — моя дочь и я — встречаться с глазами молодых художников — внуков тех, уничтоженных в лагерях, встречаться с их горящими глазами и притворяться, что мы «ничего не понимаем»? Я никогда не притворялась. И в 1956 году, когда Хрущев произнес свою знаменитую речь, я приняла ее как должное.

Души человеческие

Потрясение, испытанное в результате такого отношения к нам моих сына и дочери, вызвало у меня желание поговорить с кем-то, кто был бы немного в стороне от здешнего образа жизни и партийной монотонности. Когда мне сказали, что Патриарх Грузии, которого мы уже видели служившим прекрасную литургию в соборе Сиони, очень внимательно относится к духовным нуждам всех обращающихся к нему, я написала ему письмо с просьбой о приеме. Ответ пришел незамедлительно, я пошла на аудиенцию, и с того дня меня принимали много раз.

Патриарх (или, как его называют в Грузии, Католикос) был небольшого роста, с живыми глазами и мягкими манерами пятидесятилетним человеком. Он был из крестьян высокогорной деревни Казбеги. Отец отдал

его в монастырь, когда ему было восемнадцать лет. Черным монахом он и оставался всю жизнь, впоследствии окончив Духовную академию в Загорске. Его русский язык был настолько безупречен (грузины очень редко говорят без акцента), что ему предлагали не раз остаться служить «на севере», намекая, что карьера его продвигалась бы там быстрее и значительнее. Но он хотел служить Грузии.

Здесь он считал своей миссией восстановление забытой церковной древней литургии, чтобы привлечь людей в церковь. Мы видели воочию, как тянулись и старики, и молодежь на эти долгочасовые стояния, когда прекрасное хоровое пение, пришедшее сюда в пятом веке из Греции, и расшитые золотом одежды епископов и дьяконов превращали литургию в незабываемое, глубоко проникающее в душу переживание.

Я впервые услышала звуки грузинской службы в древнем соборе Мцхета, где мы побывали с Олей вскоре после приезда. Наш шофер тоже зашел вместе с нами и стал вдруг серьезным, его лицо совершенно изменилось... Народу было мало, священник читал скороговоркой. Было очень холодно, молодой дьякон ежился. Вдруг я узнала слова «Господи, помилуй» на грузинском языке: Упало Шегвйцкален — как мне их очень давно говорила моя бабушка Ольга Евгеньевна... Я не поверила своим ушам, так как это было единственным, что я знала из церковных слов по-грузински. Но вот здесь, в холодном громадном соборе, где смотрела на нас своими широко открытыми византийскими глазами Богородица, слова эти вдруг зазвучали у меня где-то внутри, в костях, в крови. Древняя, сильная вера предков настигла меня и заявляла о своей вечности...

Позже, в соборе Сиони, где происходило великолепное п р а з д н е с т в о в огнях бесчисленных свечей, в облаках ладана, плывших по воздуху, в изумительном, гармоничном пении, я совсем отрывалась от земли и забывала обо всем. Только здесь я могла найти силы для подкрепления, только здесь была поддержка, только здесь гармония и порядок мироздания еще существовали.

«Они и не знают, как им нужна церковь! — говорил Католикос. — Они все забыли, думают, что это скучно. Вот мы и даем им все это великолепие! Мы воскресили древнейшие, красивейшие обряды, полные смысла. Видите, как они бегут сюда, и молодые тоже!»

Патриаршья служба с торжественным в х о д о м Патриарха в церковь, с обрядом о б л а ч е н и я, потом в х о д а в Златые Ворота алтаря — все это вместе с необыкновенно м а ж о р н ы м и, радостными песнопениями создавало настроение уверенности, какой-то торжествующей радости, я бы даже сказала — непобедимости. Мы все вставали много раз на колени, поднимались и часами стояли на каменном полу, охваченные вдруг слезами восторга, неземного счастья. Да, церковь сильна там, где страдают, а не там, где тонут среди богатства, — это было здесь так очевидно! И в е р а здесь была сильнее, чем все, что я уже видела на прибранном, упорядоченном, технически оснащенном Западе. Католикос стоял часами на подмостках среди всего этого великолепия, со светившимся лицом молился, часто в слезах, держа в одной руке зажженную свечу, а в другой — свой патриарший посох (жезл). В церкви можно было увидеть известных артистов, режиссеров театра и кино, художников, ученых. Старые церкви VI, VII веков повсюду восстанавливались усилиями патриарха, где-то далеко в горах были мужские и женские монастыри, а также семинария. У Грузинской церкви за плечами пятнадцать веков независимости, традиций и необычайной силы, которой она пользуется в народе. Даже крупные партийные работники не могут воспротивиться желанию бабушек и родителей крестить детей и закрывают глаза на это — совсем не так, как в Москве. Здесь же родной язык, молитва, церковная архитектура, иконопись, фрески — вся эта самобытность к у л ь т у р ы, самость, которую никому нельзя отдавать в рабство. А для нас с Олей служба и литургия были забвением и отдохновением.

В своем кабинете Католикос выглядел очень скромно и застенчиво, одетый в черную рясу. Его черные с сильной проседью длинные волосы были собраны сзади на затылке. В нем был душевный мир, и он так хотел передать его всем другим. Но он хорошо понимал, как далеко я находилась сейчас от душевного мира.

«Люди здесь забыли, что такое л ю б о в ь. Они думают, что любовь

официально упразднена вместе с церковными праздниками — Рождеством, Пасхой. Мы должны снова учить их любви. Вы должны учить их любви! — говорил он, наставляя на меня указательный палец. — Вы должны писать своим детям только слова любви — они ведь забыли о ней совершенно! Не ругайте их никогда, не спорьте, только говорите, как любите их. Любовь победит... Я борюсь с моими прихожанами ежедневно, они ненавидят друг друга, грозятся убить противника и действительно убивают! Я говорю им, что даже мыслей о мщении нельзя иметь! Но это — традиция здесь. И меня мои старые враги и соперники грозятся убить. Мы живем среди всей этой ненависти, проникающей в нашу плоть и кровь. Но не бойтесь! Всегда приходите в церковь. Другие говорят мне, как это прекрасно, что вы и ваша дочь ходите на литургии!»

Он нередко приглашал нас с Ольгой после службы за стол, где сидел, уставившись одним глазом в телевизор — его единственное окно в мир светский и безбожный. На столе была вкуснейшая, но постная пища. Часто приходили и другие гости. Он покровительствовал художникам, расчищавшим старые фрески, восстанавливавшим древние монастыри. Он пригрел нас возле своего любящего сердца, старался внушить мне надежду на восстановление отношений с детьми. А когда Оля научилась болтать по-грузински, его восторгу не было конца.

Мы знали, что он путешествует за границу, в особенности — на Ближний Восток, где встречается с патриархами других Восточных православных церквей. «Боремся за мир! — говорил он, усмехаясь, об этих поездках. — А в Афганистане никак не можем войну закончить».

Афганистан был больной темой здесь, так как туда часто посылали молодых грузин и армян под предлогом их «хорошего знания горных условий». Молодые солдаты погибали в Афганистане или возвращались изувеченными, и это только прибавляло ненависти к «северу».

История Грузии полна кровопролитной борьбы с ее мусульманскими соседями — турками, иранцами. Раньше набегали Тамерлан и арабы, уничтожали все живое, но Грузия возрождалась, как Феникс из пепла. Вера и церковь были всегда ее опорой. Памятники былой храбрости стояли на каждом шагу. Памятник Победе 1945 года — действительно монументальная впечатляющая композиция, охватывающая целый склон горы с крылатой фигурой Победы наверху, каскадом фонтанов, сбегающих от нее вниз, и фигурой мальчика с виноградной лозой в руках, символизирующей вечное возрождение Жизни. Фантазия, красота, выдумка отличают здешних художников. Эти каскады воды на склоне горы и мальчика с лозой невозможно забыть. А наверху — могила Неизвестного Солдата. Грузия отдала Победе громадное количество жизней, и воевать в Афганистане — для нее полнейшая бессмыслица.

Воевать, однако, Грузии приходилось в силу различных причин бесконечно и во все века. Когда мы проезжали через перевалы Кавказского хребта на машине, ездили смотреть далекие монастыри и церкви, перед нами расстилался пейзаж вековой неизменяемости и великой красоты. И вот среди этих гор, в этих лощинах по направлению к Манглиси, бились полчища врагов с грузинами: закройте глаза, и вы услышите храп коней, лязг мечей, вопли и стоны. Закройте глаза — и перед вашим взором потекут потоки крови, отрубленные головы, разрубленные мечами лошади. То, что Карл Густав Юнг называл «коллективным подсознательным», вставало здесь передо мной с неслыханной живостью, и я вдруг поняла как никогда этот страстный, жестокий, нежный, артистический народ, в чьей памяти смерть соединена с храбростью и борьбой, народ, для которого борьба, война всегда соединены были с защитой своей независимости — самой реальной защитой, а потому они для него священны.

«Нет людей более жестоких и в то же время более нежных, чем грузины, — сказала мне одна москвичка, давно уже живущая в Тбилиси. — Они могут быть такими даже одновременно! Я долго не могла привыкнуть к этой полярности, противоречивости. А потом, кажется, и сама стала такой же». Об этой противоречивости говорит и Пастернак в своих знаменитых «Волнах». Уж кому лучше знать, как не ему, покровителю и учителю стольких поэтов в этой стране! Впечатлительность, музыкальность, какой-то сверхутонченный артистизм соединяются в этой культуре с кровной местью, с неимоверной жестокостью к тому, кто обозначен как «враг».

Оперы, балеты, предания, фильмы — все о смерти и борьбе. Мать замуровывает своего сына живым в стену крепости («Сурамская крепость»), чтобы крепость служила защитой от врага! И церковь всегда освящает и благословляет самую жестокую борьбу.

Древние камни, древний язык, древняя литургия. За пять веков до принятия христианства Киевской Русью здесь уже был расцвет культуры. Разве они могут забыть это сегодня? Поэтому и само христианство здесь не мирное, а нацеленное на борьбу и победу. Даже обычное ежедневное приветствие означает в переводе не «здравствуйте», а «победа!». Темперамент здесь горячее, чем в западных рациональных религиях, их вера — не для медитаций и не для «подставления другой щеки» под удар: святых и чудотворцев просят о помощи и об уничтожении врага.

«Шепот» и «голоса» моих древних предков, живших здесь с незапамятных времен, большей частью бедных земледельцев, были поэтому не всегда успокоительными. Я как будто слышала их среди этих покрытых весною маками холмов, возле серебристой реки с форелью, в этих долинах с виноградниками. Национальные цвета Грузии — черный и темно-красный, цвет тяжелого красного вина, — всегда говорят о крови и смерти. Среди своих предков здесь я не могла найти ни рафинированных артистов, ни интеллигентных книжников, а только любовь к земле, к почве, к растениям. Звуки тяжелой работы и войны, стоны убийств и смерти заглушали мне прекрасные напевы лирических строк о любви, созданных дворянскими поэтами, современниками Пушкина и Лермонтова. И моя грузинская бабушка — молодая крестьянка, пришедшая жить в маленький городок с мужем-пьяницей, прожившая в нищете и побоях так, что выжил только один ребенок из многих, так и не научившаяся читать и писать, но работавшая всю жизнь прачкой, — вдруг встала предо мной как символ силы и веры. Ведь она не колебалась ни минуты перед тем как сказать своему сыну, ставшему главой государства, с чисто материнской бестактностью и безапелляционностью: «А жаль все-таки, что ты не стал священником!» То, чем он стал, ее не интересовало. Но он не стал служить Богу, как она этого хотела. Сын был восхищен ее непреклонностью, но вспоминал также: «Как она меня била! Ай-ай-ай, как она меня била!» И в этом, по-видимому, был для него знак ее любви.

Я помню бабушку Екатерину с тех пор, как еще восьмилетней девочкой видела ее всего один раз. Я не понимала по-грузински, и это, наверное, было обидно для нее. Но она гладила меня по лицу своей костлявой, бледной рукой и протягивала конфеты на тарелочке, а потом утирала той же рукой слезы со своих щек. Я была тогда напугана ее строгой, бедной внешностью, а теперь хотела найти хоть какую-нибудь частицу ее жизни — что-то на память... В Грузии было много скромных дальних родственников с ее стороны, все они никогда ничего себе не требовали и старались жить незаметно. Инженер, винодел, дирижер оркестра, учитель — они были грузинами и никогда не стремились к Москве. Я знала лишь троюродную сестру отца — старуху Евфимию, как-то приехавшую в Москву повидать отца, который узнал ее после нескольких десятилетий. Сейчас я никого не могла разыскать, чтобы расспросить их о бабушке. Партия и правительство дали мне шофера, но не захотели помочь найти родственников. Может быть, они все исчезли? Может быть, могли бы рассказать мне что-либо о преследовании их после хрущевской речи? Я не знаю ничего о них, кроме того факта, что они существовали, так как они были детьми этой Евфимии. Музей в Гори хранил фотографию бабушки, ее старые очки, больше ничего... Все остальное мне надо было добывать в глубинах «коллективного подсознательного», в фантазиях, в той церкви, куда она всегда ходила, и в очень немногих рассказах очевидцев.

Хотя ее и поместили во «дворец», последние годы ее жизни были обозначены отрезанностью от родичей и друзей: к ней никого не пускали. Кто знает, была ли мирной ее кончина? Отец приехал повидать ее незадолго до ее смерти, и тут-то она ему и выдала свое последнее материнское слово. Кто узнает, чем прогневали старуху партийные и чекистские стражи? По какой причине она приготовила сыну столь полное презрение к его земной славе? Ничто не могло изменить ее, она была, как эти горы, как эта сухая земля и скалы.

И никто не сказал лучше, чем Ахматова:

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне,
Что-то выдразнили подспудное,
И рожденное тишиной,
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной.
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.

Но здесь же, в той же самой Грузии, живы были тени всех Аллилуевых, от немки-бабушки до полуцыгана-дедушки, которые принесли на эти солнечные берега тени своих предков из разных концов земли. Если дедушка Аллилуев был известным «бунтарем» и наградил своих детей стремлением к правде и совершенству, то от бабушки шли артистизм, хороший вкус, умение петь, танцевать и актерствовать, а также непреодолимое стремление к порядку, организованности и самодисциплине. Со стороны Аллилуевых мы не слышали никогда о неудовлетворенных амбициях, о жажде власти, да и о кровавых битвах тоже. Все они наслаждались в Грузии ее глубокой любовью и мастерством в искусстве, знали пряную южную кухню, любили солнце и тепло, а потому и в поздние годы каникулы и отпуск всегда соединялись у них со стремлением к Черному морю.

Мария Маргарита Айхгольц из местечка Вольфсольден в Вюртемберге отправилась в 1816 году на Кавказ со своими двумя внебрачными детьми. Кто знает, что за тайна скрывалась в этом? Чьи это были дети? Какие душевные качества были скрыты в той короткой записи, обнаруженной немецким историком Карлом Штумпфом и сообщенной им затем моему старому покойному другу Клаусу Менарту? Доктор Менарт десять лет звал меня посетить деревушку Вольфсольден, а я собиралась, собиралась, и, пока собиралась, дорогой доктор Менарт умер. Он родился в Москве в самом начале века в семье «русских немцев», и отец его основал большое шоколадное дело в Москве (ныне это фабрика «Красный Октябрь»). В 1914 году семья уехала в Германию, потом, после пришествия нацистов, Клаус Менарт, политический журналист и историк, переехал в Америку. Мы встретились в 1967 году, когда он захотел проверить, существует ли на деле эта «немецкая линия» в нашей семье. Он признался позже, что не очень поверил в это, прочтя мои «Двадцать писем». Однако, когда по его инициативе Карл Штумпф разыскал запись о Марии Маргарите Айхгольц, доктор Клаус Менарт сделался моим верным другом навсегда. Я бесконечно жалею теперь, что не побывала в Германии и не попыталась с его помощью раскопать и эти наши корни. Немецкий язык всегда жил в семьях моих двоюродных братьев Аллилуевых, и нет нужды забывать старую культуру и музыку старой, классической Германии.

В Грузии немецкие переселенцы были счастливы при царях, но подверглись высылке после второй мировой войны. Я пыталась разыскать что-нибудь о них в Тбилиси, но мне сказали, что «их хорошие кирпичные дома все еще стоят, но никого не осталось». Однако они все когда-то жили здесь, в этих солнечных краях, возделывали виноград и делали хорошее белое вино. Все их души тоже скрывались где-то здесь в горах неподалеку, шептали что-то в листве деревьев, шелестели в высоких травах долин. Все они стали частью Грузии — гостеприимной страны, всегда открытой пришельцам с востока и с запада.

Меня переполняли эти звуки и голоса, не слышимые другими, эти видения, которые почему-то не встретили меня в Москве, где я родилась и прожила сорок лет. Здесь же я чувствовала себя наконец на Родине, где воздух, горы, реки — все твои, и ты унесешь их с собой, вместе с этими шепотами и голосами, куда бы ты ни пошла отсюда... Древние камни, древние молитвы, древняя красота лиц, песен, танцев. Как хорошо, что мы прикоснулись к этому источнику — мы, интернационалисты и космополиты. К крошечному народу в два миллиона душ, давшему нам столько вдохновения, красоты, слез, печали и свою незабываемость. И это было правдой не только для меня, но — что крайне удивительно — и для моей дочери-калифорнийки.

Пастыри духовные

Католикос Грузии провел со мной много времени, беседуя о жизни, смерти и судьбе моего отца. Это неудивительно: пастырю всегда интересно знать, что случается с вероотступником, у него профессиональный интерес к таким делам. Удивительно мне было то, что он уделил столько внимания последним минутам жизни Сталина. Он был почти уверен (если не сказать просто — уверен), что всякий вероотступник в момент кончины возвращается мыслью и чувствами — последним движением своим — к Богу. Он не собирался говорить мне нечто «приятное», нет. Он размышлял для самого себя. Ему надо было понять нечто очень важное для него самого.

«Смотрите, что случилось с ним, когда он оставил Бога и церковь, растившую его для служения почти пятнадцать лет!» — говорил он мне. Я тоже знала — и писала об этом в «Двадцати письмах», — что опустошение и неверие в человека захватывали его все больше и больше. А после смерти жены и — через несколько лет — смерти его матери, постоянно молившейся за него, он действительно покатился вниз, в пучину ненависти, вызываемую, безусловно, политической борьбой за власть.

«Однако многие годы образования под влиянием церкви не проходят даром, — продолжал Католикос. — Это не проходит бесследно. Глубоко в душе живет тоска по Богу. И я глубоко верю, что последними проблесками сознания он звал Бога. Это случается со всеми ними: под конец они хотят возвратиться назад».

Я рассказывала ему то, о чем уже писала в«Двадцати письмах», — этот последний жест умирающего, этот суровый взгляд, которым он обвел всех стоявших вокруг, показывая левой рукой с вытянутым указательным пальцем наверх. Это совсем не было обращено «к фотографии на стене» — как интерпретировал позже этот жест Хрущев (или тот, кто писал за Хрущева его официальные «мемуары»). Это был совершенно определенно угрожающий, наказующий жест, с призыванием Бога там, наверху, в свидетели... Поэтому некоторые, стоявшие близко к постели, даже откинулись назад. Это было страшно, непонятно. Потому что после нескольких дней затуманенного сознания оно вдруг на мгновение вернулось и выражалось в глазах. В следующий момент он умер. Патриарх считал, что именно в этом жесте — о котором он раньше не знал, так как книги моей не читал, — и было заключено, по его мнению, доказательство последнего обращения к небу.

Патриарх рассказал мне историю, о которой я ничего до тех пор не знала. Во время второй мировой войны Сталина посетила делегация церкви Грузии во главе с тогдашним Католикосом Каллистратом. Церковь молилась за победу и усиленно собирала средства на оборону. Они не знали, что правительство решило восстановить некоторые права церкви, открыть многие храмы вновь, вызвать из ссылки священников, открыть семинарии: это нужно было для победы, для поднятия духа простых солдат. Ничего не подозревая о таких обширных планах, члены делегации опасались наихудшего. Каково же было их удивление, когда Сталин встретил их чуть ли не с распростертыми объятиями, угощал и задавал вопросы типа: «Скажите, что нужно церкви? Мы все дадим».

Каллистрат возвратился в Грузию потрясенный виденным, потому что он был уверен, что видел перед собой почти что раскаяние, во всяком случае — виноватость. Он рассказывал историю много раз в кругах духовенства. В Грузии были восстановлены церкви, три семинарии, увеличилось обучение молодых священников. Это происходило тогда по всему Союзу. Каллистрату показалось, что он видел перед собой тогда человека, мучимого совестью. Как знать, быть может, неожиданный контакт со старыми учителями вызвал какие-то забытые чувства. И среди духовенства Грузии существовало мнение, что Сталин был человеком, терзаемым чувством вины, — они это воочию увидели во время визита.

Представители духовенства также очень хорошо поняли во время этого визита, что они были нужны, что церковь нужна советскому государству как духовная опора во время жесточайшей войны. Они видели, что руководитель партии хотел, чтобы они поняли это. Мы можем только гадать о том, что происходило тогда в его душе, но духовные пастыри,

в особенности такого калибра, его земляки, с которыми он говорил по-грузински (жалуясь, что «забывает язык»), могли увидеть нечто, недоступное обыкновенным партийным бюрократам или атеистам. Они ожидали найти его твердокаменным, суровым воплощением силы, как его рисовали в военные годы, а на самом деле они нашли раздвоенного человека, внезапно обнажившего перед ними душу и буквально желавшего сделать для них все возможное.

Позже Хрущев снова обрушился на церковь в своем левацком коммунизме, закрыл многие семинарии и церкви. У Хрущева не было никаких личных «проблем» с церковью, как говорил мне Католикос. Но он был убежден, что Сталин стал внутренне терзаемым человеком в результате своего отказа от веры. «После его смерти я всегда молился о его душе,— сказал он мне,— так как его душе очень нужна помощь».

Я знала, вернее, догадывалась позже, когда стала взрослой и сама пришла к вере, что у моего отца была сложная душа, противоречивый характер и часто двойственное отношение к жизни. Что его инстинктивно тянуло к чистым душам, каковыми были его первая жена Екатерина Сванидзе, а позже — моя мама Надя Аллилуева. Они были нужны ему. Ему нужна была какая-то опора, и он находил ее в хороших, чистых характерах. Однако они не выдерживали долго возле него и умирали, и тогда он лишался своих «ангелов», и злобные силы одолевали его. Когда я была еще маленькой чистой девочкой, я тоже была ему нужна, он находил возле меня успокоение и утешение, но когда я выросла и стала влюбляться в не приходившихся ему по вкусу людей, он отвернулся от меня.

В музее Сталина в Гори была одна замечательная фотография 1907 года, на которой совсем еще молодой Сталин (28 лет) стоит возле гроба своей первой жены. Она была так молода и обладала ангельской, чистой красотой даже в смерти. Он стоит, наклонив голову с выражением горя на лице, и черные волосы падают в беспорядке на лоб. Я видела эту фотографию не раз, но директор музея сказал, что они «сняли ее, так как прическа там не в порядке». О, святая глупость! Им нужно было, чтобы он выглядел уже тогда как на монументах — огромным, толстым, тяжелым, каким он не был даже в старости... Нервное, молодое, худое лицо с растрепанными волосами «не годилось» для экспозиции. Но это было именно то, что увидели в нем годами позже духовные пастыри, и для них это был обнадеживающий знак.

В музее никак не хотели увеличить прекрасную (и единственную) фотографию отца вместе с его матерью, сделанную при последнем посещении ее в 1936 году. Они сидят рядом за столом, очевидно, в ее комнате, и она держит руку на его плече, а у него такое счастливое, такое любящее выражение лица, какого я вообще никогда у него не видела.

Его фотографий во время маминых похорон не существует, так как он на похороны не ходил. Не мог. Он был только на прощании, где вдруг так разъярился, что оттолкнул от себя гроб и, круто повернувшись, ушел прочь... Он долгие годы считал мамино самоубийство «предательством». Лишь в официальной биографии, выпущенной в конце 40-х годов, наконец в списке дат и событий была отмечена «смерть Н. С. Аллилуевой, жены и друга И. В. Сталина». До того о ее существовании официально вообще не упоминалось. Очевидно, он наконец «простил» маму за ее «предательство».

В свои последние годы он был невероятно холоден, закрыт ото всех, а также и от меня, погружен в какое-то мрачное молчание. Только с моими детьми лишь за три месяца до смерти он вдруг раскрылся и повеселел.

Дети вели себя, как всякие нормальные внуки, а он вдруг сделался обыкновенным дедушкой, угощавшим их всяческими яствами. Крестьянский сын, он жил всю жизнь только политикой, но ему тоже нужны были какие-то отдушины. Мать занимала в его душе постоянное место и была надежной опорой ему, никогда его не покидавшей. Жены и дети были скорее разочарованием. Внуки могли бы быть утешением, но он не удосужился видеть их всех при жизни. «Грешник, большой грешник,— говорил Патриарх о нем.— Но я вижу его часто во сне, потому что думаю о нем, о таких, как он. Я вижу его потому, что молюсь о нем и могу войти с ним в контакт во сне. Я видел его осенявшим себя крестным знамением».

Я ничего не могла сказать на это Католикосу. Он призывал к любви и прощенью и видел в этом свою миссию в наши жестокие дни. Я не знаю и не могу знать, прав ли он был в своих предположениях. Но я знаю одно: последний момент жизни будет звать каждого из нас к полнейшей честности перед Богом, верим мы в Него или нет. И в этом смысле последний жест моего отца невозможно объяснить, не спекулируя, но многие присутствовавшие видели его, и, возможно, каждый истолковал его по-своему. У церкви, у духовенства и у верующих есть, несомненно, право объяснять явления на основании тех понятий, которые составляют основу веры.

Два последних разговора

Здесь уместно, мне думается, вспомнить о двух событиях, которые произошли зимой 1952—1953 годов, событиях, предшествовавших смерти моего отца и последовавших за ней. Я не писала о них в своих ранних книгах. И значение их как-то больше раскрывается именно со временем, из перспективы. Сейчас мне кажется, что я вижу определенную связь между ними, чего не видела ясно, когда писала «Двадцать писем». В обоих этих событиях странно фигурировал один и тот же человек. И именно потому, что во время поездки в СССР в 1984—86 гг. мне уже приходилось слышать неправдоподобные версии о смерти моего отца, я полагаю, что необходимо сейчас дополнить мои старые книги нижеследующими фактами.

Последний разговор с моим отцом произошел у меня в январе или феврале 1953 года. Он внезапно позвонил мне тогда и спросил, как обычно, безо всяких обиняков: «Это ты передала мне письмо от Надирашвили?» Я ничего не передавала, ведь существовало железное правило, чтобы писем к отцу не носить и не быть «почтовым ящиком». Однако он желал знать, кто же передал ему данное письмо. «Ты знаешь его?» «Нет, папа, я не знаю такого». «Ладно»,— и он уже повесил трубку.

Разговор этот мне запомнился, потому что он оказался последним. В марте меня позвали к нему, когда он был уже без сознания. Возможно, оттого, что разговор был последним, я запомнила навсегда эту фамилию — Надирашвили. Очень обычная грузинская фамилия.

В марте, когда отец умер и мы все часами стояли в Колонном зале, глядя на народ, проходивший мимо, я невольно обратила внимание на высокого грузного человека, одетого, как рабочий, проходившего вместе с большой делегацией Грузии. Он остановился, задерживая ход других, снял шапку и заплакал, размазывая по лицу слезы и утирая их этой своей бесформенной шапкой. Не заметить и не запомнить его крупную фигуру было невозможно.

Через день или два раздался звонок у двери моей квартиры в «доме на набережной». Я открыла дверь и вновь увидела этого человека. Он был очень высок и могуч в плечах, в запыленных сапогах, с красным простым обветренным лицом. «Здравствуйте,— сказал он с сильным грузинским акцентом.— Я — Надирашвили». «Заходите»,— сказала я. Как же не впустить незнакомца, когда я слышала его имя совсем недавно?

Он вошел, неся в руках большой портфель, туго набитый бумагами. Сел в столовой, положил руки на стол и заплакал. «Поздно. Поздно!»— только и сказал он. Я ничего не понимала, слушала.

«Вот здесь — все! — сказал он, указывая на папку с бумагами.— Я собирал годами, все собрал. Берия хотел меня убить. В тюрьму меня посадил, сумасшедшим меня объявил. Я убежал. Он не поймает меня, Берия никогда не поймает меня! Где живет маршал Жуков, можете сказать? Или Ворошилов?»

Я начала понимать, в чем дело. Значит, Надирашвили писал моему отцу о Берии и кто-то передал письмо. Письмо дошло — было передано,— но было ли оно прочитано? Вот к чему относятся горькие слова «поздно!». Зачем ему нужен Жуков? Ворошилов живет в Кремле, туда не пройдешь.

«Жуков живет на улице Грановского, в большом правительственном доме. Квартиру не знаю»,— сказала я.

«Я должен увидеть Жукова. Я должен все ему передать. Я все собрал об этом человеке. Он меня не поймает».

Он задыхался, должно быть, от усталости и волнения, и то и дело начинал опять плакать. Простые грубые люди плачут вот так — как дети. Интеллигенты — никогда. Я понимала, что неминуемо попадаю в какую-то таинственную сеть событий, но отказать ему я не могла. Он простился и ушел.

Через день, а может быть, и в тот же день раздался звонок телефона, и я с удивлением узнала, что мне звонит не кто иной, как сам Берия. Этого еще никогда не случалось, хотя я знала его и его семью много лет. Он начал очень вежливо, уведомив меня, что «правительство тут кое-что решило для тебя — пенсию и так далее. Если только что тебе нужно, не стесняйся, звони мне как...— он замялся, подбирая слово,— как старшему брату!» Я не верила своим ушам. Потом безо всякого перехода он вдруг спросил: «Этот человек, Надирашвили, который был у тебя, где он остановился?»

Мы в СССР всегда предполагали, что телефоны прослушиваются, но это уж было совсем чудом техники. И кто ходит ко мне — тоже, очевидно, было замечено. Я совершенно честно сказала, что не знаю, где остановился Надирашвили. Разговор на этом закончился. Это был мой последний разговор с Берией.

В обоих последних разговорах фигурировал один и тот же человек — таинственный Надирашвили.

Я позвонила Е. Д. Ворошиловой и спросила, могу ли я видеть ее мужа. Она пригласила меня на их квартиру в Кремль. Когда я рассказала Ворошилову о внезапном посещении, он побледнел. «Ты что,— сказал он,— хочешь нажить себе неприятностей? Разве ты не знаешь, что все дела, касающиеся Грузии, твой отец доверял вести именно Берии?» «Да,— ответила я,— но...» Тут Ворошилов просто замахал на меня руками. Он был не то сердит, не то страшно напуган или же и то и другое вместе. Я допила свою чашку чаю и, поблагодарив хозяйку, ушла.

Но, по-видимому, я уже влипла в большие неприятности, потому что в последующие дни меня разыскали в академии * и перепуганный и заинтригованный секретарь партийной организации сказал, что меня срочно вызывают в Комиссию партийного контроля (КПК) к тов. Шкирятову. Причин не объясняли, но секретарь понимал, что произошло нечто «крупное».

В КПК на Старой площади меня провели к М. Ф. Шкирятову, которого я до сих пор видела только за столом у моего отца, и то очень давно. «Ну как поживаешь, милая?» — спросил довольно дружелюбно Шкирятов. В партийных кругах было хорошо известно, что если Шкирятов называет вас «милок» или «милая», значит дела плохи.

«Ну вот что, милая, садись и пиши,— сказал он, не теряя времени.— Все пиши. Откуда ты знаешь этого клеветника Надирашвили, почему он к тебе приходит и как ты ему содействовала. Нехорошо, милая, нехорошо. Ты в партии недавно, неопытная, это мы учтем, но ты уж расскажи всю правду. Вот бумага, садись вон там».

«Я не знаю, кто такой этот Надирашвили. Я видела его в Колонном зале и запомнила, а потом уже увидела его у моей двери. Не впустить его было бы грубо. И я не знаю, каким образом я ему «содействовала» и в чем».

«Ну это — злостный клеветник,— перебил Шкирятов.— Мы его знаем. Он клевещет на правительство. Значит, отказываешься объяснить?»

«Объяснять-то нечего. Я о нем ничего не знаю».

«Все равно, садись и пиши».— Этого требовала процедура.

Комедия эта, когда пишешь «сам на себя» заявление, продолжалась несколько дней. А затем мне дали «строгача» — строгий выговор с предупреждением — «за содействие известному клеветнику Надирашвили». Секретарь парторганизации академии отнесся к событию весьма благосклонно и сказал мне только: «Не волнуйтесь. Все проходит. Дают, а потом снимают. С вами тут что-то непростое — даже мне не объяснили, в чем дело!»

* С 1951-го по 1954 год я готовила диссертацию по русской литературе в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Один большой старый друг, всегда посвящавший меня в правительственные новости, тоже советовал не волноваться. «Сейчас события начнут разворачиваться — не перестанешь удивляться! Прошу тебя ничему особенно не удивляться. Хорошо? Будь спокойна».

Я заканчивала свою диссертацию и благодарила Бога за то, что он дал мне много хороших друзей. Между тем у меня отобрали пропуск в Кремль, заявив, что на бывшую нашу квартиру мне ходить незачем. Я, конечно, не претендовала на «имущество» — это было не в моих правилах. И пошла сдавать пропуск в комендатуру. Там молоденький офицер вытаращил на меня глаза: ему казалось диким, что мне нельзя больше бывать в Кремле! Он пробормотал, что это «недоразумение». «Ничего,— рассмеялась я,— не волнуйтесь! Я знаю — это не недоразумение, а решение». Он взял мой уже ненужный пропуск, все еще трепыхаясь от обуревавших его эмоций, а я пошла домой, в свою квартиру, где жила уже несколько лет со своими детьми.

Вскоре я узнала, что арестован Василий, мой брат. Его дочь сказала, что «папа пил с иностранцами, мы его предупреждали этого не делать». Потом позвонила его третья жена (чемпионка по плаванию, самый серьезный и хороший человек из всей коллекции его жен) и сказала, что его арестовали. Я не удивлялась — как мне и посоветовал сделать мой друг. Василий был генерал-полковником авиации и входил в высшие круги правительства и армии. С его характером, наверное, угодил в большую неприятность. Это он умел.

Всю весну и начало лета 1953 года я занималась своими книгами, детьми, хозяйством и старалась сидеть как можно тише дома, никуда не ходить. Как вдруг где-то в начале июля позвонила мне приятельница и, задыхаясь от волнения, сказала: «Знаешь что? Шоферы говорят, что велели снимать повсюду портреты Берии. А на Садовой стоят танки». Вот так мы узнавали новости: через самые непредвиденные источники. Но шоферы правительственного гаража — это достоверный источник!

Потом постепенно, из рассказов многих друзей, вырисовалась невероятная картина ареста Берии, содержания его в подвалах Московского военного округа, скорейшего Трибунала и — там же, в подвалах — приведения приговора в исполнение.

Мне сказал об этом ныне покойный главный хирург Советской Армии Александр Александрович Вишневский, знавший близко всех высокопоставленных военных. «Ты только подумай,— повторял он.— Ты только подумай! Просил на коленях даровать ему жизнь. И это человек, которого все так страшились! Так торопились привести приговор в исполнение, боялись его как огня. Жутко. Жутко».

А затем началась читка в партийных организациях объяснительного письма ЦК КПСС о Берии, где его называли «иностранным шпионом», «контрреволюционером со времен гражданской войны», «растленным человеком» и прочая, и прочая. Читка была долгой. ЦК не поскупился на подробности о любовных похождениях теперь уже не страшного, поверженного и расстрелянного главы КГБ, разведки, контрразведки и всех секретных агентств. Мало что было сказано конкретно о деятельности этого человека и о его жертвах, особенно на Кавказе и в Москве *. В конце письма ЦК утверждалось, что КГБ должен наконец заниматься своими делами, а не играть роль «второго правительства».

Этого все ждали, все хотели и встретили эти слова рукоплесканиями. В последующие годы, действительно, Хрущеву удалось поставить КГБ «на свое место». Но все началось тогда с обезвреживания головы.

Через месяц после этого меня снова вызвали в КПК на Старую площадь и уже кто-то другой, не Шкирятов, сказал мне, что выговор мой отменен и что в мою организацию будет сообщено. «Постарайтесь забыть

* В числе свидетелей, предоставивших материалы — их был длинный список,— был упомянут и Надирашвили. Значит, его давнишний враг действительно не нашел и не поймал его. Я никогда больше о нем не слыхала и не видела его, но было приятно знать, что он не погиб.

об этом неприятном инциденте!» — сказал он с улыбкой. «Нет уж, вряд ли», — ответила я.

Таинственный Надирашвили, как я полагаю, все же сумел передать Сталину что-то насчет деятельности Берии. Последовали немедленные аресты всех ближайших к Сталину лиц: генерала охраны Н. С. Власика, личного секретаря А. Н. Поскребышева. Это был январь-февраль 1953 года. Академик В. Н. Виноградов уже находился в тюрьме, а он был личным врачом Сталина, и, кроме него, никто близко не допускался. Поэтому, когда во второй половине дня 1 марта 1953 года прислуга нашла отца лежащим возле столика с телефонами на полу без сознания и потребовала, чтобы вызвали немедленно врача, никто этого не сделал.

Безусловно, такие старые служаки, как Власик и Поскребышев, немедленно распорядились бы без уведомления правительства, и врач прибыл бы тут же. Но вместо этого, в то время как вся взволновавшаяся происходившим прислуга требовала вызвать врача (тут же, из соседнего здания, в котором помещалась охрана), высшие чины охраны решили звонить «по субординации», известить сначала своих начальников и спросить, что делать. Это заняло многие часы, отец лежал тем временем на полу безо всякой помощи. Наконец приехало все правительство, чтобы воочию убедиться, что действительно произошел удар, — как и поставила первой диагноз подавальщица Мотя Бутузова.

Врача так и не позвали в течение последующих 12—14 часов, когда на даче в Кунцеве разыгрывалась драма: обслуга и охрана, взбунтовавшись, требовали немедленного вызова врача, а правительство уверяло их, что «не надо паниковать». Берия же утверждал, что «ничего не случилось, он спит». И с этим вердиктом правительство уехало, чтобы вновь возвратиться обратно через несколько часов, так как вся охрана дачи и вся обслуга теперь уже не на шутку разъярились. Наконец члены правительства потребовали, чтобы больного перенесли в другую комнату, раздели и положили на постель — все еще без врачей, то есть, с медицинской точки зрения, делая недопустимое. Больных с ударом (кровоизлиянием в мозг) нельзя передвигать и переносить. Это — в дополнение к тому факту, что врача, находившегося поблизости, не вызвали для определения диагноза.

Наконец на следующее утро начался весь цирк с Академией медицинских наук — как будто для определения диагноза нужна академия! Не ранее чем в 10 часов утра прибыли наконец врачи, но они так и не смогли найти историю болезни с последними данными, с записями и определениями, сделанными ранее академиком Виноградовым... Где-то в секретных недрах Кремлевки была похоронена эта история болезни, столь нужная именно сейчас. Ее так и не нашли.

Когда 5 марта во второй половине дня отец скончался и тело было увезено на вскрытие, началась по приказанию Берии эвакуация всей дачи в Кунцеве. Вся прислуга и охрана, требовавшие немедленного вызова врача, были уволены. Всем было велено молчать. Дачу закрыли и двери опечатали. Никакой дачи никогда «не было». Официальное коммюнике правительства сообщило народу ложь — что Сталин умер «в своей квартире в Кремле». Сделано было это для того, чтобы никто из прислуги на даче не смог бы жаловаться; никакой дачи в данных обстоятельствах «не существовало»...

Они молчали. Но в 1966 году одна женщина, проработавшая на даче в Кунцеве в течение почти двадцати лет, пришла ко мне и рассказала всю вышеприведенную историю. Я не писала об этом в «Двадцати письмах к другу»; книга уже была написана до того, как я услышала историю с вызовом врачей. Я не хотела ничего в ней менять — ее уже многие читали в литературных кругах Москвы. Я не хотела, чтобы в 1967 году, когда я не вернулась в СССР, кто-либо на Западе смог бы подумать, что я «бежала» просто из чувства личной обиды или мести. Это легко можно было бы предположить, если бы я также написала тогда о смерти своего брата Василия то, что я знала.

Ему тоже «помогли умереть» в его казанской ссылке, приставив к нему информантку из КГБ под видом медицинской сестры. О том, что она была платным агентом КГБ, знали (и предупреждали меня) в Институте Вишневского, где она работала и где Василий лежал некоторое время на

обследовании. Он был тогда только что освобожден Хрущевым из тюрьмы и болел язвой желудка, сужением сосудов ног и полным истощением. Там его и «обворожила» эта женщина, последовавшая затем за ним в Казань, где она незаконно вступила с ним в брак. Незаконно, так как мой брат не был разведен еще с первой своей женой и был, по сути, троеженцем уже до этого, четвертого, незаконного брака.

Но права нужны были Маше для определенного дела, а КГБ с милицией помогли ей зарегистрировать этот брак. Она делала уколы снотворного и успокоительных ему после того, как он продолжал пить, а это разрушительно для организма. Наблюдения врачей не было никакого — она и была «медицинским персоналом». Последние фотографии Василия говорят о полнейшем истощении; он даже в тюрьме выглядел куда лучше! И 19 марта 1962 года он умер при загадочных обстоятельствах. Не было медицинского заключения, вскрытия. Мы так и не знаем в семье: отчего он умер? Какие-то слухи, неправдоподобные истории... Но Маша воспользовалась правом «законной вдовы» и быстро похоронила его там же, в Казани. А без доказательства незаконности ее брака никто не может приблизиться к могиле Василия, учредить эксгумацию, расследование причин смерти... Надо подать в суд, представить как свидетельницу первую, неразведенную жену... Этого хотят друзья Василия, этого хотят его дети и хочу я. Однако Громыко не удостоил меня встречей по этому вопросу, когда я была в Москве, и даже не ответил на мое письмо, хотя меня заверили, что он получил его. Значит — еще не хотят раскрытия всех обстоятельств...

Василий, конечно, знал куда больше, чем я, об обстоятельствах смерти отца, так как с ним говорили все обслуживающие кунцевскую дачу в те же дни марта 1953 года. Он пытался встретиться в ресторанах с иностранными корреспондентами и говорить с ними. За ним следили и в конце концов арестовали его. Правительство не желало иметь его на свободе. Позже КГБ просто «помог» ему умереть.

Ему был только 41 год, и, несмотря на алкоголизм, он не был физически слабаком. Остались три жены и трое детей, и, как ни странно, никто не помнил зла. Он был щедр и помогал всем вокруг, часто не имея ни рубашки, ни носков для себя. Его имуществом (именным оружием, орденами, мебелью) после смерти завладели две женщины, каждая претендуя на «права». Сыну не удалось получить на память «даже карандаша», как он сказал мне. Место Василия не в Казани должно быть, а в Москве, на Новодевичьем кладбище, возле мамы, всегда так волновавшейся из-за его бурного характера. Он же любил мать без памяти, и ее смерть совершенно подорвала нервы подростка. Правительство пока что не желает поднимать все это из забвения. О смерти Сталина созданы какие-то официальные версии — наверное, продажные писатели напишут по указке партии, «как все было». Я уже слышала кое-что об этом во время пребывания в Москве — фабрика лжи работает. Но когда-нибудь придется сказать и правду. Нужно будет собрать материалы свидетелей — имеются неизданные мемуары А. Н. Поскребышева, имелись записи в семье Н. С. Власика и его колоссальный фотоархив о жизни Сталина, с которым он провел более 30 лет как глава охраны. Архив этот, как и мемуары Поскребышева, были «арестованы» КГБ. Нужно будет раскрыть свидетельства обслуживающих дачу в Кунцеве — таких, как подавальщица Матрена Бутузова, сестра-хозяйка Валентина Истомина; офицеров личной охраны — Хрусталева, Кузьмичева, Мозжухина, Ефимова, Ракова. Всех их «послали на пенсию» — в лучшем случае — еще 30 лет тому назад, но остались записи и разговоры, потому что молва не спит.

Теперь кунцевскую дачу показывает редким, избранным посетителям некто Волков и, утверждая, что он «тоже был там», рассказывает небылицы — или же официальные версии. Не было там никакого Волкова в те дни, это я знаю, и выдумки, которые я слышала, не раскрывают настоящую картину происходившего. Однако в дачу вернули мебель (бумаги, книги и личные предметы все еще не возвращены) и показывают ее по специальным разрешениям, даваемым правительством и... КГБ! За послехрущевские времена КГБ, конечно, снова вошел в полную силу «второго правительства».

Я никак не хотела, чтобы в 1967 году мой побег рассматривали как некую личную «месть» советскому правительству. Я и сейчас не хочу, чтобы так думали. Поэтому я всячески воздерживалась от публикации вышеописанных историй в моей первой или второй книгах. Но советское правительство боялось именно этого, а потому решило заранее объявить меня «сумасшедшей, которой нельзя верить», и даже сам премьер Косыгин не постеснялся заявить это с высокой трибуны ООН. Неужели меня так боялись? Боже, какая честь! Но я и не собиралась бросать публике сенсационные сообщения о «тайнах Кремля». Харрисон Солсбери так охарактеризовал впечатление от моей первой книги: «Кремлевские стены не падут». Это означало некоторое разочарование, но это означало также, что я не собиралась тогда сводить счеты с советским правительством из-за рубежа.

Сейчас, заканчивая эту последнюю, четвертую книгу, я хочу наконец сказать все об отце и брате, чтобы ничего не оставалось недосказанным. Прошло с той поры уже 35 лет. Пора. Будущий историк найдет мои книги занимательными — и фактическими.

У меня нет никакой личной злобы, ненависти или чувства мести по отношению к отдельным лицам советской верхушки. Берия был единственным в своем роде, и ему удалось погубить добрую половину нашей семьи. Но дело не в этом. Я считаю всех их равнозначными, ни один не хуже и не лучше другого. Все они продолжают дело жестокого угнетения могучего, талантливейшего народа, начатое большевистской революцией семьдесят лет тому назад. Я люблю прекрасную страну, где я родилась, и преклоняюсь перед великой русской культурой, которую не уничтожили даже все эти семьдесят лет. Советский Союз и сегодня — неистощимый источник талантов во всех областях жизни, науки, искусства — настоящих, Богом данных талантов, тех, что развиваются не в роскоши и комфорте, а именно при отсутствии таковых, в темных, тесных комнатушках советской «действительности». Но — при необыкновенной концентрации всех сил духа, сердца и ума. Роскошь еще не отвлекает советских будущих «Платонов и быстрых разумом Невтонов» от работы, так как роскоши там не существует.

Я лишь мечтаю о том времени, когда с плеч многонационального и незабываемого народа свалится наконец тяжкое бремя бесстыдной ленинской партии и люди вздохнут свободно. Это не за горами. Мои внучки, конечно, доживут до тех дней. Мне же остается только видеть сны в предвкушении.

Неизбежные сравнения

После отступления на тридцать лет назад, сделанного в предыдущей главе в связи с рассказом о последних днях жизни моего отца, вернемся обратно в Грузию.

Поскольку я прожила всю жизнь в Москве и не говорила по-грузински, за исключением отдельных слов и фраз, мне пришлось заново открывать для себя Грузию, где жили все мои предки. Моя дочь, родившаяся в Америке, проделывала тот же процесс с не меньшим энтузиазмом. Для нее так странно было сопоставлять эту маленькую южную республику с современной Америкой, ее родиной; для меня — еще страннее было вдруг перекочевать из космополитической бурлящей современной Москвы в эту крошечную республику с ее древними камнями, замками и обычаями. Глубоко укоренившийся здесь национализм, часто дикий и нетерпимый ко всему иному, вдруг заставил меня неожиданно понять и оценить — в данных обстоятельствах — все преимущества моего московского космополитического воспитания.

Многомиллионная Москва, открытая с начала XX века всем европейским влияниям и воздействиям, предоставила моему брату и мне интернациональное воспитание в духе той эпохи — конца 20-х — начала 30-х годов. Никто в нашей семье тогда не считал, что мы должны были знать грузинский язык. Мы даже не знали, кто такие были «грузины». Мой брат говорил в детстве: «Это те, которые бегают с ножами и вспарывают всем животы». Нас обучали немецкому языку с детства, это был тогда язык новой техники, а значит, и культуры. Французский в те дни отошел в прошлое

вместе с дворянским обществом, культивировавшим его. Наша мама следила за нашим образованием и воспитанием с помощью нанятых ею педагогов, и мы ни в коем случае не должны были превратиться в узких националистов.

Мама любила во всем совершенство и серьезную работу, так что мы учились и с гувернантками дома, и в прекрасных школах. Затем мой брат начал военную карьеру, а я изучала историю в Московском университете, а после окончания основного курса и литературу. Мое образование и воспитание были настолько космополитическими, что в Америке меня всегда коробило, когда меня настойчиво приглашали в русскую чайную в Нью-Йорке. И за двадцать лет я умудрилась увернуться от посещения таковой. В Америку я приехала уже законченным космополитом, в особенности после моего индийского опыта. «Пирожки» в русской чайной в Нью-Йорке, куда меня так усиленно зазывали, были для меня тогда показателем какой-то неимоверной затхлости и узости мышления. Но мои новые американские друзья никак не могли понять, почему я с негодованием отказывалась посетить эту русскую чайную, предмет их искреннего восторга.

Я была в те дни так счастлива вырваться в широкий, открытый мир! Он был прекрасен, и мне хотелось с энтузиазмом узнавать все больше и больше о всех неизвестных мне до той поры нациях, в том числе об индейцах Америки, которые внесли свою лепту в этот уникальный сплав — американскую культуру. А меня зовут сидеть за самоваром!

За последовавшие годы я вполне сжилась с американским образом жизни, и в этом я в значительной степени обязана моей дочери-американке, которая внесла свою огромную лепту в этот процесс, нужный еще более для нее самой, нежели для меня. За два года, проведенных в Англии, мы познакомились с еще одним прекрасным интернациональным образом жизни — Британским содружеством наций, где единство и демократизм так очевидно демонстрируются всеми, от королевы до школьников в интернациональных пансионах. Это было незаменимым опытом для нас с Ольгой, которая еще больше узнала о мире и равенстве наций в своей квакерской школе.

И вот теперь, после всего этого многообразного опыта, мы вдруг очутились в совершенно ином мире маленькой древней гордой нации. Мы были вполне готовы заключить и ее в свои горячие объятия, так же точно, как Ольга совсем недавно обняла в своей школе детей из Кении, Уганды, Индии, Пакистана и Индонезии... И однажды в компании грузинских детей моя молодая интернационалистка выразила свое восхищение армянами, находясь под впечатлением от их прекрасного джаза, а также от местного выдающегося парикмахера.

Каково же было ее удивление, когда после выразительного молчания ей было замечено, что «об армянах даже не полагается говорить в грузинской компании». Это ее совершенно потрясло своей несправедливостью, и она упрямо продолжала говорить о том, как ей нравятся армяне, их музыка, их джаз, и все их программы на местном телевидении. Она совершенно этим шокировала своих друзей, которые затем ей вежливо заметили, что они, конечно, прощают ей как иностранке ее неведение, но что она просто не может и не должна ставить «этих армян» на равную ногу с ними, грузинами. Ольга вернулась домой из этой молодежной компании совершенно обескураженная подобной несправедливостью, источник которой она не в состоянии была понять, и я твердо сказала ей, что она права. К несчастью, она просто попала не в лучшую из компаний, так как в кругах высшей интеллигенции Тбилиси грузины и армяне веками жили в дружбе и в прекрасном артистическом сотрудничестве. А город Тбилиси всегда был образцом космополитизма, во всяком случае — до революции.

Но мы-то прибыли сюда совсем из другого мира, который даже я после стольких лет считала своим и где интернационализм и терпимость давно уже сделались нормой мышления и поведения. И мы уже не могли расстаться с этим космополитизмом, не могли его отбросить. Америка — этот дом для всех — не могла быть так скоро позабыта. И законы, запрещающие унижать и оскорблять представителей иных наций и религий, приходили здесь на ум куда чаще, чем мы могли это предполагать.

Безусловно, я даже не могла заикнуться в моей старинной, экзотической, ортодоксальной грузинской церкви о факте своего перехода к католи-

кам... Воображаю, какой скандал это вызвало бы. Но весь оперный ритуал, прекрасное пение и изнурительные литургии с пятичасовым стоянием на ногах не смогли бы заменить мне экуменической службы в англиканском соборе св. Павла в Лондоне, когда около двух тысяч верующих со всех концов Земли собираются здесь традиционно в летние воскресенья, чтобы отпраздновать сообща литургию. Никто не спрашивает их, к какой конфессии они принадлежат, каждый получает причастие возле алтаря на равных основаниях. Я помню, как потрясена я была этим равенством, с которым нас всех тут принимали. Звучал прекрасный камерный ансамбль, потом мы все двинулись к причастию, и я знала, что мой сосед был агностиком, но он так хотел получить причастие. Возможно, что этот момент равенства оставил неизгладимое впечатление в его памяти — в пользу церкви, потому что его не оттолкнули. Даже спокойная служба в лондонской семинарии или многонациональное собрание во время францисканской народной мессы в Калифорнии (в особенности их Пасхальное ликование) оставляли это прекрасное чувство открытых дверей и гостеприимства. Нет, здесь, в Грузии, в пятнадцативековой Православной церкви, я не могла признаться в моей «ереси». Никакие объяснения не помогли бы здесь. Меня бы выкинули вон.

Но в большом мире, где мы уже прожили немало лет, необходимо обнять их всех, братьев-христиан и даже нехристиан. Одинокое, догматическое, упрямое противостояние отделит вас от всех остальных. И при всей красоте неземного хора, обволакивающего вас звуками, сопровождаемыми курением ладана, когда вы так индивидуально уединены перед Богом, вы знаете, что вам нужно взять за руки и других, чтобы выразить мировую соборность, мировое единство людей перед Богом. Здесь мы чувствовали свою — и их — отъединенность; специфичность, неповторимость — но и одиночество... Мы чувствовали — в особенности в церкви, но не только — уникальность этой страны и ее культуры, но также и тот факт, что мы-то уже привыкли к культуре Запада, объединяющей даже необъединимое. И чем сильнее мы привязывались к этой родной нам земле и ее чудесным людям, тем больше мы понимали, что день расставания неминуемо придет. Мы не знали еще — когда, но мы уже чувствовали, что начинаем задыхаться в этих горячих объятиях.

Конечно, здесь, в Грузии, мы во всем были на стороне грузин и против всего, что «спускали» им «сверху». Не только в смысле подавления национальности, но также и в смысле партийных и экономических директив этой маленькой стране. Урожай чая, цитрусовых, фруктов, вина немедленно отправлялся весь «на север», так же, как и продукция местного автомобильного завода, и добываемая марганцевая руда, и другие богатства. И хотя Грузия всячески пыталась противостоять этому диктату, особенно в сельском хозяйстве, она знала, что битва была неравной.

Тогдашний ее партийный вождь Эдуард Шеварднадзе остроумно решил, что вместо неравной борьбы за местные интересы лучше во всем поддерживать «север». Эта личная политика завоевала ему признательность Москвы, куда он в конце концов и был вызван, чтобы получить пост министра иностранных дел в новом правительстве Горбачева. Но об этом шаге — позже. В Грузии же Шеварднадзе сделал все возможное и невозможное, восхваляя «союз» России и Грузии, вплоть до установления монумента в честь ненавистного здесь Георгиевского трактата 1784 года, по которому Грузинское королевство подпало под унизительную власть Петербурга, потеряв свою независимость, свою династию и статус свободного христианского государства. И этот национальный позор теперь был отмечен монументом подозрительного художественного качества и бесконечными официальными партийными празднованиями. Местное население, церковь и интеллигенция негодовали, но зато Шеварднадзе пошел после этого в гору...

Я уже говорила о своей первой встрече с Эдуардом Шеварднадзе. Он дал мне понять, что в моем случае все зависит от решений Москвы, которым он будет неуклонно следовать. Я поняла тогда, что передо мной был очень неглупый человек, большой дипломат с далеко и высоко идущими амбициями. Сегодня в этом ни у кого уже не может быть сомнений. Но тогда в небольшой окраинной республике еще не видны были широко открывавшиеся ему горизонты, которые очень скоро сделались реальностью... И он явно не стремился здесь к дешевой популярности среди своих соотечественников: быть популярным в Москве было куда более важно для него. Что касалось нас с Ольгой, то было ясно, что у нас всегда могут возникнуть непредвиденные трудности в результате нажима из Москвы, а с московскими идеями о нашей «ускоренной советизации» мы ведь уже познакомились там, на севере...

И после года, проведенного в этом благоуханном родном краю, влюбляясь в наших друзей и их образ жизни, зачарованные ароматами прекрасной древней земли, мы уже понимали, что час расставания со всем этим столь неожиданным и новым для нас опытом неминуемо придет... Мы не знали еще, когда и как скоро это произойдет, но неминуемость расставания уже была в воздухе

Перемена декораций

Здесь вдруг произошло нечто, напоминающее рок, удар судьбы, десницу Божию. Умер долго болевший Генсек Черненко, и на его место был выбран сравнительно молодой, немного провинциальный, еще со своим «говором», здоровый и жизнерадостный Михаил Горбачев.

Слухи ходили, что он либерал. Но он держался еще очень осторожно в этом засилье консерваторов, которое он унаследовал от правления Брежнева и подобных ему. За то время, что мы находились в СССР, не было еще заметно каких-нибудь радикальных перемен, хотя Горбачев и начал замену старой, консервативной гвардии людьми, более близкими ему по возрасту и по образу мышления. Питомец Московского университета, он представлял собою новый слой в самой партии, где стародавние методы работы уже не могли удовлетворить никого.

Из нашего далека мы не могли еще предвидеть, как он отнесется к нашим проблемам, и, как все в СССР, жили слухами. Печать сообщала очень мало о новом лидере, и, помимо его немедленно же начавшейся борьбы с алкоголизмом да еще совершенно поразившего здесь всех избрания Эдуарда Шеварднадзе на пост министра иностранных дел СССР, о Горбачеве пока мало что было известно. Запрет пить вино на свадьбах — еще одна новая идея с «севера» — не встретил энтузиазма в винодельческой республике, где каждый крестьянский двор производит свое вино. Что же касается назначения Шеварднадзе, то вскоре глубокомысленно решили, что «поскольку выбрали на высокий пост грузина, это будет хорошо для Грузии». Новый партийный секретарь, заменивший Шеварднадзе, был проще, мягче, традиционнее и всех устраивал.

Горбачев пришел к власти в марте 1985 года. Летом он уже начал снимать старых консерваторов с их постов и назначать своих, более молодых и либеральных людей. Затем пришло назначение Шеварднадзе на пост министра иностранных дел. Поскольку Грузия располагала большим количеством высокообразованных дипломатов на низших должностях, сперва все удивились, почему выбор пал на совершенно не подготовленного к дипломатическому поприщу бывшего главу грузинского КГБ, даже плохо говорившего по-русски. Но потом поняли, что именно это и верноподданность партии заслужили ему высокий пост. И перестали удивляться.

Мы провели лето на традиционных курортах Черного моря. Я бывала здесь в детстве, и мне так хотелось, чтобы Ольга тоже отведала этих красот. Черное море необыкновенно притягательно, а районы старых курортов необычайно разрослись, — я ничего не узнавала здесь! В доме отдыха мы встречались с партийными работниками и их женами, что было весьма скучно. Но Олю тут же окружала молодежь, многие говорили по-английски и она была, как рыба в воде, в своей роли «посланника из свободного мира». Именно так ее молодежь здесь и воспринимала. С ее «светской жизнью», общением все обстояло как нельзя лучше, но вот перспективы ее образования были неутешительны. Хотя она неплохо болтала по-русски и по-грузински, этого было недостаточно для освоения обширной советской школьной программы. Теперь ей не хотели разрешить занятия дома, а садиться за парту в школе было бы невероятно трудно для нее. Я все более понимала, что не смогу «снова войти в коллектив» под контролем партийной организации; одна мысль об этом лишала меня сна. На меня по-преж-

нему смотрели как на странную птицу, залетевшую сюда по ошибке,— разглядывали с любопытством и неизменно заводили разговор о том, «какой великий человек был ваш отец». От этой темы невозможно было увернуться. Это была какая-то болезнь, все были одержимы бесконечными рассуждениями на эту тему. Мне же было бесконечно трудно вообще что-либо отвечать им, я сердилась и нервничала, а они не понимали — почему...

В декабре 1985 года я написала первое письмо Горбачеву, где объясняла, что мы приехали сюда с целью «соединиться с семьей», но поскольку этого нам добиться не удалось, то и не было никаких дальнейших причин для нас оставаться здесь. Я просила разрешить нам выезд из СССР. Поскольку мы были теперь советскими гражданами (хотя и с двойным гражданством), нам следовало получить таковое разрешение у правительства.

Никакого ответа не последовало. Это типично для советской жизни. Никто не напишет вам, что ваше письмо получено и рассматривается, — секретарши этим не занимаются. Вы просто должны сидеть и ждать, надеяться на лучшее и молить Бога, чтобы помог.

От Катерины больше не было писем. На все мои письма к ней на ее вулканостанцию в городе Ключи на Камчатке она не ответила ни слова. Мой сын ни разу не звонил и не писал с тех пор, как мы уехали из Москвы. Писали мне только мои племянники да двоюродные братья.

На лето мы пригласили к нам мою двоюродную сестру, актрису на пенсии. Она быстро нашла общий язык с Олей, они играли на пианино, пели, отплясывали чарльстон и вообще веселились. Поскольку все остальные родственники отнеслись к нам дружелюбно, я определенно решила, что с моими детьми была проведена «специальная работа», что им вбивали в голову ложь и клевету на меня, потому они так и переменились. Это было что-то поистине чудовищное, я никак не могла смириться и принять этот факт, хотя Патриарх, с которым я много разговаривала об этом, постоянно уверял меня, что «любовь победит», что я «должна быть терпеливой и ждать». Я не понимала этого «наказания», в особенности от моей Кати, всегда бывшей такой славной девочкой, горячо любившей меня.

Ответа из секретариата Горбачева не поступало. Не было ответа также и от Громыко, с которым я просила встречи, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с судьбой моего брата Василия. Просто — никакого ответа вообще. Можете думать все, что вам угодно!

Это опять же заставляло вспомнить нашу жизнь на Западе, где серьезно и уважительно относятся ко всем, пишущим в правительство. В цивилизованном обществе не ответить на письмо просителя — просто неслыханная грубость. Я еще раз почувствовала, как оторвалась я от советского образа жизни, в котором просуществовала более сорока лет...

В первые дни в Москве произошел один эпизод, показавший, насколько я успела позабыть советские правила жизни. Мое «переключение» в иную жизнь было полным и искренним. В Москве же я то и дело из-за этого попадала впросак. Вместе с моим двоюродным братом, молодым доктором с бородкой и в очках, немного походившим на молодого Чехова, мы сидели как-то в ресторане гостиницы «Советская» и ели борщ. Это была наша первая встреча по приезде в СССР. Мы смеялись, чувствовали себя легко. Вдруг я обратила внимание на какие-то цифры, помещенные на бархатном занавесе, скрывавшем от глаз эстраду. «1917 — 1984,— прочла я вслух и спросила: — Что это такое? Чей-то юбилей?»

Брат недоверчиво посмотрел на меня и начал давиться от смеха, прикрывая рот рукой. «Ты что? — выдавил он наконец из себя. — Совсем, как видно, оторвалась? — Он давился от смеха и оглядывался по сторонам — не слышит ли нас кто-нибудь. — Цифру 1917 совсем позабыла?» И только тогда меня осенило, что это были за даты. Даты праздника Октябрьской революции, ежегодно справляемого в СССР. Праздника, который я не отмечала вот уже восемнадцать лет... И совершенно забыла о нем, поскольку он не жил в моем сознании.

Праздники, давно позабытые, и правила ежедневной жизни вспоминались с трудом. Отсутствие ответов от правительства воспринималось как полное отсутствие культуры общения с людьми. Как важно, оказывается, иметь хорошие манеры! Быть вежливым с незнакомыми, уступать дорогу, поблагодарить или извиниться на улице. А американского обычая беспрестанно улыбаться так недоставало именно здесь, в обществе, где все предельно серьезны и не думают о том, чтобы доставить удовольствие другому человеку, просто дружелюбно взглянув на него и улыбнувшись...

В последовавшие вслед за декабрем месяцы никаких ответов так и не поступило. Еще в ноябре 1985 года я послала множество рождественских поздравлений в Англию и в США * в надежде, что придут ответы, — нам вдруг стало так недоставать праздника Рождества...

В нашей квартире в Тбилиси мы поставили елку и пригласили Олиных друзей прийти 25 декабря. Ничего особенного, обыкновенное угощение. Но им так хотелось провести день «по-американски». Несколько писем и рождественских открыток уже пришло к нам — главным образом из Англии, — и наши гости с интересом рассматривали их. Мы рассказывали, как все ходят друг к другу в гости с подарками для всех членов семьи, для всех друзей... Наши столь традиционные американские праздники в Принстоне, которые Оля так хорошо помнила и любила, стали вдруг необыкновенно дороги: День Благодарения, Пасха, Рождество, День Независимости, День Труда. Мы жили иной жизнью, я жила иной жизнью, и хотя здесь мои старые друзья полагали, что я очень скоро позабуду о ней, этого совсем не происходило. Скорее наоборот...

Проходили месяцы, а ответа не было. Я понимала, что новый лидер очень занят и ему не до нас. Но что-то подсказывало мне, что наши просьбы просто не были переданы ему... Такое тоже часто случается в СССР, если какой-либо высокопоставленный бюрократ решает, что следует и чего не следует передавать высшему начальству. Иногда даже этот бюрократ может вам ответить на ваш запрос — такое также случалось в моем советском опыте. Но наши просьбы уже стали документом, поскольку они были выражены на бумаге и отправлены «наверх». Рано или поздно — может быть, через весьма долгое время — какой-то ответ должен был прийти.

Во всяком случае, для того чтобы проверить самим, что случилось с нашим письмом, мы отправились морозным февралем 1986 года в Москву. Мы ехали медленно, поездом, наслаждаясь старомодным мягким и теплым купе. Я хотела, чтобы Ольга знала, что это такое — путешествие поездом, долгий путь в два дня и две ночи. Мы как бы перешли вдруг в девятнадцатый век — и что-то было успокоительное для меня в этой давно позабытой старомодности.

Все соседи ехали со множеством еды, обменивались фруктами, угощали нас вином и даже жареной курицей. «Вот так вот путешествовали и наши бабушки», — говорила я Ольге, не знавшей до той поры ничего, кроме скоростных самолетов с едой на маленьком подносике и с закоченевшими ногами в слишком коротких для нее креслах. Здесь же мы комфортабельно спали на чистых простынях. Днем я неотрывно смотрела в окно на расстилавшийся зимний пейзаж и ловила себя на том, каким сентиментальным оказалось для меня это путешествие: по той же железной дороге, что всегда вела на юг, к Черному морю, и обратно на север — в течение всех лет детства, юности, в течение почти что всех сорока лет моей жизни в СССР...

Удивительно, что вдруг вызывает к жизни забытое детство. Не Кремль, где я жила столько лет. Я даже не стала посещать его на этот раз. Не Москва и ее улицы, а вот этот путь через Ростов, Харьков Орел, Курск, Тулу. Я ничего не знала: чем нас встретит Москва, что нам скажут, какие придется вести разговоры или бои... Но поездка эта как-то разбередила мне сердце; старомодные спальные вагоны были все такими же, как и тогда, в детстве. И я понимала, что конфликт будет назревать и расти в моем сердце — теперь, когда мы уже официально попросили о выезде... Не так-то это просто, уважаемые читатели, когда вы ездили по той же самой дороге поездом каждое лето вашего детства...

* В том числе и открытку Терри Уайту. Через несколько месяцев от него пришло краткое письмо, очень дружеское и с самыми наилучшими пожеланиями.

Препятствия

В Москве на заснеженной станции нас встретил Володя — младший из четырех моих двоюродных братьев, и мы поехали в его малолитражке к ним домой, на улицу Горького. Его жена, которую, кстати, тоже звали Светлана Аллилуева, на следующий же день водила Ольгу по магазинам, протянувшимся по всей улице Горького. Она работала администратором в Доме журналистов, а мой кузен — в журнале «За рулем». Их сын заканчивал Институт международных отношений и очень приятно говорил по-английски; Оле он ужасно понравился. И здесь четырнадцатилетняя американка вызывала огромную симпатию, да еще теперь, когда она довольно сносно объяснялась по-русски. Никто не мог поверить, что всего лишь за год — и в Грузии! — она так хорошо выучила русский язык. Преподаватели языка были необыкновенно сильны, как и сам ускоренный метод. Сейчас Оля чувствовала себя в Москве совсем не такой несчастной, какой она была по приезде. Я только поражалась ее способности к мимикрии: из грузинской девочки, которой она старалась быть в Тбилиси, здесь она превратилась в русскую, причем тоже с легкостью и удовольствием. Может быть, она прирожденная актриса? Ей нравилось входить каждый раз в новую роль.

На улице Горького жил также мой племянник Александр, сын Василия, режиссер театра. Мы ходили к нему в гости, слушали пение его друзей-цыган под гитару, пили водку — а как же без этого! Я сказала ему, что мы намереваемся уехать, и он был опечален и смущен, так как не знал, что лучше. У него были мягкие карие глаза моей мамы (его бабушки) и все те же аллилуевские впечатлительность и нервность. В сорок семь он выглядел необыкновенно молодо, был очень худым и привлекательным. С печалью я сравнивала его со своим сыном, выглядевшим намного старше своих лет и каким-то отяжелевшим. Он уже давно не подавал о себе вестей, а потому мы и не пытались встретиться. Но однажды вдруг к моим хозяевам позвонила его жена, и я увидела, как замолк у телефона мой кузен и как вытянулось его лицо. Потом он положил трубку и, помолчав, заметил: «Да... Что это она? Начала меня обкладывать за то, что вы у нас остановились! Я даже не нашелся, что ей на это сказать».

Вежливый, спокойный Володя был в полной растерянности. Инцидент этот был малоприятным, тем более что Володя и его жена давно знали Люду, а теперь убедились, что у нее нет никаких положительных чувств по отношению ко мне. Я их успокаивала тем, что «мне все равно теперь. Одним врагом больше — не погибать». Но страшно было знать, что сын мой был, по-видимому, целиком и полностью в ее руках.

Пришел Гриша узнать, как наши дела, и я сказала ему, что не получила никакого ответа от Горбачева. Похоже, Гриша теперь был весьма близок к делам «наверху» — куда более, чем я могла предполагать. Он посоветовал мне встретиться с неким очень высоким чином из КГБ и узнать у н е г о, как обстоят мои дела. «Может быть, ты что-либо выяснишь у него», — сказал Гриша. Я изумилась такому повороту, но пора было мне уже перестать удивляться... У нас было всего несколько дней в Москве, и, поскольку ответа искать больше было негде, я позвонила по предложенному номеру товарищу Н. Он сразу же назначил мне аудиенцию.

Выглядел он как представитель новой породы довольно цивилизованных и образованных чекистов, из тех, что ездят за границу и видели мир. Он бывал в Англии и США и говорил по-английски, но это меня не потрясло. Потрясло меня совсем иное, хотя я и так уже догадывалась о его высокой позиции где-то возле верхов правительства. С приятной улыбкой он сказал: «Между прочим, я был первым, кто предложил разрешить вам вернуться, когда мы узнали о вашем письме в посольство в Лондоне. Мое «да» было решительным и определенным. Раздавались и другие голоса, как вы хорошо можете себе представить». Я не могла спросить его, в каком качестве он мог оказаться столь близко к делам посольства, да и какая мне разница! КГБ повсюду лезет делать политику, как внешнюю, так и внутреннюю. Так что же — сказать ему «спасибо»? Я молчала.

Мне было не по себе с ним, так как он приглашал меня к разговору «по душам», шутил, рассказывал о своих поездках за границу — мол, и мы там бывали, все знаем... Я же хотела лишь знать, получил ли Горбачев мое письмо.

«Он знаком с его содержанием, — загадочно произнес Н. — Ваша дочь может возвратиться в свою школу в Англии, это не проблема. Конечно, теперь она поедет туда как советская гражданка и будет приезжать к вам сюда на каникулы. Это все очень просто устроить».

Я смотрела на него в молчании. Так, значит, это он передает мне мнение Горбачева? Или кого-то иного? Горбачева «ознакомили» с моим письмом? А этот Н., видимо, по-прежнему решает мою судьбу, — как он только что признался в этом сам.

«Вам следует переехать жить в Москву, — продолжал он уже серьезнее. — Ведь вы москвичка! Грузия — не подходящее место для вас. Ведь вы там никогда раньше не жили. Все ваши старые друзья здесь».

Я слушала и понимала, что вот мне и передали официальный ответ... Я молчала. Но внутри меня все кипело — я отвыкла от этого с о в е т с к о г о метода решать судьбы людей.

Наконец я сказала ему, что буду все же продолжать настаивать на том, о чем писала Генеральному секретарю. На это он отозвался дружески: «Мне бы очень хотелось познакомиться с вашей дочерью. Она уже может говорить по-русски?» Я заверила его, что она вполне может объясняться, дала наш адрес и телефон и распрощалась с ним. Он отвез меня на улицу Горького. Шофер его машины сидел с каменным лицом, не говоря ни слова.

Дома я схватилась за валидол, оставленный Гришей. Значит, и дорогого Гришу тоже прибрали к рукам и используют как «мост» ко мне. Господи, Господи, отвыкла я от этих методов. Некуда деваться. Мы даже не говорили с Гришей о нашем сыне и о нашем внуке; он просто зашел, чтобы передать мне насчет свидания с этим «важным лицом»... Казалось также, что Гриша был недоволен и сыном и внуком, которых он видел весьма редко. Что за странная жизнь, подумала я. Ведь они-то все живут в одном городе. «Ах, эта проклятая полька, его мамаша!» — заметил он. «Не огорчайся, береги сердце!» — это был теперь его постоянный припев. Невозможно было разобраться во всех этих семейных тонкостях, но что-то здесь было неладно.

Отец Катерины, Юрий Андреевич Жданов, прислал мне хорошее письмо о ней из Ростова, где он по-прежнему преподавал в университете. Прислал ее фотографии — и я н а к о н е ц-т о увидела мою Катю: взрослую, тридцатилетнюю, с маленькой дочкой, но все такую же, какой я ее знала. На одной из фотографий она сидела на местной низенькой лошади — они там либо на лошадях, либо на вертолетах, — бездорожье. На другой она пела с гитарой в руках. Оля тоже ездит верхом и училась игре на гитаре. Они даже похожи, две черноглазки...

Юра писал мне: «Будь терпелива с ней. Она ужасно самостоятельная. Ничьих советов не слушает. Но хорошо работает, будет серьезным ученым». В последнем у меня не было никаких сомнений. Сомневалась я лишь, что увижу ее вообще когда-либо.

Здесь, в Москве, мы встречались с родственниками и со старыми моими друзьями. Видеть сына у меня не было намерения. Раз он знает, что я здесь, и даже — где я, то может позвонить. Но звонков не последовало. Я думала, что Ольга была права, когда однажды заметила мне довольно едко: «У тебя была я. Разве этого мало? Нет, ты захотела их всех. Видишь, что ты получила! Нам надо было жить в Англии, как мы жили. Ты сама напросилась на эти неприятности!»

В самом деле, она была права. Когда я попросила сына переслать мне в Грузию мои старые книги, он сказал, что «лучше сожжет все», чем отдаст это мне. Я перестала понимать его.

Улегшись спать в кабинете моего кузена на диване, я ворочалась всю ночь. Сердце стучало, я чувствовала себя нехорошо, не могла дышать. На следующий день было морозно и стекла были покрыты инеем. Я так любила всегда зимнюю, солнечную, сверкающую инеем Москву, но сейчас было как-то не до того. После вчерашнего разговора с важным лицом из КГБ я обдумывала одну новую идею.

Письмо американского консула

После того как я разослала друзьям рождественские открытки с сообщением нашего адреса, в Грузию к нам начала поступать корреспонденция из Англии и даже из Америки. Шли письма подолгу, но все-таки доходили. Часть корреспонденции шла через посольство СССР в США, а также через посольство СССР в Англии.

Но в пачке писем от адвоката из Принстона, относившихся к делам Благотворительного треста в Нью-Джерси, я неожиданно нашла что-то совсем иное: копию письма, отосланного мне год тому назад американским консулом в Москве. Очевидно, он потерял всякую надежду передать мне это письмо через советский МИД и решил послать копию таким путем. Не знаю, как уж это так вышло, но при строжайшей проверке, которой мои письма подвергались, это письмо каким-то чудом попало в мои руки.

Оно было на гербовой бумаге, со всеми печатями и титулами, и служило единственной ниточкой контакта США с нами, американскими гражданами.

В письме консул еще раз подтверждал, что Ольга и я являемся американскими гражданами до тех пор, пока мы не захотим (если захотим) отказаться от американского гражданства публично и официально, в присутствии посла и под присягой. Чего мы, разумеется, не собирались делать.

Это письмо я привезла сейчас с собой в Москву, оно было в моей сумке. Оно могло служить нам официальным пропуском для входа в посольство США. Я знала хорошо, что вход этот охранялся советской милицией и что в о й т и в посольство было, в сущности, невозможно. Но, решила я, следует попытаться хотя бы сделать таким образом «заявление», или, как теперь говорят, «послать сигнал».

Морозным утром следующего дня мы проехали с Олей на метро к зоопарку, а оттуда прошли пешком на Садовую — широкую улицу, заполненную ревущими автомобилями. Было морозно и солнечно, сердце колотилось, и я молила Бога, чтобы на улице возле посольства нам попался кто-нибудь из его служащих: мы легко бы объяснились и смогли бы пройти тогда вместе. Я надеялась также, что посольство наблюдает за своим главным входом через внутренние телекамеры, потому что отчаявшиеся советские граждане нередко приходят сюда, чтобы выразить свои требования и чувства. Но их всегда встречает милиция. О, как слепо верят все советские, что «если только сказать американцам всю п р а в д у», то они тут же что-то предпримут... У меня после многих лет жизни в США уже не оставалось подобных иллюзий.

Увы! Мы только на мгновение задержались перед дверью, просто остановились, как немедленно нас окружили милиционеры и какие-то люди в штатском и попросили «следовать» за ними. Ольга была в растерянности: она еще такого никогда не испытывала. Только в кино видела.

Нас чрезвычайно вежливо проводили в будку для постовых, находившуюся тут же, рядом со зданием посольства. («Неужели они не наблюдают из окон, что происходит возле входа?» — подумала я.) Весьма вежливый офицер милиции спросил меня, в чем дело.

«Мы — американские граждане, — сказала я на своем русском языке, и брови офицера поехали вверх. — Нам нужно видеть американского консула. Вот — видите? У нас есть от него письмо. Он желает нас видеть».

Он взял письмо, как берут бомбу, и, посмотрев на него, вышел куда-то вместе с ним. Мы сидели довольно долго, в будке было холодно, только крохотная электрическая печурка грелась в углу. Оля моя была подавлена, и я старалась заверить ее, что все будет хорошо, будучи сама не очень в этом уверена.

Офицер вернулся и попросил у нас наши американские паспорта. «Они находятся там, в здании, у консула, — сказала я решительно. — Нам нужно его видеть!»

Тогда он потребовал у нас какое-либо удостоверение личности, и мне пришлось вытащить мой новый советский паспорт, в который была занесена также и моя дочь, малолетняя гражданка «Ольга Вильямовна Питерс».

Офицер посмотрел на нас с выражением лица, обозначавшим примерно «какие вы, к дьяволу, американцы?». Но ничего не сказал.

Затем вошел другой офицер, рангом выше, и сказал, что скоро прибудет кто-то еще более высокого ранга — надо подождать. «Где наше письмо? — спросила я. — Пожалуйста, известите консула, что нам нужно его видеть».

«Давайте подождем», — ответил он. В его понимании советским гражданам не полагалось проходить в посольство Америки. Он этого не мог позволить. Приедет начальство — разберется.

И мы просидели там около двух часов, стуча подмерзающими ногами. Небольшое радио в углу начало тем временем передавать из Кремля открытие XXVII съезда партии. А я совсем забыла об этом! Тем лучше, подумала я, значит, мы устроили нечто вроде демонстрации в день открытия съезда! Неплохо. Я этого даже не планировала. Тем больше внимания мы привлечем к моему письму Горбачеву. И, хотя Ольга смотрела на меня злыми глазами, я была уверена, что мы сделали хороший ход, придя сюда именно сегодня.

За несколько дней до этого, в воскресенье, я решила пойти в церковь Ризоположения, где я крестилась в 1962 году. Мне так хотелось увидеть ее снова. Прекрасная церковь «русского барокко» с синими куполами, усеянными звездами, выглядела свежевыкрашенной и праздничной. Вокруг нее вырос новый город. Двадцать четыре года назад здесь было пусто, больше деревьев и трамвай огибал угол небольшой площади. Сейчас же все было застроено почти вплотную к церкви.

Не без волнения вошла я внутрь. Шла литургия. Народу было полным-полно, много молодежи. Тогда здесь было куда меньше молившихся и как-то сумрачно. Сейчас — праздничное настроение, какая-то радость и ликование поразили меня. Я невольно вспомнила отца Николая Александровича Голубцова, мою крестную Лидию и весь тот майский день, когда я пришла сюда...

Какой круг, однако, проделала я за эти прошедшие годы... Отсюда началось мое полное перерождение и превращение в иного человека. Замкнулся ли круг на этом возвращении? Такого чувства я в себе не находила. Скорее в п у т ь, в п у т ь с н о в а — вот что вошло мне в сердце здесь. Мне было радостно и хорошо. Ни печалей, ни страхов, ни сомнений. Продолжай путь, странница. Путь твой еще не окончен, рано на покой захотела. «И вечный бой. Покой нам только с н и т с я», — сказал Блок. Как это верно!

Андрей Синявский, крестившийся тут же за полгода до меня, теперь живет с семьей во Франции. А ты что тут делаешь?

Странно было опять быть здесь, но так хорошо, так н у ж н о. Я купила дешевую иконку Спасителя и маленький нательный крестик. А уже уходя, обернулась и долго смотрела на небольшую пристройку, где крестили взрослых. Хотелось погладить эти стены, они казались теплыми, несмотря на морозный февральский день. Отец Николай Голубцов славился тем, что приобщал к церкви и вере взрослых: открывал им двери в новую жизнь. Это произошло и со мной. Сколько еще прошло людей через эти вот воротца ограды, выходя в мир и з м е н е н н ы м и, ставшими частицей т е л а Х р и с т о в а? Сотни? Тысячи?

«У грузин и армян необыкновенно сильная вера, — говорил отец Николай Голубцов. — Это оттого, что они живут в районе, где Господь сотворил первого человека...» Я никогда не забывала этих слов, сказанных мне в день крещения. Что ж, значит, не зря привели меня дороги в Грузию, чтобы у з н а т ь там ее веру. Меня ведь этому не учили! Ведь это все было выброшено «на помойку истории». А теперь я взяла с собой эти кустарные иконку и крестик, отштампованные, по-видимому, из консервных банок. Выглядели они «золотыми», но вложено было тут куда большее, чем злато... (Теперь они приехали вместе со мной в далекий Висконсин, в Америку, и так оно и правильно: странствует по свету вера, завоевывает новые земли.)

Просветленная, утешенная, успокоенная, радостная и бесстрашная вернулась я в тот день домой, на улицу Горького. Все правильно. Будем продолжать свой путь.

Об этом я думала в те часы, что сидели мы с Олей в холодной будке постового возле посольства США. Ничего мне не было страшно — казалось даже, что власти нас боятся, не знают, что с нами делать... После долгого ожидания, когда мы не были оставлены одни ни на минуту, наконец появился человек, одетый в хорошее гражданское платье. Он представился очень вежливо как начальник охраны посольства и предложил отвезти нас домой в своей машине. Так закончился наш визит к американскому консулу. «Они, наверное, никогда не смотрят из окон!» — подумала я, не совсем понимая, почему посольство не интересуется своими посетителями.

Письмо американского консула мне не возвратили. По дороге на улицу Горького начальник в штатском сказал нам, что через несколько часов мы встретимся с товарищем Н. (тем самым, из КГБ) и что он сам заедет за нами. Так! Значит, наша «демонстрация у американского посольства» все-таки подействовала! С нами будут разговаривать. «Товарищ Н. извиняется, — сказал он мне, — что он не сможет быть раньше, так как он сидит на съезде в Кремле». Прекрасно. Прекрасно! Значит, мы его там потревожили. Значит, никто другой нами не занимается в этих обстоятельствах, кроме КГБ. Ну что ж, ничего не поделаешь.

Дома мы быстро закусили и ничего не сказали Володе и Светлане, чтобы их не тревожить. Просто вышли вниз, к магазину «Армения», где нас уже ждал товарищ Н. в своей элегантной дубленке. Он был чрезвычайно любезен с Олей, хвалил ее русский язык и шутил насчет ее дубленой курточки: «Оставайтесь у нас, будете учиться бесплатно и сможете купить себе на сэкономленные деньги настоящее длинное меховое пальто!» На что Оля ответила: «Нет, я лучше буду платить за мою частную школу».

На месте встречи нас ожидали также два наших патрона из МИДа, заметно встревоженные. Посещение посольства — это по их части. Все они были просто шокированы нашим намерением пройти к консулу США. «Но у нас есть право видеть его. Наши паспорта там, в консульстве. И он сам в письме подтвердил приглашение», — сказала я возможно проще и наивнее, как будто все это совсем обычное дело. Как оно и должно было бы быть.

«Но каким образом вы получили это письмо?» — спросили меня мидовцы.

«Оно было переслано мне вместе с другой корреспонденцией от адвоката через посольство в Вашингтоне».

«Этого не может быть! Это невозможно!» — воскликнули они в один голос, стараясь оправдать своих работников в посольстве в Вашингтоне, недостаточно «проверивших» мою почту...

Я рассмеялась. «Однако письмо прибыло именно этим путем». Но товарищ Н. не был особенно озабочен письмом. Ему явно не нравилась наша попытка. «Мы советуем вам больше не повторять подобных попыток, — сказал он так вежливо, как только возможно. — Когда вы возвращаетесь в Тбилиси?»

«У нас билеты на завтра».

«Очень хорошо. Уезжайте».

«Но я до сих пор не получила ответа на мой запрос. Я тоже хочу выехать вместе с моей дочерью. Я писала об этом Генеральному секретарю, но ответа так и не получила».

Они все трое были очень терпеливы, но игнорировали мои последние слова. Они болтали с Олей, наслаждаясь ее способностью так быстро освоить разговор по-русски. Она долго объясняла им, почему ей необходимо вернуться в ее школу квакеров, и действительно это была поразительно хорошая «речь» на русском языке. Они просто сидели и слушали с нескрываемой симпатией. Всего лишь за год с небольшим! «Ее преподавательница русского языка в Тбилиси была очень сильным методистом», — сказала я. Они не ответили. Разговор уже был закончен. Ответа я не получила.

«Я буду звонить вам из Тбилиси», — сказала я, глядя в их деревянные лица. Они были очень довольны, что мы уезжаем отсюда завтра же. Туда, туда, за Кавказский хребет.

Прощание с Грузией

И мы снова в нашей квартире на окраине Тбилиси. Ольга опять сидит за уроками русского и грузинского языков, снова ходит в манеж ездить на лошади и поет за пианино с Лейлой. У меня перебои с сердцем, я набрала вес (со всеми этими угощениями!), и мне тяжко от ожидания, в котором я не вижу пока что никаких надежд. Согласиться на предложение, чтобы Оля училась в Англии, но «возвращалась домой в СССР» на каникулы, где я должна буду ее ждать — да еще в Москве, — я не могу.

В день, когда мне стукнуло шестьдесят, я печально сидела дома, кляня себя за опрометчивое «возвращение на родину». Праздновать мне не хотелось, но позвонили грузинские друзья и позвали к себе в гости. Что может быть лучше грузинской компании в день рождения в хмурый вечер?

Там стол всегда накрыт. Хозяева — брат и сестра, оба в театральном деле (преподаватель и режиссер) — пригласили друзей: киноактрису с мужем и Олиных учителей грузинского языка, мужа и жену. Еда была как всегда изысканная, чудесная — овощи, мясо, подливки, закуски, салаты — все это сдобрено легким золотистым вином.

Потом начали петь под гитару, пианино — полились рекой нескончаемые мелодии меланхолических песен о любви, о расставании, о смерти, о тоске, о прекрасных глазах... Вечные темы, вечная красота. Грузинские напевы печальны, меланхолия разлита в старинных мелодиях, журчащих одна за другой, как ручей. Ольга тоже аккомпанировала на пианино и пела вместе с ними так красиво, так вдохновенно. Никогда не забуду этого дня рождения, этого неожиданного подарка от друзей. Все забывается тут, ни о чем не хочешь думать. Мы друзья, правда? А об остальном можно забыть часа на два. И что еще может быть важнее в жизни, чем такие песни, такие вечера?

Я ничего не говорила нашим друзьям о том, что произошло в Москве. Не говорила им о своем письме Горбачеву. Зачем делать их «соучастниками»? Они только станут волноваться и беспокоиться. Пусть еще будут такие прекрасные вечера, как сегодняшний, когда можно просто наслаждаться каждой минутой. Пока у меня еще есть эти минуты... Неизбежность — хотя еще неопределенная — уже висит в воздухе. Они этого не знают.

Каким-то чудом мне удалось в эти дни позвонить в Англию и США и провести два крайне важных разговора. Я даже спросила телефонистку, почему так легко получить международный разговор. Телефоны в Тбилиси отвратительные, дозвониться на соседнюю улицу часто невозможно. «А от нас очень редко звонят в капстраны, — ответила весело телефонистка, — особенно в Америку!»

Директор Олиной школы в Англии подтвердил, что ее примут снова без всяких условий, в любой момент. «Она — наша! — сказал он (как когда-то говорили о ней в католической школе Стюарт в Принстоне). — Пришлите мне бумагу с просьбой о ее принятии после возвращения, а остальное мы сделаем». Это было просто чудо. Я позвонила к нему домой, и его реакция была искренней и немедленной. «Пусть приезжает не позже 16 апреля — это начало нового триместра». Так, значит, нужно будет собрать ее и устроить так, чтобы она не пропустила эту дату.

Олин дядюшка, сенатор Сэм Хайакава не удивился, услышав мой голос. Это была удача, что я застала его дома. Я быстро объяснила ему, что нам не удалось пройти к консулу, но что у меня просрочен американский паспорт и я должна буду получить новый. И что я прилагаю все усилия, чтобы выехать. А Оля возвращается в школу в Англии — это уже ей разрешено. Он был очень рад новостям и сказал, что немедленно свяжется с Госдепартаментом и передаст им, чтобы консул постарался увидеть меня в Москве. «Ах, Сэм! — сказала я. — Подумайте только, как я влипла!» Он засмеялся своим мягким смехом и ответил: «Ничего. Все будет хорошо».

Я положила трубку и подумала, что это было просто невероятно. В Москве мы не смогли пройти к консулу, а из Тбилиси я запросто звоню домой к сенатору от штата Калифорния! Олины дядя и тетя Хайакава беспокоились, конечно, прежде всего об Олиной судьбе. И новость, что она вернется в школу в Англию, была встречена с восторгом. Я же решила,

что надо сообщить им эту новость как можно скорее (и сделала это), так как тогда, возможно, новость попадет в газеты и советским властям уже очень трудно будет отказаться от своего слова.

Несмотря на эти два утешительных события, физически я чувствовала себя отвратительно из-за перенапряжения, волнения, а главное — от чувства глубочайшего недовольства собой. Как это я попала во всю эту кутерьму!.. Давление у меня повысилось, сердце трепыхалось и сбивалось с ритма, да и прибавленный вес только мешал мне — трудно было даже пойти прогуляться по улицам города. Никаких диет, никакого «движения за здоровье и здоровую пищу» здесь не было. Мясо, масло, кофе, вино, сахар, соль — все это поглощалось в неограниченных количествах. Выделяться, жить как-то иначе, чем все живут, никогда не было принято в СССР. Живешь, как все, стараешься не отличаться. От всей этой обильной еды спасения не было. Мы старались с Олей ходить почаще на очень дорогой рынок, где была уйма свежих овощей и фруктов. Но все равно нас приглашали, нас кормили, соседи нам приносили еду домой. Не принять нельзя. Обидишь.

Несколько раз я попыталась позвонить в кабинет к Н., но там никогда *никто* не отвечал. Мидовские наши покровители ничего не могли мне сказать о решении по поводу моего выезда, да они и не решали этого вопроса. Я знала, что Н. известно больше, чем им, и эта зависимость от КГБ угнетала меня больше всего... Воскресали старые худшие времена, поднадзорная жизнь в Кремле — все, о чем я уже давно забыла. *Ничего не изменилось* — вот тот ужасный вывод, который я сделала для себя. *Ничего.* Только вывески, лозунги, имена. Как сказал вполне гениально Евтушенко:

Пришли другие времена.
Взошли иные имена.

Но в сущности-то ничего, ничего не переменилось.

В этом мрачном настроении в середине марта мы стали снова собираться в Москву, чтобы там наконец выяснить все подробности о моем выезде, а также чтобы вовремя отправить Олю в Англию: к 16 апреля. Мне необходимо было встретиться с кем-то из консульства США, чтобы получить взамен истекшего новый американский паспорт. 14 марта я написала Горбачеву второе письмо, вложив туда также наши заявления в Верховный Совет об отказе от гражданства СССР, и отправила все это в Москву через ЦК Грузии — благо они не ведали, что было в письме...

Вскоре позвонил наш мидовский патрон и сказал, что «надо оформлять Ольгу к отъезду в Англию». Нам помогут это сделать мидовцы Грузии, сказал он. Обо мне ни слова.

Оформив все нужные для Оли бумаги (она ехала в Англию с советским паспортом, но я решила не спорить об этом), начав укладывать ее чемоданы, я вдруг почувствовала, что мне нехорошо. Дежурная докторша в поликлинике нашла у меня повышенное давление и дала мне таблетки. Я никогда таких не принимала, но приняла днем и к вечеру — все еще собирая чемоданы.

Потом я почувствовала, что мне плохо дышать, и отправилась рано в постель. В середине ночи я проснулась от боли в груди, не в состоянии дышать и испугалась не на шутку: болеть было *некогда*, нам нужно было быть в Москве, в гостинице «Советская», 20 марта — именно это число я назвала Олиной тетке Мардж, чтобы нас смогли разыскать консульские работники. Пришлось разбудить Олю. Она побежала к соседям вызывать «неотложку»: надо было говорить по-грузински, так как русских здесь не очень-то и слушают. Оли долго не было, так как сначала ей не открывали, а потом трудно было дозвониться... Я думала, что совсем задохнусь.

Наконец появилась Оля с соседкой, а через некоторое время и две толстые докторши. Они мне что-то дали, что не возымело никакого эффекта. Мне становилось все хуже, подкатывала дурнота, я боялась потерять сознание: тогда — все! Вызвали еще какую-то «скорую помощь», и появились наконец два молодых мальчика, молодые врачи. Эти быстро установили, что пульс уже не прощупывается, а давление упало к нулю. В эти моменты я думала, что *вот оно. Рубеж. Как легко перешагнуть.*

Мне быстро вкололи кофеин с чем-то еще, но результатов — никаких. Молодой врач смотрел на меня с ужасом, а мне как-то становилось все равно... Еще раз укол... Наконец-то можно передохнуть...

Я сидела на полу возле кровати, так как лечь на кровать я боялась: мне казалось, что там я немедленно умру. Умирать совсем не хотелось. Хотелось выкарабкаться. «У нас билеты на завтра...» — слабо сказала я.

Молодой врач улыбнулся моей глупости. Все сидели вокруг, перепуганные не на шутку. Как это легко — перешагнуть через порог... Я почти была там. Как это просто. Какой-то кофеин все изменил. Вульгарный материализм. И никаких высоких слов или эмоций.

Начав дышать нормально, я почувствовала, что не только «лететь завтра же», но даже ходить по комнате я сейчас не могу. Под утро меня отвезли в больницу, где нашли, что был серьезный сердечный спазм, но ничего более этого. На следующий день, проспав допоздна и придя в себя от всех лекарств, я с удивлением встретила перепуганных друзей, а особенно Олю. «Ты была вся синяя, — говорила она. — Ужас какой! Я думала, ты умираешь». Я думала то же самое в те минуты, но решила ее не пугать и не говорить ей этого. За друзьями последовали врачи, а потом — и местное начальство. Оказывается, уже доложили в Москву, а оттуда строго приказали: приезд отложить, держать в больнице. И вот мне уже предлагают «полное и серьезное обследование, недельки так на две-три»... Нет, что вы! Нам надо ехать, — трепыхаюсь я, но чувствую, что попала, как муха в паутину, из которой так легко не выбраться.

Мы уже пропустили 20 марта, день, когда я обещала быть в Москве для встречи с кем-нибудь из консульства США. Теперь я уже не знаю, когда мы попадем туда, врачи преувеличивают мои хвори, так как им велено меня тут *держать*. Министр иностранных дел Грузии звонит прямо главврачу больницы, передавая, что думают в Москве. Предмет их заботы — вовсе не мое здоровье: им надо, чтобы я не поехала в Москву!

Однако хороший друг передает мне по секрету, что он справлялся у своего друга, старшего кардиолога больницы, и тот сказал ему, что у меня нет ничего серьезного. Просто спазм. Это от нервного перенапряжения. Через день после этого обычно идут домой. Спасибо, друг! С друзьями тут не пропадешь.

Вдруг в палате раздается телефонный звонок — от сына. Я не слышала его уже более года. Значит, доложили ему, что мамаша при смерти... Я вдруг страшно озлобляюсь от этой его близости к начальникам и спрашиваю: «Ты что, хоронить меня собрался? Еще не время». Он молчит. На этом наш разговор кончается. Я уже не верю ни единому его слову. Что он думает? Что его беспокоит? Теперь еще его напустят на меня, чтобы задержал с отъездом... Ну, нет. Один раз его уже использовали, чтобы затащить меня сюда, но больше не выйдет. Он и сам это понимает — и больше не звонит.

Зная хорошо, что означает государственное здравоохранение в СССР и как вас могут «залечить» и «долечить до конца», я уже думаю только о том, как бы мне выбраться из больницы. Лекарств дают невероятное количество, голова от них дурная и в желудке какая-то смесь всякой химии. Бесконечные консилиумы предлагают мне всякие исследования и опыты — надо-де обследовать все досконально. Я сопротивляюсь, но здесь у меня нет поддержки. Я даю *обещание*, что по возвращении из Москвы приду сюда на обследование... Мне никто не верит. И у меня нет сил, чтобы их убедить.

Между тем в Тбилиси уже весна. На столике у меня фиалки, темно-фиолетовые букетики, которые продаются на улицах. Как любят цветы в Грузии! Всегда цветы в руках у девушек, у молодых людей, у взрослых, у пожилых. Я знаю, что на улицах сейчас весна, и мне так хочется вон отсюда, из больницы.

...В воскресенье врачей нет, только дежурные. Я в халате выхожу в коридор погулять и озираюсь по сторонам. Народу мало. Сестер мало. Созревает безумный план... Погодите вы. Сердце у меня еще работает!

Улыбка может сдвинуть горы в этой стране. Я надеваю платье и пальто, беру свою сумку и выхожу в коридор как ни в чем не бывало. Я иду

домой, и все полагают, что так надо. Главное — улыбаться, что я и делаю. Никто не задает вопросов, только улыбаются в ответ — все сестры, нянечки, пациенты в халатах. Ничего особенного. Человека отпустили домой.

Старик внизу у входа посмотрел на меня и получил лучшую из всех улыбок. Он заулыбался в ответ сквозь свои белые усы и распахнул передо мной дверь. Я вышла, не помня себя от счастья. За мной никто не бежит. Все нормально. Надо идти спокойно и как будто бы так и надо. Что я и делаю, пересекая двор с деревьями, источающими ароматы весны. Ноги у меня подкашиваются от волнения, от всего перенесенного и от множества лекарств, дурманящих голову. Ничего — троллейбус за углом, — и вот я уже в нем, и мы едем по направлению к нашей окраине...

Вскоре я дома, счастливая, как жаворонок, и звоню Оле, которая у своих друзей — учителей. Они все недоумевают, смеются и поздравляют меня с избавлением.

Потом я звоню одной очень хорошей приятельнице, преподавательнице театрального института, и изображаю ей в лицах, как я выбралась... Она заливается смехом, долго не может остановиться, потом говорит: «Мо-ло-дец!» А это в Грузии — лучшая похвала джигиту. И я раздуваюсь от гордости.

Олина тетка Мардж Хайакава позвонила по телефону узнать, что случилось: в условленный день 20 марта представители американского консульства в Москве не нашли нас в гостинице «Советская». Пришлось объяснить и пообещать быть там неделей позже, 27 марта.

Теперь уж ничто не могло нас остановить. Олины документы на выезд в Англию были оформлены и посланы в Москву, в МИД. Она едет как «советская школьница», ее встретят представители советского посольства в Лондоне и на следующий день отвезут в школу, в Саффрон Уолден в Эссексе. Она едет как Особо Важное Лицо.

Со мной же — ничего не ясно. Я должна прибыть в Москву сама и пробивать все преграды там, чтобы получить также разрешение на выезд. Слава Богу, товарищ Н. из КГБ больше не звонит: может быть, это знак, что наконец мой вопрос будет решен Горбачевым?

В СССР, к сожалению, еще не существует агентств по перевозке и сохранению имущества. Не вызовешь, не дашь адреса, не скажешь, когда и куда. Все надо делать самим. Поэтому в Тбилиси мы точно знали только то, что Ольга уедет и, как мы планировали, уже не вернется в СССР, а поедет летом на каникулы в США, в Висконсин, куда и я думала направить свои стопы, если выпустят. Но я не знала, собирать ли мне также все свое: бумаги, книги и множество семейных старых фотографий, которые мне отдали мои кузены. На всякий случай я пока собрала для себя только самое необходимое. Но многое осталось в Тбилиси. Я надеялась, что, может быть, позже смогу вывезти и все остальные мои личные бумаги и книги. (Это оказалось большой ошибкой: нам так и не удалось до сих пор получить из СССР наши личные вещи и бумаги, хотя советское консульство обещало нам только недавно «заняться этим вопросом».)

Итак, квартира оставлена в таком виде, как была, когда мы там жили. Ничего невозможно решить, пока у меня нет точного ответа о моем выезде. Конечно, переезжать жить в Москву — как советовал товарищ Н. — даже в случае отказа я не собиралась. Конфликт с правительством? Или с КГБ? Второе — куда опаснее. «Попомни братца», вспомни его и его судьбу. Нет, нет, требуй, стучи — и отворят! И — выпорхни, пока они еще не опомнились, вслед за Олей. Она и ведет меня вон отсюда.

А Оля теперь прощается со своими многочисленными друзьями и плачет. Кроме школы, нависшей над ней, как топор, готовый упасть, вся ее жизнь здесь, в Грузии, была праздником дружбы и любви. Во всяком случае, так она думает, сжимая в руках маленького пекинеса, еще щенка, подаренного ей учительницей грузинского языка, которая тоже вся в слезах. Как и переводчица Наташа, как и тренер верховой езды Зураб, как и Лейла, и Леван, и Котэ, и Георгий, и все остальные... Они не знают, как разрывается мое сердце, оставляя эту землю. В последние дни весны я ходила снова и снова по городу, поднималась на Давидовскую гору, где похоронена моя бабушка, сидела возле ее могилы, где такой мир и тишина... Бабка моя сумела прожить свою бедную жизнь достойно до самого конца. Почему же я не могу найти свой путь? Путь веры, каким был и ее: простой труженицы, вдовы, матери, скромной необразованной старухи. Как завидую я ей, стоя там, на горе, глядя вниз на город, с которым связаны судьбы всей моей семьи, а теперь и младшей дочери-американки... Что за круги мы совершаем, как Пер Гюнт, возвращаясь назад, к любви... Так почему же мы бежим отсюда?

В поэзии найдешь все ответы. И хороший поэт, мой друг, написал:

> Аленушка! Попомни братца.
> Не возвращайся. Никогда.

Я ничего не говорю Патриарху, чтобы не огорчать его. Он был мудрее всех, потому что знал, как мне следует жить. «Возьмите себе простую работу, но с духовным значением. В больнице, с несчастными, которым нужны внимание и любовь. Дайте им себя, дайте им любовь. Это вы можете. В этом сейчас весь смысл. Вы не преуспеете ни на каком ином поприще, потому что все иное — суета и не нужно вам. У вас было так много суеты. Теперь — живите духовно».

Это было, я думаю, наилучшим советом мне за многие годы. Не знаю, было ли возможно осуществить это под надзором партийных органов как Грузии, так и Москвы и московского КГБ в придачу. Но идея была замечательной, и, может быть, где-нибудь когда-нибудь я смогу осуществить давнюю мечту. Уйти от мира совсем, молиться, помогать больным и умирающим и хоть к концу жизни жить так, чтобы не было за себя стыдно. Возможно, «за стеной Кавказа» и была такая мимолетная возможность, но, насколько она была осуществима на практике — советской практике, — трудно сказать. Скорее всего осуществимость ее была маловероятной даже при самой прямой поддержке со стороны Патриарха.

Я не хотела сделать его «соучастником» моего отъезда, а потому мы ничего ему не говорили. Только пошли последний раз на службу в Сиони, простояли три часа на литургии, потом подошли — вместе со всей медленно движущейся толпой — под благословение. Поцеловали крест, получили помазание миром, а потом и святой водой нас окропили, да как следует. Олю Патриарх узнал и спросил по-грузински, как дела, и она ответила ему по-грузински, и он ласково потрепал ее рукой по волосам.

Не судьба, не судьба жить так, как надо бы. А кому судьба? Скольким это удается? Только малой горстке избранных. Я не в их числе.

Москва решает

И вот мы снова в гостинице «Советская» на Ленинградском проспекте. Прошло восемнадцать месяцев с тех пор, как мы приехали сюда из аэропорта Шереметьево, и я была тогда полна надежд на «воссоединение с семьей», а Оля, наоборот, с ужасом думала о предстоящем. Теперь я с ужасом раздумываю, как бы мне поскорее выбраться отсюда, а она все еще в слезах от разлуки с грузинскими друзьями... И ничего, на что я надеялась, что я планировала, не осуществилось...

В гостинице нас встретили как давних знакомых. Швейцар у двери широко улыбался нам, регистраторша — тоже. Тогда у нас был бесплатный двухкомнатный люкс. Теперь мы заплатили вперед за простой номер из одной комнаты с двумя кроватями. Но, как старым знакомым, нам позволили держать в комнате нашего пекинеса Маку — неслыханное нарушение правил, которые гласили: «без животных». Маку все стремились погладить, она была еще очень маленькая, с небольшого котенка. Мы кормили ее остатками еды, приносимой нам в номер, а гулять она ходила на кафельный пол в ванной, на газетку. Так прожили мы здесь еще двадцать долгих и нелегких дней.

По приезде я сейчас же пошла вниз, на почту, и послала телеграмму Горбачеву с уведомлением о вручении. В телеграмме я коротко спрашивала, получены ли мои письма и каков ответ.

Вскоре я получила уведомление: «Телеграмма вручена адресату». Ну-с, один барьер взят. Посмотрим, что будет дальше.

На следующий день к нам постучали в дверь, и безо всякого предупреждения перед нами появилась элегантная, молодая, деловая американка — представитель консульства США. Она, смеясь, поведала нам, что в гостинице сейчас находится несколько американцев из числа «борцов за мир» и она сделала вид, что идет к ним. Потом она должна была догадаться, где находится наш номер, и это ей удалось! Мы смеялись, она гладила Маку, говорила, что любит животных, — и вдруг стало так хорошо, как дома...

Мы сели, чтобы выяснить все формальности, которые необходимы для получения мною нового паспорта вместо истекшего год назад, и она удивилась, что у меня сохранилась самая важная из всех бумаг: удостоверение из Федерального суда Нью-Джерси, где сообщался факт моей натурализации, со всеми номерами, датами и формальностями. Мы заполнили необходимые формы.

Я спросила ее, колеблясь, считает ли она возможным мое возвращение в США, учитывая всю ужасную прессу, писавшую обо мне небылицы за прошедший год. В особенности я упомянула статью моего старого недоброжелателя Патриции Блейк из журнала «Тайм». Но она рассмеялась, заметив, что наше возвращение создаст нам совсем иную, хорошую прессу и что, безусловно, я не должна испытывать никаких сомнений по поводу своего возвращения в США.

Все-таки я спросила, есть ли возможность для меня остаться во французской части Швейцарии, где я была гостьей в 1967 году — и никак не могла забыть монастырь Святого Посещения в городе Фрибуре. Ах, как бы мне хотелось остаться там навсегда и избежать новых встреч с прессой и издателями в США... Она сказала, что может запросить об этом швейцарское посольство в Москве. Я предупредила ее, что у меня еще нет разрешения на выезд из СССР. «Мы сделаем все, чтобы помочь вам, — уходя, приветливо сказала она. — Приготовьте новую фотографию для вашего паспорта».

Когда она ушла, я сидела тихо, не веря самой себе. Оля же заметно повеселела от этой встречи: несколько американских шуток так ободрили ее. И я тоже вдруг почувствовала какой-то теплый ветерок оттуда, из-за океана, где я прожила почти двадцать лет... Наша посетительница оставила в комнате запах хороших духов и ту неуловимую атмосферу, которую несут с собой только американские женщины определенного социального уровня: богатые, хорошо и красиво одетые, получившие образование в лучших колледжах, — такие вымытые, такие жизнерадостные, такие распорядительные и деловые. Как давно мы не встречались с ними! Мы сидели с Олей, думая об одном и том же.

В Москве есть фотоателье, которые делают моментальные фотографии для паспортов, но я не хотела идти в центральные районы, где они расположены. В маленьком фотоателье, где никто не интересовался моим именем (я дала вымышленное), мне обещали «через неделю» шесть маленьких черно-белых фотографий. Оставалось ждать.

Затем неожиданно позвонил наш мидовский опекун. Он ледяным тоном объявил мне, что моя просьба «была удовлетворена» и я могу собираться, чтобы «также выехать за рубеж».

«Когда вы намереваетесь выехать? — спросил он. — Ваше оформление займет некоторое время».

«Спасибо, но я хочу выехать с моим американским паспортом».

В ответ — гробовое молчание.

«Я бы хотела выехать на следующий же день после того, как уедет моя дочь», — заторопилась я, так как мне показалось, что он сейчас повесит трубку.

Наконец, после паузы он сказал:

«Хорошо. Но до этого вас примут в Центральном Комитете».

Я полагала, что наконец встречусь с Горбачевым. Он еще не зарекомендовал себя в ту пору как прогрессивный реформатор советского общества, но все же считался либералом, «подающим большие надежды». Однако поскольку партия, похоже, продолжала считать, что я являюсь представителем своего отца (несмотря на всю мою совершенно особую от него жизнь), то меня принимал теперь лидер консерваторов товарищ Лигачев.

Шофер отвез меня на Старую площадь, как это было в давние-давние дни, когда перед отъездом в Индию меня здесь принимал другой лидер консерваторов — Суслов. Господи, ничего, ничего не изменилось! Почему мне никогда не везет и не случается разговаривать с более прогрессивными лидерами? Да все потому же, потому же. С Милованом Джиласом я встретилась только в Принстоне...

Как и двадцать лет тому назад (в 1966 году), ситуация была безрадостная, меня подозревали в наихудшем, а мне снова становилось нехорошо от этих стен, этих казенных коридоров, устланных ковровыми дорожками «кремлевского стиля». Ах, эти знакомые с детства «коридоры власти»... И как тогда — двадцать лет тому назад — нарастало с каждым моментом желание бежать и не видеть ничего этого больше никогда...

В каком плохом фильме, в какой ученической пьесе можно было бы так подогнать все факты и события, чтобы они в последнем акте повторились, как в первом? Критики сказали бы: так не бывает! Но в моей жизни какой-то драматург-шутник все подтасовал так, чтобы я двигалась на сцене, как по начерченным мелом линиям. Ну что ж, я знаю свою роль давно. А они — знают свою. Ничего не изменилось.

Товарищ Лигачев был коренастым, с простым лицом и хитрыми мужицкими глазами того серого цвета, что выражает из всей возможной гаммы человеческих чувств только решимость. Как и Михаилу Суслову тогда, ему было трудно со мной разговаривать, трудно сдерживать свое убеждение, что «выехать из СССР» советский человек может только в силу умственного помешательства. Люди его круга так и полагают. Ему нужно было услышать от меня — почему. Я повторила опять все, что уже написала Горбачеву, а секретарша записывала, стенографировала наш разговор.

«Ну что ж, — выслушав меня, сказал он. — Родина без вас проживет. А вот как вы проживете без родины?»

Лигачев был родом из Сибири, и мне очень хотелось спросить его, почему же он покинул свою родную Сибирь и сидит в Москве. Но сейчас было не время и не место для бестактностей. Я проглотила все, решив не вступать в споры.

«Так куда же вы едете отсюда?» — спросил он, как будто бы им было это неизвестно. Со всем возможным безразличием и без нажима я ответила, что «в Соединенные Штаты. Я жила там много лет». Он молча посмотрел на меня в упор. Замолчала и я.

«Ну-с, ваш вопрос был разрешен генеральным секретарем, — сказал он через некоторое время. — Он сожалеет, что не смог лично принять вас».

«Но ведите себя хорошо!» — вдруг поднял он вверх палец. Это было сказано серьезно, даже с долей угрозы в голосе. Означало это, что мне следует молчать, не высовываться, не писать книг, не выступать с интервью... Исчезнуть, так сказать. Книг они боятся больше всего. Это для них хуже, чем бомбы. Ничего не изменилось, ничего.

По дороге домой я попросила шофера высадить меня на улице Герцена и пошла пешком. Это была моя университетская улица, связанная с воспоминаниями молодости, когда мы ходили после занятий в консерваторию — всего лишь в нескольких кварталах от старого, прекрасного казаковского здания университета. Теперь даже эту улицу не узнать: все перестраивают, уничтожают прекрасные здания старой классической Москвы, говорящие об ее истории, строят какую-то пакость... Меняют фасады, подмазывают и подкрашивают, чтобы выглядело «прилично». Но по существу-то, ни кока-кола, ни синие джинсы, ни кроссовки и курточки не могут спрятать ослиные уши партии и КГБ, торчащие отовсюду. Туристам показывают «прелестные церквушки XVIII века», а соборы в Кремле молчат, мертвые, парализованные, страшные в своем молчании. Молчание это осуждает куда громче, чем самые страстные речи о «перестройке» всего и вся...

Мне хотелось уехать отсюда, ничто меня не держало. Ни старые улицы школьных и университетских лет, ни сам Кремль, где было проведено детство. Я даже не ходила туда ни разу. У меня не было здесь никаких приятных воспоминаний. В этом странном, подмалеванном под «современность» городе, с жутким Новым Арбатом вместо старого, с перестроенным и перековерканным Кремлем не было для меня ничего родного.

«Перепаханное кладбище», — сказал Вячеслав Иванов. «Могил я милых не найду на перепаханном кладбище». Строки эти снова приходили в голову в Москве — столице, городе напоказ, городе, где одурачивают иностранных посетителей, городе без души, без любви и более — без красоты. Над уничтожением красоты древней Москвы потрудились достаточно, начиная со взрыва Чудова монастыря в Кремле и храма Христа Спасителя, а потом и пошли, и пошли... Теперь даже новый МХАТ выстроили — какое-то совершенно несуразное палаццо, где не пахнет ни Чеховым, ни Станиславским... Как можно «перестроить МХАТ»? Все можно перестроить, одержимость перестройками так и не прошла еще за семьдесят лет... Кому придет в голову «перестраивать» Париж? Или Лондон? Если даже каким-то чудом партия коммунистов победит там на выборах и сформирует правительство, разве взорвут Нотр-Дам или Вестминстерское Аббатство? Слава Богу, скоро мы уедем.

Последние дни

В последние несколько дней мы натыкались еще на всякие препятствия, но это уже были мелочи: все основные вопросы были решены. С трудом удалось передать мои фотографии даме из консульства — теперь ее не пропускали к нам в комнату. Пришлось встретить ее автомобиль на улице и проехать с ней несколько кругов по городу, чтобы поговорить. Зачем ставить эти препятствия? Просто чтобы сделать людям пакость, подергать за нервы.

МИД заявил, что «наша принципиальная позиция состоит в том, что мы не признаем вашего паспорта США». Таким образом я не могу получить визу на выезд. Как же мне получить билет? Сесть в самолет? Отправить мой багаж?

Приходится опять звонить даме из консульства. Она помогает мне получить билет компании «Свисс Эйр» на Цюрих, а потом на Чикаго. Я не могу лететь через Лондон, потому что у меня на руках собачка... В Великобританию не позволяют ввозить животных. Мне приятно снова, как и в 1967 году, воспользоваться швейцарской компанией для моего рокового перелета — опять этот шутник-драматург связывает все узлы вместе... Все идет как по его плану. Опять «Свисс Эйр». Мне удается получить телефон директора этой компании в Москве, и я разговариваю с ним по телефону. Он понимает, как сложно путешествовать с собачкой, «я сам всегда летаю с моим шпицем». Компания «Свисс Эйр» сообщает мне, что я буду держать собачку на коленях, но нести ее должна в картонке. Картонку мне фирма предоставит.

Мне только не хватает, ко всему прочему, беспокоиться о том, как везти собачку! Но Ольга оставляет ее мне и, конечно, «я должна». У меня нет сил спорить с ней. Я соглашаюсь на все — от слабости, от усталости, от желания поскорее выехать, даже если для этого надо будет лететь со змеями в сумке.

Ольга едет с Володей и Светой к ветеринару, чтобы нашей Маке выдали все удостоверения на выезд. Мака путешествует вполне легально, у нее бумаги на трех языках: на грузинском, на русском и на английском — в консульстве США «оформили» ее выезд из СССР и въезд в Америку. Я же все еще пытаюсь выяснить у нашего мидовского покровителя, как мне быть без визы. На что он, уже совершенно теряя всякое терпение, рычит, что «мы об этом позаботимся».

Я уеду на следующий же день после выезда Ольги. Это решено.

В Банке внешней торговли, где я была год тому назад, когда сюда перевели наши деньги из Англии, я встречаю все ту же женщину, которая и тогда занималась мною. Она дружелюбно расспрашивает и качает головой: «Мне жаль, что у вас все так сложилось. Дети теперь вырастают и отворачиваются от родителей. Помощи от них не жди. Такие времена». Она говорит искренне и приветливо.

Это — тоже новый тип советской работающей женщины. Она хорошо одета, причесана, быстро и деловито отдает распоряжения своим подчиненным, в то же время вполне миловидна и женственна. «Мы работаем с банками Англии все время, — говорит она мне. — Вот с Америкой пока что нет никаких отношений. А вы уверены, что к вам там будут хорошо относиться?»

«Все будет хорошо», — говорю я, совсем не уверенная в этом. Я знаю, что в Америке плохая пресса может вас уничтожить, а у меня, по-видимому, была очень плохая пресса за время нашего отсутствия. Мы делаем перевод денег на счет Олиной школы в Эссексе, и в наш прежний банк в Кембридже. Это не вызывает у сотрудницы банка ни удивления, ни возражений. Хорошо видеть эту современную деловую женщину без предрассудков, мне бесконечно приятна ее симпатия. Она жмет мне руку на прощание и желает всего доброго. Ни ужимок, ни напутствий, ни глупых патриотических лозунгов. Спасибо вам, дорогая.

Мы с Олей тем временем проводили последние дни в обществе моих двоюродных братьев Аллилуевых. Гриша больше не появлялся. И я не говорила ему о наших сборах. По всей вероятности, он не одобрил бы нашего отъезда. Не говорила я об этом и тем старым друзьям, для которых это было бы только новым шоком.

Один из них, однако, держался совсем иного мнения. Мы учились в школе в одном классе с восьми лет и с тех пор были друзьями. Потом он пережил трагедию, которая постигла многих: его родители, работники большого издательства, были арестованы. Он остался на руках у тетки. В школе его перевели в другой класс. Потом началась война. Мы встретились только в последнем, десятом классе. Он стал неузнаваем внешне, но был все такой же приветливый, начитанный, глубоко интеллигентный молодой человек. В нем никогда не было никаких негативных чувств по отношению ко мне из-за того, что произошло с его семьей. В Москве мои друзья как-то отделяли меня от политики: не я ее делала.

Прошли годы, и мы вновь встретились, когда нам обоим было уже за тридцать. У него была семья и двое детей, у меня двое детей, и я жила одна. Он приходил и рассказывал о своих детях. Он пришел повидать меня перед моим отъездом в Индию в декабре 1966 года. На прощание взял у меня книги об Индии для своей дочери. Мы всегда говорили о многом, как очень верящие друг другу друзья. Когда мы только приехали сюда год тому назад, он пришел в гостиницу. Сейчас он хотел знать, как шли наши дела.

Ему я говорила все. Он был единственный, кто сказал: «Ты всегда была умницей. Я не знаю, как бы ты смогла жить здесь, после того как ты уже привыкла жить там... Я очень рад за тебя, что разрешили». Мне так было хорошо от его теплой похвалы. Я-то знала, что поступаю правильно, но другим здесь это было неясно.

«Моя Катя вышла замуж за шведа, — сказал он. — Она теперь хороший переводчик с английского и шведского. Возьми ее адрес и пиши ей — она ведь тоже Катя, как и твоя».

Я взяла адрес и переписываюсь с Катей, «которая не моя», вот уже два года. Как это хорошо и по-братски. Сколько у меня братьев! Все дружбы, по существу, это братства.

Ему было теперь шестьдесят, как и мне. А тогда, мальчиком, он был рыжий и веснушчатый, как я, и мы выглядели близнецами.

Катя его начала с увлечения Индией двадцать лет тому назад. Потом хорошо выучила английский и шведский, и сейчас она великолепно преуспевает в незнакомом ей мире Западной Европы — работает агентом по путешествиям. Новое поколение! Наше поколение жило взаперти. Катин отец никогда не был за границей. Он был невыездной с точки зрения КГБ, так как его родители были когда-то арестованы... Ничего, ничего не изменилось. **Только когда** поставят это советское гестапо на свое место — или упразднят его совсем, — тогда можно будет говорить о пере-

стройке всей советской жизни. Только тогда мы в нее поверим, мы, которые выросли среди всевозможных обещаний и почти что за решеткой. Моего друга не так-то легко одурачить обещаниями открытости. Он прошел такую школу жизни, что верит только делам, а не словам.

Мы расцеловались по-братски, как всегда, и я долго смотрела ему вслед, пока он уходил по длинному гостиничному коридору — высокий, худой, седоголовый. Его одобрение дорогого стоило.

Написала прощальные письма нескольким друзьям в Грузии и в Москве... Идти встречаться не хотелось, начнут уговаривать не уезжать... Не понимают, не знают они, что, раз отведав жизни в совершенно другом мире, уже не можешь притворяться слепым и незнающим. Их жизнь здесь казалась мне теперь такой беспросветной, такой узкой, как в темнице.

...Большая компания старых друзей Юрия Андреевича Жданова в прошедшем ноябре пригласила меня на обед. Я их знала всех с той поры, когда была второй раз замужем. Как и сам Юрий Андреевич, это были высокоинтеллигентные люди — инженеры, философы, музыканты, театроведы, физики, дипломаты, служившие искренне и верно своей стране. Не из привилегированной верхушки, а из серьезно работающих людей. Из тех, кто зарабатывает на жизнь, а не делает карьеру в советском обществе, во многом основанном на высоких протекциях. Им была непонятна моя жизнь, моя добровольная «эмиграция», пожалуй, понятно было только мое возвращение. И они все приветствовали таковое и ожидали от меня ликования, новых планов в работе. Какой работе? Разве мои книги напечатают в СССР? Некоторые из хорошо образованных партийцев прочли мои «Двадцать писем к другу» и даже говорили, что они бы разрешили их напечатать, издать в СССР. Они даже спорили со мной тогда, старались понять, почему я крестилась и верю в Бога... Это было для них только интеллектуальным обсуждением, дискуссией. Я провела вечер в их компании и вышла в совершенном изнеможении от невидимых барьеров, стоявших между нами: их надо было каждую минуту, с каждой фразой преодолевать. Советская лояльная интеллигенция. Почему не было барьеров между мной и моим другом-одноклассником? Между старым русским интеллигентом Федором Федоровичем Волькенштейном и его кругом и мной? Я прошагала всю свою жизнь под «иного барабанщика», чем эти преуспевающие советские интеллигенты. Но моя дочь Катя и мой сын Иосиф теперь в их числе: поэтому и пролег барьер между нами. В этом все дело. Никаких тайн. Моя мама не сделалась инженером текстильной промышленности, как стали ее подруги — Мария Каганович, Екатерина Ворошилова, Мария Андреева. Не судьба была и мне преуспевать на советском поприще. «Аленушка, помни братца. Не возвращайся. Никогда».

Неожиданно позвонил по телефону отец Ольги. Он сказал, что его одолевают репортеры, которым уже как-то стало известно об Олином возвращении в школу в Англии. Он предупреждал, что там, в аэропорту, ее встретит толпа с телекамерами. Он был теперь необычайно внимателен к ее нуждам — и это было приятно. Лучше поздно, чем никогда. Мне было известно, что миссис Райт умерла прошлой весной, и я полагала, что теперь Вэс мог жить так, как ему хотелось, без ее постоянного деспотического нажима. Теперь он, по-видимому, чувствовал себя более свободным в проявлениях заботы о дочери — и даже перед публикой. Последнее было важно для него, так как все в Америке делается перед публикой, и «образ», создаваемый для публики, значит немало и в делах бизнеса. Не создашь своего хорошего образа — не будет хорошего бизнеса. Это я тоже усвоила за годы в Штатах.

Значит, и моей Оле придется постараться перед телекамерами. Это у нее получится прекрасно! Она прирожденная актриса и любит публику. Это в ней — американское, калифорнийское.

После этого звонка внезапно начали раздаваться телефонные запросы от многих иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. «Наверное, агентство «Новости» оповестило их о нашем отъезде», — подумала я. Закрытое для прессы советское общество не прочь воспользоваться прессой мира — когда это ему нужно. Это, конечно, «прогресс». Теперь — при Горбачеве — интервьюируют прохожих на улицах, совсем как в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке.

Я подтвердила, что Оля уезжает в Англию, а я в США, но не сказала — когда. Мне достаточно было всех этих столпотворений. А для них всех Ольга теперь была любопытнее всего: как перенесла все это приключение «наша американская девочка»?..

Я позвонила старому знакомому в Висконсине, в том самом Спринг-Грине, где я была замужем шестнадцать лет тому назад, где так полюбила позже бывать Ольга. Он еще в предыдущие годы предлагал мне снимать в тех краях на лето небольшой домик возле старой, развалившейся фермы. Я сказала, что возвращаюсь в США, и спросила, можно ли будет снять этот дом на лето, хотя бы на первые месяцы. Он даже не очень удивился: мы давно хотели почаще бывать в Висконсине и, может быть, даже переехать туда насовсем. Такая идея была очень сильна перед тем, как мы выбрали поездку в Англию... Он заверил, что меня встретят в аэропорту Чикаго и что мы с Ольгой сможем провести лето на ферме. «А потом вы сами разберетесь, что вам более подходит», — рассудил он со своей спокойной практичностью. Когда-то, во времена, когда мы с Вэсом владели маленькой фермой в Висконсине, этот человек безуспешно пытался помочь нам в нашем фермерстве. Мой муж и пасынок отвергли тогда его хорошие, не авантюрные, деловые предложения, и в результате мы прогорели со своими сельскохозяйственными начинаниями... Но он остался моим хорошим другом и продолжал предлагать, чтобы мы с Олей переезжали жить в эти края.

Ну вот, кажется, и наступили подходящие обстоятельства для такой попытки. К тому же в финансовом отношении я уже не могла позволить себе ни Принстона, ни Калифорнии. Здесь, на Среднем Западе США, да еще и в районе, где мы давно знали многих, было наилучшее место для нас, чтобы жить просто и попробовать залечить раны, нанесенные последними годами. После разговора с ним я вдруг почувствовала, что почти никаких трудностей более не остается.

«Как раз начнется весна, — сказал он. — Ведь вы никогда еще не видели весны в этих краях?» Ах, вот он о чем думает! Как это прекрасно, что люди думают о природе, живут ею из года в год... Он был не фермером, а бизнесменом, менеджером и даже архитектором по планированию ландшафтов. Его отец был здесь фермером когда-то. И его восьмидесятилетняя мать, овдовев, стала теперь главой большой семьи. Все они — здоровые, крупной кости люди, очень радушные и всегда хорошо относившиеся к Вэсу, к его первой семье, а потом и ко мне. «Покупайте землю! Покупайте землю!» — вечно советовал он мне, когда я еще была в состоянии что-либо покупать. Но мои принстонские банкиры и советчики смотрели на Висконсин как на «глухую провинцию сыроварения», где нам делать совершенно нечего... Как повернулось все! Как изменились ценности! Как нужно нам сейчас было именно это — забвение и покой на природе!

Странно, странно было думать обо всем этом в номере московской гостиницы, лежа на кровати, прижимая к себе собачку Маку. Но в моей жизни давно уже ничего не назовешь странным. Новые страницы были впереди. Новый поворот — к чему? Куда? Как он произойдет? И не вылечу ли я вообще из седла?

Ольга поддерживает меня в оптимистическом настроении. Она уже собрана в дорогу, все уложено, и она счастлива. Грузинские друзья из представительства принесли ей огромный букет красных гвоздик. На ее аэрофлотском билете значится: «Миссис Ольга Питерс», и она заливается смехом по этому поводу. Ах, все равно. Миссис Питерс, советская гражданка, едет в квакерскую школу в Эссексе, Англия. Как только она пересечет границу, все эти глупости советского МИДа потеряют всякую значимость и она снова превратится в американскую школьницу.

Ее провожают в аэропорт «прекрасные витязи» — дядьки Аллилуевы. Мы все едем вместе и ждем, пока она не сядет в самолет. Когда она взлетает, нам всем становится не по себе, особенно мне. Быть здесь без нее — совершенно ненатурально и превыше моих уже и так измотанных сил.

Я зову братьев в свой гостиничный номер, и мы съедаем наш последний ужин... Как-то тяжко нам. Я умоляю их не приходить меня провожать завтра — мне будет совсем скверно. В шутку я говорю им, что еду совсем по Маршаку: «Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка». Мы пытаемся смеяться, но не можем.

Мои братья так хороши собою, так напоминают мне мою тетю Анну, сестру мамы, и дядю Павлушу, ее брата... Я с ними в семье — как не была с самого детства. Они были внимательны, переворошили для меня кучу старых фотографий, были исключительно добры с Олей, но, по-моему, понимали, что нам здесь — не жить. Они тактично молчат и не поднимают «жгучих вопросов». Я пытаюсь нарисовать им жизнь, которая ждет меня в сельской местности в Висконсине, и они с удивлением слушают... Америка всем здесь представляется страной небоскребов. Я тоже думала так, когда приехала в Нью-Йорк двадцать лет тому назад. Братья приятны, красивы, очаровательны. И я их никогда больше не увижу. Буду только хранить память об этих последних днях, проведенных вместе.

Утром меня везет на аэродром милый молодой человек из грузинского представительства — тот самый, который вчера отвозил Ольгу. Я не хочу больше никого видеть сегодня, потому что боюсь эмоций и слез. Мне и так уже хватает. Маку я держу в руках. Она чувствует важность момента и ведет себя хорошо. Перед отъездом из гостиницы в вестибюле меня встречает представитель МИДа, который просит «сдать все советские документы». Я отдаю ему без всяких возражений паспорт и пенсионную книжку. Он сообщает мне, что Ольгу вчера встретили посольские в Лондоне и что сегодня ее отвезут в школу. «Такая приятная, умненькая девочка!» — говорит он с чувством, и я ему так благодарна.

В аэропорту меня встречает милая дама из американского консульства, чтобы проследить, как я сяду в самолет и вылечу. В моем американском паспорте нет визы, поэтому меня должны провести в самолет представители МИДа. Это глупо, но «такую позицию» они решили занять. Дама смеется над этим и вручает мне картонную коробку с круглыми отверстиями, в которой я должна буду нести Маку. Собачка начинает сопротивляться, и картонка прыгает в моих руках. «Вы можете держать ее на коленях в самолете, это разрешено», — говорит дама, и я благодарю Бога хотя бы за то, что этот цирк с собачонкой не будет слишком долгим. Впрочем, никто не удивится этому нигде, кроме как в Советском Союзе.

Толстый молодой человек из грузинского представительства достает большой носовой платок, так как он собирается плакать: слезы уже наполнили его глаза. Я обнимаю его и целую в щеку. Он плачет. Я не плачу. Мне хочется лишь скорее выбраться отсюда.

Наконец — взлет. Я ничего не чувствую в этом недолгом перелете, кроме тепла и покоя кабины, и Мака спокойно свертывается калачиком у меня на коленях. Оказывается, она приятная компаньонка и даже чем-то помогает мне в этом безумно грустном полете. Я только чувствую пустоту в сердце.

Через три часа мы приземляемся в зеленой, приветливой, весенней Швейцарии — ах, опять апрель, как тогда, в 1967-м... Давай, давай, мой безумный драматург, какие еще параллели ты мне можешь предложить?

Как бы я хотела остановиться здесь, отправиться во Фрибур и хоть на недельку задержаться в монастыре Святого Посещения. Куда там! Мой драматург решил теперь иначе.

В Цюрихе — приятный сюрприз. Меня встречает улыбающаяся женщина — агент компании «Свисс Эйр», которую предупредил их представитель из Москвы, чтобы она помогла мне с пересадкой. Как это славно! Я — в растрепанных чувствах, с картонкой в руках, где бьется негодующая Мака, и мне так нужна сейчас помощь. По пути она спрашивает: бывала ли я в Швейцарии? Ну, не рассказывать же ей всю эпопею двадцатилетней давности, когда она была еще ребенком... Я только говорю с чувством: «О, да! Чудесная страна, чудесная страна!»

Мы прогуливаем не совсем твердую на ее миниатюрных лапках Маку, а потом я сижу в зале и жду своего самолета на Чикаго. У меня стучит сердце, и я молю Бога, чтобы благополучно завершился этот долгий перелет, который продолжится еще восемь часов.

Наконец мы с Макой в другом, просторном и комфортабельном самолете, и нам отводят место, где Мака не будет бросаться на пассажиров. Она что-то становится агрессивной и противно гавкает на хорошеньких стюардесс. Однако это их не сердит. Ах, да, здесь же не сердятся на такие вещи, здесь вас обслуживают, здесь — сервис, положенный и вам, и вашей собачке. Я успокаиваюсь и начинаю понимать, что мы пересекли все рубежи, что мы — в другом мире, что мы уже всегда теперь будем находиться в другом мире и что мне пора привести себя внутренне в порядок.

Я усаживаюсь поудобнее, кладу Маку себе на колени, закрываю глаза — и вдруг чувствую, как уходит напряжение, как отступают в никуда все страхи. И мне становится хорошо и легко, как уже не было давным-давно.

Эпилог

Только обосновавшись наконец в старом маленьком домике на полуразрушенной ферме, затерянной среди лесов, я смогла успокоиться и перевести дыхание. Да, не зря местные люди считают, что этот район обладает целительными свойствами. Трудно было сейчас поверить, что произошло с нами обеими за последние восемнадцать месяцев. Путешествие на родину выглядело сумасшедшим поступком, но не надо сожалеть об этом.

Никогда не надо сожалеть о том, что случается с нами, — даже о самом наихудшем, — потому что все имеет свое место в общей картине жизни и судьбы. Мне надо было снова увидеть родные места и старых друзей. Оле надо было узнать существенную часть ее собственного наследия. Без этих восемнадцати месяцев как ее жизнь, так и моя были бы неполными, незаконченными и даже неестественными.

Трагедия состоит в том, что людей в советском обществе давно уже лишили их естественности: иначе как же объяснить то, что мы получили от самых дорогих и близких нам? И как сказал Католикос Грузии, нам следовало не сердиться на них за это, а глубоко жалеть их исковерканные души, не знающие любви, не ведающие прощения. Другие были естественнее — с ними не «поработала» советская пропаганда.

Для меня наступал окончательный катарсис. Факты приходилось принять такими, каковыми они теперь были для меня — шестидесятилетней матери и бабушки. Тихими вечерами, под неумолкаемые крики птицы, называемой козодой жалобный, под тихими звездами, светившими на этот мирный уголок суматошной Америки, я постепенно приходила в себя. Козодой этот регулярно появлялся каждый вечер с наступлением темноты и сидел где-то совсем рядом с небольшой терраской, смотревшей в лес, на невысокие лесистые холмы, на зеленую долину. Его крик — особенный, с каким-то вопросительным знаком в начале, а потом и с ответом. Долгий такой крик. Когда он повторяется сотни раз без конца, он убаюкивает и приводит вас в состояние глубокого внутреннего мира. Ну вот, даже птицу Господь послал такую, как надо, — так перестань скорбеть и болеть душой! Благодари Бога за все, что он дал тебе, за все, от чего спас, за все, чем можешь быть довольна в твои-то годы.

Весна в этих краях была действительно пышной. Началась она с нежных зеленых листков, покрывших деревья на холмах, серых до этой поры. Потом бурно зацвели дикая вишня и дикая слива — белыми пятнами среди лесов. Земля покрылась фиалками, вокруг все зазеленело, старая яблоня гнулась под обильным цветением, и солнце становилось днем горячим, намекая о близости лета.

Эта первая весна Возвращения была какой-то необыкновенно утешительной, врачующей, и все говорило о продолжении жизни, о счастье жить и видеть вокруг эту красоту. Оля писала из Англии, как рада она снова быть среди своих одноклассников, — ее поместили опять вместе

с ними, хотя она и пропустила полтора года. Школа верно решила, что быть вновь вместе для нее сейчас очень важно, а программу она потом наверстает.

Теперь только я узнала из бесчисленных газетных вырезок, присылаемых мне друзьями отовсюду, как ее встретило телевидение по приезде из СССР. Как очаровала всех четырнадцатилетняя девочка, как хорошо она держалась. Она сделала заявление с глубокой мудростью повзрослевшего человека, сказав: «Это было необыкновенно интересным опытом для меня, и я не сожалею ни об одной минуте... Не каждому школьнику приходится узнать три разные страны, побывать в трех самых важных странах мира». Она плакала, сжимаемая в объятьях одноклассницами. Школа и ее директор тоже попали в газеты — она сумела сказать добрые слова о школе, создать ей хорошую репутацию, и это было благодарностью за широко открытые двери для ее возвращения. Красивое ее личико с белозубой, фотогеничной улыбкой обошло в те дни все газеты, и наконец я могла полюбоваться ею. Ибо в тот момент, когда в Англии и в США ее возвращение было в новостях на всех экранах телевизоров, я была еще в Москве — отрезанной от остального мира — и ничего *не знала*. Мне лишь на следующий день было передано, что она долетела благополучно.

Меня тоже искала пресса, но маленький дружественный Спринг-Грин (население 1500 человек) не выдал моего местонахождения, и вскоре эти домогательства стихли.

Летом Оля приехала сюда на каникулы и дала лишь одно интервью небольшой газете «Пресса Эвансвилла», которую основал ее дед Фредерик Ромер Питерс в 1911 году в своем родном городе. Мы позвонили редактору все еще существующей газеты и сказали, что из всех остальных предпочитаем разговаривать с ними, — и они были в восторге. Приехали в Спринг-Грин, отвезли Олю в Эвансвилл, где она познакомилась со все еще живущими там родственниками. Газета дала о ней полосу с отличной фотографией. Жаль только было, что мои надежды не оправдались: я полагала, что было бы уместно рассказать и о ее американском дедушке, отдать должное его жизни и долгому служению хорошей, прогрессивной в свое время газете, так сказать, поднять и американские *корни* Ольги Питерс. У нее очень хорошие американские корни, семью Питерсов можно кратко описать как очень достойную, работящую семью со Среднего Запада Америки, завоевавшую себе отличную репутацию порядочности, стабильности, заслуженного успеха в работе: того, что ценится в Америке больше всего.

Увы! Газета почти ничего не сказала о Питерсе, но поместила рядом с Олиной фотографией, конечно же, фото ее другого знаменитого деда. Без этого они просто никак не могли! Но зато Олины собственные впечатления от поездки в СССР были изложены довольно подробно.

В это первое лето после возвращения из СССР мы обе восстанавливали связи со старыми друзьями на Восточном и Западном берегах, часто искренне недоумевавшими, почему мы выбрали эту далекую «провинцию сыроварения» — единственное, что горожане обоих берегов Америки знают о Висконсине. Но нам было хорошо здесь, и вскоре мы купили небольшой дом в лесу — чей-то «охотничий домик» — в местах, где охотятся на оленей, диких индюшек, тетеревов и куропаток. Оле так хотелось считать эти места своей родиной.

Я же никогда не забывала одного момента, пережитого в этих краях годы назад, когда я была замужем за Вэсли и у нас была здесь своя маленькая ферма.

Летом 1971 года я сидела на передней терраске этой фермы с трехмесячной Олей, засыпавшей на моих руках. Огромный ирландский волкодав лежал у моих ног. Я покачивалась в старом деревянном кресле-качалке и смотрела на дорогу и долину, расстилавшиеся передо мной. Был тихий вечер, и все окутывал золотой свет предзакатного солнца. По дороге, позванивая колокольчиками, возвращалось домой большое стадо коров. Вдалеке на дороге я видела фигуры Вэсли и его тридцатилетнего сына: они стояли, засунув руки в карманы брюк, обсуждая дела на ферме. Кресло тихо покачивалось, Оля мирно спала, и я думала, что вот он — *наивысший момент моей жизни*. У меня есть семья, я — дома в этой стране, и вся моя жизнь теперь будет одним сплошным мирным днем тихого счастья, как этот *вечерний свет*. Мне казалось, что ничто никогда не отнимет у меня той спокойной уверенности, которую я испытывала, сидя здесь, окруженная моей новой семьей, любуясь моей новой страной, такой прекрасной именно в этих краях. Этот момент мира и счастья, наивысшая точка всего моего американского существования, остался в памяти навсегда. И сейчас, годами позже, я отчетливо помнила, как именно в этих краях испытала некогда такую необыкновенную *полноту* жизни, ее красоту, щедрость. Все было тогда таким радующим — здоровый ребенок, славный муж, щедрое лето и прекрасные, громадные, взбитые облака над этой изумрудно-зеленой землей. С тех дней знала я всю эту местность, лесные и полевые дороги, знала, где найти полевые и лесные цветы, распускавшиеся одни за другими каждый месяц, знала местных жизнерадостных и добрых людей, находившихся тогда чаще всего вне ограды коммуны *Талиесин*. Но даже и там были добрые души, потому что добрые люди *есть* повсюду.

В последовавшие за разводом годы мы не раз приезжали сюда с Олей, она любила лагерь для девочек-наездниц, организованный поблизости семьей, которую мы хорошо знали. Я же любила просто бывать здесь и ездить по этим сельским дорогам. Наша старая ферма была давным-давно продана, но все же приятно было видеть ее с дороги, по которой мы часто проезжали. Мудрено ли, что я выбрала себе постоянную резиденцию именно в этих местах? «Как вам не печально жить в этих местах прошлого счастья?» — спросила меня одна американская поэтесса. Я долго объясняла ей все вышесказанное. Уроженка Нью-Джерси, живущая в Нью-Йорке, она полагала, наверное, что я скрываю «истинные причины». Но я надеялась, что как поэт она должна была меня понять лучше других. Мы окружены здесь поэзией, и красотой, и добротой простых людей.

Ну, а что же там, «за железным занавесом»?

Никакого *занавеса*, конечно, не существует. Он выдуман пропагандой обеих держав, как в этом теперь хорошо убедилась даже Оля. Он *придуман* для того, чтобы питать взаимные страхи, взаимное недоверие двух больших народов, столь похожих один на другой. А иначе чем же оправдать всю эту «идеологическую борьбу», эту *слежку* за людьми, гонку вооружений *якобы* для *защиты* святого отечества? «Железный занавес» необходим лишь всем тем, кто существует за его счет как в СССР, так и в США, всем этим миллионным армиям, политическим полициям, раскинувшимся по всему миру из двух непримиримых политических центров Земли... Упразднить бы их повсюду и тратить идущие на них деньги на мирную жизнь. Вот была бы истинная *перестройка*. Может быть, мои внуки доживут до этого?

Еще со времен событий в Чехословакии не переставала я лелеять надежду на нашего, российского Дубчека: на человека нового поколения, который появится в партии окаменевших «большевиков». Мне всегда казалось, что глубокий процесс роста недовольства внутри самой этой партии, который был хорошо знаком мне по моим многим друзьям, неизбежно выведет на поверхность кого-то, кто будет способен преобразовать саму *партию*, а вместе с ней — и устаревшее, отстающее от мира советское *общество*. Горбачева потребовали история, жизнь. Если не он, то кто-либо другой так же неминуемо будет проводить процесс обновления, преобразования, модернизации советской отсталости. Десять Горбачевых понадобятся, чтобы завершить этот процесс, чтобы хотя бы поставить Советский Союз рядом с современными развитыми странами, с их многопартийностью, свободными выборами, с их демократическими *свободами*. Много лет пройдет, пока Россия сможет вернуть себе опять славу «кормилицы Европы», какой она была когда-то, когда ее земля находилась в руках свободных земледельцев. Но и это придет. Уже слышны слова и обещания и на этот счет. Дел, правда, пока еще не видно. Писать книги о «перестройке» куда легче, чем переделывать колоссальную страну, заведенную в *тупик* той же самой партией, которая и теперь все еще остается правящей силой и вместо признания собственной истории провалов пытается свалить вину либо на своих же «плохих вождей», либо на *народ*, который-де «не умеет работать столь произ-

водительно», как это умеют другие народы... А что «другие народы» пользуются при этом всеми свободами демократии и выбирают ту партию, под властью которой они желают жить, из числа многих других партий на свободных выборах — об этом пока еще мы не слышали от современного лидера. Он пользуется такой популярностью за границей, как будто он уже все в своей стране преобразовал.

О, нет, еще очень далеко идти, и еще очень рано бить в кимвалы. КПСС медленно изживает самое себя, но не рухнет так вот прямо, как подстреленный ихтиозавр, а долго, долго еще будет корчиться, распространяя вокруг все тот же обман, ядовитое дыхание и скаля жадные зубы на весь мир.

А многомиллионный народ — терпелив и милостив. Нигде так не прощают, как в России, потому что христианства уничтожить там так и не удалось. Поэтому то, что в другой стране давно вызвало бы восстание, здесь только огорчает терпеливцев. В западных странах никак не поймут — как это можно десятилетиями терпеть советский образ жизни? Даже при всей «гласности» жаловаться-то приходится все той же самой правящей партии. Больше идти некуда! Вот когда наконец и другие партии там образуются — как это было еще в царские времена, — тогда, безусловно, можно будет лицезреть истинную гласность и она будет приносить свои плоды.

То, что только начинается сейчас в СССР, будет расширяться и продолжаться. Неизбежен процесс истории: советский строй зашел в тупик и должен быть изменен, трансформирован, будем надеяться — мирным путем. И не потому, что «новый лидер» появился, а потому, что жизнь и история этого требуют.

Мои внуки и внучки доживут до времен, когда поездка за границу будет простым делом покупки билета, когда выйти замуж за иностранца или переехать жить в другую страну не будет больше считаться преступлением перед государством и народом. Жизнь бабушки тогда будет им казаться — из их перспективы — странной. Ибо им не надо будет бороться с теми препятствиями, которые стояли перед нами в наши времена. Будем надеяться, что страдания и унижения так называемых «перебежчиков» уйдут в прошлое. Но, как и нам, им тогда тоже необходимо будет чувствовать себя интернационалистами, чтобы обнять весь мир. Будем верить, что это станет образом мышления в СССР, где откроют наконец границы для свободного путешествия оттуда и туда. Нам же приходилось бежать, подвергаться нападкам пропаганды с обеих сторон, терять гражданство, детей, дружбу, честное имя, все на свете...

Мои внучки, возможно, не будут знать ничего этого. Они будут уже дважды удалены от имени моего отца, а их дети — трижды, и оно не будет доставлять им столько неприятностей и неудобств, сколько пришлось испытать мне: от наивного любопытства до жгучей ненависти. Они смогут жить свободно, так, как им захочется. Бабушке же приходилось дважды подумать каждый раз.

От меня без конца требовали в течение всех этих двадцати лет, что я живу вне СССР (а также со дня напечатания моей первой книги «Двадцать писем к другу»), чтобы я читала биографии Сталина, написанные различными исследователями и историками, комментировала их, выступала бы в телевизионных программах, посвященных жизни Сталина, или в дискуссиях на эту тему. Я никогда не соглашалась и не принимала в этом участия. Искать ответы у родственников на вопросы политики больших государственных деятелей глупо и отдает дурным вкусом. Мы не можем и не должны комментировать политику этих лиц, знакомых нам с человеческой стороны. Мы только можем говорить о них как о людях, что я и делала в своих глубоко личных книгах. Я сообщаю факты, известные в семье, и стремлюсь оставить для истории эти детали, так как частная жизнь крупных деятелей всегда подвергается извращению как их политическими врагами, так и всякими неучами и бездарностями. Этой судьбы не избежали ни Наполеон, ни Ленин, ни Гитлер, ни Романовы, ни Рузвельт, ни Сталин. Вступать в спор с серьезными историками, такими, как Исаак Дейтчер или Адам Улам, Джордж Кеннан или Бертрам Вульф, я себе не позволяла: у них есть право на свою собственную «концепцию». Моя же личная концепция состоит в том, чтобы всегда разделять Сталина-человека и Сталина-политика. Первое послужило материалом моих «Двадцати писем к другу», второе — нашло свое место в книге «Только один год». Я старалась не смешивать эти два подхода.

С годами стало возможным сделать какие-то обобщения. Мне думается, что Сталин, конечно, принадлежал Грузии своим темпераментом, наследственностью, характером. Но России он принадлежал как революционер: всем тем, что он узнал и сделал за свою жизнь. Он бросил Грузию рано и полюбил могучую, жестокую Россию, потому что он любил силу. России он и служил как мог, сделал ее индустриальной страной и выиграл победу над нацистской Германией.

Маршал Жуков в первом варианте своих мемуаров, вышедших еще при его жизни, отдал дань способностям Сталина как крупного полководца и организатора. Жуков рассказал также один эпизод, относившийся к дням победы. Сталина ожидали в Берлине на Потсдамскую конференцию, он ехал поездом. Приготовили встречу с оркестрами и фанфарами — не без оснований, так как встречали главнокомандующего армией, выигравшей войну. Однако он передал Жукову, чтобы «никакой помпы, никаких оркестров и всей этой чепухи. Мы должны немедленно же начать работу». Его встретили в рабочем порядке и поехали на переговоры, готовить условия мира. Так оно было. Портрет Сталина в мемуарах Жукова был в высшей степени положительным. Позже, после смерти Жукова, военная «редакционная коллегия» внесла значительные перемены в текст и выбросила эпизод с приездом в Берлин.

Политики всегда занимаются подтасовкой фактов истории в своих интересах; Сталин делал то же самое с историей партии. Но он был не одинок в этом, как был не одинок во всем, что совершила партия за свои семьдесят лет. В условиях коллективного руководства, осуществляемого Политбюро ЦК, все до единого должны нести моральную ответственность за все деяния партии. Коллективно была достигнута победа, коллективно был организован и осуществлял свои расправы ГУЛАГ. Я считаю партию ответственной за все то, что приписывается сейчас одному лишь Сталину. Мое мнение разделяют многие. Это — не «защита», а историческая объективность.

Дождемся мемуаров А. И. Микояна, А. Н. Поскребышева, К. Е. Ворошилова и многих других. Я читала во время поездки в СССР мемуары маршалов и конструкторов вооружения: они разделяли точку зрения Жукова. Оценивать лидеров такого крупного масштаба должны люди, хоть сколько-нибудь приближающиеся к такому масштабу сами, такие, как Черчилль, Рузвельт, Де Голль. Для меня их оценки имеют значение. Мнениями же академиков, журналистов и писателей, никогда не являвшихся лидерами больших стран, я позволю себе пренебречь.

В Америке я не видела серьезного изучения истории и культуры России и ее национальных «окраин». Некоторые работы таких крупных историков, которые были упомянуты выше, стоят отдельно. В массе своей американцы не знают, что такое СССР — колоссальная страна, так похожая на Соединенные Штаты своей многонациональностью, своим характером, темпераментом и многими историческими обстоятельствами. Почти трехсотмиллионное население Советского Союза все еще рисуется среднему американцу как сплошная серая масса «коммунистов», с жадностью стремящихся захватить весь мир, уничтожить Америку и частную собственность и живущих на «коммунальных началах». Первая же поездка в СССР вызывает шок: оказывается, что люди там такие же, как здесь, что к Америке они относятся с нескрываемой симпатией и что взаимопонимание не представляет больших трудностей — если вам повезло разговаривать с нормальными людьми, а не с партийными бюрократами. Нет нужды высмеивать невзрачную одежду советских граждан и недостаточное количество личных автомобилей. Качество ума и способность к интуиции весьма высоки там, где талантов не занимать как в искусстве, так и в науке.

Мне всегда делается не по себе, когда элегантные представители американского телевидения охотятся на улицах Москвы за малограмотными

толстыми бабками, чтобы спросить их — через неважного переводчика — что они думают о «перестройке». А почему бы не задать этот вопрос тем, кто достаточно образован для такого ответа: экономистам, ученым, исследователям, кто неплохо может говорить по-английски? Почему надо представлять себе Россию все еще в образе «бабки в платочке», когда эта бабка уже имеет внуков, возможно, окончивших институт иностранных языков или институт международных отношений?

Поэтому-то и радуюсь я, что повезла с собой свою дочь-подростка и она своими глазами увидела жизнь и людей в Советском Союзе такими, каковы они и есть на самом деле. Теперь ее уже никакая пропаганда — ни оттуда, ни отсюда — не переубедит. Хотя американская пресса не поскупилась на темную краску, обрисовав меня как мать-злодейку, однако Оля получила свои собственные впечатления о России благодаря этой поездке. И, может быть, вскоре можно будет ездить туда и обратно, не приводя этим в сенсационную панику газеты и телевидение: почему, в самом деле, они заимствуют этот показной «патриотизм» у советских?

Где-то там, далеко, если взглянуть на карту, но не так уж далеко от американской Аляски находится Камчатка, где работает мой милый геофизик-вулканолог, старшая дочь Катя. И где живет моя маленькая внучка Анюта. Я люблю географические карты. Люблю большие расстояния и просторы. Как легко они смотрят друг на друга — всего лишь через большое озеро — Камчатка и Орегон, Вашингтон, Аляска — когда-то вообще русская земля... Вот там-то и будут проходить будущие линии всевозможных коммуникаций: от науки до торговли, от рыболовства до вулкановедения. Почему бы моей Кате не переехать через Тихий океан и не взглянуть на Маунт Хелен, американский вулкан?.. Так хочется, чтобы две сестры, столь похожие друг на друга и внешне, и внутренне, увиделись бы когда-нибудь — без вражды, без пропагандистских усилий со стороны обоих правительств, стоящих за их спинами, без ненависти. Тогда работа каждой из них зазвучит своим голосом и вольется в общий поток человеческих усилий за лучшее будущее.

Я рада, что могу думать о них обеих подобным образом. Надо «оторваться» от всего личного, от неприятных воспоминаний, чтобы увидеть их вместе, хотя бы в воображении. А внучки, конечно, будут так же спорить с матерями и поступать по-своему, как это делали и их мамы.

Надежда моя состоит в том, что вскоре книги начнут мигрировать по свету куда быстрее, чем люди, и мемуары моего поколения приобретут некоторую ценность в глазах тех, кто не знал наших времен. Они помогут тогда понять не столько другую эру, сколько иных людей. И внучки всех мастей и оттенков — совсем не обязательно только мои — найдут тогда на этих старомодных страницах странные, неправдоподобные ситуации, а также некоторые знакомые лица.

Висконсин, США, 1986—1988

Новые стихи

Оторопь

Где тут спрятаться? Куда?
Тихо входит в жизнь беда,
Всех спасает, как всегда.
От страданий слепота —
лучший друг здоровья.
И в России тоже бред;
Тот — нацист, а тот — эстет.
В том и в этом смысла нет.
Меркнет опыт страшных лет —
Пахнет новой кровью.

Последние известья

Последние известья,
Россия на краю.
Все топчутся на месте,
Кляня судьбу свою.

И воздух пахнет местью
За веру в близкий рай.
Все топчутся на месте
И всех несет за край.

В костре той глупой веры,
За рай принявшей ад,
Горят и ум, и мера,
И дом, и хлеб горят.

И остается скука,
Химера на костях.
И злоба друг на друга
За то, что это так.

И труд невыносимый
И дальше быть людьми.
И — Господи, спаси нас,
Прости и вразуми.

Но как скребок по жести
Опять сквозь жизнь мою —
Последние известья,
Россия на краю.

Страшусь того, что будет,
Тоска меня сосет.
Но все друг друга судят,
И всех несет, несет.

Виктору Некрасову

к его 75-летию — написано до перестройки

Взлет мысли... Боль тщеты...
Попойка...
И стыд... И жизнь плечом
к плечу...
— Куда летишь ты, птица-тройка?
— К едреной матери лечу...

И смех, то ль гордый, то ли
горький.
Летит — хоть мы не в ней сейчас...

А над Владимирскою горкой
Закаты те же, что при нас.

И тот же свет. И люди даже,
И тень все та же — как в лесу.
И чье-то детство видит так же
Трамвайчик кукольный внизу.

А тройка мчится!!! Скоро ухнет —
То ль в топь, то ль в чьи-то города.
А на московских светлых кухнях
Остры беседы, как всегда.

Взлет мысли... Гнет судьбы...
Могу ли
Забыть?.. А тройка влезла в грязь.
И гибнут мальчики в Кабуле,
На ней к той цели донесясь.

К той матери... А в спорах —
вечность.
А тройка прет, хоть нет пути,
И лишь дурная бесконечность
Пред ней зияет впереди.

А мы с нее свалились, Вика,
В безвинность, правде вопреки.
...Что ж... мы и впрямь той тройки
дикой
Теперь давно не седоки.

И можно жить. И верить стойко,
Что все! — мы люди стран иных...
Но эти мальчики!.. Но тройка!..
Но боль и стыд... Что мы без них?

Летит, не слышит тройка-птица,
Летит, куда ее несет.
Куда за ней лететь стремится
Весь мир... Но не летит — ползет.

А мы следим и зависть прячем
К усталым сверстникам своим.
Летят — пускай к чертям собачим.
А мы и к черту не летим.

И давней нежностью пылая
К столь долгой юности твоей...
Я одного тебе желаю
В твой заграничный юбилей.

Лишь одного, коль ты позволишь.
Не громкой славы новый круг,
Не денег даже...
А того лишь,
Чтоб оказалось как-то вдруг.

Что с тройкой все не так уж
скверно,
Что в жизни все наоборот,
Что я с отчаянья наверно
Отобразил ее полет.

Вагон

А время гонит лиходей

А. Пушкин

Ушедшей жизни мерзкий фон, —
От века скрежет был железный.
Вошли мы на ходу в вагон,
Когда уже он несся в бездну.

О ней не зная... Нас влекло
В свет ламп, в разумный мир
металла...
И жили в нем, хоть нас трясло,
Хоть все под нами грохотало.

Вошли в вагон, летевший вниз.
Но после, нам сверхнапряженье
Внушило: он рванулся ввысь
Из пут земного притяженья.

И мы терпели маяту.
Всю жизнь... Но жизнь подходит
к краю

И вот выходим на ходу,
Как и вошли. И столько ж зная...

И лишь отпав, лишь выйдя вон,
Держась за кустик на откосе,
Мы вдруг поймем, что наш вагон
Не вверх уполз, а вниз пронесся.

И мчится дальше, под уклон
Гремит вовсю, неутомимо.
Все той же бездною влеком,
Как в дни, когда в него вошли мы.

Вагон грохочет — в пропасть, в ад.
Теперь без нас. Но легче ль муки?
Ведь наши дети в нем сидят
И жмутся к стеклам ваши внуки...

* * *

Мы все говорим... Только все не о том.
А где-нибудь нынче в столице восточной
Надежда блеснула; тяжелым трудом
Купить себе право на лагерь бессрочный.

А был он таким же, как в юности мы, —
Бурлил, постигал, возмущался и верил.
Не ждал для себя ни сумы, ни тюрьмы
И жизнь впереди часами не мерил.

И вдруг, словно шапку, надвинули тьму.
Потом в заключенье сумели утешить,
Что если заслужит, заменят ему
Мгновенную гибель на вечную нежить.

Друзей увели, их скосил автомат.
К нему ж для примера проявлена жалость
И то, с чего в ужасе ночью кричат,
Ему привилегией редкой досталось.

А мы осуждаем. А нам — ни хрена.
И так привыкаем, что все — не как прежде.
И кажется; всем на земле суждена
Подобная жизнь, да и та — как надежда...

Попытка начала

Страх временности — вкуса бремя.
И как за временность судить,
Раз ей по силам нынче время
Само затмить иль прекратить.

Сменить бы бремя на
беспечность —

Вдыхать, порхать, огнем гореть.
И вдруг сквозь это в чем-то
вечность
Почти случайно рассмотреть.

Ах, временность!.. Концы...
начала... —

Все здесь. Все быт одной поры...
...Но в наши дни она пленяла
Соблазнами другой игры.

И властью путать все, внушая,
Что видим свет за плотной тьмой.
Энтузиазмом окружая

Наш дух, как огненной тюрьмой.

Ах, временность!.. Ах, вера
в благо!
Борьбы и веры жаркий вихрь.
А рядом трупы у продмага
И мухи панцирем на них.

«Наше время»

Несли мы лжи и бедствий бремя.
Меняли, тешась, миф на миф.
А самый гордый, «Наше Время»,
Был вечен — временность затмив.

Он был поддержан общей ложью
Тех дней, хмельных и без того...
Но и опамятовшись, позже,
Мы уповали на него.

И верили легко и прочно,
Что раз мы вместе против зла,
Нам хватит времени на то, чтоб
Исправить прошлые дела.

Само величие крушенья
Внушало нам сквозь гнет стыда,
Что пусть не наше поколенье,
Но Наше Время — навсегда.

А Наше Время, как ни странно,
Как просто время — вдруг прошло.
На неизлеченные раны
Забвенье пластырем легло.

На все мечты и преступленья,
На гордый миф... Он мертв сейчас.
Спешат другие поколенья
Его забыть... А с ним и нас...

Все наши беды, боль, усталость...
Но зря!.. Наш грех — на их судьбе.
И то, что им от нас осталось,
Не раз напомнит о себе!

Им доверять забвенью рано,
Хоть «Наше Время» — век иной.
Все неизлеченные раны
Всё так же грозно копят гной.

На вечере поэтов

Стихи все умерли со мной
Давно... А зал их — ждал.
И я не плыл за их волной —
По памяти читал.

И было мне читать их лень,
И горько душу жгла
Страсть воскресить вчерашний день,
Когда в них жизнь была.

Тогда светились их слова
В подспудной глубине...
Теперь их плоть была мертва.
И смерть жила во мне.

Они всю жизнь меня вели,
И в них — вся жизнь была.
И вот живыми не дошли
Сюда... А жизнь — прошла.

●

Самоубийство

РОМАН

V

В последние недели перед восстанием нервное напряжение у Ленина достигло предела. Он то писал распоряжения, то ходил по комнате, то лежал на диване, что-то про себя бормоча. Беспокойно прислушивался к шороху за стеной, за входной дверью. Пил большими глотками чай, оставлявшийся для него Фофановой.

Советоваться с Карлом Марксом было больше незачем: Маркс уже посоветовал. Работа над планом Петербурга надоела: пользы от нее мало. Он понимал, что восстание подготовлено плохо, хотя люди работали целый день. Военно-революционный комитет, непосредственно руководивший подготовкой, сам в точности не знал, да и не мог знать, какие вооруженные силы находятся в его распоряжении, на кого, на что можно рассчитывать более или менее твердо. Не было и плана, хотя бы такого, что бывает на войне у командующих войсками. В решительный день нужно было импровизировать в зависимости от обстоятельств. «Да, все более или менее. Но ведь так всегда бывает с восстаниями, — отвечал он себе, — никогда не было революций, разыгрывающихся по нотам. Революция — не маневры! И, конечно, у них (он разумел Временное правительство) не предусмотрено и не подготовлено ровно ничего. Они даже еще не уверены, что мы готовим восстание!»

На митингах он не показывался: уж теперь погибнуть от пули или бомбы террориста было бы совсем глупо! «Тогда, разумеется, все пошло бы к черту. Даже и попыточки восстания не было бы! Многие из наших спят и во сне видят, как бы похоронить это дельце, даже некоторые из тех, что будто бы идут за мной». В душе он, конечно, относился с насмешкой почти ко всем своим «сподвижникам», да и не мог относиться к ним иначе: все они, Рыков, Пятаков, Луначарский, Калинин, Молотов, Сталин, Бухарин, Стеклов, пошли за ним не сразу; другие, во главе с Троцким и большевиками стали со вчерашнего дня, а прежде были какие-то «интернационалисты» или как-то так, черт знает кто; мелкая сошка, вроде Ярославского, еще совсем недавно сотрудничала с меньшевиками и проповедывала что-то либеральное, реформистское, совершенную ерунду. В лучшем случае они просто ничего не поняли в революции; в худшем просто трусили и не желали рисковать жизнью. «Могут и опять уйти в кусты! Троцкий, Сталин, правда, в кусты не уйдут, но их обоих в партии терпеть не могут. Вдобавок оба инородцы. В партии и это есть, особенно антисемитизм. Социалистический строй — да, но пусть во главе стоит русский человек! Если меня укокошат, то уж все объявят, что восстание противоречит марксизму».

Сам он об уходе «в кусты» никак не думал. Все же у него порою скользили мысли, что нужно будет бежать за границу, если восстание провалится: и в этом случае, даже в мыслях для него непереносимом, партии был нужен вождь — для третьего восстания. «Делал же в эмиграции столько лет свое дело — и наполовину сделал, без меня и партии не было бы! Будут, конечно, издеваться, как Плеханов издевался двенадцать лет тому назад, а из него тогда еще песочек только начинал сыпаться. Да плевать мне, пусть издеваются».

Думал и о том, что будет делать после успеха: каких людей возьмет в правительство? Зная, что выбор не велик, предполагал не отказываться ни от кого. «Конечно, возьму Зиновьева и Каменева, черт с ними! Струсили, но после победы расхрабрятся. Не сразу, а погодя дам им какие-нибудь «портфели». Это слово всегда его забавляло; он знал, каким обаянием оно пользуется среди людей: «Был всю жизнь адвокатишкой или маклером — и вдруг министр!»... Пьянице Рыкову дам внутренние дела. Болвану Луначарскому народное просвещение, то-то будет нести ерунду и

Окончание. Начало см. «Октябрь» №№ 3—5 с. г.

поощрять искусства, в которых он смыслит не больше моего. Для Сталина создам министерство по делам национальностей, он туповатый человечек, но в этом разбирается, если ему несколько раз объяснить, что нужно делать. Троцкий? Этот пусть берет что хочет. Умный человек и способный. Везде будет «блеск», а кое-где, может, будет и толк. Всю жизнь он хотел быть первым, но не в деревне, а именно в Риме. Ничего, пусть будет вторым в Риме. Он потому ко мне и примкнул, что понял: «С одними интернационалистами кашки не сваришь, т а к о й кашки! Ничего не поделаешь, примкну к проклятому Ленину!» В ближайшие дни «блеск» покажет большой, только за этот «блеск» его все будут ненавидеть еще больше. Конечно, будет жестокая гражданская война, туда сунем Крыленко, Овсеенко, Дыбенко, если пойдет. Они хоть не трусишки. У всех трех фамилий на «ко», будут путать... Все равно и гражданской войной придется руководить мне. Я в военных делах ничего не понимаю, но и другие не понимают, как-нибудь научимся, глупее Полковниковых не будем... Если левые эсеры примажутся, дадим что-нибудь и им, хоть они уж все совершенные дубины. «Портфель» и их зачарует, даже с некоторым риском виселицы: «От виселицы успею вовремя ускользнуть, буду за границей «бывший министр». Да, люди найдутся, ничем не хуже западных умниц».

Насчет себя он не сомневался: вся власть будет у него. Ни о каком другом кандидате в партии и мысль не могла возникнуть. Он предполагал придать своей единоличной власти вид какого-то коллектива. После переворота скромно отказывался от должности главы правительства. Так же поступал и Робеспьер: в своих интимных бумагах, найденных после его казни, прямо говорил, что нужна единоличная воля (разумеется, его собственная). Но когда Сен-Жюст назвал его кандидатуру в диктаторы, отказывался еще более скромно: зачем же непременно он? Есть гораздо более достойные кандидаты. Но скучные обязанности по представительству Ленин исполнять не желал. «Пусть болванов-послов принимает Калинин. Свердлов был бы лучше, он грамотнее. Но опять еврей... Подумаем».

Кое-какие люди были. Неизмеримо лучше была программа: земля крестьянам, заводы рабочим и, главное, немедленный конец войны. «И как только эти людишки не поняли, что против этой программы они устоять не могут! — думал он, опять разумея Временное правительство.— Хорошо, что ничего не понимают. «Война до победного конца». «Вопрос о земле разрешит Учредительное собрание»,— с наслаждением думал он.— Ну, ладно, а что если все-таки убьют?» Жизнью особенно не дорожил: погибнуть теперь было совершенно не то, что умереть с год тому назад: все-таки сделана первая в мировой истории попытка настоящей социалистической революции. Парижская Коммуна в счет не идет. Великий опыт будет и в случае провала. История этого не забудет. Печать будет поливать грязью. Впрочем, Горький напишет порицательно-снисходительно-сочувственную статейку: «Ошибался Ильич, ошибался, но, пОнимаете, был фанатик». Он благодушно представил себе Горького, с его говорком на «о». «Никакой социальной революции он не хочет и не может хотеть: сам богатый буржуй. Проповедует, конечно, но так: когда-нибудь да может быть. Квартирка же на Кронверкском — хорошая вещь, это тебе не будущее. Ничего не понимает,— но, «пОнимаете, Ильич был бОльшой человек». Другие будут говорить «собаке собачья смерть», а он хоть этого не скажет. Напишет, напишет статейку, Суханов как-нибудь поможет... В общем, кроме Нади, никто особенно плакать не будет. Инесса!» — вдруг тоскливо подумал он.

Из передней послышался звонок. Ленин ахнул: полиция! Быстро поднялся с дивана, на цыпочках пробрался в переднюю и прислушался. Звонок повторился в другой, в третий раз. Затем раздался стук в дверь, но не тот, который был условлен. Так и есть, полицейские!

— Тетя... Маргарита Васильевна... Вы дома? — с недоумением спросил звонивший: молодой человек услышал за дверью шорох.

Отлегло.

— Маргариты Васильевны нет дома.— ответил Ленин, не подумав. Изменил голос.

— Пожалуйста, отворите... Я только на минуту, оставлю ей записочку... Она нескоро придет?

Не отвечая, он вернулся в кабинет: «Нельзя ответить»... Молодой человек опять позвонил с еще большим недоумением. Затем поспешно спустился по лестнице. Внизу он встретил возвращавшуюся Фофанову.

— Тетушка, не подымайтесь! У вас в квартире грабитель!

— Какой грабитель? Что ты говоришь?

Он сообщил, что долго звонил и стучал, кто-то подкрался наконец к двери, что-то сказал, но двери так и не отворил.

— Вот что! Я бегу в участок! Попросите соседей, чтобы покараулили на площадке, а то он удерет!

— Да что ты! Какой грабитель! Никакого грабителя! У меня знакомый сидит, я его на минуту оставила, а он...

— Да почему же этот господин не отворяет?

Она долго сбивчиво что-то ему объясняла: просила этого старичка не отворять никому, потому что... Молодой человек слушал с некоторым удивлением.

— Ну, слава Богу, а то, ей-Богу, подумал, что грабитель. Хорошо, что не привел городового или как их там теперь зовут.

— Действительно хорошо! А ты чего хотел, родной мой?

— Просто хотел вас навестить, да и дельце маленькое есть,— ответил он.— Очень спешу.

— Если спешишь, что ж делать? Не зову.

— Чайку, пожалуй, выпил бы. Да у вас, тетя, верно, сахару нет?

— Ох, нет, ничего нет,— солгала она.— Чего же ты хотел, голубчик?

Он изложил дело, простился и ушел, не без лукавства попросив «кланяться старичку».

Фофанова вздохнула свободно. «Как же это Ильич откликнулся! Могло все пропасть, если б пришла полиция!» — поднимаясь по лестнице, думала она с радостным изумлением.

Увидев ее, Ленин расхохотался.

— Сюрпризик! Приходил ваш племянничек!

— Знаю, я его встретила... Да как же вы смеетесь, Ильич! Ведь из-за этой случайности могла сорваться вся революция!

— Не могла, никак не могла, Маргарита Васильевна,— говорил он, продолжая хохотать заразительным смехом.— Нет случайностей, есть только законы истории.

Десятого октября он, загримировавшись еще тщательнее, чем всегда, выехал на решающее конспиративное заседание. Оно могло бы оказаться одним из бесчисленных в его жизни заседаний, не имевших никаких последствий; но случайности сложились так, что оно оказалось, быть может, самым важным, самым значительным по последствиям заседанием в мировой истории. Продолжалось оно десять часов. Было двенадцать человек. Пили чай, закусывали бутербродами.

Говорил, главным образом, Ленин. Он доказывал, что Временное правительство собирается открыть фронт и сдать немцам Петербург. Доказывал, что союзники намерены скоро заключить мир с немцами и совместно с ними задушить русскую революцию. Доказывал, что как только большевики захватят власть в России, на Западе вспыхнет восстание и мировой пролетариат придет на помощь их партии. Все это было неправдой, и со своей проницательностью он не мог этого не понимать. Понимали ли слушатели? Должно быть, одни ему верили, другие догадывались, что он лжет, но думали, что теперь уж необходимо за ним идти; отступать поздно, нервы не выдержат, надо положить делу конец. Спорили только Каменев и Зиновьев, они были против вооруженного переворота и не надеялись на успешный исход. Один из участников совещания впоследствии говорил о страстных импровизациях Ленина, внушавших людям веру и волю. Вероятно, говорил правду. Была тут доля и почти гипнотического внушения. Все подчинились: было принято и записано решение произвести через две недели, 25 октября, государственный переворот.

VI

Муссолини уже был очень известным человеком в Италии. О нем иногда писали и в иностранных газетах.

До начала мировой войны он оставался революционером и крайним антимилитаристом. Последнюю антимилитаристскую речь произнес месяца за два до того, как война началась. Но уже давно чувствовал, что может защищать какие угодно политические взгляды. Так и велел Макиавелли. Впрочем, об этом он думал мало. Только радостно сознавал, что его переполняет воля к борьбе, все равно к какой. Победа должна была прийти — просто не могла не прийти. Нужен был только благоприятный случай.

Этот случай, наконец, создался. Летом 1914 года.

Он ушел из социалистической газеты «Аванти», или его заставили оттуда уйти. Теперь и колебаний больше быть не могло. Если б социалисты и одержали победу, она ему обещала немногое: главарями оказались бы все эти ничтожные Турати, Модильяни, Тревесы, давно занимавшие в партии огромное положение; они его терпеть не могли и в лучшем случае бросили бы ему какую-нибудь обглоданную кость. Не это ему было нужно.

В основанной им газете «Пополо д'Италиа» он страстно требовал, чтобы итальянское правительство объявило войну центральным державам. Враги обвинили его в продажности: подкуплен Францией, иначе быть не может! Говорить можно было что угодно, доказать, как всегда в таких случаях, было очень трудно. Через четверть века, в 1940 году, французскому правительству было бы выгодно объявить, что оно в свое время его подкупило. Но оно и тогда такого сообщения не сделало.

Его призвали в армию. Те же враги неизменно твердили, что он трус. Это было само по себе неправдоподобно; едва ли вообще когда-либо из трусов выходили диктаторы: слишком опасное ремесло. Во всяком случае, воевал он храбро: дослужился лишь до чина капрала, но скорее всего только потому, что военные власти не решались произвести его в офицеры: так свежи у них в памяти были его недавние речи и статьи.

В феврале 1917 года он был тяжело ранен осколком разорвавшейся итальянской мортиры. В больнице его посетил король — это означало многое для его карьеры. Поправившись, он снова стал редактировать созданную им газету. Приходил в редакцию на костылях и писал воинственные статьи. Опасался покушений со стороны врагов, и редакционный кабинет у него был довольно необычный: на письменном столе, рядом с томами Кардуччи и Гейне, лежали револьвер, кинжал и несколько ручных гранат.

В России произошел октябрьский переворот.

Чувства у Муссолини были смешанные. Вернуться к прежним взглядам было бы невозможно. Через много лет его вдова в своей книге «Моя жизнь с Бенито» писала, что когда-то в Швейцарии ее муж посещал Ленина, — он сам ей об этом рассказывал. Быть может, привирал и в рассказах жене, — уж очень это было эффектно: два бедных, малоизвестных эмигранта беседуют в убогой комнатке, это Муссолини и Ленин — сюжет для глубоких размышлений и для исторической картины. Как бы то ни было, и позднее дуче чрезвычайно почитал вождя большевиков; так Гитлер в частных разговорах восхищался Троцким, Сталин — Гитлером и почти все диктаторы друг другом.

Тем не менее он не знал, с какой стороны обойти большевиков. Иногда обходил как будто справа и, как какой-нибудь либерал, писал: «В России Ленина есть только одна власть: его власть. Есть только одна свобода: его свобода. Есть только одно мнение: его мнение. Есть только один закон: его закон». Мог писать это только с мучительной завистью: «Ничего, придет и мое время». Но иногда обходил Ленина и слева и доказывал, что никакого социализма в России нет, что большевики — обыкновенная реакционная партия. Внимательно за ними следил, учился и многому научился. По существу же, был с Лениным не согласен: очень трудно построить социалистическое общество, слишком могущественные силы против него ополчатся, можно найти и более легкий путь к неограниченной власти. Надо привлечь богатых людей, ни в каком случае не теряя бедных.

С колебаниями он обдумывал свой путь. Все компании против Бога навсегда прекратить: от них гораздо больше вреда, чем пользы. Впрочем, это начал делать уже давно; позднее извлекал из книжных магазинов и уничтожал свои старые богохульные писания. С королем, если только окажется возможным, поладить: монархический принцип — еще немалая сила, и можно награждать людей титулами, это и денег не стоит; а король — покладистый человек, вот и в больнице навестил и говорил сочувственные

слова, и ему решительно все-все равно, пусть же сохраняет корону и занимается нумизматикой. И надо, непременно надо придумать для своего движения, для своего учения хорошее, звучное, запоминающееся слово, лучше всего такое, какое было бы связано с древним Римом. Оно и было найдено. Явилась первая большая мысль. Второй было применение касторового масла в борьбе с противниками.

VII

Романист, который пожелает «дать грандиозную, всеохватывающую картину октябрьского переворота», вероятно, введет и в Зимний дворец, и в Смольный институт, и в Петропавловскую крепость, и в комитеты, и в казармы, и в уличную толпу вымышленных им людей. Будут образы: большевик-фанатик; рабочий, всю жизнь голодавший и ненавидящий капиталистический строй; юноша-идеалист, юнкер или прапорщик запаса; готовый на все авантюрист-честолюбец; добрая, но яростная меньшевичка или народница в очках, выкуривающая сто папирос в день и страстно спорящая о политике до поздней ночи; приехавший с фронта боевой израненный офицер, готовый из патриотизма защищать Временное правительство; хороший капиталист-патриот; нехороший капиталист, наживающийся на чужой крови и т. д. Все это будет более или менее верно: такие люди действительно участвовали в октябрьских событиях. Но картина будущего романиста, этих событий не видевшего, верной не будет: он исказит перспективу и выдаст за целое сумму очень небольших величин, составляющую очень небольшую его часть. Главное было не в этих величинах. Подавляющим по значению должен был бы быть один простой, довольно неблагодарный образ в разных возможных вариантах: солдат, больше не желающий воевать.

Ленин очень кратко сказал: «Революция есть искусство». Позднее Троцкий развивал эту мысль на десятках страниц. Если тут и есть некоторая правда, то, во всяком случае, это искусство элементарное.

Не все распоряжения Военно-революционного комитета в октябрьском хаосе были осмысленны и целесообразны с точки зрения сторонников переворота; не все распоряжения Временного правительства были бессмысленны и нецелесообразны с противоположной точки зрения. Но, в общем, представление о том, что нужно делать, было бы ясно любому грамотному человеку. Троцкому, Подвойскому или фельдшеру Лазимиру не требовалось революционного гения, чтобы понять, как важно захватить Петропавловскую крепость, Зимний дворец, вокзалы, банки, телеграфную и телефонную станцию. Полковникам Полковникову или Параделову не требовалось военного гения, чтобы понять, как необходимо эти пункты отстоять. И те, и другие посылали туда вооруженные отряды, иногда с добавлением небольшого числа рабочих, или интеллигентов, или полуинтеллигентов. Делали, в сущности, одно и то же. Быть может и даже наверное, большевики проявили больше ума и энергии, чем их противники. Но главное было не в этом, а в том, что громадную часть вооруженных сил Временного правительства можно было в октябре называть вооруженными силами разве в шутку.

Разумеется, это легко передать и пышными, учеными, социологическими словами. Можно сказать, и сто раз говорилось, что Ленин гениально прозрел путь, по которому в силу своих законов пойдет история (почему-то прозрел в отношении России и совершенно не прозрел в отношении западного мира). Но нет ничего обманчивее ученых слов, особенно пышных.

Вопреки всем большевистским теориям, предсказаниям и историческим реляциям, пролетариат сыграл в октябрьских событиях довольно скромную роль. Неизмеримо важнее была роль солдат и матросов. Они твердо знали, чего прежде всего хотят: прежде всего хотели немедленного конца войны. А это обещали именно большевики и только они. «Надежные части», отправлявшиеся Полковниковым в «важные стратегические пункты города», переходили, подумав, на сторону восставших или решали «сохранять нейтралитет». Так, без малейшего сопротивления были «взяты» большевистскими солдатами и матросами и Николаевский вокзал, и крепость, и Государственный банк, и арсенал, и телефонная станция, и

другие учреждения, охранявшиеся значительными отрядами войск, «верных Временному правительству». И в третьем часу дня Троцкий от имени Военно-революционного комитета с торжеством объявил Петроградскому Совету, что Временное правительство больше не существует. Добавил: «Нам неизвестно ни об единой человеческой жертве». Это было преувеличением, но довольно близким к истине. Октябрьский переворот повлек за собой самые кровавые годы в мировой истории. Но сам по себе день 25 октября действительно был «великим, бескровным»: другой такой революции, пожалуй, история и не знает.

Шел Съезд Советов.

Актовый зал Смольного института был переполнен. Преобладали солдаты в шинелях. Они все время орали. Сами не очень понимали, что́ кричат и зачем,— больше ободряли себя криками. На трибуне сменялись ораторы и тоже что-то выкрикивали охрипшими голосами. В диком шуме, в общей растерянности, в атмосфере лагеря тушинского вора их понимали плохо. Слушатели не сразу догадывались, кто «хороший», кто «нехороший». Но не поднимали на штыки и нехороших: меньшевиков и социалистов-революционеров. Им только орали: «Вон!»... «Долой!»... «Бандит!»...

Издали донеслась пальба,— не пулеметная, а артиллерийская. В первую минуту началась паника: Керенский привел с фронта войска! Еще немного — и толпа бросилась бы бежать. Но с трибуны один из «хороших», обладавший громоподобным голосом, прокричал, что это наш, большевистский крейсер «Аврора» палит с Невы по Зимнему дворцу, в котором укрылись министры-капиталисты, контрреволюционеры и всякая другая сволочь. Сообщение было покрыто долгой овацией. Был тот энтузиазм, который обычно бывает при революциях: частью подлинный, частью притворный, частью подлинный, усиленный притворным. О Керенском весь день передавались противоречивые слухи: «Бежал в Финляндию!»... «Уехал на фронт за войсками!»... «Укрылся в английском посольстве!»... «Подходит с красновскими казаками!»... И при всех этих вестях почти у всех вставал вопрос: «Что же будет? Что мне делать? Не скрыться ли? Или быть героем?»... Были, впрочем, и люди, в самом деле решившие драться до конца за новый строй. Но они, наверное, составляли меньшинство и в толпе, и на трибуне.

Те, кого большевики презрительно называли «мягкотелыми интеллигентами», тоже не знали, что делать. Многие из них уже ясно видели, что разбиты. Временно? Надолго? Навсегда... Над болью от поражения теперь преобладала боль за идею, за Россию. Лучшие из этих людей не были лишены способности оглядываться на себя и признавать свои ошибки. «Только немедленный мир успокоил бы эту солдатскую стихию. Но могли ли мы, как могли мы заключить мир? Ведь война могла кончиться летом и на Западном фронте победой союзников, нашей общей победой. Тогда со всеми нашими и чужими ошибками мы могли победить в этой чертовой лотерее, и ничего от большевиков не осталось бы, и спаслась бы Россия!»...

В сопровождении наиболее надежных «связных» Ленин под вечер 24 октября, выбритый, в парике и темных очках, незаметно вошел в Смольный институт. Так же незаметно его проводили во второй этаж и ввели в небольшую комнату. На двери висела эмалированная дощечка с надписью «Классная дама». Он сел за маленький письменный стол, на котором под абажуром горела старенькая лампа, когда-то керосиновая, потом переделанная в электрическую. «Связные» сообщали ему новости. Он отдавал приказания, которые, впрочем, никакого значения не имели: положение в разных концах столицы менялось даже не каждый час, а каждую минуту. Писал или правил декреты о земле, о мире. Иногда нервно ходил взад и вперед по комнате. Иногда садился в кресло у овального столика,— за ним много лет классные дамы пили чай или делали наставления провинившимся воспитанницам. Иногда выходил из комнаты и старался незамеченным пройти в пустой неосвещенный зал, расположенный недалеко от Актового. Некоторые из врагов неуверенно его узнавали под гримом и, вероятно, смотрели на него так, как у Этны Улисс смотрел на циклопа Полифема, собиравшегося его съесть.

В зале на пол бросили для него тюфяк. Он то ложился, то вскакивал и бегал из угла в угол. Режиссеры спектакля находили, что Ильичу следует войти в Актовый зал лишь после того, как выяснится главный, основной вопрос: придут ли с фронта правительственные войска? Он с этим согласился: его появление в Актовом зале должно было стать самым важным моментом восстания, знаком полной победы.

И, наконец, пришло известие: Зимний дворец пал, все бывшие в нем министры Временного правительства схвачены и отправлены в Петропавловскую крепость. На трибуну устремилось сразу несколько человек с громовыми голосами. Одновременно, мешая один другому, они сообщили новость. Поднялся энтузиазм уже почти непритворный. Разве только немногие из сторонников восстания думали, что может выйти комом не первый, а второй или третий блин. Мягкотелые интеллигенты быстро направились к выходу. Толпа провожала их улюлюканьем, свистом, хохотом, криками: «В Петропавловку!»... «На «Аврору»!»... «В Неву!»...

Долго подготовлявшийся эффект наступил.

Он вбежал маленькими шажками в Актовый зал. В первые секунды его и не узнали. Многие солдаты вообще никогда не видали этого человека, о котором им твердили каждый день на фронте и в тылу. Другие видели его на старых фотографиях, с бородой, лысого, без очков. Вдруг кто-то проревел диким голосом: «Ленин!»... В ту же секунду загремели рукоплескания, каких еще не слышал этот старый зал. Они все росли и крепли,— действительно дрожали окна. Теперь восторг был уж совершенно неподдельный: ведь этот все задумал, этот все предвидел, за этим не пропадешь!

Не обращая внимания на бесновавшуюся толпу, он взбежал на трибуну, снял темные очки, замигал. Разложил перед собой листки декретов и вцепился крепко в края стола; дошел, больше не уйду! Рукоплескания усилились до последнего предела, потом стали стихать, оборвались. Настала совершенная тишина. Он сказал:

— Теперь мы займемся социалистическим строительством.

Даже не воскликнул, а именно сказал. Об эффекте и не подумал. Но, вероятно, «народные трибуны» не без зависти подумали, что лучшего эффекта никто не мог бы изобрести.

VIII

Ласточкины после октябрьского переворота чувствовали себя почти так, как мог бы себя чувствовать человек, проживший жизнь в эвклидовском мире и внезапно попавший в мир геометрии Лобачевского.

Прежде была уверенность, что они не могут попасть в тюрьму или быть безнаказанно ограбленными или выброшенными из квартиры на улицу. Теперь это происходило каждый день с людьми их круга, не больше, чем они, виновными в чем бы то ни было; могло в любой день случиться и с ними. Вдобавок Дмитрий Анатольевич остался без всякого дела; надо было придумывать, чем заполнить двадцать четыре часа в сутки.

Правда, обмен мнениями продолжался и даже в первые недели участился. На людях всем теперь было легче. Образовался Союз защиты Учредительного собрания. Принимались разные, не очень серьезные, меры предосторожности. Он несколько недоумевал: еще недавно считалось, что Учредительное собрание — «державный хозяин земли русской»: оно должно все устроить. Теперь оказывалось, что этого державного хозяина самого должна каким-то способом защищать кучка членов нового Союза. Тем не менее все уверяли, что Учредительное собрание тотчас свергнет большевиков: «Скоро кончится вся эта гнусная комедия! И не может не кончиться: разве это дурачье может быть правительством! Такого с сотворения мира никогда не было!» Знаменитый оратор прочел в тесном кругу доклад и на вопрос, что будет, если разгонят Учредительное собрание, воскликнул: «Самая мысль об этом есть кощунство и хула на Духа Святого! Весь народ русский, как один человек, встанет на защиту того, о чем он мечтал сто лет!» Хотя оратор воскликнул это оглушительным голосом, рукоплескания вышли жидкие. В конце 1917 года люди уже потеряли охоту к рукоплесканиям.

Дмитрий Анатольевич вздохнул. Он недолюбливал этого оратора, особенностями которого считал несколько странный слог, неумеренную склон-

ность к крику и мощные голосовые связки. «А вот есть ли у него настоящая, непоколебимая вера в свою идею, вот в это самое Учредительное собрание? Та вера, которая, быть может, еще есть в их идею у некоторых большевиков? Та, какая была когда-то у монархистов? Вот Мария-Антуанетта в тюрьме через минуту после казни мужа склонилась перед своим восьмилетним сыном и назвала его французским королем. Нам это кажется непонятным и неестественным, но, должно быть, в этом была какая-то королевская естественность, и уж, во всяком случае, у Марии-Антуанетты и сомнений в своей идее не было, даже в ту минуту, ужасную и для нее и для идеи».

Учредительное собрание было разогнано. Заседания Союза стали устраиваться реже, и на них приходило меньше людей. Приходившие отводили душу и говорили все одно и то же. Многие подумывали, как пробраться на юг для продолжения борьбы с большевиками. Ласточкин думал, что продолжать борьбу он не может, так как никогда ее не вел. «Да и эти люди, которых Нина когда-то называла «борцами за идеалы», уезжают в Киев больше для того, чтобы отдохнуть от голода и страха». Дмитрий Анатольевич с удивлением и горечью замечал, что впервые в жизни мысли у него становятся дешево-ироническими. «Не знаю, как они, но я просто не могу уехать и по практическим причинам: что я делал бы в Киеве или на Дону? Чем жил бы там с Таней? В Москве по крайней мере есть свой угол».

Однако и от своего угла скоро осталось немного. Средства Ласточкиных истощались. В день октябрьского переворота у них в доме оставалось — да и то по случайности — около пяти тысяч рублей. Дороговизна еще усилилась, деньги таяли, и Дмитрий Анатольевич с ужасом думал, как жить дальше. Татьяна Михайловна его ободряла, тоже уверяла, что большевики очень скоро падут, всячески сокращала расходы; но он видел, что и она в ужасе.

Вначале много денег стоила прислуга; с ней у Ласточкиных всегда были самые лучшие отношения, рассчитывать людей было бы мучительно. Но через месяц повар и его жена, горничная, ушли сами. У них фамилия кончалась на «ко», и они получили пропуск на Украину. Прощание было грустное, горничная даже заплакала, прослезилась и Татьяна Михайловна. Шофер нашел хорошее место у какого-то нового сановника. Автомобиль Ласточкиных был реквизирован в первые же дни. Об этом они не жалели: никакого горючего все равно не было, да и небезопасно было бы обращать на себя внимание автомобилем. Скоро с душевной болью они отпустили лакея Федора, который прослужил у них четырнадцать лет и теперь нерешительно предлагал служить дальше без жалованья. Из последних денег заплатили ему за полгода вперед и обещали снова принять на службу, «как только все устроится».

— Буду все покупать сама. И стряпать буду без его помощи. Скорее уж тебя, Митенька, жалко. Ничего, когда-то у тети я все делала, и миллионы женщин это делают, и никакой беды в этом нет. Пожалуйста, не делай трагического лица, — говорила Татьяна Михайловна веселым тоном.

Она стала рано утром выходить из дому и подолгу стояла в очередях. Знакомые продавщицы поглядывали на нее сочувственно, но не без удовольствия. Дмитрий Анатольевич как мог помогал жене и очень хвалил все, что она готовила. Как-то вернувшись домой, она преувеличенно-радостно сообщила, что удалось достать к обеду конину.

— Я и не думал, что это так вкусно. Если б не красный цвет, то нельзя было бы отличить от другого мяса, — говорил он за обедом.

Однако и для конины нужны были деньги. В январе Татьяна Михайловна, на этот раз смущенно, принесла ему свои драгоценности и попросила продать.

— ...Ведь мне они не нужны! Жалко только потому, что это твои подарки.

Дмитрий Анатольевич расстроился. Жена его утешала:

— В такое время об этом стыдно огорчаться. Уж лучше пожалей меня из-за другого: смотри, какие руки стали, особенно от мытья посуды под ледяной водой. Но и это, конечно, пустяк.

Он поцеловал ей руки и сбивчиво говорил, что купит ей точно такие же драгоценности, «как только все устроится». В тот же день продал кольцо,

которое подарил жене после выигрыша в лотерею. Невольно подумал о черной оправе. Цену получил хорошую. Покупатель-мешочник, кем-то ему рекомендованный («Честный, не обижает людей!»), наглухо затворил дверь и купил кольцо, не торгуясь. Его жена восхищалась и просила приносить еще. Дмитрий Анатольевич старательно-весело рассказывал об этом жене. Татьяна Михайловна тоже улыбалась.

От безделья Дмитрий Анатольевич теперь много гулял, иногда с женой, чаще один: ее прогулки утомляли, особенно после очередей и нелегкой работы на кухне. Он хорошо знал Москву. Посещал старые исторические уголки города, старался припомнить их прошлое, представлял его себе довольно живо. Иногда натыкался на тяжелые сцены: то люди в кожаных куртках с револьверами в руках за кем-то гонялись, злобно крича на всю улицу, то вели куда-то арестованных, вероятно, ни в чем решительно не виноватых, то везли в повозочке гроб на кладбище, то в мороз выбрасывали жильцов из дому. «И все это сделал один человек!» — с несвойственной ему прежде злобой думал Ласточкин. По всем ученым книгам, да и по его собственным убеждениям, роль личности в истории признавалась ограниченной. Но теперь он не мог не думать: все-таки без Ленина не было бы октябрьского переворота, не было бы, следовательно, этого моря зла и страданий.

Наконец, случилась та большая неприятность, которую легко было предвидеть. Дмитрию Анатольевичу казалось даже (вероятно, неправильно), что он ее ждал как раз за несколько минут до того. Рано утром раздался долгий властный звонок, — так никто из знакомых не звонил. Явился незнакомый человек — не в кожаной куртке, но по виду, несомненно, принадлежавший к начальству. Он предъявил «мандат» на занятие всех комнат, кроме одной. Увидев рояль, объявил, что и рояль подлежит реквизиции, хотя в мандате ничего об этом сказано не было. Ласточкины долго и горячо с ним спорили (потом было тяжело вспоминать). Татьяна Михайловна говорила, что она артистка, что рояль ей необходим для заработка, что она дает уроки музыки. Говорила со слезами, путано, сбивчиво. Могло выйти худо: могли проверить, потребовать доказательств и просто выгнать на улицу. Но вышло сравнительно хорошо. Человек властного вида оказался не грубым и не очень злым. Слово «артистка» произвело на него некоторое впечатление, и он еще упивался своей властью. Доказательств не потребовал и в конце концов согласился не отнимать рояля и оставить им две комнаты. Затем долго составлял какой-то документ; писал он плохо, Дмитрий Анатольевич ему помогал.

— Въедут к вам в будущий понедельник. Это для питерских товарищей, они еще не прибыли. Пока, граждане, так и быть, поживите напоследок как буржуи, — пошутил он перед уходом.

«Очевидно, сановники, если «прибыли»? — подумал Ласточкин.

— А кто, гражданин, будет у нас жить?

— Скоро, гражданка, познакомитесь. Хорошие люди.

После его ухода Татьяна Михайловна расплакалась. Дмитрий Анатольевич утешал ее как мог.

Мебель из реквизированных комнат переносить запрещалось, но бумаги из письменного стола Ласточкин перенес в гостиную и как мог всунул их в единственный ящик небольшого стола, который теперь становился письменным. Попробовал вытащить этот ящик, и бумаги посыпались на пол, поверх задней стенки ящика. Это было, конечно, мелочью, но нервы Дмитрия Анатольевича не выдержали. Он сел, тяжело дыша, и долго сидел молча в полном отчаянии. Татьяна Михайловна переносила из спальной одежду и белье.

В тот же день он отправился к профессору Травникову. Пошел пешком: стоять пятым или шестым пассажиром на ступеньках трамвая было трудно и опасно. Ласточкин хотел посоветоваться: нельзя ли получить какую-нибудь кафедру или доцентуру с жалованьем? О службе в комиссариатах не хотел слышать, хотя там работу можно было получить без особых унижений. Но университет был другое дело.

— Я мог бы читать о народном хозяйстве. Правда, у меня нет ученых степеней, однако теперь, кажется, ваш совет смотрит на это сквозь пальцы. Уж вы постарайтесь, Никита Федорович, будьте благодетелем, — не-

решительно говорил он. «Будьте благодетелем» было шутливой формой речи, но ему казалось, что он в самом деле просит о благодеянии.

Травников отнесся очень сочувственно.

— Прекрасная мысль, и мы это устроим! Но ведь быстро это не делается. Вы долго еще, батюшка, продержитесь?

— Месяца три еще продержусь. Продаю бриллианты жены, — с натянутой улыбкой ответил Ласточкин.

— Сделаем все возможное! — сказал профессор. — Наплыв желающих у нас теперь большой, но увидите, устроится дело. Не велика, впрочем, радость, если и устроится. Жалованья еле хватает даже нам, ординарным. Медики — дело другое. У них пока квантум схватишь.

Дмитрий Анатольевич вернулся домой несколько более бодрый. «Тут решительно ничего худого нет. Разве только немножко смешно: стану на старости лет профессором!»

IX

После покушения Каплан на Ленина были расстреляны тысячи людей. Началась паника. Все ожидали, что большевики будут хватать новых заложников и убивать их при каждом новом покушении или вообще по мере надобности. Заложником мог оказаться любой человек, даже не очень видный. Бежать стало гораздо труднее. «Упустили момент, упустили! Большая была ошибка. Это моя вина! — думал Ласточкин. — Все-таки в Киеве, в Ростове как-нибудь прожили бы: ведь здесь голодаем. Таня не хотела ехать, но я должен был решиться на это за нас обоих!»

Он только представлял себе жену на Лубянке: «Без меня, без вестей обо мне, с ежеминутной мыслью о том, что я расстрелян или буду расстрелян!» Меньше думал о себе самом, хотя чувствовал, что и он едва ли выдержит месяц, ежедневно ожидая казни. С Татьяной Михайловной он старался об этом не говорить. Но слухи о расстрелянных передавались каждый день, с подробностями, неизвестно как доходившими.

«Просто непонятно, откуда взялось это море невиданного зла, неслыханной ненависти! Как же мы не замечали, что нас так ненавидят!» — думала растерянно Татьяна Михайловна. Слухи о людях, проявивших перед казнью большое мужество, ее восхищали и умиляли. Проверяла себя. «Кажется, если убьют вместе с Митей, я перенесу так же, как они... Впрочем, не знаю... А он?»... Ей было тем более тяжело вспоминать, что именно она была против отъезда на юг, еще недавно безопасного, даже легального: «Бумажку от украинских властей Митя достал бы легко». Дмитрий Анатольевич на нее поглядывал и угадывал ее мысли так, точно их слышал. В несчастье «телепатия» между ними еще усилилась.

Оба смутно чувствовали, что часть интеллигенции, довольно большая часть, сдалась новой власти уж очень легко и быстро. Служили на разных должностях теперь почти все, кому не удалось бежать за границу или на юг. «Иначе и быть не может: иначе голодная смерть или тюрьма с сыпным тифом», — говорил жене Ласточкин. Но должности были приличные и неприличные. К его неприятному изумлению, неприличные тоже пустовали недолго; на них люди, прежде имевшие почтенную репутацию, не только служили, но прислуживались и выслуживались. Каждый день сообщалось новое: такой-то общественный деятель публично признал свои ошибки и поступил в Комиссариат внутренних дел, такой-то писатель стал писать в «Известиях», такой-то профессор всячески превозносит Луначарского. Некоторые в частных разговорах объясняли: «Что ж, как-никак строится социалистическое общество, то есть делается то, о чем русская интеллигенция мечтала со времени Герценов и Чернышевских, и мы обязаны принять участие в большом деле». Другие на Герценов и Чернышевских не ссылались, приняли циничный тон и даже этим хвастали.

Были, разумеется, и люди безупречные. Они в большинстве голодали в настоящем смысле слова. С одним из них Ласточкин недавно встретился и едва его узнал. «Между тем ему легче: одинокий человек. Ведь большинство теперь идет на всякие сделки с совестью, чтобы не голодали жена и дети», — подумал Дмитрий Анатольевич. Они прежде не были близки; теперь поговорили об общественном разложении с искренней симпатией друг к другу.

— Все же это одна сторона дела, — сказал Ласточкин. — Люди проявляют и героизм. На юге, на севере, на востоке идет вооруженная борьба. Эти люди, одинаково и правые, и левые, спасают честь России.

— Да, это так. Я лично себе желаю только кончины непостыдной. Верно, уж недолго ждать. И, право, не жаль умереть.

«Не жаль», — подумал и Дмитрий Анатольевич уже теперь не в первый раз. Этой мысли мужа телепатия Татьяне Михайловне не передала.

У него оставались знакомые на созданном им в свое время военном заводе под Москвой. Многие прежние служащие продолжали там работать, и среди них у Дмитрия Анатольевича были приятели.

«Ведь это так, только на случай крайности! — думал он по дороге на завод. — Это само по себе ничего, разумеется, не означает: просто стану немного спокойнее. Тане не скажу, ведь никогда до э т о г о не дойдет!.. Лишь бы только крышка через щели не пропускала паров!» В кармане у него была металлическая мыльница с плотно закрывавшейся крышкой. В пору своей работы на заводе Ласточкин привык обращаться с цианистым калием и под вытяжным шкафом даже его пересыпал руками без перчаток; химики советовали этого не делать, требовали, чтобы он тотчас мыл руки самым тщательным образом. «Запру в ящик. Запах я в комнате тотчас почувствую и, если он будет, высыплю все в уборную. Да есть ли вообще пары у сухого вещества? Я тогда, действительно, отравился, но, верно, оттого, что в колбе были остатки кислоты и выделился синильный газ».

На заводе у ворот охраны не было — не то, что в его время. Он вошел беспрепятственно и, оглядываясь по сторонам в столь знакомом ему дворе, прошел в отдельное небольшое строение, в котором помещалась лаборатория. С усмешкой вспомнил, как в свое время торговался о нем с подрядчиком и добился небольшой скидки. Вспомнил и о ста тридцати тысячах ядовитых снарядов, изготовленных при нем заводом. «Может быть, теперь применяются против добровольцев или волжской армии? Этого мы никак предвидеть не могли».

Его встретил старый химик, заведовавший лабораторией еще при нем. Они очень обрадовались друг другу. В былые времена Дмитрий Анатольевич часто заходил к нему, следил за его опытами, расспрашивал обо всем, узнавал много ценного. Старик был знатоком дела, занимался химией с юношеских лет, обожал ее и говорил о химических веществах как о существах одушевленных: какие любят друг друга, какие не любят. Называл их часто «по имени-отчеству»: «Фосген Иванович», «Селитра Петровна».

— Дмитрий Анатольевич! Вас ли я вижу? Значит, слава Богу, в заложники не попали! И я, как видите, пока не попал.

— Вы-то за что могли бы попасть?

— Почему же? Отлично мог бы. Ведь меня в октябре вывезли на тачке.

— За что вывезли на тачке? — изумленно спросил Ласточкин, помнивший, что старик был либеральных взглядов и обращался с рабочими очень хорошо.

— Вот тебе раз, «за что»! Ни за что, разумеется. В первые же дни вывезли из принципа и из озорства. Главный директор скрылся, а надо же было кого-нибудь вывезти на тачке! Вывезли бухгалтера и трех старших заведующих отделениями... Впрочем, не все рабочие этому сочувствовали. Многие даже возмущались. Я лично и рад был бы покинуть завод, да не в таком экипаже. Через несколько дней начальство велело взять нас назад как «незаменимых специалистов». Действительно, людей осталось немного. Войдите, я теперь один, — добавил он. Лаборатория, в которой прежде работало четыре человека, была пуста.

— Где же все остальные?

— Не знаю, где они. У нас было ведь, как, впрочем, везде, всякой твари по паре. Кто пошел в меньшевики, кто в большевики, кто призван в красную армию... Мальчишку Никифора помните? Он нас всех тут чаем поил.

— Никифор Шелков? Кажется, славный был юноша, — сказал Ласточкин, вспомнив опять с неприятным чувством, что в день несчастного

случая с ним этот мальчик бегал за шампанским и, радостно, задыхаясь от бега и волнения, принес его минуты через три.

— Тот самый, которому вы тогда подарили четвертной билет. Он пошел в красную армию добровольцем. Тоже из принципа и из озорства. Возраст у него был майн-ридовский. Так вот, его мать ко мне на днях приходила, горько плакала: убит. И он же, этот самый Никифор, хоть очень меня любил, а помогал вывозить нас на тачке, — сказал, вздыхая, старик.

Сообщил еще сведения о сослуживцах. Один из них, неприятный льстец и карьерист, очень не любимый товарищами, теперь был директором завода.

— Бывает часто в Кремле, приносит новости и хвастает ими. На днях мне таинственным шепотом рассказывал, что Ленин сшился с какой-то Инессой, или как ее? — сообщил старик вполголоса, хотя в лаборатории никого больше не было (Ласточкину он, как все, доверял совершенно). — Усвоил даже их жаргон: «Сшился»... «Вот чего»... «Какое их собачье дело?»... Ведь это, верно, впервые в истории и высшая администрация говорит на блатном языке. Дожили, можно сказать... Ко мне, впрочем, до поры до времени благоволит. Подлаживаюсь как могу, хоть, разумеется, стыдно. А вы лучше ему на глаза не показывайтесь. Да вы зачем, собственно, сюда пожаловали, Дмитрий Анатольевич?

Ласточкин заранее приготовил ответ: он помнит, что в свое время оставил в лаборатории в ящике шкафа с химическими веществами свое самопишущее перо.

— Вдруг оно у вас тут сохранилось? Теперь такого ни за какие деньги не купишь! Если б деньги и были.

Старик только пожал плечами.

— Вы, Дмитрий Анатольевич, очевидно, сохранили веру в человеческую добродетель. Если оставили что, то давным-давно украли. Впрочем, посмотрите. Вы говорите, в ящике того шкафа?

Ласточкин подошел к шкафу, вытянул ящик и быстро через стекло оглянул полки. На второй на том же видном месте стояла банка с черепом на ярлыке и с надписью большими буквами: «Смертельный яд. Цианистый калий. K C N». «Как же теперь незаметно отсыпать?»

— Вы правы. Нет пера. Ничего не поделаешь.

— Разумеется, нет. А вы не выпили бы со мной «чаю», Дмитрий Анатольевич?

— Очень охотно! — сказал Ласточкин с радостью.

— У меня нижегородский, брусничный. Сахару нет, но есть прошлогодние леденцы-васильевичи. Прячу их в передней, а то стащат. Сейчас принесу, — сказал старик и вышел. Ласточкин поспешно вынул мыльницу, насыпал в нее цианистого калия и плотно надвинул крышку. «Первая кража в моей жизни! Ничего, это будет гонораром за три года бесплатной работы».

— Что же завод теперь изготовляет? Какую «Васильевну»? — шутливо спросил он, оправившись от волнения.

— Ничего почти не изготовляем. Я все пишу разные проекты и подаю куда следует. Рабочим платим, но им жрать все-таки нечего, — сказал химик. — Хотите, подогрею? Газ пока дают.

— Не надо, я пью холодный, — ответил Ласточкин и с наслаждением раскусил леденец.

Старик вдруг со слезами обнял Дмитрия Анатольевича.

— Так рад, что вы зашли! Отвык от хороших людей. Встречаюсь с ними теперь, как Стэнли с Ливингстоном среди дикарей. Верно, больше никогда не увидимся...

«Разумеется, это просто так, на всякий случай. Я и не думаю о возможности самоубийства», — твердил мысленно Ласточкин и на обратном пути. Он теперь и сам с трудом понимал, как мог совершить эту странную, небывалую поездку за ядом. «Или затмение нашло!.. Но ведь и вреда не произошло никакого от того, что я съездил?» Думал, не выходят ли и здесь, в вагоне, пары из мыльницы, лежавшей у него в кармане (на всякий случай прикрыл ее и носовым платком). «А что будет, если меня тут же арестуют в трамвае? Как я объясню?»

X

Ласточкин был утвержден штатным приват-доцентом: в первое время при большевиках формальности в университете в самом деле соблюдались нестрого, новых людей приглашали охотно, к их ученым степеням не придирались. Дмитрия Анатольевича любили все знавшие его люди, а среди них были профессора, пока, по старой памяти, еще самые влиятельные. Другим было известно, что он из богатых людей внезапно стал бедняком, — ему, как и другим таким же людям, надо дать возможность жить. Не очень возражали даже те, в большинстве молодые, ученые или неудачники, которые с первых дней после октябрьского переворота говорили, что, «как-никак в новом строе что-то есть и надо относиться к нему вдумчиво, нельзя, знаете, так все начисто отрицать!» Был утвержден и выбранный Ласточкиным курс: «Народное хозяйство России с начала двадцатого столетия». Однако Травников вздыхал, зайдя к нему для поздравлений.

— Как сказано у Тургенева: «Читал и содержания оного не одобрил», — говорил он вполголоса, оглядываясь на стену, за которой жили вселенные большевики.

Татьяна Михайловна угощала его морковным чаем, грустно вспоминая их прежний «богдыханский».

— Скользкий сюжетец, скользкий.

— Почему же, дорогой профессор?

— Посудите сами, барынька, вы ведь умница. Я, слава Богу, взгляды вашего повелителя знаю. Он мне сто раз говорил, что Россия с начала двадцатого века, а особенно с 1906 года, переживала необычайный хозяйственный подъем, что наше народное хозяйство развивалось сказочным темпом, гораздо быстрее, чем в Европе, пожалуй, не менее быстро, чем в Америке. Я это даже принимал cum grano salis *, но я, старый хрыч, ничего в экономике не смыслю. Так вы говорили, Дмитрий Анатольевич?

— Так точно.

Профессор развел руками.

— Так ведь это же для них и теоретическая ересь, да еще и нож вострый! Сказочным темпом — после подавления первой революции!

— Но ведь это чистейшая правда!

— Потому и нож вострый, что правда!

— Да я из этого никаких политических заключений делать не буду.

— Только этого бы не хватало! Но там сами сделают заключения. Лучше бы вы выбрали курс об экономической истории древней Ассирии.

— Я с ассирийскими делами не знаком, а с нашими знаком недурно.

— Как знаете. Пеняйте на себя в случае чего. Во всяком случае, избави Бог, не доводите курса до наших дней: вдруг вы еще признаете, что теперь при Ленине вообще никакого народного хозяйства нет!

— И это также, увы, правда.

— Так-с. Правда, у нас уже некоторые левые доцентишки, servum pecus **, говорят, что нельзя у большевиков все отрицать «с кондачка». Почему это, кстати, у нас все начали так «по-народному» говорить? Особенно евреи... Не гневайтесь, барынька, вы знаете, что я не антисемит... Мне Шаляпин, тоже никак в антисемитизме не повинный, однажды сказал, что всю жизнь был окружен евреями: «Боюсь даже, говорит, что из-за этого я диабетом заболею!» — Профессор недурно воспроизвел богатую, значительную интонацию Шаляпина. — Федор Иванович почему-то считал диабет еврейской болезнью... Не смейтесь... Так вот, я тоже вроде этого. Только я, хотя коренной потомственный москвич, не говорю «с кондачка» и даже не знаю, какой-такой «кондачок»? Вы, верно, знаете, барынька?

— Не имею ни малейшего понятия, но помню, что это старое слово. А смеюсь я, дорогой профессор, из-за вашей живописности... Но вы серьезно советуете Мите выбрать другой курс?

— Самым серьезным образом. Или пусть хоть вначале отпустит им какой-нибудь комплимент... «Плюнь да поцелуй злодею ручку!»

Ласточкин нахмурился.

— Я уверен, что вы шутите, — сказал он. — Иначе вы не говорили бы о «сервильном стаде».

* здесь: с юмором (лат.)
** раболепное стадо (лат.)

— А есть разные степени. Одно маленькое пятнышко не будет заметно на вашей белоснежной ризе. Увидите, сколько белоснежных скоро станут сплошным грязным пятном.

Был назначен день первой лекции. Дмитрий Анатольевич много работал над подготовкой курса. Библиотеку у него не отняли, и в ней было много книг по экономическим вопросам. Были классики политической экономии; он в свое время прочел Адама Смита, Рикардо и даже первый том «Капитала». Были и новейшие труды, и такие специальные журналы последнего десятилетия, в которые и заглянуть можно было только под давлением тяжкой необходимости. Говорил он легко и хорошо, иногда и экспромтом, отвечая на возражения. Но теперь он волновался: кафедра в знаменитом университете России! Ласточкин приготовил конспект всего курса, выписал множество цитат, а первую лекцию всю написал целиком — «на случай внезапного затмения». Знал, что на нее придут не только студенты, но и профессора. Две-три страницы он даже прочел наедине вполголоса: было совестно репетировать громко, — во второй комнате могла услышать жена.

Накануне первой лекции неожиданно рано утром у них появился Рейхель с чемоданчиком в руке. Он пришел с вокзала пешком. Увидав его, Татьяна Михайловна ахнула. В последние два года все на ее глазах очень менялись физически и точно хвастали этим, — кто потерял от недоедания полпуда, а кто и пуд. Но Аркадий Васильевич был просто неузнаваем: «Живой скелет!»

— Не беспокойтесь, Таня, — сказал он с не шедшей к нему жалкой улыбкой. — Я не собираюсь у вас остановиться. Вечером возвращаюсь в Петербург, хочу только у вас оставить чемоданчик и, если можно, немного передохнуть. И чаю мне не давайте, я ничего не хочу. Отвык и от чаю, и от еды вообще.

Она все же дала ему стакан морковной настойки и два сухаря. Он ел и пил с жадностью.

— Хотите вина, Аркаша? Вино еще осталось.

— От этого я просто не в силах отказаться! Дайте, спасибо.

— Видно, у вас в Петербурге еще хуже, чем у нас?

— Просто голодаем! — сказал Рейхель и даже не выругал большевиков.

— Расскажи, что вообще у тебя делается, — сказал Ласточкин, тоже сочувственно глядевший на своего двоюродного брата.

— Но если вы хотите говорить о политике, то, пожалуйста, не очень громко. Мы ведь теперь не одни.

— Кем вас с Митей уплотнили? — спросил Аркадий Васильевич, оглянувшись на стену.

— Могло быть и хуже, ничего себе люди. Да мы их и видим мало. Они даже не говорят: «Попили нашей кровушки!», хотя в известном смысле мы в самом деле попили.

— Ни в каком смысле не попили, ерунда. Никак не больше, чем, например, в Германии, а там Лениных нет.

— А дело твоей Германии, кстати, швах. Слава Богу, сильно бьют на Западном фронте немцев.

— Это еще неизвестно, — сказал Рейхель уклончиво. Победы союзников в самом деле его изумили. — А вот мою кровь действительно пьют клопы. Ко мне вселили трех грязных грубиянов, развели клопов. К Ленину и в буквальном и в переносном смысле хлынула вся нечисть России. («Ох, опять затянет волынку!» — подумал Ласточкин.) И так, верно, всегда и везде было со всеми благодетелями человечества. Не со всеми? Идея была другая? Что ж, у этих тоже, быть может, люди спасают душу Марксом. Вот ведь и Стенька Разин ходил на Соловки к святым угодникам. Впрочем, я теоретически ничего не могу иметь против нынешнего правительства. Я с молодых лет стоял за самодержавие, и это у нас первое *настоящее* самодержавное правительство... Ну, да что говорить!

Он рассказал о своей жизни. Выпив с наслаждением вина, сообщил, что теперь питается только таранью или похлебкой из конины.

— Вот недавно я варил похлебку и нашел в ней лошадиный глаз! Меня стошнило... Больше ничего купить нельзя, хотя деньги у меня есть:

вовремя догадался вынуть все из банка и припрятать. Вы, конечно, тоже все вынули?

Узнав, что они не успели это сделать, он изумился.

— Вот тебе раз! Я догадался, а ты, Митя, знаменитый деловой человек, нет!.. Вот что, возьмите, друзья мои, у меня. Мне не нужно по вышеуказанной причине!.. Почему же нет? Вы столько раз мне прежде помогали. Умоляю вас, возьмите хоть половину моих.

Ласточкины были тронуты, но решительно отказались.

— Ты ведь знаешь, что я получил штатную доцентуру с жалованьем, — сказал Дмитрий Анатольевич.

— Доцентуру? Нет, откуда же мне знать?

— Помнится, я тебе писал.

— Ничего не писал, или письмо не дошло.

Ласточкин рассказал. В другое время Рейхель обратил бы внимание на то, что он сам, с учеными степенями, еле нашел кафедру после долгих поисков, тогда как его двоюродный брат без научных работ получил ее легко и быстро. Теперь он искренно выразил радость. Еще больше удивило Ласточкиных то, что он спросил о Люде и как будто без всякой злобы.

— Мы ровно ничего о ней не знаем и очень беспокоимся. Представь, она уехала еще в прошлом году на Кавказ и там застряла! С тех пор, как Кавказ отделился, мы от нее ни одной строчки не получили! И ты понимаешь, в какой мы были тревоге, особенно в пору этих ужасов в Пятигорске.

— Каких ужасов в Пятигорске?

— Разве ты не помнишь? Там было зарезано семьдесят человек, преимущественно сановники и генералы. Герои войны, Рузский, Радко-Дмитриев. А это в двух шагах от Минеральных Вод, от Ессентуков.

— Какое же Люда могла бы иметь отношение к генералам? Ни минуты не сомневаюсь, что у нее все благополучно... Я ничего против нее не имею, — добавил он, помолчав, — она неплохой человек. Если опять восстановится почтовое сообщение, передайте ей, что я ей желаю всяческого добра.

— Непременно!.. Непременно!.. — радостно в один голос сказали Ласточкины.

— Ну, что ж, я пойду по делам. Перед отходом поезда, — в предположении, что есть поезд и что он отойдет — я только на минуту зайду к вам за чемоданчиком. Простимся лучше теперь, тогда вам незачем будет меня ждать... Да, вот как сложилась жизнь, друзья мои.

Рейхель хотел сказать, но не сказал, что жизнь и его обманула, несмотря на всю его необыкновенную проницательность. Он всегда искал способа отгородиться от жизни: отгораживался разными «мировоззрениями», и учено-отшельническим, и скептическим, и черно-реакционным. Теперь искал еще какого-то нового, не находил, перескакивал с одного из прежних на другое и был несчастен больше, чем когда бы то ни было прежде.

XI

По вечерам Ласточкины читали классиков: всех потянуло к тому, что было *бесспорно* в русской культуре. Бесспорны были также Мусоргский или Чайковский, но бывать в театрах не хотелось: трудно было доставать билеты, утомительно идти пешком, оба были измучены, не желали и смотреть на новую публику. Не очень хотелось и читать газеты.

Однажды Дмитрию Анатольевичу попалось в них имя Эйнштейна. Советская печать, нередко приводившая цитаты из немецких газет, особенно из «Берлинер Тагеблатт», сообщала, что создатель теории относительности (которую, впрочем, большевистские философы очень не одобряли) подвергается злобным нападкам со стороны германских реакционеров, милитаристов и антисемитов, — в частности, за то, что сочувствует коммунизму и коммунистической революции. Газета излагала политические мысли, будто бы высказывавшиеся Эйнштейном. Ласточкин прочел с недоверием. «Быть может, и тут солгали или прилгнули. Неужели гениальный человек мог бы нести такой вздор, вдобавок и совершенно банальный!» —

думал он, читая статью. Эйнштейн отстаивал свободу, но не объяснял, кто в мире и России ее защищает; ругал реакционеров, но не ругал большевиков («Или они это выпустили?»). По его мнению, не надо было верить тому, что многие пишут о русских событиях: если жестокости и были, то ведь нужно принять во внимание то-то и то-то,— далее следовали разные общие места о революциях и ссылки на русскую историю. Были ссылки также на какую-то неопределенную гармонию, которая непременно должна установиться в мире. Неясно было, в чем эта гармония будет заключаться и кто и как будет ее устанавливать.

«Это тоже не очень ново и не очень умно,— думал раздраженно Дмитрий Анатольевич.— У тех неизлечившихся поклонников Людендорфа все банально по-реакционному, а у него все банально по-радикальному: и эти лицемерные «если» — он, видите ли, не знает! — и эти весьма односторонние умолчания, и этот «гигантский социальный опыт». Едва ли господам из «Берлинер Тагеблатт»-ов очень хочется, чтобы такой же социальный опыт проделали над ними, но в варварской России отчего же нет, это очень интересно! Тут и русская история, о которой и сам Эйнштейн, и люди из «Берлинер Тагеблатт»-ов в лучшем случае когда-то прочли страничек десять в школьных учебниках. Хороша и его радикальная гармония, очевидно, без реакционеров, но — тоже очевидно, хотя и недосказано — вкупе с большевиками! И вся эта глупая слащавая фальшь! Да и его, Эйнштейна, туда втянули». Ласточкин не мог сказать себе в утешение, что Эйнштейн, верно, глуп. Знал, что ум — неопределенное понятие, знал также, что этот человек в своей области гений, быть может, даже сверхгений. «Во всяком случае, он становится вдвойне символической фигурой нашего времени. Своим гением поколебал прочные устои знания, своей безответственной болтовней дал слащавую санкцию «Берлинер-Тагеблатт»-ам».

Все это Дмитрий Анатольевич, впрочем, думал неуверенно. Теперь уверен больше не был ни в чем. «Говорю о чужих банальностях, а наши собственные? Я почти ни от чего не отказываюсь ни в нашем духовном наследстве, ни в своих личных взглядах. Хочу пересмотреть, пересматриваю, и все же большого, основного заблуждения не нахожу. Были, конечно, ошибки, в какой-то мере мы, быть может, отвечаем морально и за «разбойника» Люды (хотя почему же я за него отвечаю?). Отвечаем за то, что давали деньги большевикам, как давал Савва Морозов (я им никогда не давал). Быть может, у нас была и своя слащавая фальшь, даже наверное была, все-таки гораздо более честная и бескорыстная. И вреда от нас было неизмеримо меньше, чем от разных Плеве и Людендорфов. И основная наша ценность — свобода — никак не была ценностью фальшивой. И уж от нее-то я не откажусь никогда, как не откажусь от «дважды два четыре»! Настала катастрофа, нам больше как будто не на что надеяться, и все же я думаю, что наше поколение было только несчастно».

Ложились они теперь рано и до полуночи читали в спальной при свете керосиновой лампы, как в пору детства Дмитрия Анатольевича. Оба читали в очках: он с позапрошлого года, она с прошлого стали (с тяжелым чувством) носить очки при чтении. Татьяна Михайловна в этот вечер сняла их раньше обычного, положила на столик и задумалась: «Зимой топить будет нечем. На жалованье Мити и впроголодь жить будет нельзя. Они кончатся? Только на это и надежда, но до того, как кончатся они, кончимся мы, если не физически, то морально. Митя к ним не пойдет, но что же он будет делать?» Думала «он» в единственном числе: смутно чувствовала, что зимы не переживет,— здоровье у нее все расстраивалось, она боялась пойти к врачу и еще старательнее, чем прежде, скрывала болезнь от мужа. «Для покупки дров продадим Крамского. Рискованно, но что ж делать? Верно, дадут гроши». Теперь, впервые в ее жизни, денежные расчеты у нее примешивались к самым важным и страшным мыслям. «Как он будет без меня жить? Если б хоть Люда была в Москве, я была бы спокойнее... Но где она теперь? Жива ли?»

Спальная — прежняя столовая — была почти пуста: оставались только кровать и диван, ночной столик между ними и одно кресло; да еще на стене висели на гвоздях немногочисленные платья и два мужских костюма. Все остальное было продано. Вселенные жильцы не доносили.

Был продан за бесценок и левитановский пейзаж (на четыреугольник, оставшийся от него на обоях, им было особенно тяжело смотреть). Продавать принадлежавшие народу произведения искусства было прямо опасно. Однако жильцы и об этом не донесли. Их было пятеро: муж, жена, три сына подростка. Им вначале предоставили всю квартиру, кроме двух оставленных хозяевам комнат; можно было ждать, что вселят кого-либо еще. Пока Ласточкины не могли особенно жаловаться на то, о чем теперь только и говорили прежние собственники хороших квартир. Новые жильцы не развели клопов, не подслушивали, не подглядывали, не ругались, не следили за каждым движением «буржуев». «Право, недурные люди! — говорил Дмитрий Анатольевич. — Он, оказывается, с 1905 года «член партии»; они ведь не говорят: «большевистской партии», а просто «партии». Ничего, проживем и с ними. И незачем из-за потери квартиры принимать вид Людовика XVI в Тампльской тюрьме. Так теперь делают многие, у которых и до революции не было ни гроша».

Отравляли жизнь только подростки, на редкость буйные, дерзкие, вечно скандалившие и грубившие родителям. Они выбрали себе гостиную, которую когда-то обставила Нина. По-видимому, их прельстила круглая форма этой комнаты. Расставили в ней кровати и покрыли содранным со стен шелком. Но проводили день в бывшей мастерской Дмитрия Анатольевича, и оттуда постоянно доносился дикий шум. Татьяна Михайловна попробовала с ними поговорить, назвала их товарищами и просила шуметь меньше: ее муж нездоров и должен готовить свой курс в университете. Говорила с самыми ласковыми убедительными интонациями и ничего не добилась.

— Не брызгайте, гражданка. Не диалектически рассуждаете,— сказал Петя.

— Буза и хвостизм,— подтвердил Ваня.— Откатитесь, гражданка.

Третий, Вася, ничего не сказал, но, уходя, пробормотал что-то вроде «меньшевистской лахудры». На этом разговор кончился, а руготня, драки, шум в мастерской стали еще ожесточеннее. Татьяна Михайловна ничего о разговоре мужу не сказала,— «что мог бы он сделать?»

Родители же вели себя вполне сносно и даже порою деликатно. Оба работали не в Кремле и, по-видимому, не на высоких должностях, хотя муж участвовал еще в 1905 году в московском восстании. Уходили на службу с утра, гостей принимали нечасто и жили небогато. Но съестные припасы у них были. Татьяна Михайловна постоянно встречалась с жилицей на кухне, старалась не смотреть на то, что там жарилось и варилось; ей казалось, что жилица чувствует себя смущенной.

Скоро у Ласточкиных человек в кожаной куртке отобрал рояль. Теперь они и не спорили. Играть все равно было трудно, а продать рояль невозможно. В этот день жилица, предварительно постучав в дверь, вошла к Татьяне Михайловне и нерешительно попросила ее продать ей «лишнее» платье и белье. Татьяна Михайловна радостно согласилась без торга: жилица предложила значительно больше, чем давали старьевщики. Выйдя к себе с покупкой, она тотчас вернулась и принесла полфунта кофе: «Возьмите, гражданка, это бесплатно. У нас есть». Татьяна Михайловна приняла подарок, очень благодарила — «муж так обрадуется».— и потом прослезилась. Стала слаба на слезы.

Дмитрий Анатольевич читал «Войну и мир». Эта книга казалась ему лучшей в мировой литературе. Говорил жене, что начал читать Толстого двенадцати лет отроду: «Покойная мама подарила, когда я болел корью. Двенадцати лет начал и, когда буду умирать, пожалуйста, принеси мне на «одр» то же самое». За этой книгой он часто засыпал; мысли его приятно смешивались. «Как хорошо, что существует в мире хоть что-то абсолютно прекрасное, абсолютно совершенное!»... Но в этот вечер он заснуть не мог.

— Странно,— сказал он, отрываясь от книги.— Ведь крепостное право было ужасно, а все-таки люди тогда были культурнее, чем мы! Толстой сам на старости лет говорил, что в дни его молодости было в России культуры и образования гораздо больше, чем в двадцатом веке. А это было до большевиков.

— Старикам свойственно идеализировать прошлое, но я допускаю,—

ответила Татьяна Михайловна.— А вот у них растет действительно редкое поколение. Хороша будет жизнь, когда подрастут все эти Пети и Вани!

Дмитрий Анатольевич вздохнул и снова взял книгу. Он читал о поездке князя Андрея в Отрадное, с знаменитой страницей о старом дубе. «Весна, и любовь, и счастие! — как будто говорил этот дуб.— И как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинаковые, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли — так и стою и не верю вашим надеждам и обманам»...

«Да, разумеется, тысячу раз прав этот дуб.— подумал Дмитрий Анатольевич.— Только князь Андрей не имел права это думать, а я и мы все имеем. Да, я тоже никаким надеждам больше не могу верить». Точно, чтобы самого себя опровергнуть, Ласточкин повернул несколько страниц в знакомой ему чуть не наизусть книге и прочел о возродившемся, преображенном дубе: «И на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна,— все это вдруг вспомнилось ему».

«Но как же тут мертвое лицо жены! Это тоже «лучшая минута жизни»? — вдруг с сильным волнением подумал Дмитрий Анатольевич, никогда прежде не замечавший этих слов.— Обмолвка? Но разве у Толстого бывают обмолвки? И то же самое есть в другой главе: Пьер, вернувшись из плена, с радостью думает, что жены больше нет в живых! Что же это такое? Значит, не всегда худо, что человек умирает?» Он с беспричинным ужасом оглянулся на соседнюю кровать. Татьяна Михайловна уже задремала; лицо у нее при свете керосиновой лампы казалось вместе измученным и просветленным — мертвым.

XII

Для первой лекции отвели одну из больших зал Аудиторного корпуса. Актовый зал был бы уж слишком велик. К двум часам аудитория была полна на три четверти. Новые студенты и понаслышке мало знали Ласточкина, но обычно ходили на вступительные лекции новых преподавателей. Впереди студенческих скамеек на стульях сидело немало профессоров — преимущественно старики с разных факультетов. «Представителей власти», к большому облегчению Дмитрия Анатольевича, не было. Был один научный работник, до революции засидевшийся в приват-доцентах и принадлежавший именно к тем, о которых говорил Ласточкиным Травников: еще с прошлого года он все с большей горячностью утверждал, что надо честно и смело протянуть руку новому правительству: там есть кристально чистые, культурнейшие люди. В тесном кругу одни из профессоров о нем говорили, что он страхуется на обе стороны; другие же называли его «оком Кремля, если не Лубянки». Еще недавно с ним, пожалуй, люди и не здоровались бы, но теперь никто его не бойкотировал и все пожимали ему руку, большинство очень холодно.

Ласточкины потратились на извозчика. Идти пешком было далеко, Дмитрий Анатольевич боялся, что одышка у него усилится и помешает ему говорить. По дороге он все время прокашливался. Татьяна Михайловна тоже очень волновалась, хотя знала ораторский дар мужа.

— Только не волнуйся,— говорила она.— Если потеряешь нить, просто найди в тетрадке нужную страницу и преспокойно читай.

— Это не принято в университете. Но я нисколько не волнуюсь.

— И слава Богу! Волноваться нет ни малейшей причины. Ты всегда говоришь прекрасно.

Его встретили недолгими рукоплесканиями. Ласточкин неуверенно раскланялся, положил перед собой тетрадку, надел очки и, справившись с дыханьем, заговорил. Прежде принято было начинать: «Милостивые государыни и государи». Теперь милостивых государей давно не было, слово «граждане» все еще было непривычно и казалось неестественным; Дмитрий Анатольевич дома решил, что начнет лекцию без всякого обращения. Татьяна Михайловна вошла в аудиторию через другую дверь и заняла место на последней скамейке. «Слава Богу, слушателей много. И аплодировали достаточно, вполне прилично».

С первых же произнесенных мужем слов она успокоилась. Он говорил громко, отчетливо, внушительно. Только ей была заметна его одышка, только она видела, как он волновался, особенно в первые минуты. В тетрадку он почти не заглядывал. Слушали его с интересом. Он кратко изложил историю русской промышленности до двадцатого столетия, назвал Строгановых, Демидовых, отметил их заслуги, отметил теневые стороны, тяжелые условия труда на их заводах, ничего не замалчивал, ничего и не подчеркивал. Сообщил, что Петр Великий (так и сказал: «Петр Великий», а не «Петр I») вел Северную войну на деньги, данные ему Строгановыми, и что когда-то на их средства Ермак завоевал Сибирь. Затем перешел к промышленникам двадцатого века и назвал много имен, еще недавно известных всей России, теперь уже забывавшихся. О них говорил в большинстве как о своих добрых знакомых. Отозвался сочувственно о Савве Морозове и, тоже не налегая, вскользь сообщил, что он щедро поддерживал революционное движение. Рассказал анекдот о другом либеральном богаче, дававшем деньги на революцию и ставшем в 1917 году министром:

— ...Мне говорили недавно, что, когда он после октябрьского переворота был посажен в Петропавловскую крепость, то его встретил сидевший там бывший царский министр юстиции Щегловитов и сказал ему: «Очень рад вас тут видеть. Я слышал, что вы истратили несколько миллионов на революционное движение? Но я вас сюда посадил бы и бесплатно».

Послышался смех. Дмитрий Анатольевич, улыбаясь, перешел к более серьезной, ученой части лекции: стал приводить цифровые данные о росте русской промышленности, о положении рабочих, о заработной плате. Говорил он так, как говорил бы об этом несколько лет тому назад. Разве что привел несколько строк из книги Ильина «Развитие капитализма в России», которую до революции в университетах едва ли цитировали. Печально-торжественно добавил: «Как вы знаете, под псевдонимом Ильина тогда писал нынешний председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин (потом немного пожалел, что не сказал просто: «Ленин»)». При этом имени раздались рукоплескания, впрочем, жидкие. Бурно зааплодировал научный работник на первой скамейке. Соседи на него покосились, но нерешительно раза два хлопнул и еще кто-то из профессоров.

Статистическая часть доклада несколько расхолодила аудиторию. Однако Ласточкин и цифровые таблицы читал внушительно, тут же объясняя их смысл. Слушали доклад до конца очень внимательно. Обычно вступительные лекции заканчивались выражением каких-либо общих взглядов, которое произносилось профессорами с подъемом. Дмитрий Анатольевич решил от этого воздержаться.

— В следующих моих лекциях я буду иметь честь ознакомить вас подробно с ростом русского народного хозяйства и каждой из его отраслей в отдельности,— закончил он, закрыл тетрадку и, сняв очки, приподнялся. Подумал, что «буду иметь честь» было ненужно.

Теперь рукоплескания продолжались с минуту. Лекция имела несомненный успех. Аплодировали очень многие студенты и все профессора. Снисходительно похлопал и научный работник из servum pecus*. Татьяна Михайловна вздохнула с радостным облегчением. Профессора подходили к Ласточкину и поздравляли его. Травников издали помахал рукой Татьяне Михайловне и направился к ней, не без труда проталкиваясь в проходе сквозь толпу студентов.

— Вот вы куда забрались! — сказал он, целуя ей руку.— Узнаю вашу скромность. «Лучше прекрасной женщины есть только женщина прекрасная и скромная».— говорил Пифагор. Ну, сердечно, от души поздравляю! Превосходная лекция! Триумф, аки у Цезаря или Помпея. Богдыхан отлично прошел через Сциллы и Харибды!

— Да, кажется, не было ни Сцилл, ни Харибд?

— Были! Теперь всегда есть. «Incidis in Scyllam cupiens vitare Cha-

* см. стр. 103.

rybdim...»** Так вот, сейчас же пожалуйте бриться. Ко мне. Будет и морковный чай, и брусничный, один отвратительнее другого! Но будет и печенье, еще не древнее, вполне съедобное. И, главное, будет водочка, клянусь собакой! — говорил профессор.

Ласточкины и еще человек пять-шесть друзей должны были прийти после лекции к нему. В былые времена после вступительных лекций обычно собирались в профессорской; но теперь это было признано неудобным: «еще явится нежелательный элемент». Выбрали холостую квартиру Травникова, она была в двух шагах от Университета, на Никитской, и вселенные к нему жильцы возвращались домой только к шести. Друзья, сложившись, купили две бутылки водки чуть ли не на последние деньги: все от тяжелой жизни чувствовали потребность в такой встрече и предвкушали радость; московские рестораны давно были закрыты и даже заколочены.

— Спасибо, дорогой друг... Ах, в былые времена устроили бы прием у нас.

— В былые времена, барынька, был бы по такому случаю банкет в «Праге» или в «Эрмитаже». Я, кстати, всегда был пражанином, но у нас преобладали гнусные эрмитажники.

— Так вам в самом деле понравилась лекция богдыхана?

— Помилуйте, как же могла бы не понравиться! Она была божественна, клянусь бородой Юпитера! — сказал профессор. Он все больше любил Ласточкиных, волновался, отправляясь в Университет, и выпил под тарань стаканчик водки.

Было очень весело. Говорили приветственные речи — почти как в лучшие времена. Все очень хвалили лекцию. Первый тост хозяин поднял за «героя нынешнего знаменательного дня», второй — за его «верную, преданную, очаровательную подругу жизни». Друзья целовали руку Татьяне Михайловне, Дмитрий Анатольевич с ней поцеловался под рукоплескания. Оба смущенно прослезились от общей ласки, от радостного волнения, от водки. Успели шепотом обменяться нежными словами. «Спасибо тебе, дорогая, милая, за все спасибо»,— прошептал Ласточкин. Разошлись только за полчаса до прихода жильцов, все искренно говорили, что давно не было такого приятного дня.

Дмитрий Анатольевич предложил поехать на извозчике и домой, но на Никитской извозчика не оказалось.

— Ничего, отлично доедем на трамвае, ведь недалеко остановка,— сказала Татьяна Михайловна; она теперь берегла каждый грош. Трамвай был, разумеется, переполнен, все же ей удалось протиснуться на площадку. Дмитрий Анатольевич, пропустивший вперед двух старушек (мест в трамваях давно дамам не уступали), повис на последней ступеньке. «Надо держаться покрепче, слишком много, кажется, выпил!» — подумал он. Голова у него в самом деле кружилась. Он невольно подумал о том, как тяжело сложилась судьба: «В такой день возвращаюсь домой, вися на ступеньке трамвая!» То же самое подумала и его жена. Ласточкин слабо ей улыбнулся и как-то выражением лица сказал ей, что ему очень удобно. «Мне отлично, да ведь и не очень далеко».— прокричала она. Он не расслышал, но закивал головой.

«Немного счастья было в жизни у Тани!» — в сотый раз и теперь подумал он, несмотря на радостное настроение. Главным их горем всегда было отсутствие детей. Дмитрий Анатольевич и прежде понимал, что утешением в этом никак не может быть тот комфорт, позднее та роскошь, которыми он обставил жену, интересная жизнь в Москве, платья от Ворта, путешествия в спальных вагонах, общество знаменитостей. Но теперь и все это было лишь воспоминанием; была бедность, почти нищета, бытовые унижения, тяжелая работа при ее слабом здоровье. Знал, что Татьяна Михайловна об этом даже не думает, и с каждым днем его нежность к жене увеличивалась. Она опять улыбнулась ему и подняла три пальца, показывая, что остаются еще три остановки.

Какой-то простолюдин стал с площадки прокладывать себе дорогу: выходить полагалось с другого конца вагона, но пройти через густую толпу пассажиров в длинном проходе было бы почти невозможно. «Как же мы можем его пропустить?» — подумал Ласточкин. Пассажиры на двух верхних ступеньках стали ругаться. «Ох, грубая жизнь!.. А может быть, это карманник?» Все знали, что карманники воруют в вагонах бумажники именно перед остановками трамвая, поспешно выходя и расталкивая людей. Дмитрий Анатольевич оторвал правую руку от перил и стянул борты пиджака. Простолюдин рванулся вперед и сильно толкнул человека, стоявшего на второй ступеньке. Тот поддался вниз. Ласточкин потерял равновесие и, беспомощно взмахнув рукой, упал на мостовую навзничь, вытянув ноги — под прицепной вагон. Все ахнули. С площадки послышался отчаянный женский крик.

** Попадешь к Сцилле, желая избежать Харибды (лат.)

XIII

Как всегда бывает в таких случаях, друзья говорили, что Татьяна Михайловна в один день поседела и состарилась на десять лет. Она и сама позднее не понимала, как этот день пережила. Но после первых минут, когда она с криком упала на колени над мужем (кровь из его раздробленных ног лилась на мостовую как из разбившейся бутылки), Татьяна Михайловна делала все, что было нужно, «спокойно»; только все время тряслась мелкой дрожью.

Карета скорой помощи приехала на место несчастного случая через четверть часа,— все говорили, что это истинное чудо. Вторым чудом было то, что в Морозовском клиническом городке, куда привезли Дмитрия Анатольевича, оказался их добрый знакомый, профессор Скоблин; как раз собирался уехать после нескольких операций. Он очень поморщился, увидев Ласточкина, но с таким видом, точно именно этого и ожидал.

После осмотра и перевязки он вышел к Татьяне Михайловне. Она, ни жива, ни мертва, на него смотрела. Губы у нее прыгали.

— Необходима ампутация. Немедленная. Разумеется, иначе сделается гангрена,— сказал он, избегая ее взгляда.— Я надеюсь, что сердце выдержит. Но ручаться не могу.

— Ампутация? — выговорила она.

— Ампутация обеих ног. К счастью, ниже колен. На войне люди выживали и после еще худших увечий, а их оперировали на фронте не в таких условиях. Живут и здравствуют. Я твердо надеюсь, что Дмитрий Анатольевич выживет. Ассистент и анестезист готовы. Хлороформ есть. Если хотите, я вызову еще вашего терапевта, но ждать его нельзя.

Полагалось спрашивать о согласии. Однако он, взглянув на нее, не спросил. Пошептавшись с кем-то, сказал:

— Мы теперь, разумеется, всех помещаем в общую палату, но для Дмитрия Анатольевича на первое время найдем отдельную комнату. Здесь все знают, кто он такой. Помнят и то, что он был другом покойного Саввы Тимофеевича. Будет и отдельная сиделка. Будет сделано решительно все. Я велю позвонить Никите Федоровичу, он ведь ваш ближайший друг. Вам нельзя оставаться одной.

Она что-то хотела сказать, но не могла выговорить.

Сердце выдержало.

Скоблин еще у умывальника говорил с Татьяной Михайловной и с Травниковым — тоже бледным как смерть. Старался придать лицу бодрое выражение; это по долгой привычке ему обычно удавалось. Все же поглядывал на Татьяну Михайловну; хотел было даже пощупать у нее пульс. Отдал распоряжение, обещал приехать снова в десятом часу вечера; объяснил ассистенту, куда звонить до того — «если что».

— Теперь будет жив, я ручаюсь. Завтра же будут заказаны искусственные...

— Чтобы ходить?

— Для чего же другого? — сказал Скоблин. Знал, что ходить Ласточкин больше никогда не будет.— В первое время его будут, разумеется, возить в повозочке. А вам, Татьяна Михайловна, надо безотлагательно вернуться домой. Сиделка вполне надежная. Завтра утром приедете. Разумеется, отдохните немного, ведь хуже будет, если вы свалитесь.— сказал хирург, но тотчас добавил: — Хорошо, останьтесь здесь на первую ночь. Хотя это не полагается, я распоряжусь.

Действие хлороформа кончилось. Дмитрий Анатольевич раскрыл глаза, скосил их немного по сторонам, шевельнуть головой не мог. Увидел

незнакомый ему потолок и карнизы стен, тяжело вздохнул, стараясь вспомнить, что такое случилось. Почувствовал жгучую боль и негромко застонал. Между его глазами и потолком появилось искаженное, без кровинки, лицо жены, столь всю жизнь близкое и дорогое. За ней что-то тревожно шептал женский голос. Он вдруг вспомнил, понял. У него полились слезы.

— Таня... Ми...лая, — еле прошептал он.

У нее все прыгали губы.

— Я уми...раю? Да?.. Бедная...

Несмотря на принятое решение «быть бодрой», она заплакала. Травников, сам еле удерживавший слезы, потащил ее к двери.

— Да что вы, сударь! — энергичным тоном говорила старая сиделка. — Операция прошла превосходно. Никакой опасности нет. Ничего вы не умираете, полноте. Лежите спокойно, вам еще нельзя разговаривать.

В комнату вошел ассистент, оглянул всех и с радостным видом поздравил:

— Все сошло отлично. Лучше и желать нельзя... Скоро будете совершенно здоровы. Успокойтесь, сударыня, — говорил он. В Морозовском клиническом городке без крайней необходимости еще не употреблялись новые обращения.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I

Джамбула не призвали в армию, и он был этому рад. По возрасту подходил разве для какого-нибудь самого последнего запаса, отяжелел от лет, от тихой привольной жизни, от вина, жирной еды, восточных сластей.

Война его потрясла. Он не верил в германскую победу и никак ее не желал. Кроме того, воевать против России было бы ему еще тяжелее, чем воевать против западных демократий: «Все-таки числился столько лет в рядах русских революционеров, хотя и тогда подчеркивал, что я не русский». Младотурок он вообще недолюбливал, а Энвера ненавидел — быть может, и потому, что сам на него немного походил характером. После константинопольской революции ему делались кое-какие предложения. Он их отклонил, — тогда еще не был турецким подданным, и по-турецки говорил не очень хорошо, и все революционное было ему с каждым годом все более неприятно: он считал теперь политику вообще очень грязным делом.

С началом войны более молодые из его соседей ушли на фронт; многие были скоро убиты. Старики косились на Джамбула, хотя он пожертвовал большую сумму в пользу Красного Полумесяца. Позднее стали возвращаться в свои усадьбы раненые и разочарованные люди. Они отчаянно ругали правительство, командование, генерала Лимана фон Сандерса и немцев вообще. Уверенность в германской победе поколебалась. Турция была почти разорена, — между тем если б не вмешалась в войну, то разбогатела бы, как все нейтральные страны.

Впрочем, помещики на свои дела особенно жаловаться не могли, несмотря на реквизиции или же именно благодаря реквизициям. У Джамбула реквизировали и лошадей его конского завода, который уже был известен на всю Турцию. Оставили только пару-две для экипажа, клячу, возившую воду, и верхового арабского жеребца. К удивлению соседей и ведавших реквизицией чиновников, он уступил весь свой конский состав по цене низшей, чем та, какой он мог бы добиться при своих связях и богатстве. К еще большему удивлению приемщика, растроганно простился с лошадьми и кормил их сахаром, хотя в нем уже чувствовалась недохватка.

Своих работников, призванных в армию, Джамбул на прощание угостил большим обедом и сделал им денежные подарки. Они и прежде его любили: он не перегружал их работой, хотя требовал и добивался того, чтобы они трудились как следует. Хорошо всех кормил, желавшим давал и вино. Джамбул теперь был значительно богаче прежнего. Научился сельскому хозяйству и не увольнял управляющего только потому, что тот был стар и был любимцем отца. Сам входил во все. Денег у него уходило мало. Так как все было свое, то он тратился преимущественно на книги и на вино. За границу ездил только еще один раз, в Париж, и опять было то же: сначала приятно и занимательно, потом скучновато.

С женами он жил отлично. Обе были молоды, веселы, хороши собой. Иногда ссорились и ругались одна с другой, но в драку это обычно не переходило, особенно в те часы, когда он бывал дома: немедленно их останавливал и мирил. Старался относиться к ним совершенно одинаково, чередовал милости, тратил на подарки одни и те же суммы, — знал, что цены на все им хорошо известны. Обе любили его и обе опасались, как бы он не женился еще на третьей жене. Заняты они были целый день. Работали по хозяйству и в саду, шили, ткали, вместе катались в коляске, — иногда ездил с ними и он. Обе умели читать, но не злоупотребляли этим искусством.

Хотя русские дела теперь интересовали его мало, он в 1917 году стал читать газеты с жадностью. Чувства у него были разные. Революционные настроения не возродились, и все же невольно ему приходило в голову, что, если б он остался в России, то был бы теперь никак не помещиком: «Конечно, прошел бы в их Учредительное собрание и там разглагольствовал бы на весь мир!» Старался думать об этом иронически, но иногда думал, что «разглагольствовать на весь мир» было бы, пожалуй, приятно. Особенно внимательно он следил по газетам за карьерой Ленина. Его приход к власти и разгон Учредительного собрания решили для Джамбула вопрос окончательно: «Разумеется, отлично сделал, что бросил». Кавказ отделился от России. До него доходили стороной слухи о старых товарищах. «Когда будет заключен общий мир, съезжу в Тифлис. А во второй раз гражданства и взглядов менять не буду!»

Война продолжалась и с каждым днем все больше казалась ему бессмысленным делом. Коран он читал теперь меньше, чем прежде, хорошо знал все сураты, а многие заучил наизусть. На вопрос о смысле войны ни Бергсон, ни другие философы не давали ответа. Джамбул говорил и с муллой в зеленой чалме. С тем, что люди забыли Бога и что в этом вся беда, он был почти согласен, но выводы отсюда ему были неясны. «Как же переделать людей? Значит, можно только стараться самому жить «праведно», разумеется, насколько это возможно». Джамбул не считал себя праведником и после того, как перестал быть революционером. Теперь он был просто верующим мусульманином, таким же, как большинство его соседей, не имевших бурного прошлого. В общем, был доволен своей спокойной, прозаической жизнью.

Посыпались решающие события: наступление маршала Фоша, необыкновенные победы союзников, отставка Людендорфа, отречение царя Фердинанда, убийство графа Тиссы. Императорской Германии приходил конец. Ее союзники были растеряны. И уж совсем растерялись в первое время министры новых государств, прежде входивших в Российскую империю. Они так твердо верили в победу немцев и теперь в самом спешном порядке переходили от преданности Вильгельму II к четырнадцати пунктам президента Вильсона. В Константинополе, в Софии началось что-то вроде политической паники. Все проклинали «право силы», все куда-то спешно уезжали, все говорили о способах отъезда: «Мы на «Тигрисе»... «Мы на «Решад-паше»... «Я по железной дороге».

И, наконец, было заключено перемирие, — к радости не только победивших, но и побежденных народов.

Соседи Джамбула тоже проклинали «милитаризм» и самыми ужасными словами ругали Талаата и Энвера. Никто не знал, отойдет ли к кому-либо их земля и куда она должна была бы отойти по пунктам Вильсона. Народ в Турции кое-где голодал, хотя меньше, чем в Великороссии и даже, чем в Германии. Люди, приезжавшие из Константинополя, рассказывали, что в «Пера-Палас» и у Токатлиана еще едят на славу и что туда приезжают для поправки новые богачи из Берлина и Вены. К Джамбулу иногда приходили измученные солдаты, когда-то у него служившие, и жалостно просили снова принять их на службу. Он принимал, кого мог.

Кое-как наладились сношения с Кавказом. И как-то получил телеграмму, очень его удивившую, не то, чтобы приятно, но и не то, чтобы неприятно. Она была от Люды Никоновой.

II

На скамейке под тутовым деревом сидели с довольно угрюмым видом обе его жены. Они были очень взволнованы: телеграммы в дом приходили не часто. Джамбул тотчас велел отправить рано утром на станцию коляску; это случалось еще реже.

Накануне за обедом он небрежно объяснил, что к нему приедет — ненадолго — одна русская знакомая, которую он знал по работе еще в России, и привезет ему письма от друзей. Женам было известно, что он когда-то занимался какой-то важной работой; не очень этим интересовались и предполагали, что это, верно, была война вроде прежних шамилевских, — о них они в детстве слышали восторженные рассказы стариков. Но не думали, что такой работой занимались женщины, и слово «ненадолго» их не очень успокоило. Спрашивать, однако, не решились. Он при них заказал повару завтрак и обед, а водовозу велел привезти лишнюю бочку воды для ванны, давно поставленной в доме. Вода разогревалась во дворе в медном чане.

Светло-серый арабский жеребец — тот самый, уже очень немолодой, с огненными глазами, с огромными ноздрями, с точеными тонкими ногами — уже стоял у подъезда; конюх держал поводья. Джамбул давно ездил не на английском седле, а на особо заказанном, с большой мягкой подушкой, с парчовой бухарской попоной. По старой памяти жеребец еще немного горячился. Теперь Джамбул чаще ездил в городок в коляске и, если не брал жен с собой, то благосклонно принимал от них заказы и даже записывал, что надо купить. Они теперь делились сомнениями: почему едет верхом? Высказали предположение: хочет щегольнуть перед этой проклятой женщиной, так неожиданно нагрянувшей! Джамбул был еще хорош собой в своем живописном костюме, сшитом по его рисунку в Сивасе. Он и вскочил на коня более молодцевато, чем обычно в последние годы. С ласковой усмешкой кивнул женам (они сердито отвернулись), взял у конюха хлыст и, расправив поводья, выехал из усадьбы.

По расписанию поезд должен был приходить в девять; но мог прийти и в одиннадцать, и в двенадцать, — поезда, теперь в особенности, уходили, когда было удобно начальнику станции и его уезжавшим друзьям, а шли, как было угодно машинистам. Долго ждать на станции ему не хотелось, и он решил выехать из дому в одиннадцатом часу. «Рад я или нет? Не сообщила, зачем приезжает и надолго ли». Был немного встревожен. Действительно хотел показаться Люде в хорошем виде: верхом на арабском коне. Одеваясь, грустно думал: «Что поседел, это не беда, а вот хуже, что и полысел».

За воротами он перевел жеребца на рысь, но не успел проехать и километр, как вдали на дороге показался столб пыли. «Она! Уже!» — подумал он и по «уже» заключил, что скорее приезду гостьи не рад. Он стал сдерживать лошадь и увидел, что приближается не его коляска, а знакомая ему бричка, запряженная рыжей кобылой, принадлежавшая единственному станционному извозчику. «Так и есть, не нашел ее болван-кучер!» — с досадой подумал Джамбул. Извозчик-еврей остановил бричку и, повернувшись вполоборота к даме в дорожном балахоне, что-то ей сказал. Джамбул соскочил с коня очень молодцевато, кивнул извозчику, отдал ему хлыст и поводья коня, опять по старой памяти заржавшего. «Скоро и я буду, как он», — подумал Джамбул и, переменив усмешку на самую радостную улыбку, протянул вперед руки. Люда, ахнув, выскочила из брички и бросилась ему в объятия. С утра она себя спрашивала, **как** надо встретиться, он тоже об этом думал, но само собой вышло, что они горячо обнялись.

— ...Ты совершенно не изменилась! Как твое здоровье? Хорошо ли ты путешествовала? Верно, очень устала? — Устала, но не очень. — Это было так неожиданно! Помнишь, у Дюма «Vingt ans après» *? — Не двадцать лет, но двенадцать. Как ты себя чувствуешь? — Отлично! Разве у меня плохой вид? Состарился? — Нет, нисколько! Все так же великолепен! — Отчего ты на извозчике? Ведь я послал за тобой коляску! — Так это была твоя коляска? Я не догадалась. И ведь я ни слова по-турецки не понимаю. Этот подошел ко мне, он знает по-немецки и по-французски. —

* «Двадцать лет спустя» (франц.)

Дай на тебя посмотреть. — Я, верно, вся черная от пыли. — Только бурая, но дома готова ванна. — Нет, ты мало изменился! — говорила она. Извозчик смотрел на них, вздыхая. Джамбула знал давно, но этой дамы никогда не видел. Не одобрял, что она целуется с чужим человеком.

— Ты тоже сядешь в эту бричку?

— Нельзя: куда же я дену своего жеребца? Но мой дом совсем близко, — сказал он, с удовлетворением замечая, что не разучился говорить по-русски.

— Ах, какой прекрасный конь! Это, верно, английский? Я так рада, что приехала. Так твой дом близко?

— И **версты** не будет, — ответил Джамбул, вспомнив слово, от которого давно отвык. И подумал, что все-таки рад приезду этой бестолковой женщины, не умеющей отличить арабскую лошадь от английской. — Я надеюсь, что ты у меня погостишь долго?.. Ну, поедем, поговорим дома. Я страшно рад!

Он опять молодцевато вскочил на лошадь и поскакал вперед, чтобы не пылить на бричку. Встретил Люду у ворот. Она во дворе опять бросилась ему на шею. Сидевшие на той же скамеечке жены остолбенели от негодования. Осмотрев ее издали с головы до ног, они ушли в дом, изобразив на лицах предел возмущения и достоинства. Люда изумленно посмотрела им вслед, перевела взгляд на Джамбула и не сразу засмеялась — не совсем естественно.

— Я, кажется, не вовремя?.. Постой, надо заплатить извозчику. Он согласился принять русские деньги, у меня ведь нет турецких...

— Все будет сделано. Он здесь и отдохнет, — сказал Джамбул и радушно, как всегда, попросил извозчика зайти закусить.

— Я знаю, вы у меня мяса есть не будете. Но рыбу у меня ели самые набожные евреи. И выпьете с дороги водки. Только для христиан и евреев держу ее в доме, нам, мусульманам, нельзя, — сказал он, смеясь.

Извозчик тоже засмеялся; знал, что этот богач выпивает по две бутылки вина в день.

— Пойдем, Люда. Ванна будет готова через пять минут, а через час будем завтракать. Но сначала я тебе покажу свою избушку, — сказал он и повел Люду в дом. Она всем искренно восхищалась. Немного нервничала, ожидая встречи с теми женщинами.

Джамбул проводил ее в отведенную ей комнату. Для успокоения жен (и своего собственного) выбрал комнату отдаленную. «Изменилась, конечно, но не так уж сильно. Теперь глаза уж совсем без блеска». Он переоделся, тяжелые темно-красные ботфорты теперь его утомляли. Выбрал самый щегольской из своих европейских костюмов, впрочем, уже старый, заказанный как раз перед войной. Спустился в погреб. Во всем доме запирались на ключ только дорогие вина; он объяснял женам: «Сам грешу, но не хочу вводить в грех других мусульман». Женам не очень нравилось, что он много пьет, но иногда грешили и они сами: для них он покупал дешевое сладкое вино. Хотел было взять к завтраку две бутылки, но подумал, что может все-таки сделать какую-нибудь глупость; взял только бутылку шампанского. Ванна для Люды уже была готова, проверил, чтобы слуга разбавил кипяток. Люда с непривычки могла сесть и в кипящую воду. Он прошел к женам.

Они были как фурии. Поговорил с ними, как всегда, важно и благожелательно: вел себя с женами как милостивый султан в гареме. Объяснил им, что в России всегда целуются после разлуки: это ничего не означает и признается обязательным. Сказал, что никакой третьей жены себе не заведет. «Достаточно и вас двух, даже, пожалуй, слишком много». На всякий случай вставил, что на этой и не мог бы жениться: она христианка. Вскользь добавил, что собирается скоро съездить с ними двумя в Сивас и, что если они будут хорошо себя вести, то он купит там те шали, которые им так понравились. У обеих лица стали светлеть. Все же они объявили, что к обеду не выйдут, так как не желают встречаться с этой... этой. Он строго их остановил и сказал, что к обеду их и не зовет: «Вам все пришлют в мою спальную». Обычно они туда допускались только на ночь: одна в первую, другая в четвертую ночь недели. Жены потребовали, чтобы он прислал и возможно больше крема, того, который был заказан повару для этой... Существительного не добавили. Он согласился, но потребовал, чтобы они пе-

ред завтраком вышли к гостье на три минуты: так полагается, ровно три минуты.

В ванне Люда себя спрашивала, хорошо ли сделала, что приехала. Его жены были для нее сюрпризом: почему-то всего ждала, кроме этого. «Ну, я тут не засижусь! Завтра же уеду назад в Тифлис, сейчас ему это и скажу. Да, очень, очень изменился. Верно, теперь беспокоится, зачем я пожаловала. Да я просто хотела увидеть человека, который когда-то был близок. Что же тут такого? Правда, к Рейхелю я не поехала бы. Но неужели все это серьезно! А я думала, что знаю своего Джамбула!»...

Горничная, тоже испуганная приездом странной гостьи, доложила, что она уже одевается в своей комнате. Джамбул поцеловал каждую из жен, обеих одинаково,— иначе вышла бы новая драма. Постучав в дверь, вошел к Люде. В комнате пахло духами, все теми же ее духами. Сразу многое ему вспомнилось.

— Пойдем завтракать. Ты, верно, голодна, Людочка? — спросил он. На его лице была обыкновенная хозяйская улыбка.

— Как зверь.

— Вот и отлично. Я так рад твоему приезду.

— Будто? Я приехала без всякого дела, просто проведать тебя. Завтра должна буду уехать.

— Завтра? Ни за что! — сказал он.

«Кажется, у него отлегло на душе»,— грустно подумала Люда. В столовую вошла тревожно, но жен не было.

— Да, завтра, мне необходимо.

— Ни за что тебя не отпущу,— сказал Джамбул. Люда с удовольствием увидела бутылку в ведерке со льдом. Очень давно не пила шампанского.

Они сели за стол. Джамбул спрашивал ее о поездке. Думал, что о серьезном еще говорить рано. Но она этого не думала.

— Те две женщины — твои жены? Они мне глаз не выцарапают?

— Не думаю,— так же шутливо ответил он.— Им известно, что я на третьей жене не женюсь. По закону имею право еще на двух, но это у нас не очень принято.

— Ах, как жаль! — Она расхохоталась.— А ты кто теперь? Бей? Паша? Имам?

— Просто пожилой турецкий помещик.

Люда перестала смеяться.

— Подменили моего Джамбула! Как произошло это чудо?.. Так я их и не увижу? Я их сразу успокоила бы. Объяснила бы им, что ты для меня все равно, что ваш великий визирь, которому, кажется, девяносто лет.

— Ты ничего не могла бы им объяснить, потому что они ни слова по-французски не понимают. Но они к тебе выйдут познакомиться,— сказал он. Был не очень доволен ее шуткой.

Вошли жены. К его удовлетворению, глаза у них еще сверкали, но обе вели себя вполне прилично. Люда испуганно на них смотрела. Они что-то сказали, она что-то ответила. Джамбул переводил. Жены пробыли в столовой две минуты и удалились, оглядев внимательно и платье гостьи.

— Очень милые. Сердечно тебя поздравляю,— сказала она насмешливо, но довольно искренно. Мысль о «соперничестве» с дикарками не приходила ей в голову. Если в дороге она хоть немного еще думала о прежнем, то теперь совершенно перестала думать: «Разумеется, то кончено».

— Очень милые,— подтвердил Джамбул.— Давай сейчас же выпьем шампанского.

— Как тогда за ужином у Пивато?

— Как тогда за ужином у Пивато,— равнодушно подтвердил он. Люда немного покраснела.

— Состарились мы оба с тех пор! И изменились. Да и в мире много воды утекло.

— И какой воды! Не только воды, но и крови.

III

Шел уже третий час дня, они все еще разговаривали. На столе стояли кофейный прибор и опорожненная на две трети бутылка шампанского.

— Ты почему так мало пьешь? Может, печень или что-либо в этом роде? — спрашивала Люда.

— Нет, печень пока в порядке,— ответил он обиженно.— Я больше пью вечером.

— Чтобы лучше спать?

— Я сплю отлично.

За завтраком она долго рассказывала о том, что с ней было во все эти годы, особенно в последние два. Перескакивала от революции к кооперации, от Ленина к Ласточкину, от Москвы к Ессентукам. Джамбул слушал и старался понять: она говорила сбивчиво, не всегда можно было догадаться, кто это «он»: Ласточкин или Ленин? «Такая же сумбурная, как была... И это Бог ей послал, на ее счастье, кооперацию»,— думал он не без скуки.

— Я уверена, что ты был очень удивлен, получив мою телеграмму. Может быть, даже неприятно удивлен? — сказала она, внимательно на него глядя.

— Что ты! Напротив, страшно обрадовался,— ответил он, стараясь вложить в свои слова возможно больше теплоты и искренности.

— Правда? До этой проклятой войны ты мог мне писать и не писал.

— Да я и не знал, где ты.

— Ну, теперь все равно: ты догадываешься, что я приехала не для попреков... Собственно, я и сама не знаю, для чего я приехала... Но на чем мы остановились? Да, значит, после того как я с ним встретилась...

— С кем?

— С этим твоим Китой Ноевичем. Он очень милый человек... Согласился теперь взять к себе мою кошечку до моего возвращения в Тифлис...

— Ах, да, что кошечка? Так ты с ней бежала на Кавказ? Это все та же?

— Нет, другая, та умерла. Правда, он очень симпатичный?

— Был прекрасный человек, а какой теперь, не знаю: мы все так изменились.

— Это верно! Ты не можешь себе представить, как мне противна стала революция! Еще тогда, после взрыва на Аптекарском острове... Ты ведь знаешь, он был повешен!

— Соколов? Да, знаю.

— Но особенно после всех дел Ленина. И вот он мне говорит...

— Ленин? Разве ты его видела?

— Да нет же, Кита Ноевич! Ленина я больше с Куоккалы не видела и, надеюсь, никогда не увижу. Так вот, он мне предложил службу в Тифлисе. Я долго колебалась, но после этого ужасного дела в Пятигорске не выдержала и решила бежать...

— Какого дела в Пятигорске?

— Неужели ты ничего не слышал? — Люда вздохнула.— Зарезали несколько десятков людей, а ты ничего не знаешь!

— Да ведь я русских газет сто лет не видел. А в годы войны не видел и французских. Немецкие просматривал, но я немецкий язык плохо знаю. Они о России торопились сообщать только самое неприятное, особенно после того, как захватили Украину. Вот как в Севастополе союзное командование через парламентеров сообщило русскому о смерти Николая. А о Пятигорске они, кажется, ничего не писали, или я пропустил. В чем там было дело?

Люда рассказала.

— Они взяли заложниками всех видных людей. Могли взять и меня, но, к счастью, не взяли, хотя было схвачено много людей не более «видных», чем я. Были арестованы и знаменитости: генерал Рузский, генерал Радко-Дмитриев. Говорят, они им предложили перейти на советскую службу, но те отказались. И вот ночью их всех вывели к подножию горы и там убили. Не расстреляли, а зарезали! Две ночи подряд резали и бросали в яму, говорят, некоторых еще живыми. Тогда я вспомнила об его предложении и убежала в Тифлис. И это наши бывшие «товарищи»! Ведь я одно время обожала Ленина! Теперь очень стыдно вспоминать.

— Я не обожал, но и мне стыдно,— сказал он, и по его лицу пробежала тень. Люда вспомнила рассказ Киты Ноевича: Джамбул лично участвовал в экспроприации на Эриванской площади. «Как только он мог!» — Ты не кончила. Что же Кита?

— Он превосходный человек. Тотчас все сделал, принял меня на службу. Я всегда любила кавказцев, а теперь еще больше. Какие люди! Не относи этого, впрочем, к себе.

— Не отношу.

— Понимаешь, мне теперь было неловко: всего без года неделю у него служу и уже прошу отпуска. Дал и даже проезд устроил!

— Догадался, что ты едешь ко мне.

— Отстань, нет мелких. — Люда покраснела и от этого смутилась еще больше. — Да, мне захотелось увидеть тебя, поговорить с тобой обо всем. Ты ведь тоже далеко отошел от революции.

— Давным-давно и очень далеко. Мне о них обо всех и думать гадко. Я, впрочем, понимаю, что если б войн и революций не было, то их пришлось бы выдумать. Они — отводные клапаны не столько для «народного гнева», сколько для избытка энергии и буйных инстинктов у разных людей. Особенно у молодых, но не только у молодых: есть и старики, еще шамкающие что-то революционное по пятидесятилетней инерции. А что все эти Людендорфы и Энверы делали бы без войн? И что Ленины и Соколовы делали бы без революций?

— Ну, это не очень социологический подход к делу.

— Ненавижу социологов.

— Почему?

— Потому, что они ровно ничего не понимают. Они и теперь очень довольны Лениным: он им дал богатый материал для ценных суждений. Когда-нибудь они его превознесут и возвеличат: какой замечательный был социальный опыт! А левые биографы и историки превознесут тем более. Конечно, объявят, что он всю жизнь работал для счастья человечества. Между тем он столько же думал о счастье человечества, сколько о прошлогоднем снеге! Он просто занимался решением задач, занимался политической алгеброй. Ведь математику приятно решать задачи, которые ему кажутся важными: «Я, мол, решил совершенно верно, а Плеханов сел в калошу»... Плеханов и в самом деле всю жизнь садился в калошу, это была его специальность. Я, впрочем, не отрицаю, что Ленин выдающийся человек. Умен ли он? В суждении о некоторых вещах он глуп, как пробка, например, в суждениях о предметах философских, религиозных, искусственных...

— То есть в суждениях об искусстве, — поправила Люда. Она всегда любила такие его ошибки: это напомнило ей п р е ж н е е. Ласково вспомнила и примету шрама, когда-то ею в нем замеченную. «Теперь взволновался!»

— Да, в книгах об искусстве. Я разучился говорить по-русски. Разумеется, он большой человек: необыкновенное волевое явление, огромная политическая проницательность, это так. Он и не жесток, и не зол. Конечно, и не добр.

— Он все-таки сложнее, чем ты думаешь, — опять перебила его Люда. — Ведь я хорошо его знала. Иногда он бывал очарователен. А врагов всегда ненавидел.

— И Марат, верно, иногда бывал очарователен, и Торквемада, быть может, тоже. Ты говоришь, он ненавидел врагов. Это едва ли верно. Разве Торквемада ненавидел еретиков, которых отправлял на костер? Просто их было н у ж н о сжечь, что ж тут такого? Я представляю себе сценку. В Кремле идет заседание, собрались все главные. И вот получается телеграмма или там телефонограмма, хотя бы об этом пятигорском деле. Разумеется, редакция была самая благозвучная. Не сказали: «Мы их зарезали и бросили живыми в яму». Не сказали: «Мы устроили бойню». Верно, сказали о каком-нибудь «мече народного гнева», о «необходимой ликвидации», привели мотивировку: «революционный долг», «буржуазия подняла голову», «враги народа строили козни» и так далее. Что же затем могло быть на заседании? Кто-нибудь из них, еще удивительным образом не совсем потерявший человеческое подобие, какой-нибудь Бухарин или Пятаков, верно, вздохнул или даже мягко запротестовал: «Так все же нельзя!» Не очень, разумеется, запротестовал: все они давно ко всему такому привыкли. Совершенная сволочь, напротив, восклицала что-либо архиреволюционное: «Без малейших колебаний все одобрить!» «Теперь не время для полумер!»... А он, конечно, молча слушал — допускаю, что на этот раз без своей кривой усмешечки. Допускаю даже, что не назвал дела «дельцем». А затем просто предложил перейти к очередным делам.

— Нет, ты его упрощаешь. Он все-таки гораздо выше их всех.

Джамбул засмеялся.

— Да, конечно, гораздо выше их всех. Только это, право, означает не очень много. Он не вульгарный карьерист, не честолюбец, как Троцкий, ни малейшего тщеславия я у него никогда не замечал. Он и не сверхмерзавец, как Коба...

— Какой Коба?

— Джугашвили. Теперь он называется Сталиным. Этого я знаю с юношеских лет! Такого негодяя мир не видывал. По крайней мере Кавказ не видывал, особенно м о й! У нас бывали жестокие люди, но что-то в них, верно, наши горы очищали. Камо, например, никак не мерзавец. Слышала о Камо?

— Кажется, что-то слышала. Это тот, который после... после Кавказа (Люда не решилась сказать: после экспроприации в Тифлисе) отправился в Берлин, чтобы ограбить банк Мендельсона?

— Тот самый.

— Мне Дон Педро рассказывал: в Берлине этот субъект несколько лет прикидывался буйно сумасшедшим и так хорошо, что обманул немецких врачей!

— Ему и прикидываться было не очень нужно: он был наполовину сумасшедший. Но он был герой, не могу и не хочу отрицать. К несчастью, он остался большевиком. Он не мусульманин.

— Так что же, что не мусульманин? — спросила Люда, насторожившись: «Теперь заговорит о своем нынешнем главном».

— Ничего. Мусульманская религия очищает людей больше, чем другие.

— Вот как? Почему же именно она? И причем тут религия вообще? Это правда, что ты стал настоящим верующим мусульманином?

— Правда... Ты меня когда-то называла романтиком революции. Это было и верно, и нет. У меня когда-то револьвер был предметом первой необходимости...

— Да, ты мне на Втором съезде говорил о каких-то страшных делах, — сказала Люда, печально вспомнив о Лондоне. У него опять тень пробежала по лицу.

— Было. Я в молодости собственноручно убил провокатора.

— Этого ты мне не говорил!

— Не люблю об этом говорить. Жалею, что и сейчас сгоряча сказал.

— Убил! Как же это было?

— Он пришел ко мне. Не знал, что это уже известно. Разумеется, у себя дома я не мог его убить, это противоречило бы всем нашим вековым традициям. Разговаривал с ним, как хозяин с гостем. Но затем, прощаясь, я вышел с ним за ворота, сказал ему, что он провокатор, и убил его. — Лицо у Джамбула дернулось. — Это не «романтизм»! От меня, революционера, был только один шаг до гангстера.

— Не до гангстера, а до абрека.

— Это совсем не одно и то же!.. И не у меня одного был только один шаг. Я был еще, пожалуй, лучшим из худших. В сущности, все у меня было от этого вашего «Раззудись, плечо, размахнись, рука!». Меня наша религия и спасла. Знаешь, у многих людей просто не было времени, чтобы подумать о жизни. Или «над жизнью»? Как правильно? И у тебя тоже не было времени.

— Никак этого не думаю. Не понимаю, при чем тут религия? Я живу без нее, и ничего. И тысячи людей нашего круга живут без нее.

— Политики даже почти все. Явно или скрыто. И вот что я тебе скажу. Почти в каждом политике в какой-то мере сидит — в лучшем случае Ленин, в худшем случае Троцкий.

— Что за вздор! — сказала Люда, вспомнив о своих друзьях кооператорах. «Они, кстати, кажется, все неверующие».

— Ну, не в каждом, а в большинстве и, разумеется, чаще всего в очень малой мере. Хочешь пример? Тот либеральный государственный человек, который имеет право смягчения участи осужденных на смертную

казнь и отказывает, несмотря на ходатайство присяжных заседателей, это уже в зародыше большевик.

— Это частный случай и довольно редкий. Что ж, по-твоему, и в Жоресе был большевик?

— В нем нет, и, разумеется, вообще большая разница есть,— ответил он с досадой, как отвечают на доводы всем известные и надоевшие.— Жорес был добрый человек, он вивисекциями заниматься не мог бы, да и нельзя было тогда, так как революций не было. Вдобавок он ни года у власти не находился. Всякая власть развращает, а революционная в сто раз больше, чем другая... Вот мы с тобой ушли от революции, хотя ушли по-разному: ты ушла, так как не была создана для политики, а я ушел потому, что вдруг почувствовал на спине бубновый туз.

— Что такое?

— Недавно я прочел какую-то книгу о нашей Крымской войне,— сказал нехотя Джамбул. («Какой же «нашей»: русской или турецкой?» — невольно спросила себя Люда.) — И я там вычитал, что ввиду недостатка в солдатах русское командование велело выпустить из тюрем арестантов. И они сражались отлично, не хуже ваших солдат. Один из них совершил какой-то геройский подвиг на глазах у знаменитого адмирала, не помню, Корнилова или Истомина. Адмирал пришел в восторг и тут же повесил ему на грудь Георгиевский крест: арестант, а русский человек и герой! Так тот воевал и дальше, с Георгием на груди, с бубновым тузом на спине. О, я знаю, как условны и тузы, и ордена, но ведь я говорю фигурально. Большинство тех революционеров, с которыми я работал, могли бы иметь на груди боевой орден за храбрость, а на спине бубновый туз за другие свои особенности... Как Камо... Это, впрочем, не относится к главарям: Ленин, я думаю, никогда в жизни не был в смертельной опасности. Тем тяжелее будет ему умирать. А я, не главарь, видел перед собой смерть не раз. Имел право на орден, но вдруг в один, для меня все-таки прекрасный день решил навсегда отказаться от бубнового туза.

— Ты очень несправедлив,— сказала Люда.— Я отошла от революции, но бубнового туза в ней не видела и не вижу.

— Именно ты не видела, потому что в ней, собственно, и не была. А я был и видел вблизи. Но странно, как меняются люди и без видимых причин. Вот я убил провокатора и ничего, а через несколько лет...— Он хотел было сказать Люде о гнедой лошади на Эриванской площади, но не сказал. «Она ничего не поймет. Да и никакой здравомыслящий человек не поймет». Он выпил залпом бокал шампанского.— Выпей еще вина. Не хочешь?

— Не хочу,— сказала Люда, отстраняя его руку с бутылкой.— Так можно стать и реакционером!

— Я не стану. Реакционеров по-прежнему терпеть не могу.

— Зачем уклоняться от этого разговора, уж если мы его начали? У тебя была настоящая революционная душа, и...

— Я взял эту душу напрокат у русских революционеров.

— Неправда. Правда то, что ты вечно менялся. Помнишь, ты мне читал когда-то стихи:

> Смело, братья! Туча грянет,
> Закипит громада вод,
> Выше вал сердитый встанет,
> Глубже бездна упадет...

— Не помню,— угрюмо сказал Джамбул.— А если читал, то был дурак! Вот и встал сердитый вал! Хорош?

— Мы желали не этого.

— Так говорят все неудачники. Мы обязаны были подумать, что выйдет из наших желаний.

— Мы и думали, да другие помешали, бис бив бы их батьку,— сказала Люда.

— Теперь у вас, кажется, в моде другие стихи. Сюда недавно приехал один армянин из России. Дал мне «Двенадцать», поэму Александра Блока. Ты читала?

— Разумеется, читала. Она всех потрясла. Можно соглашаться или не соглашаться, но это гениальная вещь!

— Ровно ничего гениального! Я читал с отвращением. Блок очень талантлив, я не отрицаю. Некоторые его стихи такие, что никто другой не напишет. Но это просто звучные общедоступные частушки... Ведь есть такое русское слово «частушки»? Кто у вас теперь их в Москве пишет? Кажется, какой-то Демьян Бедный?

— Господи! Александр Блок и Демьян Бедный!

— Я их не сравниваю, хотя, может быть, и Демьян Бедный тоже «всех потряс», только читателей другого уровня, несколько менее высокого. А поверь мне, Александр Блок своих старых дев потряс только «изумительным финалом». Для этого финала вся поэма и написана, без него на нее и не обратили бы большого внимания. Разумеется, последняя фигура, которой можно бы ждать в конце такой поэмы, в компании хулиганов-убийц, это Христос. Так вот вам, нате, изумительный финал, и какой глубокий! — с внезапным бешенством сказал Джамбул.— Отвратительно! Даже независимо от того, что он оказал огромную услугу большевикам. Хотя Ленин, верно, хохотал над его поэмой, если прочел.

— Вот и ты «хохочешь». Блок никому никакой услуги оказывать не желал!..

— Опять «не желал»! Все вы «не желаете», но делаете черт знает что!

— Не буду спорить... Ну, хорошо, какая же теперь у тебя душа? Мусульманская?

— Да, мусульманская.

— А может быть, ты и ее ненадолго взял напрокат?

— Нет, эту напрокат не взял,— ответил он очень раздраженно.— И не хочу я об этом говорить!

— Как знаешь,— сказал Люда, взглянув на него с испугом.— А я все-таки не жалею, что заговорила. И не жалею, что к тебе приехала.

— Отлично сделала, что приехала,— сказал Джамбул, вспомнив долг хозяина.— Но зачем ты так скоро уезжаешь? Останься. Поживешь с нами. Я уверен, что, если ты постараешься, то тебя полюбят мои...— Ему неловко было ей сказать: «мои жены».— Право, останься.

Люда улыбнулась. Поймала себя на мысли: «Если б он не так сказал это, а так, как говорил у Пивато, вдруг я и осталась бы, с меня сталось бы!»

— Не могу. Я обещала Ките Ноевичу вернуться к первому июня. Да надо и зарабатывать хлеб насущный.

— Тебе нужны деньги? Я могу тебе дать сколько угодно.

Она вспыхнула. «Мог бы теперь этого не говорить!»

— Нет, спасибо, у меня достаточно... А ведь Кита Ноевич дал мне к тебе и поручение. Все думает, не согласишься ли ты к ним вернуться. Должность для тебя будет, и хорошая.

— Поблагодари его, но скажи, что я не принял бы и должности президента республики.

— Почему же?

— Потому, что политика — грязь. Желаю им всяческих успехов, нашим доморощенным Жоресам... О Жоресах ему, конечно, не говори... А вот я приеду туда — просто повидать родные места. Конечно, если они не погибнут. Очень часто гибнут Жоресы, такова уж их судьба.

— Когда ты приедешь? — радостно спросила Люда.— Ради Бога, приезжай поскорее.

— Не знаю когда,— угрюмо ответил он, подавив зевок.

IV

Как ни огрубели люди в России после революции, как ни был каждый поглощен своими делами и заботами, друзья и знакомые проявили большое участие к Ласточкиным. Всех особенно поразило то, что несчастье произошло тотчас после первой вступительной лекции Дмитрия Анатольевича. Стало известно, что у него нет ни гроша. Лечение было в больницах бесплатным, хотя кто мог платил персоналу, что мог, и от себя. Скоблин и другие врачи клиники решительно отказались от платы. Все же расходы, естественно, были. Негласно, по почину Травникова, образовался комитет друзей. Сам Никита Федорович внес немало из своего тощего кармана. Вносили и другие. Татьяна Михайловна ничего об этом не знала; но если б и догадывалась, то теперь к этому отнеслась бы почти безучастно: все кончилось, кончились и такие огорчения. Она попросила Травникова

продать остававшуюся у них картину. Он продал за гроши и сказал ей, что получил три тысячи. По ее просьбе оставил деньги у себя и платил за все, за что нужно было платить.

Тотчас после несчастья он написал в Петербург Рейхелю. Писать Тонышевым было невозможно: письма за границу не доходили и даже не отправлялись. От Аркадия Васильевича очень скоро пришел чрезвычайно взволнованный ответ. Он прислал едва ли не все свои сбережения, просил извещать его о состоянии двоюродного брата возможно чаще, приложил письмо к Татьяне Михайловне и просил его ей передать только, если врач это разрешит. «По тому, что переживаю я, могу логически заключить, в каком состоянии она!» — писал он Никите Федоровичу. В приложенном письме, тоже логичном и расстроенном, говорил, что приедет в Москву по первому вызову, если от этого может быть хоть сколько-нибудь ощутимая польза. Травников, давно с ним знакомый, знавший его репутацию злого или, во всяком случае, очень сухого человека, был удивлен. «Нет, люди лучше, чем о них думают мизантропы». Он показал письмо Татьяне Михайловне, ничего не сказав о деньгах. Она просила ответить, что никакой пользы от приезда не будет: это только взволнует и напугает больного.

Скоблин сообщил Татьяне Михайловне, что они могут оставаться в клинике «сколько понадобится». Уход тут был, конечно, гораздо лучше, чем мог быть дома. Горячо благодаря, она спросила о «деревяшках», о костылях, о повозочке: «Буду сама его возить». Скоблин сказал свое «разумеется» и вздохнул. «Как уж она, несчастная, будет возить! Сама как будто совершенно больна и еле держится на ногах»,— подумал он. Душевные и физические страдания Татьяны Михайловны еще увеличивались оттого, что она в день несчастья сама просила мужа не искать извозчика и поехать домой в трамвае. «Из экономии!»

Теперь она уже выходила к приезжавшим в клинику друзьям и старалась с ними «разговаривать»; они только испуганно на нее смотрели. Некоторые привозили подарки: леденцы, баночку варенья. К Дмитрию Анатольевичу еще никого, кроме Травникова, не пускали, и посетители узнавали об этом с облегчением.

Зашла под вечер жилица их квартиры, просила не вызывать к ней гражданку Ласточкину, испуганно расспрашивала, как случилось несчастье. Сказала, что дома все в порядке, что она за всем следит, и, уходя, оставила лимон, немного сахару и полфунта настоящего чаю. «Мы ведь иногда кое-что достаем в кремлевском складе»,— сообщила она смущенно. О таких продуктах люди в Москве давно забыли. Еще не очень давно, после покушения Каплан, по слухам, был правительством послан за границу экстренный поезд за лимонами и еще чем-то таким для раненого Ленина.

Татьяна Михайловна прослезилась и тотчас написала жилице письмо. Благодарила в таких выражениях, что Травников только развел руками. Продукты вызвали сенсацию в клинике. Ласточкину был немедленно подан стакан с тоненьким, точно бритвой отрезанным кусочком лимона и двумя кусками сахара. Он выпил с наслаждением и потребовал, чтобы такой же пили и Татьяна Михайловна, и Никита Федорович, и сиделка. Они в один голос ответили, что выпьют попозже на кухне.

Дмитрий Анатольевич был все время в сознании, но оно не всегда работало хорошо. Когда в комнате никого не было, он иногда плакал. Прекрасно понимал, что жизнь кончена, что жить больше незачем, не для чего, а скоро станет и не на что. Что же будет с Таней? И ему все чаще вспоминалось, что в его квартире, в ящике, под бумагами, хранится металлическая мыльница, тщательно обернутая двумя носовыми платками, которые в свое время разыскивала Татьяна Михайловна: «Куда только они делись? Я твердо помню, что оставила тебе десять».

V

Тонышев был оставлен Временным правительством на прежней дипломатической должности. К февральской революции он отнесся без восторга и печально спорил об этом с женой: Нина Анатольевна была именно в восторге, говорила, что просто влюблена «в них во всех, особенно в Керенского», и высказывала мнение, что Алексей Алексеевич теперь должен выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание.

— Я и в Государственную думу не хотел идти, а в это Учредительное собрание не пойду ни за что, даже если б меня выбрали! — угрюмо отвечал Тонышев.

Как он ни возмущался политикой прежнего правительства, как ни сочувствовал убийству Распутина, Алексей Алексеевич был очень расстроен падением династии Романовых: «Много, очень много красоты в жизнь вносил монархический строй». Он вел себя в отношении новой власти вполне лояльно, послал поздравление министру иностранных дел Милюкову, которого очень уважал, устроил у себя прием печати и в кратком слове объяснил, что теперь новая, свободная Россия с удвоенной энергией поведет войну в теснейшем согласии со своими доблестными союзниками. Никого не хвалил и не осуждал.

Он много работал. С самого начала его работа в небольшой нейтральной стране заключалась преимущественно в собирании сведений о закулисной дипломатической деятельности Германии и Австро-Венгрии, об их попытках завязать связь с французскими и английскими государственными людьми, о переговорах князя Бюлова. Бывший канцлер, по-видимому, был по-прежнему очень доволен собой, своими талантами и своими делами: он ничем, ни в чем не виноват, войну не умели предотвратить его бездарные преемники. После Танжера он еще долго вел политику в стиле Людовиков и Фридрихов, затем ушел в отставку, в чем-то не поладив с императором. Позднее ему Вильгельмом было поручено своим очарованием и дипломатическим гением отвлечь Италию от участия в войне; в Риме он долго очаровывал итальянских государственных людей, сыпал стихами, шутками, цитатами, но Италии не очаровал. Она приняла участие в войне на стороне союзников. Тем не менее Бюлов остался столь же неизлечимо в себя влюблен, как был всю жизнь.

Попытки «войти в контакт» (это было принятое выражение) с Россией делались и через Тонышева — разумеется, при посредстве граждан нейтральных стран. Он разговаривал с этими людьми чрезвычайно холодно и сообщал в Петербург об их суждениях и намеках. В меру возможного старался узнавать и такие новости, которые могли бы быть полезны военному ведомству. Для этого ему иногда и самому, в помощь русской разведке, приходилось «вступать в контакт» с людьми, уж совсем сомнительными или открыто продажными. Делал это брезгливо. Вдобавок ему казалось и невозможным, чтобы какие-то проходимцы могли хоть что-либо знать о намерениях германского правительства и тем менее о планах Гинденбурга и Людендорфа. Но кое-что оказывалось правдой, и он убеждался, что совершенного, непроницаемого секрета нет не только у дипломатов, но и у военных.

После октябрьского переворота он без колебаний послал в Петербург очень краткое извещение о своем уходе в отставку и решил переехать во Францию, не дожидаясь ответа: «С кем же теперь вообще говорить?» Сослуживцы советовали ему этого пока не делать: ссылаясь на формальные обстоятельства, на казенные деньги, на необходимость «поддерживать статус». У всех была уверенность, что большевики падут через несколько недель. С этим он соглашался, но говорил, что ему противно сохранять должность; некому посылать доклады, не от кого получать инструкции, нельзя, ничего не делая, брать жалованье из принадлежащих государству сумм. Возможно лучше наладив формальные дела, сдав должность помощнику, он уехал с Ниной Анатольевной. На вокзал их на этот раз провожали только сослуживцы, да и то не все.

В Париже они достали небольшую меблированную квартиру. Теперь оказалось очень кстати, что он перевел за границу свои частные средства. Их могло при скромной жизни хватить на несколько лет, и вначале Тонышевы не очень старались об экономии в расходах. Достать горничную было нелегко, к русским теперь шли неохотно: одни простые люди разорились оттого, что большевики перестали платить по займам, другие после Брестского мира считали всех русских изменниками. Тонышевы наняли швейцарку. Алексей Алексеевич в первое время еще устраивал небольшие приемы, уже без завтраков и обедов. Посещали их только люди второстепенные, больше прежние друзья по дипломатическому ведомству.

— Да и те, верно, немного опасаются, как бы ты не попросил у них денег взаймы,— говорила, смеясь, Нина Анатольевна. Он пожимал пле-

чами и старался казаться равнодушным. Но его больно задевал конец русского престижа и связанное с этим понижение личного почета, которым он всю жизнь пользовался.

Они очень беспокоились о Ласточкиных. Писем из России больше никто не получал. Алексей Алексеевич в начале октября послал письмо с «вализой». Никакого ответа не было. Благоразумные люди говорили, что письма из-за границы, если и дойдут, то лишь скомпрометируют получателей, а уж отвечать оттуда совсем не безопасно. Лучше вообще пока не писать: ведь скоро все там кончится.

То же говорили и газеты: большевистский строй идет к концу; Ленин потерял всякий авторитет; по-видимому, скоро на его место сядет Троцкий или Зиновьев, уже под него подкапывающиеся и даже было ненадолго его арестовавшие. Газеты сообщали (более серьезные с оговорками о недостаточной осведомленности), что в России идут грабежи, убийства, пожары. Тонышевы читали с ужасом и тщетно старались успокоить друг друга. Как-то Алексей Алексеевич вспомнил о парижском притоне, в котором был когда-то с Людой: «Вот он, вот «bal d'Octobre»!» — подумал он, стараясь разобраться в своем чувстве. Но, кроме мысли, что социальную революцию повлекли за собой социальные контрасты, ему ничего в голову не приходило. «А это ведь довольно банальная мысль».

К разгону Учредительного собрания он отнесся равнодушно: в этом собрании было разве лишь несколько человек, которым он мог бы по-настоящему сочувствовать. Позднее убийство царской семьи его совершенно потрясло. Он несколько дней ходил сам не свой.

И, наконец, пришла победа, полная победа над Германией. Радость Тонышевых была необычайно велика. Алексей Алексеевич был очень доволен и тем, что Вильгельм II бежал в Голландию, — жалел только, что царь до этого не дожил: это было бы для него утешением.

«Как странно, что три знаменитейших династии мира погибли именно из-за войны! — думал Тонышев. — Разумеется, воевали во все времена и республики, а все-таки для войн созданы монархии, да еще дворянство. На войнах создались их слава и их добродетели. Правда, любовь к армии, к знаменам, к мундирам — это природное свойство человека. Недаром бегут на парадах за войсками дети всех сословий и так радуются, когда им дарят сабли. Недаром даже революционеры подражают военным традициям и военной словесности. Когда-то короли это понимали. При Людовике XIV сын мужика или лавочника мог стать маршалом Франции, а при Людовике XVI — таков хваленый «прогресс» — не мог дослужиться до офицерского чина. Наполеон, имевший только четыре поколения дворянства, — немногим меньше, чем я, — мог быть при старом строе только ротным командиром, а до полкового дослужиться не мог, — а как на беду он хотел, очевидно, стать полковым командиром. И монархи не поняли, что эта война будет совсем не такой, как прежние, что мир перестанет ценить военную доблесть и дворянские понятия о чести. Теперь чуть ли не в одной Англии военные заслуги дают дворянство и титулы».

Алексей Алексеевич, впрочем, не очень верил в породу, хотя иногда и нерешительно ссылался на то, что есть ведь порода у лошадей, у собак, как же ей не быть у людей? Собственное его дворянство было не старым: его прадед вдруг, ни с того, ни с сего, получил высокий чин от Павла, которому чем-то понравился. Тонышев не мог думать, что от этого их порода стала лучше; голубой крови не прибавилось. Но он считал очень полезным для государства обилие отличий, чинов, орденов. «На этом многое везде держалось веками, так все дорожили — и я дорожил — звездами, лентами, статскими и действительными, и это не стоило казне ничего. Республики и эта война все изменили. Надо создавать новые традиции, но какие?.. Да, монархии сами себя погубили!»

Он читал много газет. Из Швейцарии ему доставлялись и немецкие. Хаос в Германии вначале доставлял ему радость: «Насадили у нас большевиков, теперь испытайте на себе!» Но злорадство скоро у него прошло. Теперь его преимущественно интересовало, как ученая страна выйдет из положения, которое она сама считала довольно естественным для неученой. Ненависть людей друг к другу, ему издали казалось, была в Германии еще больше, чем в России. Левые газеты поливали помоями правых, правые — левых. Обе стороны возлагали ответственность за катастрофу одна на другую.

Тонышев надеялся, что освободившиеся с победой огромные силы союзников тотчас свергнут в России большевиков. Но эта надежда очень скоро ослабела, потом совершенно исчезла. Вначале русские дипломаты и политические деятели, со всех сторон съезжавшиеся в Париж, предполагали, что как-нибудь, хотя бы не на основе полного равноправия, они будут привлечены к участию в мирной конференции и в предварительных совещаниях. Но понемногу выяснилось, что об этом и речи нет. Не очень думали вожди союзников и о свержении советского строя вооруженной силой. О Клемансо и Ллойд-Джордже говорили, что они терпеть не могут Россию. О Вильсоне стали говорить, что он имеет симпатии к большевикам и желал бы устроить где-либо мирное совещание между ними и их русскими противниками. Американского президента газеты еще называли светочем человечества, но жар их в этой оценке заметно уменьшался во всех странах.

— Нет, ничего они для нас не сделают, хотя Россия потеряла в войне, верно, в двадцать раз больше людей, чем Соединенные Штаты! — с горечью говорил Тонышев.

Изредка у наиболее известных русских дипломатов союзники без большого интереса еще о чем-то вежливо осведомлялись. Но, видимо, были очень довольны, что Россия к переговорам не привлечена, что она больше никому не нужна, что ей ничего не нужно отдавать из плодов победы, — вполне с нее достаточно того, что отменен Брестский договор.

В посольстве на улице Гренелль Тонышев беспрестанно встречал старых и более новых политических деятелей — в душе предпочитал первых, если они не были уж совершенными зубрами. Новые его несколько раздражали: «Все они только себя считают людьми будущего или даже настоящего, а с представителями старого строя разговаривают разве по доброте и снисходительности. Забавно, что они называют большевиков «захватчиками» и «узурпаторами». А кто же были они сами? В феврале был такой же захват власти, как в октябре. Так тушинский вор приказывал драть кнутом всех следующих Лжедмитриев». — раздраженно думал Тонышев. Впрочем, теперь его раздражало почти все. Раздражали намечавшиеся условия мира, — «все-таки немцы воевали геройски и в прежние времена, при монархиях, о них хоть говорили бы не в таком тоне. Кончились рыцарские традиции! Где это видано: заключать мир, даже не вступая в переговоры с побежденным противником? И какая цена такому миру!» Раздражало его торжество «всевозможных Бенешей». «Бенеши» с необычайной быстротой появились и на территориях Российской Империи. Объявили эти территории независимыми, приезжали в Париж с большими деньгами, устраивали приемы для печати, и их встречали гораздо лучше, чем прежних русских послов.

— Все торчали в приемных немецких министров и генералов, когда у тех дела шли хорошо. А теперь из Берлина кружным путем приехали в Париж и торчат в приемных союзных министров! И совершенно забыли, что были когда-то в России членами Думы или Временного правительства или же занимались мирно кто адвокатурой, кто службой, кто коммерцией, ни минуты и не думая об отделении своих стран! — говорил он жене.

Нина Анатольевна с ним соглашалась, но не так гневно. Ее забавляли фамилии министров и делегатов новых стран.

— Послушай только, — говорила она, отрываясь от газеты. — Топчибашев, Мехмандаров, Мейровиц, Поска, Сабахтарашвили! А по имени одного зовут Али-Мардан-бек! On ne s'appelle pas Ali-Mardan-bek! *

Это замечание Алексею Алексеевичу не понравилось. Позднее он чуть не устроил жене сцену за то, что она произнесла слово «бош».

— По-моему, это так же некультурно, как говорить «жид» или называть изменника Троцкого Лейбой!

— Алеша, да ведь все теперь говорят «бош».

— Именно все. Это и очень скверно.

Поездка Буллита и предложение союзников русским встретиться с большевиками на Принкипо привели Алексея Алексеевича в совершенное

* нельзя иметь такое имя — Али-Мардан-бек (франц.)

бешенство. Тут он сходился со всеми русскими политическими деятелями, и старыми и новыми.

— Замечательный психолог ваш Вильсон! — сказал он в сердцах старому знакомому, нейтральному дипломату. — Хороша была бы встреча! Я первый вцепился бы в горло этим господам!

— Но что же вы предлагаете? — спросил дипломат с недоумением. Он никак не представлял себе, чтобы Тонышев мог вцепиться в горло кому бы то ни было.

— Я предлагаю то единственное, что может предложить разумный человек: союзные правители в помощь Деникину и Колчаку должны предписать маршалу Фошу двинуть войска против большевиков. И еще лучше предписать это сделать немцам: они у нас большевиков посадили, пусть они их и свергают. И, поверьте, большевики трясутся от ужаса: только этого они и боятся.

— Да ведь это невозможно!.. А если все вы, les ci-devant *, так думаете, то я не сомневаюсь, что союзники будут очень рады: они только и хотят, чтобы вы отклонили их предложение.

— Может быть, они будут рады не очень долго, — ответил Алексей Алексеевич. — Впрочем, хороша теперь и их собственная трогательная дружба.

Действительно, маленьким, очень маленьким утешением для него было то, что союзники уже все ненавидели друг друга. По Парижу ходили рассказы: Клемансо больше не раскланивается с Вильсоном. Соннино называет президента Соединенных Штатов «американским сапожником». На заседании Трех Отец Победы назвал Ллойд-Джорджа лгуном, а Ллойд-Джордж, чуть ли не схватив его за воротник, потребовал извинений, так что Вильсон, почти одинаково ненавидевший обоих, еле их разнял; французский премьер отказался принести извинения английскому премьеру, но выразил полную готовность дать ему удовлетворение по его выбору на шпагах или на пистолетах (это очень понравилось Тонышеву). Со смехом говорили о мерах, принимавшихся в Париже иностранными полициями к охране своих высокопоставленных особ: хватали всех, чьи лица казались подозрительными. Так, американские сыщики, уж совершенно никого в Европе не знавшие, приняли Клемансо за анархиста и арестовали его у входа в «Отель Крийон»; а их товарищи по той же причине задержали в холле «Мажестика» маршала Фоша, явившегося в штатском платье на завтрак к начальнику британского генерального штаба.

Все эти рассказы очень веселили Париж и еще способствовали радостному оживлению. Об условиях мира никто в населении не думал. Важно то, что войны больше никогда не будет. С удовольствием узнавали о создании новых государств и спрашивали друг друга, какие у них столицы и есть ли у них уже гимны. Тем не менее французам нравилось, что Отец Победы покрикивает на представителей малых стран; орал на Венизелоса в споре о греческих делах, обвиняя его в непонимании и в невежестве. Клемансо, особенно после покушения на него анархиста, был на вершине популярности. Все знали, что он будет президентом республики и только с тревогой спрашивали, сохранит ли он свои умственные способности до конца президентского срока: все-таки ему тогда будет уже под девяносто лет. Кое-кто по этой причине нерешительно предлагал кандидатуру Поля Дешанеля. В общем оживлении невольно принимали участие и русские. Некоторые из них, еще имевшие дипломатический паспорт и связи, иногда получали приглашения на приемы. Мог бы добиться приглашения и Тонышев, но он ничего для этого не сделал и почти ни у кого из иностранцев больше не бывал.

Уже после подписания мирного договора в посольстве, где по-прежнему без большого дела собирались видные люди, он встретил знакомого политического деятеля, только что приехавшего из России кружным путем через Японию и Соединенные Штаты. Тот после доклада крепко пожал ему руку и выразил сочувствие.

— В чем?.. В чем?.. — спросил Алексей Алексеевич, бледнея. Знакомый удивленно на него взглянул и пожалел о своей оплошности.

* бывшие (франц.)

— Да я слышал... О брате вашей жены... Я не думал... Может быть, я и ошибаюсь?..

— Что такое? Ради Бога, скажите правду!.. Мы ничего не знаем!

Он узнал, что Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна в Москве покончили с собой.

VI

Ласточкиным было сказано, что оставаться в клинике можно «сколько понадобится», но это были слова неопределенные. Разумеется, их не гнали, их по-прежнему очень хвалили врачи и сиделки. Но они сами понимали, что оставаться без конца нельзя. Недели через три Скоблин, встретившись в коридоре с Травниковым, пригласил его в свой кабинет. Никита Федорович испуганно на него взглянул: давно ждал неприятного разговора. Вышло все же не так плохо. Хирург сказал, что необходимо перевести Дмитрия Анатольевича из отдельной комнаты в общую палату и просил его к этому подготовить:

— ...Вы сами понимаете, как обстоит дело. Я уже, разумеется, отказал по крайней мере десяти человекам, находящимся в таком же положении, как он. Все московские больницы битком набиты людьми. А отдельные комнаты теперь уж величайшая редкость. В прежние времена, до них, это было отчасти связано с денежным вопросом и больные рассматривали перевод в общую палату как какое-то понижение в чине. Но теперь все бесплатно, в этом я отдаю им справедливость, так что вопрос уж совершенно не в этом. Дмитрий Анатольевич вне опасности. Лучшим его положение вряд ли станет. Уход в общей палате точно такой же. Я обхожу всех больных каждый день. Кроватей в палате, разумеется, только восемь.

— Значит, в общей палате они могут оставаться сколько угодно?

Скоблин развел руками.

— «Сколько угодно»! Разве теперь можно заглядывать хоть на месяц вперед. Меня и самого могут выставить в любую минуту. Удивляюсь, как не выставили до сих пор... Татьяна Михайловна никогда с вами о будущем не говорила?

— Говорила о возвращении домой. Им оставили две комнаты. Тоже могут в любую минуту одну отобрать.

— Две комнаты — огромное преимущество. Во всяком случае, ей было бы удобнее, чем спать на диванчике.

— Если есть что, о чем она, несчастная, совершенно теперь не думает, то это о своих удобствах!

— Да, я понимаю. Она очень достойная женщина. Но в общей палате она, разумеется, оставаться на ночь не может... Они, помнится, во втором этаже живут?

— Во втором.

— Разумеется, костыли и повозочка есть, но о том, чтобы он спускался по лестнице, нет речи. В первое время мы могли бы посылать служителей, чтобы они его сносили вниз. Впрочем, и не такая радость ездить в повозочке по улицам... Как знаете. По-моему, лучше ему полежать, пока можно, в общей палате. Жить же ему, разумеется, не очень долго, как, впрочем, и нам всем. Жили и померли, и ничего такого нет. Разве вам, Никита Федорович, страшно?

— А вам нет? — сердито спросил Травников.

— Разумеется, нет.

Татьяна Михайловна мучительно колебалась. Ей казалось невозможным уходить от мужа на ночь. Решил вопрос сам Дмитрий Анатольевич.

— Давно пора вернуться!.. И не надо откладывать! — прошептал он еле слышно, но решительно.

Металлическая мыльница находилась дома. «Да если б была и здесь, то как же можно это сделать в общей палате?» Он думал о самоубийстве с каждым днем больше и только с ужасом поглядывал на жену. «Что я ни сделал бы, один из жизни не уйду».

Было решено переехать через два дня. Точно чтобы их утешить, Скоблин разрешил Татьяне Михайловне читать вслух мужу.

— Разумеется, часика два-три в день, не больше. И не газеты, а книги, и такие, которые не могли бы его волновать, — сказал он и сам принес бывший у него в кабинете том Пушкина.

Дмитрию Анатольевичу и не хотелось слушать, но это было морально легче, чем разговаривать или молчать с женой. Сначала он только делал вид, будто слушает. Затем стал вслушиваться.

— Какая у него... мудрость,— еле слышно выговорил он.— Всем надо учиться... Да, именно «благословен... и тьмы приход»...— Он вспомнил эту музыкальную фразу Чайковского, всегда сильно на него действовавшую, и незаметно смахнул слезу. Руки у него уже работали сносно. «Чтобы проглотить, сил хватит»... И тотчас та же фраза отозвалась в памяти Татьяны Михайловны.

Его перевезли домой в карете в сопровождении младшего врача и сиделки. Служители подняли его в квартиру. В передней подростки молча смотрели на него, как на диковинку. Доктор обещал наведываться часто. Сиделка обнялась с Татьяной Михайловной и сказала, что будет приходить каждый день. «Скоро будете, Дмитрий Анатольевич, совсем в порядке»,— обещал врач. Приехал и Никита Федорович с какой-то едой. Он посещал Ласточкиных ежедневно и, как их ни любил, уходил от них всегда с облегчением.

Они остались одни. За стеной шумели подростки. «Верно, обмениваются впечатлениями»,— подумал Дмитрий Анатольевич. Жена подошла к нему, спросила, удобно ли лежать, было ли лучше в клинике. Он чуть наклонил голову и глазами дал понять, что хочет поцеловать ей руку. Чувствовал к ней все бóльшую жалость. «Господи! Если б не она, как было бы просто!.. Ведь выходит: почти убийство»...

Как ни худо было в клинике, дома оказалось неизмеримо хуже. Быть больным в Морозовском городке казалось естественным. Вернее, там все пациенты жили искусственной, временной жизнью. В определенные часы приходили врачи и сиделки, измеряли и записывали температуру, давали лекарства, делали впрыскиванья. В случае надобности можно было немедленно вызвать дежурного врача. Он тотчас делал необходимое и действовал одним своим успокоительным видом. В определенные часы приносилась больничная еда, о ней заботиться не приходилось, и она была все же несколько лучше той, которую можно было достать дома. Теперь была окончательная жизнь, и все лежало на Татьяне Михайловне.

Она уходила на час или два и кое-как доставала еду. Весь остальной день сидела так же при муже. По-прежнему приезжал Никита Федорович и говорил одно и то же: «Вид нынче у вас прекрасный. Вот видите, барынька, поправляется богдыхан! Ведь и болей больше почти нет...» Просил не беспокоиться о деньгах. Между тем совершенно не знал, где их достать. Об университетской пенсии говорить не приходилось. Дмитрий Анатольевич прочел всего одну лекцию. Все же Травников немного надеялся, что могут, ввиду исключительных обстоятельств, дать единовременное пособие, и искал хода к народному комиссару. Татьяне Михайловне ничего об этом не говорил. Провожая его в переднюю, она благодарила, иногда со слезами:

— Вы относитесь к Мите просто как родной брат. Век буду жить — не забуду!

— Полноте, барынька,— отвечал он и думал, что едва ли она будет «век жить».

Знакомые говорили о Дмитрии Анатольевиче: «Он несет свои крест с великим достоинством». Это до него доходило. «Да, крест,— думал он.— Но откуда же взяться великому достоинству? Живу милостыней... А эти грязные, ужасные заботы о моем обрубленном теле, об его отправлениях!»... Теперь и жизнь после октябрьской революции, его прогулки по старой Москве, все казалось ему чуть не раем.

VII

«Каждое поколение занимает в истории человечества приблизительно одну сотую ее долю,— думал Дмитрий Анатольевич. Устало проверил: — Да, приблизительно одну сотую... Едва ли было когда-либо поколение, подобное нашему. Мы как-то отвечаем за полвека истории. Виноваты? Да, вероятно, но в чем? И что же я и лично сделал уж такого дурного? Жил честно, никому не делал зла, по крайней мере умышленно или хотя бы только сознательно. Работал всю жизнь много, помогал работать и жить другим, старался приносить пользу России. За что же именно меня так страшно покарала жизнь? Правда, покарала лишь под конец. До того и я, и Таня были счастливы, на редкость счастливы. Неужто именно за это покарала? В России теперь почти все несчастны, но не все и не так несчастны, как мы. А в других странах счастливы тысячи, миллионы людей хуже, чем был я, неизмеримо хуже, чем Таня».

Против его воли, он замечал, в его душу прокрадывалось то, что называли ядом материализма. «Что же делать, как они ни гнусны, но кое-что у них правильно, по крайней мере, в отрицательной части их учения. Как можно было бы объяснить мое несчастье с религиозной точки зрения? Никак нельзя: не «испытанием» же! А с точки зрения нашего учения? Какое же было наше учение? Лавров, Михайловский, Плеханов, Милюков? Ведь со всеми различиями между ними, они в каком-то смысле одно и то же. Вера в прогресс? Эта вера моего случая не предвидит и к нему не относится. Большевики по крайней мере откровенно думают: личность не имеет значения, пропал человек, ну и пропал, какое кому дело? И так оно и есть: никому, кроме Тани, до меня никакого дела нет. И даже Травников уже, вероятно, немного нами тяготится и в душе, бессознательно, желает, чтобы я умер поскорее, а то слишком много забот... Нет, несправедливо и гадко так думать, я знаю. Но чем же я виноват, если этот яд уже проникает в мою душу, как, верно, проникает в душу всех. Разве недавно люди не мечтали при мне вслух о германской интервенции, о войсках Гинденбурга в Москве? Мне теперь и Гинденбург ничем помочь не мог бы... И никакой свободный строй... Но все-таки, вдруг все-таки есть загробная жизнь? Ах, дай-то Бог!!! И как же я об этом, о самом главном, думаю так мало!»

Ему не раз приходилось читать, будто люди на пороге смерти, например, смертельно раненные в сраженье, думают необычайно напряженно, в какую-нибудь одну минуту вспоминают всю свою жизнь. С ним в день несчастья этого не было. Тогда на мостовой он мгновенно потерял сознание. Затем в клинике как будто на мгновение пришел в себя, как будто даже узнал Скоблина, и скользнула мысль: «Хорошо, что он здесь... Кажется, со мной несчастье... Где же Таня?»... Слышал негромкие голоса, слов не разобрал. Не операция ли? Успел еще подумать, что, быть может, в жизни больше ничего не увидит, кроме этого серого потолка с люстрой с режущим глаза светом. Показалась рука в белом рукаве. Анестезист! И все померкло. Он пришел в себя лишь в маленькой комнате клиники. Но твердо помнил, что никаких воспоминаний о жизни, никаких важных мыслей, ни даже желания что-то вспоминать, о чем-то думать у него на операционном столе не было. Не было их и в первые дни после ампутации ног, когда он понял, что навсегда стал калекой, обрубком.

Мысли о самом важном пришли позднее. Теперь он больше всего думал о будущем. Если в самом деле есть будущее? Ведь в это твердо верят миллионы людей! Думал и о настоящем, меньше о прошлом. Думал о житейских делах. Он догадывался, что Никита Федорович не мог выручить за картину три тысячи. Догадывался, что для него собирают деньги. В первую минуту это причинило еще новую душевную боль. Представил себе, как ходит по знакомым Травников, как некоторые дают, другие отказывают, быть может, ищут предлога для отказа: «У меня, к несчастью, у самого сейчас очень мало»... «Я сердечно сочувствую, они хорошие люди, но кругом так много горя, а я ведь их и мало знал». Особенно больно ему было за жену: «И через это прошла!»...

«Что ж, я, когда мог, немало помогал людям»,— тяжело дыша, отвечал он себе, не решаясь взглянуть на сидевшую рядом жену. Не хотел сказать ей: «Может, она не догадывается?» Если она прежде и не догадывалась, то теперь точно прочла его мысли, по той же все усиливавшейся между ними телепатии. И он прочел ее слова, почти такие же: «Сколько ты сделал для других! Чем мы лучше? И мы все отдадим, когда падут большевики». Он теперь твердо знал, что не доживет не только до падения большевиков, но и до будущей недели: беспрестанно думал, что нельзя откладывать дело: «Чем скорее, тем лучше и легче». И еще подумал:

«Мы не отдадим, но Аркаша отдаст. И действительно теперь это уже и неважно».

Когда-то, еще до войны, Ласточкин решил составить завещание. Сказал об этом жене, та отнеслась к его решению иронически.

— Самое неотложное дело! Перестал бы ты думать о пустяках!

— Вовсе это не пустяки. Все под Богом ходим. Мало того, надо и место нам купить на кладбище. Это многие делают.

Мысль о покупке общего места на кладбище была ей менее неприятна, но она продолжала шутить:

— Хорошо, тогда и я составлю завещание. Ты ведь мне подарил немало денег. Только я завещаний составлять не умею. Составь сам. Разумеется, в свою пользу. Так и быть, все отдам тебе, а не душке Собинову и не футуристам.

— Я тоже не знаю, как составляются завещания. Приглашу Розенфельда,— сказал Дмитрий Анатольевич. Это был его деловой адвокат и их приятель.

Адвокат одобрил мысль о двух завещаниях.

— Каждый из нас обязан об этом подумать. И я подумал, хотя я лишь не намного старше вас. Помню, что мне говорил мой знаменитый коллега, покойный Спасович: «Я понимаю, что можно без завещания умереть, но не понимаю, как можно без него жить»,— смеясь, сказал Розенфельд.

— Это верно. Ну, а если б, Олег Ефимович, я умер без завещания? Кому тогда все достанется? Моей жене?

— Нет, ей только часть. Ведь могут быть и другие наследники по закону.

— Тогда составим два завещания.

Они и были составлены. Ласточкин поделил треть своего состояния между Московским университетом, Техническим училищем и Академией наук, две трети завещал жене: она все завещала ему. Они побывали на кладбище и приобрели два места.

Теперь у него ничего не было. Отпали и прежние законы. Можно было только надеяться, что после освобождения России завещание будет признано действительным. Имея это в виду, Ласточкин мысленно составил письмо Рейхелю. Просил его, «когда будет можно», уплатить его долги, о которых ему скажет профессор Травников,— знал, что его воля при безукоризненной честности Аркадия Васильевича будет непременно исполнена.

Никита Федорович пришел в обычный час. Принес, как почти всегда, подарок, и дорогой: кусок белого хлеба. Татьяна Михайловна обычно пользовалась его приходом, чтобы выйти из дому за покупками: не хотела оставлять мужа одного. Ласточкин продиктовал Травникову письмо. Тот смущенно увидел упоминание о долгах и что-то, растерявшись, пробормотал.

— Какие долги! Может, будут, но пока их нет. Увидите, я и пенсию вам выхлопочу,— сказал он и пожалел, что сказал.— Пенсию от университета,— поспешно добавил он.

Безжизненное лицо Ласточкина чуть дернулось: «Получать и от них милостыню!» Он ничего не ответил.

— Еще к вам... просьба,— прошептал он.— Не привезете ли мне... книг?.. Из университетской библиотеки?

— С большим удовольствием. Но у вас так много своих. Неужели все прочли?

— Я всегда читал... то, что покупал,— выговорил он и подумал, что это было некоторым преувеличением. «И перед... этим... не вся правда». Кое-как объяснил, что хотел бы теперь прочесть лучшие философские книги о смерти.

Никита Федорович сердито запротестовал. Но обещал завтра же все принести. Вернулась Татьяна Михайловна, быстро взглянула на них и поправила мужу подушку.

На следующий день Травников привез книги Платона, Шопенгауэра, что-то еще.

— А все-таки читайте их поменьше,— сказал он неохотно.— Они утомительны, да и ни к чему.

После его ухода Татьяна Михайловна стала вслух читать «Федон». Ласточкин слушал внимательно, но в самом деле скоро утомился.

— Кажется, Никита Федорович был прав... Отложим это... Почитай мне лучше... вечного утешителя... Толстого.

— «Войну и мир»? — радостно спросила Татьяна Михайловна.

— Нет... «Смерть Ивана... Ильича».

— Ради Бога, не надо! Это такая страшная книга!

— Прочти, пожалуйста... И не с начала... Конец. Болезнь и смерть... Ну, пожалуйста...

Татьяна Михайловна начала читать. Скоро она заплакала.

— Не могу... И ведь это совершенно не похоже на то, что с тобой. Ты, слава Богу, не умираешь, и нет у тебя этих страшных болей...

— Конечно, нет... Хорошо... Тогда потуши лампу...

«Он думает: «Все было не то»... И я так думаю, и, верно, очень многие другие. «Да, «не то». Но что же «то»? Этого Толстой не объяснил, и нечего ему было ответить... В конце сказано: «Вместо смерти был свет... Какая радость!»... Нет света и нет радости. Но ведь не мог же Толстой лгать... Он был полубог. Иван Ильич три дня подряд кричал от боли ужасным, непрекращающимся криком... И я буду так кричать?.. Нет, не хочу. Насколько разумнее покончить с собой! — думал Ласточкин.— Только поскорее!..»

В этот вечер он сказал жене о металлической мыльнице.

VIII

Все было тщательно обдумано. Обдумывалось уже второй день.

Накануне еще приводились доводы. Татьяна Михайловна почти не спорила. В душе была с мужем согласна: действительно другого выхода нет. Понимала, что долго так жить нельзя. «И нельзя, и незачем»,— шептал Дмитрий Анатольевич. Вдобавок профессор Скоблин в разговоре с Татьяной Михайловной проговорился. «Непосредственной опасности я не вижу. Я знаю людей, которые с такими увечьями живут уже несколько лет»,— сказал он. И на доводы мужа Татьяна Михайловна теперь с искаженным лицом только шептала:

— Но ведь это никогда не поздно...

— Может быть, и поздно... Даже в менее важном... Пока мы честные люди... А если... если будем жить их милостыней... То деградируем, как все,— сказал Ласточкин и вспомнил о «теории самоубийства», которую приписывали Морозову: самоубийство всегда для человека — самый достойный способ ухода. «Он так думал в то время, что же он сказал бы теперь, в моем положении? Хорошо, что достал тогда яд. Без него было бы трудно: газ открыть — взорвется весь дом. И заметят жильцы, закроют, будут лечение, грязь, мука»...

Когда решение было принято, обоим стало немного легче. Вернее, они скрывали друг от друга ужас и нестерпимую боль. Говорили спокойно. Дмитрий Анатольевич говорил, что смерть от цианистого калия наступает мгновенно, без мучений. Татьяна Михайловна отвечала, что не беда, если мучения продлятся несколько минут: при естественной смерти бывает неизмеримо хуже. Деловито обсуждали подробности. Написать ли Никите Федоровичу?

— По-моему, не надо.

— Да, это могло бы привлечь к нему внимание властей.

— Именно... Его вызывали бы...

— Все-таки не написать ничего, это было бы ему обидно. Мы стольким ему обязаны.

— Это так... Что ж, попробуй... Напиши...

Она попробовала, начала писать: «Дорогой друг, Никита Федорович. Нам тяжело причинять вам горе, которое»... Но махнула рукой и, несмотря на деловитость, вдруг заплакала. Горе Никиты Федоровича было ничто по сравнению с мукой этого последнего дня их жизни. Слезы полились и у Дмитрия Анатольевича. Она налила ему воды из графина, налила и себе.

— Из этих самых стаканов,— сказала Татьяна Михайловна уже опять «спокойно». «Господи, зачем мы ждем? Сейчас, сейчас, сию минуту!»

Было решено покончить с собой в одиннадцатом часу вечера, когда лягут спать жильцы. Они могли бы что-либо услышать, заглянуть, позвать врача, полицию. Ласточкин знал, что цианистый калий легко разлагается: если хоть немного разложился в мыльнице, то и смерть наступит не сразу.

— Пусть лучше узнают завтра. Сиделка зайдет и увидит. Она знает адрес Никиты Федоровича,— говорила Татьяна Михайловна.— И он поймет, почему мы не написали. Не пишем ведь ни Люде, ни Нине, ни Аркаше... А вот властям надо написать несколько слов. А то еще подумают, что нас отравили!

— Ах, да! — сказал Дмитрий Анатольевич и почему-то очень взволновался.— Непременно!.. Я тебе... продиктую.

Задыхаясь, он продиктовал записку:

— «Не надо искать... виновных... Это -- самоубийство... В стаканах... в мыльнице, на... ложечке . остатки яда . Все вымыть... Самым тщательным... Убедительно просим. . похоронить нас... непременно вместе... Подчеркни «непременно».

Оба заплакали.

— Подпиши, дорогая.

— Мы пропустили «образом». Самым тщательным образом... И за тебя подписать.

— За нас обоих... Все было... за нас обоих... Нет, лучше, я тоже... А то подумают... ты меня убила,— сказал он и постарался улыбнуться; вышла страшная гримаса.

— Тогда я достану твои очки,— из последних сил сказала Татьяна Михайловна.

— Найди, пожалуйста... Нет, дай мне твои. У нас ведь... один номер... Даже номер очков... был общий. Так... Спасибо...

Она положила свою записку на том Платона и, придерживая ее на переплете, поднесла ему с пером. Он вывел: «Дм. Ласточкин»; по привычке вывел даже росчерк, который делал столько лет на бумагах.

— Теперь в порядке... Не подумают... что ты меня убила... На самом деле... я тебя убил, милая, дорогая моя,— прошептал он. И слезы снова покатились по его щекам.

— Не говори, ни слова не говори!.. Обо всем поговорили, нет другого выхода... Это я тебя убила... Тогда... Трамвай.— Она теперь задыхалась, почти как муж.— Митя, Митенька, выпьем сейчас.

Он чуть наклонил голову.

— Да.

— Сейчас? Сию минуту?

— Сию минуту.

Она быстро подошла к столу, открыла мыльницу и высыпала яд в стаканы.

— Я высыпала... пополам.

— Пополам... Достаточно на... сотню людей... Размешай... Хорошо размешай.

Стараясь не дышать, она размешала. Почувствовала миндальный запах. Расширенными глазами он следил за ней.

— Размешала?

— Размешала. Не все растворилось.

— Это неважно... Положи записку на стол... Положи на нее часы... Так... Теперь... в последний раз...

Она поставила оба стакана на ночной столик и обняла его.

— Ну, вот... Прощай, Митя... Прощай, мой ангел...

— Прощай, милая... Золотая... Прости меня, прости за все...

— Не за что... Ты меня прости... Сейчас, а то не хватит сил...

— У тебя глаза... Точно такие... Какие были... тридцать лет тому назад... Прощай, дорогая... Нет, до свидания... Есть вечная жизнь.

— Есть... Есть... Не может быть, чтоб не было. До свидания, Митя, мой Митя.

IX

Всю зиму 1921—22 гг. Ленин чувствовал себя нехорошо. Врачи качали головой: сосуды в очень плохом состоянии, сильный склероз. Советовали поменьше работать и в особенности поменьше волноваться. Он смотрел на них с усмешкой, но согласился уезжать иногда на отдых. Было выбрано имение Горки, принадлежавшее до революции вдове Саввы Морозова.

Оно понравилось Ленину: хорошо устраивались буржуи. Впрочем, дом был не очень роскошный: двухэтажное здание с шестью колоннами, в высоту обоих этажей, с балюстрадой, с несимметричными пристройками слева и справа. Был парк. Ленин велел устроить электрическое освещение. Выбрал себе комнату — вместе спальную и кабинет. В ней был хороший письменный стол — такой, о каком он мечтал за границей, с пятью ящиками,— пожалуй, такого у него не было и в Москве: в Кремле он поселился в самом скромном помещении. Другие сановники тоже устроились там скромно,— это было лучше: часто принимали «представителей рабочих, крестьянских и общественных кругов» — те всегда назывались именно «представителями»,— так уж повелось с очень давних времен. Зато многие сановники облюбовали себе для отдыха великолепные княжеские подмосковные,— туда «представители» не приглашались. Ленин же исторических подмосковных не хотел. Горки были от Москвы всего в тридцати пяти километрах, люди могли ездить к нему и туда, и он от них не скрывал: да, утомлен, врачи велят отдыхать, как прежде буржуи, ничего не поделаешь.

Ездили к нему и сановники, делали доклады, он слушал внимательно, но с меньшим вниманием, чем прежде, без прежнего страстного интереса,— сам этому удивлялся с очень неприятным чувством. Впрочем, иногда еще приходил в бешенство. Раз, прочитав в газете какое-то заявление Чичерина, с яростью написал в Москву (даже без «совершенно секретно», зато с «очень срочно»): «Отправьте Чичерина в санаторию». Впрочем, это приказание было символическим: надо было, чтобы виноватый народный комиссар понял весь его гнев (иногда и он дружески советовал усталым подчиненным поехать куда-нибудь отдохнуть). Но ему и в голову не могло прийти отправить большевика, даже грешного, в ссылку, в тюрьму или в застенок Лубянки. Такая мысль показалась бы ему дикой: ведь они были не просто какие-то люди, а большевики, его сподручные, помогавшие ему создать партию.

Из посещений сановников ему доставляли удовольствие приезды Пятакова. Его докладами тоже не восхищался и ставил его лишь немногим выше, чем большинство своих сотрудников: почти всех считал болванами и горестно удивлялся тому, что так мало у него настоящих людей. Но лично Пятакова да еще Бухарина «любил», хотя и их часто очень ругал. Главное же: Пятаков был прекрасный пианист и по его просьбе целый вечер играл ему Баха, Бетховена, Шопена. Он наслаждался,— новую музыку терпеть не мог. Велел прислать в Горки собрания сочинений Пушкина, Некрасова, Толстого,— вероятно, это вызвало в Кремле общее изумление. Читал тоже с наслаждением и сожалел: наше дурачье так не пишет.

С гораздо меньшей злобой он думал о старой России вообще. Вспоминал свое детство в Симбирске, их дом, Волгу, деревню, и, как всем пожилым, особенно больным, людям, ему казалось, что тогда он был гораздо счастливее, чем теперь. Случалось, приезжавшие к нему гости осматривали дом и парк, насмехались над дворянчиками-помещиками угнетавшими до их революции народ. Он хмуро говорил, что сам вышел из дворянства — и не он один. Думал, что не так хорошо живется народу и при них. Этого не говорил, но гости смущенно умолкали.

Иногда он ездил по соседним селам и разговаривал с крестьянами. Расспрашивал их, как они живут. В этом было что-то от прежних либеральных помещиков, и, должно быть, он сам это чувствовал, хотя, как и помещики, верил, что мужики говорят ему правду. Они смотрели на него испуганно, старались угадать, что нужно барину, жаловались на дела, стараясь все же не слишком поносить бурмистров: еще осерчает. После таких поездок он возвращался домой в угрюмом настроении. Стоявшее в кабинете-спальне трюмо отражало бледное, очень усталое лицо. Он старался не смотреть в зеркало: знал, как изменился и состарился.

То, что голодала прежняя буржуазия, разумеется, могло быть ему только приятно. Нисколько не жалел он и интеллигенцию — она незаметно с буржуазией сливалась, так что иногда и различить было нельзя. Но лишения крестьян были другим делом. И уж совсем тяжело ему было то, что в еще худшей нищете, чем при старом строе, жили рабочие, тот самый

пролетариат, о котором он говорил и писал всю свою жизнь. За исключением небольшого числа добравшихся до власти выходцев, рабочие действительно помирали с голоду — прежде эти слова были все-таки лишь очень хорошим фигуральным выражением в полемике. Разумеется, можно было уверять, что это временно, что скоро они будут жить превосходно. Но их положение все ухудшалось, и они сами больше в будущий земной рай не верили. Он еще продолжал что-то твердить об исторической миссии пролетариата, но эти слова, вообще означавшие немногое, теперь превращались в насмешку над собой. Вдобавок выходцы из «рабоче-крестьянской бедноты» на работе оказались не лучше, а хуже, чем большевики, вышедшие из буржуазии. Кухарка, оказывалось, не умела править государством.

Экономическую политику пришлось изменить. Он не мог не понимать, что это значило признать свою собственную ошибку: правы оказались враги,— их тем не менее нужно было по-прежнему всячески поносить. Разумеется, он, как всегда, посоветовался с Карлом Марксом и тоже, как всегда, Маркс поносил его врагов и очень одобрял нэп. Ленин мог думать, что таким же нэпом все и кончится. Колоссального резервуара потенциальной энергии, открытого в восемнадцатом веке Французской революцией, хватило для очень больших дел — и он привел к религии Наполеоновского кодекса. Такой же религией десятого тома царских гражданских законов, торжеством идеи частной собственности, вероятнее всего, хоть и нескоро, могла кончиться и советская революция.

15 мая 1922 года ему представили на рассмотрение проект нового уголовного уложения — последний законопроект, который он видел до болезни. Он рассмотрел и внес поправку: надо расширить применение смертной казни за контрреволюционную деятельность. Через десять дней с ним случился удар, правда, относительно легкий. У него отнялась правая рука и расстроилась речь.

Переполох в Кремле вышел большой. Люди и прежде, конечно, замечали, что Ильич как будто чувствует себя нехорошо, очень устал. Но слово «удар» всех потрясло: что, если кончен? Что тогда — или, вернее, кто тогда? Начиналась новая эра. Сановники допрашивали врачей и сообща, и порознь. Врачи отвечали скорее уклончиво; говорили, что есть надежда на выздоровление.

Происходили секретные и секретнейшие совещания. Возможные преемники усердно работали в свою пользу. Обсуждались главные кандидаты: Троцкий, Зиновьев, Сталин, Каменев, Рыков, Бухарин. Первых трех все ненавидели, даже многие их «сторонники». Кое-кто втихомолку говорил, что для должности главы правительства не очень удобны евреи и грузины. Быть может, на Каменеве все-таки сошлись бы. Еще легче на Рыкове. И все понимали: кто бы ни был посажен, падение — после Ленина — будет огромное, очень опасное.

Вождя больше не было. Ленин был всемогущ, перед ним склонялись беспрекословно, почти безропотно: Ильич! Его и прежде некоторые считали гением. Назвал его гениальным и человек противоположного лагеря, царский министр Наумов, просидевший с ним несколько лет на одной гимназической парте в Симбирске. Действовал на людей и гипноз. Теперь большевистские сановники, кроме Сталина и Троцкого, его боготворили, хотя не было среди них ни одного, которого он в тот или другой момент не осыпал грубой бранью. Каменев и особенно Бухарин на заседаниях не сводили с него влюбленных глаз. Теперь предположения (всегда начинавшиеся со слов «если» — если Ильич не поправится) склонялись к тому, что должен править «коллектив». Выбрать несколько человек было много легче, чем выбрать одно лицо, но и это было очень трудно.

Троцкого и в коллектив сажать никто не хотел: да, прекрасный оратор, хороший, хотя и раздутый искусной саморекламой, организатор, но большевик с 1917 года, прежний враг Ильича, честолюбец, фразер, шарлатан, невыносимый человек. Разумеется, он это знал: понимал, что ни в какие коллективы не пройдет, и его злоба все росла.

Сталина особенно поддерживали именно те, кого он впоследствии погубил. Поддерживали преимущественно для того, чтобы не нажить очень опасного врага,— партийный аппарат. Но втихомолку говорили, что Ленин, когда-то его открывший и долго к нему благоволивший, в последние годы очень его невзлюбил. Со слов Крупской, кое-кто грустно шепотом со-

общал, что Ильич собирается публично порвать со Сталиным личные отношения. Все втайне на это надеялись: это означало бы конец сталинской карьеры.

Комбинации коллектива менялись. Кандидаты с бóльшей или меньшей откровенностью считали себя совершенно необходимыми и обычно называли еще двух человек, менее им ненавистных, чем другие. Не-кандидаты говорили, что, собственно, коллектив существует с первых дней революции: Политбюро,— зачем же устраивать еще что-то новое? Другие высказывали мнение, что коллектив должен назначить сам Ильич,— но как с ним теперь об этом заговорить?

Говорить было незачем: Ленин и сам об этом достаточно думал. Сознание почти его не покидало. Крупская, еле сдерживая рыдания, учила его говорить: «Ре...во... Так, так, во. Правильно!.. Лю... Совершенно правильно!.. Люция... Ну, да, революция! Молодец Володя! Браво! Огромный успех! Увидишь, скоро все пройдет!»... Успех в самом деле был: способность речи понемногу вернулась.

Он снова стал работать. Как прежде, председательствовал на правительственных заседаниях, но не так, как прежде. Народные комиссары смотрели на него испуганно.

Несмотря на все запрещения и протесты врачей, он решил выступить на Четвертом Конгрессе Коминтерна.

Бесчисленная толпа в зале встретила его долгой бурной овацией, небывалой и среди многих оваций революции, вдобавок совершенно искренней (чтó случалось редко). Наконец оркестр заиграл «Интернационал». Все запели. Он делал вид, что поет,— выходило непохоже. Музыка кончилась. Загремела новая овация. Медленно, с усилием, толчками, он стал поднимать дрожавшую левую руку. В зале мгновенно установилась мертвая тишина. Он «заговорил»: сначала тихо, с большими перерывами, произносил отдельные слова, потом стал произносить их громче, быстрее,— вдруг его голос превратился в еле слышный шепот и оборвался. Клара Цеткин, которую он еще не очень давно назвал в письме «мерзавкой», бросилась на эстраду и поцеловала ему руку. Он посмотрел и на нее безжизненным взглядом, махнул левой рукой и, сильно шатаясь, направился к лесенке.

Через месяц произошел второй удар. И врачам, и сотрудникам, и ему самому стало ясно, что дело идет к концу. Отнялась вся правая часть тела. Пришлось допустить сиделок. Прежде он решительно от них отказывался и старался все делать левой рукой. Но сознание у него осталось, и это было самое ужасное. Он вызвал секретарей и составил свое знаменитое завещание.

Иные исторические деятели ничего не имели против того, чтобы их преемниками становились люди незначительные: для дела (если дело было) это было, конечно, нехорошо, но для их собственной славы в потомстве очень выгодно, как фон. У него этого чувства не было. Он старательно обдумывал достоинства и недостатки других вождей. Были более или менее подходящие люди, но не видел ни одного, кто мог бы его заменить. Наиболее выдающимися были Троцкий и Сталин. Он отметил в завещании их достоинства и недостатки. Удивительно, что главный недостаток Сталина он видел в грубости. Смутно догадывался, что именно к этому человеку перейдет вся власть. Эта мысль была чрезвычайно ему неприятна и даже страшна. Знал, однако, что и Троцкого все терпеть не могут. «Нет людей, никого нет, некому оставить дело!»

Вскоре после этого на заседании Политбюро, где были Троцкий, Каменев и Зиновьев, Сталин сообщил, что Ленин желает покончить с собой: требует присылки ему яда. «Я помню,— рассказывает Троцкий,— каким странным, загадочным, несовместимым с обстоятельствами мне показалось выражение лица Сталина. Просьба, которую он нам передавал, была трагична, между тем по его лицу, как по маске, бродила нездоровая улыбка». У Троцкого возникло подозрение, что никакой просьбы от Ленина не было и что Сталин просто хочет его отравить. Было ли это верно? Сталин мог догадаться, что Политбюро, во всяком случае, не положится на него одного, пошлет к Ленину других, поедет к нему в полном составе. С другой стороны, позднее Ленин, уже впав в полуживотное состояние, видя это при проблесках сознания, действительно просил товарищей, гораздо более

ему близких, доставить ему яд. Вероятно, тоже из-за смутных подозрений, Зиновьев поддержал решительное возражение Троцкого. Дело формально и не обсуждалось. «Поведение Сталина, весь его вид были непонятны и зловещи». Он не настаивал.

Что-то еще произошло: телефонный разговор Крупской со Сталиным. По поручению мужа она обратилась к генеральному секретарю с каким-то запросом. Оттого ли, что он считал Ленина уже полумертвым или просто потому, что был на этот раз не в силах скрыть свою к нему ненависть, Сталин ответил грубо и оскорбительно. Крупская заплакала и сообщила о разговоре мужу. Ленин пришел в ярость и продиктовал, наконец, записку.

Через четыре дня его разбил третий удар.

X

Теперь все было кончено. Больше он ни в чем не участвовал. Потерял способность речи. «Не мог выразить самой простой, примитивной мысли»,— говорит профессор Авербах. И очень сердился, что его не понимают. Знаменитые врачи, и русские, и выписанные из Германии, больше ничего не могли и посоветовать. Он почти не спал. В Москве ходила глухая молва, будто по ночам Ленин «воет, как собака», случайные прохожие в ужасе прислушиваются издали. Вместе с тем сознание и после трех ударов иногда ненадолго восстанавливалось. Жена и сестра находились с ним в Горках безотлучно. Приезжали сановники. Пятаков играл на рояле, и, по его словам, лицо Ленина преображалось и выражало детскую радость.

И вдруг он, к общему изумлению, стал как будто поправляться! Сознание вернулось. Чем было занято? Можно лишь догадываться. Едва ли много думал о далеком прошлом. Его детство было очень счастливым. Не мог пожаловаться и на отрочество, оно было самое обыкновенное, «буржуазное»; в гимназии был первым учеником, любил деревню, ее развлечения, ее радости. Но зачем думать о том, что было когда-то? Не вспоминал и о товарищах юности, тоже было, да сплыло. Едва ли много думал об отдаленном будущем: знал, что далеко заглядывать в будущее никто не может,— мог разве один Маркс?

Вероятно, больше всего он думал о себе, о человеке Ленине, дни которого сочтены. Думал, что оставляет жену одну. Вспоминал Инессу Арманд,— не все было глупо в том, что она порою робко говорила о «моральном начале». Он видел, что принес в мир больше страданий, чем кто бы то ни было другой в истории. Это особенно мучить его и теперь не могло: были готовые и совершенно бесспорные ответы. Да и прежде он не пользовался изречениями о «любви к ближнему» и «любви к дальнему»: не любил ни ближних, ни дальних.

Не могли особенно удручать его и принятые, беспрестанно повторявшиеся в публицистике слова о готтеитотской морали. Для Ленина уже больше двадцати лет хорошо и «нравственно» было то, что шло на пользу его делу, партии, пролетариату, а плохо и безнравственно то, что было им во вред. Следовательно, переоценки, кроме чисто словесной, не было. То, что прежде всеми и им самим называлось деспотизмом, злом, безобразием, теперь оказывалось прямо противоположным. Это было в порядке вещей и вытекало из истинного смысла его учения: г о в о р и т ь прежде надо было иначе, только и всего. И на него нисколько не действовали обвинения в том, что он прежде г о в о р и л другое: да, разумеется, прежде восхвалял свободу, проклинал гнет, клялся вести борьбу против смертной казни, распинался за идею Учредительного собрания; но только дураки могли не понимать, что теперь все было совершенно иным: к власти пришли он и его партия.

В самый день третьего удара он заканчивал диктовку статьи, которую неуклюже назвал: «Лучше меньше, да лучше». Не от нее ли и случился удар? Это последняя написанная им статья. В ней сказано:

«Надо во-время взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д., надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, что у нас есть сколько-нибудь значительное количество элементов для построения действительно нового аппарата, действительно заслуживающего названия социалистического, советского и т. п.»

Ему и раньше случалось призывать партию к «самокритике», к борьбе с собственным хвастовством, к проверке собственных действий, к сомнению в «элементах»,— под ними, верно, разумел людей. В той «речи», которую он произнес на Четвертом Конгрессе Коммунистического Интернационала, тоже были слова: «Надо учиться и учиться». Все же т а к он отроду не говорил и не писал. Все это — каждое слово — могли сказать и говорили меньшевики, социалисты-революционеры, либералы: именно «лучше меньше, да лучше». И как он, самоувереннейший из людей, мог высказать сомнение в том, «что мы хоть что-нибудь знаем»? Значит, и о н не знал? И Карл Маркс не знал? Было ли э т о его настоящим завещанием, а не бумажка с оценкой качеств его помощников? Не было ли и других сомнений?

10 октября он вдруг, ни с кем и ни с чем не считаясь, велел подать автомобиль, сел, тяжело опираясь левой рукой на палку, и, к общему ужасу, велел везти себя в Москву, в Кремль. Там его встретили, как встретили бы привидение. Он вошел в свой кабинет, опустился в кресло, посидел — и вышел.

«Накануне рокового дня Владимир Ильич чувствовал себя вялым,— писал Семашко.— Он проснулся в нерасположении, жаловался на головную боль, плохо ел. Проснулся на следующее утро он также вялым, отказывался от пищи и лишь по настойчивой просьбе окружающих он съел немного утром, за чаем, и немного за обедом. После обеда он лег отдохнуть. Вдруг домашние заметили, что он как-то тяжело и неправильно дышит».

В шесть часов вечера он потерял сознание. Температура быстро повысилась. Через пятьдесят минут он умер «от кровоизлияния в мозг, вызвавшего паралич дыхания».

Верно, половина человечества «оплакала» его смерть. Надо было бы оплакать рождеиие.

Этот роман — последнее из больших произведений Алданова, и написан он им незадолго до смерти. О смерти, о ее вероятной близости Марк Александрович часто говорил и, по-видимому, постоянно о ией думал. Кое-что из этих мыслей отразилось на общем складе «Самоубийства», в котором есть черты, напоминающие завещание.

Алданов был человеком слишком сдержанным, чтобы решиться на открытую, прямую передачу людям того, что было сущностью его жизненного опыта. О завещании я упомянул лишь в том смысле, что в «Самоубийстве» подведены некоторые итоги и что в этом романе Алданов высказал суждения, которые представлялись ему важнее других. Высказал он, пусть и крайне осторожно, также надежды, для себя непривычные, не совсем вяжущиеся с духовным обликом русского Анатоля Франса, а в конце концов, значит, вольтерьянца, каким принято его считать. Перед смертью в скептицизме Алдаиова появились какие-то трещинки, и именно те страницы романа, где это обнаруживается,— несчастный случай с Ласточкиным и все дальнейшее, сплошь до двойного самоубийства супругов,— принадлежит к лучшему, что им вообще написано.

Многим в последние годы казалось, что творческие силы Алдаиова мало-помалу иссякают. После «Истоков» — едва ли не самого значительного его произведеиия — почти все им писавшееся возбуждало некоторое разочарование, и даже у верных друзей, у самых убежденных почитателей его дарования, большой, причудливо построенный роман «Живи, как хочешь» не вызвал ни того интереса, ни тех откликов, на которые автор, вероятно, рассчитывал. Мастерство Алданова формально оставалось прежним. Но в замыслах его чувствовались усталость, рассеянность, растерянность, и самому мастерству его недоставало какого-то «чуть-чуть», которое вдохнуло бы в него жизнь.

«Самоубийство» — наряду с «Истоками»,— наоборот, полно живого дыхания. Даже если оставить в стороне все, касающееся Ласточкиных, в частности их конец — по-моему, центральный, важнейший эпизод в книге,— надо по справедливости признать, что повествовательная манера Алданова, со вставными портретами исторических деятелей, никогда не бывала убедительнее и своеобразнее. Под самый конец жизни, не обновляясь, а совершенствуясь, Алданов как будто вновь полностью стал самим собой, и достаточно указать в веренице портретных глав хотя бы ту, исключительно блестящую и картинную, где появляется Фраиц-Иосиф, чтобы это стало ясно.

Миром правит случай, «его величество Случай», по выражению Фридриха Второго. Было бы, конечно, ошибкой сказать, что идея эта, Алданову представлявшаяся аксиомой, в «Самоубийстве» вложена,— так же, как неправильно было бы сказать, что в «Войну и мир» вложена мысль о ничтожестве исторических личностей или об отсутствии величия там, где нет простоты, добра и правды.

В «Ульмскую ночь», трактат теоретический, Алданов идею случайности действительно вложил и ею все свое построение обосновал. Но «Самоубийство» от предвзятости свободно, и идея в него не вложена извне, а возникает и развивается в самом ходе рассказа. Все в нашем существовании происходят в силу миллиона, миллиарда сплетающихся и переплетающихся случайностей, уходящих корнями в глубь веков: Алданов

в этом убежден, он это непрерывно доказывает и иллюстрирует, удерживаясь, однако, от выводов, которые делают иные современные авторы, новейшие «властители душ»: о бессмысленности жизни он не говорит, хотя ее и не опровергает. На этой черте Алданов останавливается в недоумении, твердо зная лишь одно: то, что о смысле или бессмыслице жизни никто не знает ничего.

Всесильная случайность на первый взгляд связана с толстовским представлением о стихийном потоке истории, в котором отдельный человек ничего изменить не властен. Но хотя Толстой и был для Алданова верховным литературным божеством, здесь, в вопросе о роли личности в истории, он с ним резко расходится, а в «Ульмской ночи» ему и возражает. В «Самоубийстве» одно из главных действующих лиц — Ленин, и если в самом факте существования его, в факте появления такого человека в такой-то исторический момент, закон случайности остается незыблем, роль Ленина в Октябрьской революции представляется Алданову решающей. Без него не было бы переворота: Ленин один на его немедленной необходимости настоял, один верил в успех, один этот успех обеспечил.

О личности Ленина, при всем своем отталкивании от него, Алданов был мнения исключительно высокого. Он, правда, терпеть его не мог как писателя,— в частности возмущался, и совершенно справедливо возмущался, тем, что поверхностные и развязнобойкие статейки Ленина о Толстом признаются в СССР образцом критической гениальности,— он с иронией отзывался о философских работах Ленина, но признавал его острую политическую прозорливость, а главное — редчайшее сочетание ума и воли в какой-то идеальной дозировке, в полном согласии и соответствии одного другому. Всякий фанатизм был чужд Алданову и даже враждебен ему. Но в том, что именно фанатики изменяют ход истории, он не сомневался.

Прочтут ли «Самоубийство» в Советской России? Если прочтут, то, конечно, ничего, кроме брани, оно там не вызовет, по крайней мере в печати. Деятеля, которого в России считают величайшим вождем и благодетелем человечества, Алданов относит к явлениям роковым. Но удивления своего перед этим деятелем он не скрывает и пользуется им как примером для доказательства, что история может человеческим намерениям и решениям быть подчинена. Если бы Алданов склонялся к мистическому истолкованию событий, то, вероятно, предположил бы, что Ленин был послан в мир высшими темными, неведомыми силами для выполнения их таинственных предначертаний. Но нет, для автора «Самоубийства» все в мире случайно, и не воля, даже не прихоть судьбы, а слепая, безумная игра ее привела Россию к тому, что произошло в октябре 1917 года. Ленина Алданов обрисовывает беспристрастно, очень тщательно, очень вдумчиво. Несомненно, это первый живой, правдоподобный его портрет в литературе — первый потому, что советскую иконопись или слащавые рассказики о чудо-мудреце и народном печальнике Ильиче в расчет принять нельзя. Впоследствии появятся, конечно, и другие романы с Лениным в качестве одного из главных персонажей. Но если алдановская характеристика и будет со временем дополнена, то едва ли будет она признана страдающей злобным искажением или апологетической близорукостью.

Название романа допускает различные толкования. Самоубийством кончают Ласточкины, благополучие и счастье которых оборвалось с исчезновением старого мира. Самоубийством кончает богач Савва Морозов, всем пресыщенный и ничем не довольный. Наконец, самоубийством кончает в 1914 году старая Европа, которая могла бы еще долго-долго существовать, благоденствовать, жить-поживать, по-прежнему веря в прогресс, в торжество разума и мирного преуспеяния. Исторические портреты вставлены в роман не для простого оживления действия: все они своим содержанием клонятся к объяснению катастрофы, к тому, что по воле «его величества Случая» европейскими державами в начале нашего века управляли люди, сами себе рывшие могилу.

Но историческая ткань «Самоубийства» не исчерпывает его истинного смысла. История беспощадна, как бы говорит Алданов, а тот, кто в ее оправдание ссылается на рубку леса, при которой неизбежно «летят щепки», не достоин имени человека, во всяком случае, не вполне достоин его. Ленин со своим фанатизмом и несомненным личным бескорыстием, со своим умом и волевым исступлением, с подменой живого представления о существовании статистическими схемами его, Ленин не вполне достоин имени человека, менее достоин его, нежели, скажем, Татьяна Михайловна Ласточкина, скромная, тусклая, пожалуй, не очень умная, но сердцем догадывающаяся о том, что для Ленина закрыто. Именно этот мотив, явственно в «Самоубийстве» звучащий, вносит в творчество Алданова что-то новое, «завещательное». Ласточкины гибнут, но по-своему они над историей торжествуют. Почему? Потому, что любовь, их одушевляющая, сильнее всего, что на пути ее встречается, и в конце концов потому, что любовь побеждает смерть. Да, иначе не скажешь: любовь побеждает смерть. Это кажется банальщиной, избитым, опошленным, выхолощенным общим местом. Но вечное не может быть банальным, хотя внешне и может оказаться на него похоже. В «Самоубийстве» Алданов по-своему повторяет то, что до него сказала чуть ли не вся мировая поэзия, и сквозь предсмертный, растерянный лепет двух московских самоубийц выражает свое согласие с самыми дорогими сокровенными человеческими надеждами.

Георгий Адамович

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Лев Троцкий

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Парадокс Троцкого

После большой работы, проведенной Лениным и редколлегией «Искры», в июле и августе 1903 года наконец состоялся второй съезд РСДРП. Делегаты собрались вначале в Брюсселе, но царская охранка протянула туда щупальца и съезд перебрался в Лондон. На форуме российских социал-демократов были представлены 26 марксистских организаций (44 делегата с решающим и 14 делегатов с совещательным голосами). Троцкий имел мандат от Сибирской социал-демократической организации. Среди членов русской революционной колонии за ним уже закрепилась молва как о подпольщике, прошедшем, несмотря на молодость, тюрьмы и ссылки.

Приехав из Женевы в Брюссель, вместе с младшим братом Ленина врачом Д. И. Ульяновым, Троцкий сразу же с головой ушел в работу съезда: доклады, споры, обсуждения резолюций, выступления... Съезд проходил в помещении склада так называемого «Народного дома». В повестке дня стояло два десятка вопросов: конституирование съезда; место Бунда в РСДРП; Программа партии; национальный вопрос; демонстрации, восстания, террор; отношение к эсерам, выборы Центрального комитета, центрального органа и Совета партии и другие.

Взрыв произошел, казалось, неожиданно. Делегаты съезда приступили к обсуждению Устава партии. Сыр-бор разгорелся из-за первого параграфа Устава. На первый взгляд, предложенные Лениным и Мартовым формулировки почти идентичны, за исключением, казалось, небольшого нюанса: в ленинском предложении член партии должен поддерживать партию не только материальными средствами, н о и л и ч н ы м у ч а с т и е м. У Мартова — поддержка «личным содействием»[1]. Спор терминологический выявил два разных подхода к членству в новой партии. Ленинский, как известно, выражал стремление создать жестко централизованную организацию, в которую могут входить люди, отвечающие вполне определенным требованиям, а главное, непосредственно принимающие участие в революционной деятельности. Мартов же хотел двери партии распахнуть демократически широко, создав из нее ассоциацию сочувствующих лиц. Мартов и его сторонники набросились с критикой на Ленина, используя вопрос о членстве как предлог для выяснения всех накопившихся спорных вопросов в социал-демократическом движении. Особенно подняли голос «обиженные». Дело в том, что Ленин предложил сократить число редакторов «Искры» до трех, оставив в их числе, кроме себя, Плеханова и Мартова. Этому было определенное основание. В 45 изданных номерах «Искры» (как станет скоро обычным называть — «старой») Мартов написал 39 статей, Ленин — 32, Плеханов — 24, а менее активная часть редколлегии — значительно меньше: Потресов — 8, Засулич — 6, Аксельрод — 4. Ленин просто хотел оставить наиболее деятельную часть в редколлегии газеты, так как трое «выпавших» из состава и писали мало, а главное — несильно.

П р о д о л ж е н и е. Начало см. «Октябрь» № 5 с. г.

[1] ВКП(б) в резолюциях и решениях, часть 1 (издание шестое), 1940, с. 23—24.

Поэтому когда встал вопрос о первом параграфе Устава партии, неожиданно взорвался Троцкий. Он не мог понять и простить удаление глубоко уважаемых им людей из «Искры», хотя в своих выступлениях Ленин самыми теплыми словами отдал им должное. Мартов и Троцкий стали обвинять Ленина в жажде узурпации власти и грубости. Два вчерашних союзника и товарища — Ленин и Мартов с большой энергией стали обличать друг друга, выискивая скрытый смысл в противостоящих формулировках. В этой ситуации Плеханов (правда, ненадолго) пошел за Лениным, а Троцкий — за Мартовым. Троцкий позже так резюмировал эту ситуацию с расстановкой сил в когорте корифеев: «На съезде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно; одновременно он потерял Мартова и — навсегда. Плеханов, по-видимому, что-то почувствовал на съезде. По крайней мере, он сказал тогда Аксельроду про Ленина: «Из такого теста делаются Робеспьеры» [1]. Думаю,что это замечание не лишено оснований.

Ленин был обескуражен позицией Троцкого, он рассчитывал на его решительную поддержку, тем более что ранее (даже на этом съезде) молодой революционер однозначно высказывался за крепкую, централизованную партию. Ленин неоднократно и на заседаниях съезда и вне их (вместе с братом), лояльно, доброжелательно обращался к Троцкому, пытаясь его убедить в недостаточной взвешенности и продуманности своих позиций. Но в какой раз в политике роль симпатий и антипатий, личных отношений и амбиций сыграла решающую роль!

Съезд лишь оформил наличие двух параллельных стратегических тенденций: радикальной, революционной, которую стали олицетворять большевики, и реформистской, эволюционной, носителями которой отныне в российском социал-демократическом движении были меньшевики. Пожалуй, эта реальность отразила в более широком плане то, что есть в любом революционном движении: радикальные и умеренные крылья.

В России противоборство этих двух тенденций приняло вначале драматический, а затем и трагический характер. Думаю, было бы идеально, если бы в общем революционном потоке сосуществовали оба крыла, борясь демократическими методами и доказывая социальной практикой преимущества своих подходов и программ. Представляется, что стремление к монизму тех и других в конечном счете оставило в огромном проигрыше само революционное движение. Хотя в то время Ленин никогда не ставил даже вопроса об однопартийном государстве. Идеи реального плюрализма, к сожалению, и по сей день для многих остаются еретическими. Здесь мы сразу забываем, что любим именовать себя диалектиками, но диалектика, как известно, основной источник социального движения видит в борьбе противоположностей. Отказ от революционного плюрализма стал истоком многих бед в грядущем. Я думаю, что Ленин и Мартов, борясь на съезде, понимали, что дело далеко не в организационных вопросах.

Ну а в чем парадокс поведения Троцкого? Я полагаю, внимательный читатель уже понял в чем дело. Троцкий, будучи по убеждениям, натуре, мировоззренческим установкам ярко выраженным радикалом, попросту говоря, «леваком», неожиданно поддержал реформистов, умеренных! Это внешне действительно очень парадоксально. Троцкий, который на всю свою жизнь станет певцом мировой, перманентной, социалистической революции, вдруг поддержал — и решительно! — Мартова, о котором позже напишет такие убийственные строки: «Более его образованные в своих областях Гильфердинг, Бауэр, Реннер и сам Каутский (реформисты.— Д. В.) являются однако, в сравнении с Мартовым, неуклюжими подмастерьями, поскольку дело идет о политической фальсификации марксизма...» [2].

Парадокс этот только кажущийся. Троцкий при всем своем феерическом блеске ума, способности с интеллектуальным изяществом, в афористичной форме излагать сложные идеи,— тем не менее по многим вопросам тогда скользил еще по поверхности. Он в свои 23 года не был корифеем. Внешняя энциклопедичность весьма часто не подкреплялась глубиной анализа и была, пожалуй, тогда дилетант-

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. 1, с. 189.
[2] Л. Троцкий. Соч., т. VIII, с. 67.

ством. Троцкий не видел, что, поддерживая Мартова и его сторонников, он не просто голосовал за их формулировку, а выступал против себя.

За свой «небольшевизм» Троцкому пришлось в жизни много оправдываться, писать, говорить. Даже в первые полтора десятилетия века ему старались об этом напомнить многие. Получив уже в последнем своем изгнании от своих сторонников письмо, в котором они писали, как Тольгеймер уличал его в «антиленинизме», Троцкий отвечал им:

«Троцкий не был большевиком до 1917 года. Верно, я до 1917 года стоял вне большевистской фракции. Я думаю, однако, что я и во время моих расхождений с большевиками стоял гораздо ближе к Ленину, чем Тольгеймер сейчас. Если я пришел к Ленину позже ряда других большевиков, то это не значит, что я понял Ленина хуже их. Франц Меринг пришел к марксизму гораздо позже, чем Каутский и Бернштейн, которые с молодых лет попали под прямое влияние Маркса и Энгельса. Это не помешало тому, что Франц Меринг остался революционым марксистом до смерти, а Бернштейн и Каутский доживают свою жизнь, как жалкие оппортунисты. Совершенно верно, что Ленин в ряде важнейших вопросов был против меня, но почему отсюда вытекает, что Тольгеймер прав против меня? Это мне не ясно» [1].

Таким образом, Троцкий, будучи сам «якобинцем», обвинял Ленина в начале века в радикализме; будучи сам центристом, обвинял Ленина в стремлении сконцентрировать партийную власть в центральных органах; будучи сторонником Робеспьера, бросал обвинение Ленину как потенциальному диктатору. Этот парадокс Троцкого, повторимся, связан с одной стороны подменой идей людьми. Для него уход в тень Аксельрода и Засулич, например, выглядел чуть ли не трагедией, а Ленин, «виновник» этого смещения — представлялся узурпатором. С другой стороны, многие выводы этого периода у Троцкого не обоснованы рационально, а слишком интуитивны и эмоциональны. Яркое воображение пока не опиралось на глубокое интеллектуальное осмысление.

В литературе, трудах Троцкого, как мы уже упоминали, сохранилось много ядовитых, недружественных, иногда даже оскорбительных высказываний в адрес Ленина. Его еще злило, что чаще всего Ленин как бы не замечал саркастических филиппик Троцкого в свой адрес, не удостаивая его ответом. Лишь изредка, по ходу полемики, своих рассуждений давал убийственные характеристики Троцкому. Его метания между большевиками и меньшевиками, непоследовательность, увлечение красивой фразой, позой получили известную ленинскую оценку в его письмах И. Арманд.

«Вот так Троцкий! Всегда равен себе — виляет, жульничает, позирует как левый, помогает правым, пока можно...» [2].

Мы приводили уже ряд высказываний Троцкого по адресу Ленина в его ранних статьях и брошюрах. Менее известны его более поздние письма с оценками Ленина. Приведу выдержку из письма Троцкого члену Государственной думы Николаю Семеновичу Чхеидзе:

«...Дрянная склока, которую систематически разжигает сих дел мастер Ленин, этот профессиональный эксплуататор всякой отсталости в русском рабочем движении... Все здание ленинизма в настоящее время построено на лжи и фальсификации и несет в себе ядовитое начало собственного разложения...»
24 марта 1913 г.

Л. Троцкий

Адрес: Л. Бронштейну, XIX Родлергассе, 25 П, Вена» [3].

Троцкий, который обладал, если можно так сказать, «чувством истории», способностью заглядывать как в прошлое, так и в будущее, тем не менее не всегда ошибался в своей ранней оценке Ленина. Да, Ленин был радикалом, иногда —

[1] The Honghton Library. Trotskii coll. bMS Russ 13.1 (10872—10873).
[2] Ленин В. И. ПСС, т. 49, с. 390.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 6, л. 1.

ярко выраженным. Оценки Троцкого, характеризующие Ленина как жесткого, нетерпимого, безапелляционного человека, во многом верны. Мы привыкли видеть все в Ленине только в превосходной степени. Но ведь это далеко не так. Даже не касаясь политических вопросов, а обращаясь лишь к теории, видим нигилистическое отношение Ленина к буржуазной общественной мысли вообще. Чего стоят слова Ленина о том, что «ни одному из этих профессоров» в области философии и политэкономии «нельзя верить ни в едином слове!»[1]. Ограниченность этого «зряшного отрицания» Ленина подметили давно. Например, Николай Владиславович Вольский (Валентинов), один из известных русских социал-демократов, так писал об этой ленинской грани личности: «Теория Маркса,— возглашал Ленин,— есть объективная истина, а все вне ее — «скудоумие и шарлатанство»[2]. Не нужно доказывать, что такой вывод страшно далек от истины.

Прапорщик Арбузов

Да, именно с таким паспортом на имя отставного прапорщика Арбузова Троцкий в феврале 1905 года приехал в Киев. Еще месяц назад он не думал о возвращении, целиком захваченный чтением рефератов, написанием статей, полемикой со вчерашними друзьями, возможностью общения с интереснейшими людьми. Но весть о кровавом воскресенье в Петербурге всколыхнула всю колонию русских революционеров в зарубежье. Даже полемика, достигавшая порой неприличных форм между большевиками и меньшевиками, ослабла. Меньшевистская (теперь) «Искра» воевала с ленинской газетой «Вперед». Плеханов, еще совсем недавно солидаризировавшийся с Лениным, в своих ядовитых статьях пытался побольнее уколоть его, будучи уверенным, что политически устраивает «русского якобинца». Сейчас же все с надеждой и тревогой устремили свои мысленные взоры на Восток. Нараставшие события обещали подтвердить или опровергнуть прогнозы соперничающих фракций.

Сразу скажем, что большинство эмигрантов, даже прозябая на чужбине, не стремились в Россию, где пролетариат, похоже, был всерьез намерен опрокинуть самодержавные чертоги. Эмиграция «засасывает». Многие привыкают смотреть на события в отечестве со стороны. Немало революционеров такая жизнь уже устраивала: советы «прогрессивной части населения», аналитические обзоры прошедших стачек, гневные обличения преступлений самодержавия, но... все издалека. А это не одно и то же, если б находиться в цехах Путиловского, в московских железнодорожных депо, на броненосце «Потемкин», в университетских аудиториях или рядом с Георгием Гапоном перед Зимним дворцом. Троцкий был в высшей степени деятельной натурой. Его всегда тянуло в эпицентр событий. Поэтому быстрое нелегальное возвращение Троцкого в Россию было для него естественным.

Я не хочу заниматься анатомированием событий первой русской революции. Этим занимались многие и долго. Мне хотелось лишь коснуться некоторых сторон деятельности Троцкого во время этой репетиции грядущего 1917 года. Тем более, что советская историография при упоминании имени члена, а затем, короткое время, и Председателя Петербургского Совета рабочих депутатов на мрачные краски не скупилась. Долгие десятилетия Троцкий существовал в нашей истории в соответствии с древним римским законом «Осуждения памяти». Его просто все обязаны были если и не забыть, то только однозначно осуждать.

«Отставной прапорщик» прибыл в Киев в образе респектабельного, преуспевающего предпринимателя. Выехавшая вперед Н. Седова подыскала квартиру, установила необходимые связи с подпольем, познакомила приехавшего в Киев мужа с молодым инженером Л. Красиным, видным большевиком, которого хорошо знал Ленин. Киевскую остановку Троцкий использовал по сути для более детального ознакомления с положением в стране, с работой социал-демократических организаций, с настроением людей.

[1] Ленин В. И. ПСС, т. 18, с. 363.
[2] Н. Валентинов. Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1981, с. 338.

Перебравшись с помощью Красина в Петербург, Троцкий с головой ушел в работу, участвовал в текущих совещаниях забастовочных комитетов, готовил яркие прокламации, которые расклеивались по городу, распространялись на фабриках, заводах... Но когда на маевке арестовали Седову и возникла угроза собственного ареста, Троцкий с квартиры полковника Литкенса, где он нелегально жил, вынужден был укрыться в Финляндии. За три месяца пребывания в уединенном глухом пансионате «Мир» Троцкий написал десятки статей, листовок, прокламаций, которые пересылались в Петербург.

Когда в столице разразилась всеобщая забастовка, Троцкий не выдержал и вернулся в Петербург. Революционный подъем на три месяца опередил прогноз большевиков, считавших, что он произойдет в первую годовщину кровавой бойни у Зимнего. Народное творчество силой своего коллективного интеллекта, воли и чувств создало российский «Конвент» — Совет Рабочих Депутатов во главе с Г. С. Хрусталевым-Носарем. Троцкий избирается его заместителем. Авторитет революционного органа стремительно растет. Первое заседание Совета состоялось 13 октября, а 15-го там появился и Троцкий и сразу привлек внимание всех членов своей бурной энергией, страстными выступлениями, радикальными предложениями. Молодой энергичный революционер был исключительно собран, деятелен, вездесущ, привлекателен. При участии Троцкого приняли решение: издавать газету «Известия» — как орган Совета; выдвинули требования о введении 8-часового рабочего дня, о признании нового революционного органа как представителя трудящихся. В Технологическом институте, где разместился Совет, делегации от различных районов столицы ждали распоряжений, инструкций. Царило приподнятое настроение. В составе Совета был образован Исполком, в котором наряду с представителями других организаций было три большевика, три меньшевика и три эсера. Среди большевиков выделялся Сверчков, у меньшевиков — Троцкий, а из эсеров — Авксентьев. Адвокат Хрусталев-Носарь был без ярко выраженной партийной принадлежности.

Волны забастовки расходились все шире и шире. Самодержавная власть была в растерянности. Но ею был сделан шаг, который как бы подложил тормозные колодки революционному локомотиву: 17 октября царь издал Манифест, в котором обещал конституционные свободы народу. В ночь с 17 на 18-е октября толпы народа ходили по улицам с красными знаменами, требовали смещения ненавистных правителей, широкой амнистии, наказания тех, кто организовал кровавое воскресенье 9 января. Народ увидел в вынужденном акте царя свою победу.

Советская историография всегда смотрела на царский манифест лишь как на вынужденный и хитрый маневр. Но вдумаемся в слова «Высочайшего Манифеста»:

«...На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной Нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов...
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей...»[1]

«Высочайший Манифест», данный «Божией милостью, Нами Николаем Вторым, императором и самодержцем всероссийским, Царем польским, великим князем финляндским и прочая, и прочая, и прочая» — не был простой бумажкой. Это был крупный шаг к переходу на рельсы конституционной монархии, а следовательно началось движение к буржуазной демократии.

Но Троцкий, как и большевики, оценили Манифест как полупобеду. Манифест как бы заставил одуматься и либералов, буржуазию, значительную часть

[1] Полный сборник Платформ всех Русских политических партий. С-Петербург. Тип. А. М. Лесмана. 1906, с. 1—2.

интеллигенции, которая вначале выступала против абсолютизма, а теперь напугалась «грозящей анархии».

Граф Витте в своем докладе царю так определил истоки и корни очередной русской смуты: «Они — в нарушении равновесия между идейными стремлениями русского мыслящего общества и нынешними формами его жизни. Россия переросла форму существующего строя. Она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы»[1]. Граф предложил добиться соответствия «идейных стремлений» и «новой формы» без «репрессивных мер». Как бы мы ни относились к высоким царским сановникам и самодержавному режиму в целом, в этой виттевской программе — немалая мудрость многовекового опыта русской государственности.

Витте, которого именно стачка сделала премьером (парадокс!) в своих «Воспоминаниях» позже писал: «17 октября заставило многих опомниться, образовало партии, заговорил патриотизм, чувство собственности и русская телега начала волочить оглобли направо...» Реформаторски думали далеко не все. Подспудно возникало желание заглушить смуту силой. Тем более, что на следующий день министр внутренних дел генерал Трепов повелел «устранить непорядки», а при этом «патронов не жалеть!». Ленин в Стокгольме, Совет в Петербурге почувствовали, что закачавшееся здание самодержавия устоит; удалось поднять против царизма только город, только рабочих. Правительство по-прежнему имело возможность опереться на огромные, темные массы крестьянства, особенно одетого в солдатские шинели. Русские якобинцы понимали, что не только программу-максимум, заключавшуюся в установлении диктатуры пролетариата и подавлении сопротивления эксплуататоров сейчас не решить, но и не достичь программы-минимум: свержения царизма. Ни у кого из руководителей РСДРП, к слову, не возникали сомнения в исторической правомерности диктатуры пролетариата. Это один из самых дальних истоков всех будущих бед России в XX веке.

Семнадцатого октября у здания университета собралась огромная толпа. С балкона выступали разные ораторы. Большинство расценивало Манифест как большую победу. На революционную трибуну пробился и Троцкий. Его представили как Яновского. Но могли бы назвать и Арбузовым — у Троцкого было два паспорта. Троцкий быстро захватил толпу и бросил вниз едва ли не главные слова в своей речи:

— Граждане! Теперь, когда мы поставили ногу на глотку правящей клике, она обещает нам свободу. Не торопитесь праздновать победу, она еще неполная. Разве вексель стоит столько же, сколько чистое золото? Разве обещание свободы равноценно свободе? Что изменилось со вчерашнего дня? Распахнулись ли двери наших тюрем? Вернулись ли наши братья из дикой Сибири?

Огромная толпа слова Троцкого поддерживала горячим скандированием лозунгов: «Свободу народу! Амнистию заключенным! Под суд Трепова!»

Троцкий властвовал над толпой, бросая в порох страстей слова-искры, нагнетая возбуждение массы до высокой точки кипения. В заключение своей блестящей речи он выкрикнул с балкона:

— Граждане! Наша сила в нас. Мы должны защищать свободу с мечом в руках. Царский Манифест всего лишь клочок бумаги... Его нам сегодня дали, а завтра порвут в клочки, как это сделаю я сейчас!

Троцкий помахал направо и налево Манифестом и затем демонстративно порвал его. Клочки бумаги, подхваченные дуновением ветра, понесло в сторону...[2]. Масса людей горячо аплодировала новому, пока неизвестному трибуну революции.

Деревня не поддержала рабочих. Да и не было сил ее поднять. Армия осталась верной правительству.

Со своей обычной бескомпромиссностью, которая в политике нередко ведет к ошибкам, а в революционной атмосфере народного возбуждения, наоборот, производит большое впечатление, Троцкий бичевал обывательство, либералов, казенную профессуру, попутчиков революции. Чего стоят одни лишь названия

[1] Там же, с. 3.
[2] L. Trotsky. Die Russische Revolution. 1905. München. 1907. S. 93—96.

его тогдашних статей: «Профессора в роли политических дворников», «Профессорская газета клевещет», «Кадетские профессора в роли крестьянских трибунов...»[1] Революционная волна, вздымая на свой гребень подлинных вождей, страгивает с места и обывателя, который, однако, способен лишь на то, чтобы гасить эту волну. «Революция,— писал Троцкий,— оставила его (филистера) без газеты, потушила в его квартире электрическую лампочку и на темной стене начертала огненные письмена каких-то новых смутных, но великих целей. Он хотел верить — и не смел. Хотел подняться ввысь — и не мог...»[2]

«Война» Троцкого с либерализмом была выражением его радикальности, часто явно перехлестывавшей через край. Иногда он доходил до утверждений, что либерализм фактически заслуживает такой же ненависти, как и царизм. Эта черта — недоверие, или даже враждебность к интеллигенции, присущая многим большевикам,— еще один из дальних истоков их трагических заблуждений. В черновом варианте предисловия книги «1905» (на немецком языке) Троцкий писал: «Автор ни на одну минуту не пытается скрыть от читателя свою ненависть к царской реакции, этому подлому сочетанию азиатского кнута и европейской биржи, или свое презрение к русскому либерализму, самому ничтожному и самому бесхарактерному в мировой галерее политических партий»[3]. Либеральная профессура казалась Троцкому не менее опасной, чем жандармерия... Таково было русское якобинство.

По предложению Троцкого, видевшего, что подъем идет на спад, Совет принял решение о прекращении октябрьской стачки. Была развернута подготовка боевых дружин, в задачи которых входили предотвращение погромов, защита демонстраций, рабочих газет, Совета рабочих депутатов. Троцкий быстро вышел на ведущие роли в Совете, и между ним и Хрусталевым-Носарем возникло внешне невидимое, но сильное соперничество. Председатель Совета, адвокат по профессии, не занимал ясно выраженной политической позиции по многим вопросам. Троцкий позже в газете «Луч» поместил две убийственные заметки о Георгии Носаре, упомянув даже сообщение буржуазной газеты, что в Париже он арестован за воровство...

«Хрусталев,— писал Троцкий,— светил двойным светом: партии и массы. Но и тот и другой свет был отраженным, т. е. чужим. Собственный рост Хрусталева совершенно не соответствовал ни той внешней роли, которую ему пришлось сыграть, ни — еще менее — той легендарной популярности, какую ему доставила буржуазная пресса...

...Судьба Георгия Носаря глубоко трагична. История раздавила этого нравственно нестойкого человека, взвалив на него тяготу невмоготу. Обывательская фантазия создала, при содействии прессы, романтическую фигуру Хрусталева. Георгий Носарь разбил эту фигуру вдребезги и... разбился сам»[4]. Да, как явствует из архивов, Хрусталев-Носарь был в известном смысле «сомнительным» революционером, о чем говорит его поведение на суде, в ссылке, эмиграции, после Октябрьской революции. Жизнь сбросила его с гребня революционной волны, но Троцкий, проявляя беспощадность к соперникам, не отказал себе в удовольствии нанести упавшему неудачнику еще несколько печатных ударов.

Пожалуй, здесь уместно сказать, что более чем через три десятилетия после первой русской революции, когда Троцкий находился в далеком изгнании и за ним охотились люди Берии, по указанию Сталина попытались опорочить и раннюю революционную деятельность изгнанника. Для этого извлекли из забвения имя Хрусталева-Носаря. Об этом свидетельствует такой документ, обнаруженный мной в архивах. В донесении, адресованном Сталину и Ворошилову и подписанном 28 октября 1938 года Н. Ежовым и Л. Берией, говорится:

«В НКВД СССР. Бывш. председатель Совета рабочих депутатов в Петербурге в 1905 г. Хрусталев-Носарь издал книгу под наименованием «Из недавнего прошлого», в предисловии которой «Троцкий-Бронштейн назывался аген-

[1] Л. Троцкий. Соч. т. II, часть 1, с. 307, 309, 311, 128.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 201, л. 15.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 211, л. 1.
[4] «Луч» № 67, 1913 г., 21 марта.

том царской охранки с 1902 года. Одновременно нам стало известно, что в 1919 году Хрусталев-Носарь был расстрелян в Переяславле по прямому приказанию Троцкого, преследовавшего тем самым цель избавиться от свидетеля его сотрудничества с охранкой.

В результате проведенных мероприятий по розыску документов, подтверждающих провокаторскую деятельность Троцкого, в городе Горьком был обнаружен протокол заседания президиума Нижегородского исполкома от 30 марта 1917 года, в котором записано...»

Далее говорится, что «в алфавите «уволенных» агентов-сотрудников бывшего жандармского управления числятся Бронштейн Лейба Давидович, Носарь Георгий Степанович, Луначарский Анатолий Васильевич». Документ этот якобы был направлен Керенскому и в копии — Бурцеву.

В этой же докладной записке имеется и такая приписка:

«Нами обнаружено сообщение генерал-квартирмейстера Генерального штаба царской армии от 30 марта 1917 года за № 8436, адресованное Временному правительству, о том, что военный агент в Северо-Американских Соединенных Штатах телеграфирует: 14 марта из Нью-Йорка отбыл в Россию на пароходе «Христиания-Фиорд» Лев Троцкий. По сообщению английской разведки Троцкий состоял во главе социалистической пропаганды в Америке в пользу мира, оплачиваемой немцами и лицами, им сочувствующими» [1].

Однако документ, представленный Ежовым и Берией, показался Сталину весьма неубедительным и нигде в последующем не был использован против Троцкого. Книгу Носаря обнаружить не удалось. Но известно, что личные неприязненные отношения между ним и Троцким возникли вскоре после их знакомства. Думаю, люди из НКВД использовали то обстоятельство, что большевики серьезно подозревали Хрусталева-Носаря в сотрудничестве с охранкой и попытались, теперь уже с помощью Носаря, втянуть в это дело и Троцкого с Луначарским. Архивный и иной анализ дает основание судить о документе Ежова — Берии как явной грубой фальшивке.

В конце ноября был арестован председатель петербургского Совета Хрусталев-Носарь.

3 декабря 1905 года жандармы арестовали и весь состав руководства Совета. С этого дня начинается еще одна судебная, тюремная и ссыльная эпопея революционера, эпопея протяженностью в пятнадцать месяцев. В воспоминаниях описывается последний день работы Совета. Используя разные свидетельства и архивные документы, можно реставрировать заключительные часы революционного органа петроградских рабочих.

...Третьего декабря открылось очередное заседание русского конвента под председательством Троцкого. Он сообщил членам Совета о последних шагах царского правительства, направленных на ужесточение репрессий против революционных выступлений рабочих. Стали обсуждать предложение об объявлении новой всеобщей забастовки, но в этот момент в зал вошли жандармы. Здание, где проходил Совет, было окружено полицией. Заканчивался последний акт драмы. В эту критическую минуту Троцкий проявил высокое самообладание и мужество. Жандармский офицер, грохоча сапогами, вышел на середину зала и стал громко зачитывать ордер об аресте членов Совета. Председатель решительно прервал офицера:

— Не мешайте работе Совета. Если Вы хотите выступить, назовите свою фамилию, я спрошу собрание, желают ли они вас слушать!

Жандарм споткнулся, замолчал, озираясь в нерешительности и растерянности. А Троцкий тем временем предоставил слово очередному оратору. Наконец, обратившись вначале к залу, Троцкий предоставил слово офицеру. В гробовой тишине все выслушали краткое содержание ордера об аресте и Председатель спокойным, даже будничным голосом произнес:

— Есть предложение принять к сведению заявление господина жандармского офицера. А теперь покиньте зал заседания Совета рабочих депутатов!

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 3, д. 1103, лл. 140—149.

Представитель властей, потоптавшись на месте, в полном замешательстве выскочил из зала. Троцкий предложил приготовиться к аресту, уничтожить документы, материалы, которые могут быть использованы властями против Совета, а также тем, у кого есть при себе оружие, привести его в негодность путем отделения некоторых частей револьверов. Едва успев кое-что сделать по указаниям Троцкого, члены Совета увидели, как в зал ворвалась целая толпа жандармов. Председатель еще успел громко выкрикнуть, пока не был схвачен:

— Смотрите, как царь исполняет свой октябрьский Манифест! Смотрите!

Поведение Троцкого в первой русской революции, на суде, убедительно говорит, что на сцене истории появилась еще одна выдающаяся личность, для которой революция — высшая ценность. Важно подчеркнуть, что действия Троцкого были тем более непредсказуемы, решительны и одухотворены, чем критичнее складывалась обстановка. Не только он был «любимчиком революции», но и сам молился ей как высшему земному существу.

Каждая личность исключительно сложна. Ее духовный мир так же безбрежен, как и космос. Человек может быть загадочным, интересным и привлекательным прежде всего из-за необычности или парадоксальности его сознания. В человеке одновременно могут уживаться возвышенные и низкие мотивы, общественные и личные стремления, разочарования и надежды. Очень хорошо о «многослойности» личности сказал Державин: «я — царь, я — раб, я — червь, я — бог». Но Троцкий, конечно, никогда не считал себя ни «рабом», ни «червем». Он не сомневался в высоком предназначении своей судьбы и в том, что не ошибся в выборе своего пути. За полгода до своей смерти он напишет в своем завещании: «Если б мне пришлось начать сначала, я постарался бы, разумеется, избежать тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным» [1]. Троцкий оптимистично воспринял и первое крушение революции. Он верил, что это лишь историческая репетиция.

Заточение в знаменитых «Крестах», Петропавловской крепости, в Доме предварительного заключения Троцкий по обыкновению максимально использовал для самообразования, написания многочисленных статей и прокламаций. Камера Троцкого, по свидетельству очевидцев, была похожа на кабинет ученого: так много там было книг, журналов, газет. Его навещали два раза в неделю жена, родители, оставшиеся на свободе товарищи. Из тюрьмы он отправил несколько писем и Соколовской, поддерживая слабую, тонкую связь с первой семьей. Например, 17 мая 1906 года Троцкий написал Александре Львовне:

«Дорогой друг,

Неужели ты не получила моего последнего письма? Я написал его на адрес твоего отца. Письмо я посвятил, главным образом, моему отношению к обеим фракциям (ты меня спрашивала об этом)...

Положение мое все то же. Суд отложен до 19 октября. Сижу я в одиночной камере, прогулка общая часа 3—4 в день...

...Родители привезли мне карточку девочек,— я тебе писал об этом. Девочки превосходны, каждая в своем роде! У Нинушки такое личико — испуганное и вместе с тем лукаво заинтересованное лицо! А у Зинушки такое размышляющее личико! Кто-то троиул рукой карточку у меня в номере и на личике Зинушки пятно. Если у тебя есть одна свободная карточка, пришли мне, пожалуйста.

Итак, Думу разогнали. Я держал пари, что министерство будет хулиганское и выиграл...» [2]

Николаевская тюрьма для политических допускала большие послабления. Сталин, знавший это по своему тюремному опыту, сделает в свое время все для того, чтобы в годы его единовластия «царские порядки» не повторялись. Троцкий почти открыто передавал жене написанные в тюремной камере статьи, которые затем публиковались в легальных или нелегальных типографиях. Особенно большой резонанс имел памфлет «Петр Струве в политике», в котором Троцкий бичевал либералов как временных попутчиков, а не союзников революции. Но

[1] Лев Троцкий. Дневники и письма. Нью-Йорк. Эрмитаж, 1986, с. 165.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 3, лл. 1—2.

главным трудом этого периода была большая статья «Итоги и перспективы», где Троцкий впервые в достаточно законченном виде изложил свою концепцию перманентной революции. В последующем она была издана отдельной брошюрой, затем и книгой. Тогда же Троцкий напишет тезис, за который его будут всю жизнь бить: «Завершение социалистической революции в национальных рамках недопустимо... социалистическая революция становится перманентной в новом, более широком смысле слова: она не получает своего завершения до окончательного торжества нового общества на всей нашей планете» [1].

Находясь в предварительном заключении, ввиду слабости режима, подследственные сговорились вести себя вызывающе, больше изобличать существующие порядки, говорить о стремлении Совета к социальной справедливости и заботе об интересах трудящихся. Условились говорить об одном: в действиях Совета не было стремления вооруженным путем изменить существующий строй, ибо 22 марта 1903 года была принята статья 126 Уголовного Уложения, где говорилось:

«Виновный в участии в сообществе, заведомо поставившем целью своей деятельности ниспровержение существующего строя или учинение тяжких преступлений посредством взрывчатых веществ или снарядов, наказывается:

каторгою на срок не свыше 8 лет или ссылкой на поселение. Если такое сообщество заведомо имело в своем распоряжении средства для взрыва или склад оружия, то виновный в участии в таком сообществе наказывается:

бессрочною каторгою» [2].

Таким образом, в своей речи Троцкий постарался с одной стороны показать отсутствие конкретного плана восстания у Совета, а с другой — гнилость и антинародность царского правительства. Его выступление, как всегда в моменты подъема, было возвышенным:

— Какое бы значение ни имело оружие, не в нем, господа судьи, великая сила. Нет! Не способность массы убивать других, а ее великая готовность умирать — вот что, господа судьи, с нашей точки зрения, определяет победу народного восстания...» [3]. Отец и мать Троцкого на протяжении всего процесса сидели в зале суда. «Во время моей речи, смысл которой не мог быть ей вполне ясен,— писал впоследствии подсудимый,— мать бесшумно плакала. Она заплакала сильнее, когда два десятка защитников подходили ко мне друг за другом с рукопожатиями... Мать была уверена, что меня не только оправдают, но как-нибудь еще и отличат...» [4].

Правительство и суд не решились отправить подсудимых на каторгу. По приговору суда четырнадцать членов Совета — и в их числе Л. Д. Троцкий — были осуждены на пожизненную ссылку. Местом ее было определено село Обдорское на Оби, за полярным кругом (около тысячи верст до железной дороги и 800 — до ближайшего телеграфа). За сутки до отправки ссыльным выдали серые арестантские брюки, армяки и шапки. Разрешили, правда, сохранить свою одежду и обувь при себе, что для Троцкого, как мы убедимся дальше, имело большое значение. В «Подорожной записке» на имя Л. Д. Троцкого зафиксировано, что кроме указанного выше выдано: «кандалы с подкандальниками, 1 полушубок, 1 брюки, 1 рукавицы и 1 мешок. Января 10 дня 1907 года» [5]. Кандалы — для «порядка». На ссыльных они могли быть надеты лишь после попытки побега...

Свое путешествие в ссылку Троцкий опишет позже в книжке «Туда и обратно». А описать действительно было что. Еще отправляясь на вечное поселение, Троцкий твердо решил при первой возможности бежать, тем более что хотя 14 ссыльных охраняло более 50 жандармов, режим был, по сравнению с будущими сталинскими временами, весьма мягкий. У сопровождающего пристава на каждого осужденного в сумке лежало «дело» с приметами. На Троцкого эти полицейские данные были такими:

«**Рост** — 2 аршина 5/8 вершка.

---

[1] Л. Троцкий. Перманентная революция. Изд-во Гранит. Берлин 1930, с. 167.
[2] Уголовное Уложение Российской Империи. Петербург, 1903.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 212, л. 12.
[4] Моя жизнь, т. 1, с. 219.
[5] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 24, лл. 2, 3.

Глаза — голубые.
Цвет и вид кожи лица — чисто матовый
Правое ухо — очертание круглое. Раковина глубины и ширины средняя.
Лоб — направление вертикальное, очертание — прямой.
Дуги надбровные — малые.
Волосы головы — черные. Борода и усы — черные.
Переносье — мелкое, спинка выпуклая, основание опущенное.
Племя — еврей, по внешнему виду 30 лет. Родился в 1878 году (так в тексте.— **Д. В.**). Сын колониста Херсонской губернии Елизаветградского уезда. До осуждения занимался журналистикой. Какое знает мастерство — нет.
Вероисповедания — иудейского. Кончил реальное в г. Одессе (так в тексте.— **Д. В.**).
Осужден — первый раз (так в тексте.— **Д. В.**) С. Петербургской судебной палатой.
Существо приговора: за состояние участником сообщества, которое поставило целью своей деятельности насильственное, посредством организации вооруженного восстания изменение установленного в России основными законами правления на демократическую республику (14.102 и 14.101 ст. Уголовного Уложения). Приговор 16 ноября 1906 года» [1].

Под скрип полозьев длинного обоза Троцкому пришла идея бежать не доезжая до места назначения. Когда доехали до городка Березова, жандармский офицер решил дать двухдневный отдых обозу. Троцкий решил задержаться здесь под видом приступа радикулита. А. Фейг, подельник Троцкого по процессу, врач по профессии, проинструктировал товарища о симптомах болезни и формах ее симуляции. Троцкому разрешили под охраной двух жандармов задержаться еще на несколько дней. Когда печальный караван ушел дальше на север, по договоренности с местным жителем, которого звали Козья Ножка, Троцкий обманул беспечных жандармов и бежал. Побег был дерзким — вдоль реки Сосьва, напрямую в сторону Урала, через бескрайние просторы безмолвной снежной равнины. Риск был немалый. Тем более дело приближалось к концу зимы с ее долгими метелями. Впрочем, давайте вновь обратимся к документам.

При установлении Советской власти в г. Березове после Октябрьской социалистической революции в ЦК РКП(б) пришел пакет с такой сопроводительной бумагой:

«РСФСР. Штаб отряда Северной экспедиции в ЦК партии большевиков.

При сем препровождаем дело о побеге т. Троцкого из ссылки Березовского уезда в 1907 году, добытое отрядом при взятии г. Березова, Тобольской губернии для передачи в Музей революции в подарок от Северного экспедиционного отряда.

Комсевотряда — Лепехин
Адъютант — М. Рудер-Григе» [2].

В архивном деле имеется выписка из постановления секретариата Реввоенсовета республики: «политическое дело имеет огромную историческую ценность как документ для составления биографии вождя пролетарской революции тов. Троцкого (Из решения секретариата РВСР)» [3]. Бросается в глаза одна деталь: Лепехин и Рудер-Григе предлагали обнаруженные документы передать в Музей революции, а секретариат Троцкого распорядился иначе: «для составления биографии вождя пролетарской революции...» Троцкий давно начал смотреться в зеркало истории.

Но это не единственный сигнал о «находке». Нашли следы и первого побега из первой ссылки. Летом 1922 года Сермукс, докладывая очередные бумаги наркому, сверху положил письмо:

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 24, лл. 7—8.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 24, л. 1.
[3] Там же, л. 1.

«Товарищ Троцкий!
Сегодня, разбирая архив старой Николаевской охранки, обнаружили переписку по поводу Вашего бегства и скитания по Сибири. Переписка и... Ваш портрет. Мы конечно поинтересовались и решили отправить портрет Вам, как документ, свидетельствующий и живо напоминающий о горьком и величественно грандиозном безвозвратном прошлом.

Интересно, получите ли?

С коммунистическим приветом сотрудники Верхоленского Политбюро Н. Ипалов, Гайшинец.
28 июня 1922 г. Верхоленск, Иркутской обл.
Уездное Политбюро» [1].

Такие письма, хотя бы на несколько минут, были способны погрузить вглубь ушедшего, правда нельзя было не отметить наличия «уездного политбюро»... Но вернемся ко второму побегу.

В деле есть несколько телеграмм, проливающих свет на характер и «технику» побега Троцкого.

«Усть-Сысольск. Вологодская губерния. Исправнику.

Из Березова скрылся Лейба Бронштейн тридцати лет. Интеллигентный, носит очки пенсне, большие волосы. Выехал через Ляпин-Щегур в Вологодскую и на Архангельскую. Прошу задержать. Исправник Евсеев».

После выяснения обстоятельств исправник из Усть-Сысольска сообщает другому исправнику — в Березове:

«Его Высокоблагородию Березовскому уездному исправнику.

Рапорт

Доношу Вашему Высокоблагородию, что произведенным розыском по трактам от г. Березова до Ляпино оказалось: ссыльно-поселенец Лев Бронштейн при своем побеге проследовал на оленях по Вагулке в юрты Шоминские, где Бронштейн, напившись чаю и взяв двух оленей за 2 руб. до юрт Оурынских у инородца Семена Кузьмина Куликова, с которым и отправил свой багаж вперед; в качестве переводчика и путеводителя крестьянин Ванифатий Батманов. В юртах Оурынские один олень пропал, другого продали инородцам за 8 руб., а третий остался. Доехал до Богословских заводов за 30 руб...» [2].

Проделав по стылой снежной равнине около 800 километров, Троцкий добрался до Урала. Сам он позже вспомнит: «Я ехал в тревоге. Но когда я через сутки оказался в удобном вагоне пермской дороги, я сразу почувствовал, что дело мое выиграно... В первые минуты мне показалось тесно и душно в просторном и почти пустом вагоне. Я вышел на площадку, где дул ветер и было темно, и из груди моей непроизвольно вырвался громкий крик — радости и свободы!» [3]. В такие минуты человек пьет огромными глотками из кувшина свободы. Ведь реальность свободы неразрывно связана с реальностью возможности. Возможность инобытия есть дар свободы и имеет огромный освобождающий эффект [4]. Ведь человек — сгусток шансов; какие из них он использует, зависит от него и обстоятельств. В них — бытие свободы.

Дерзкий побег удался. С помощью Н. Седовой Троцкий оказался в Финляндии, где увиделся с Лениным и Мартовым, жившими в соседних селениях.

После весьма прохладной встречи с Лениным Троцкий укрылся в незаметном местечке Оглбью. По адресам в Гельсингфорсе, которые дал ему Владимир Ильич, беглец смог организовать свой выезд в Стокгольм. Здесь ему очень помогли сохранившиеся после ареста сапоги: в подметке хранился фальшивый паспорт, а в каблуках — золотые червонцы, переданные отцом.

Венская глава

Десять следующих лет Троцкий провел за рубежом. Это была его вторая эмиграция, второй бивуак. Семь лет из этих десяти семья Троцкого прожила

[1] ЦГАСА. ф. 33987. оп. 1. д. 526. л. 101.
[2] ЦПА ИМЛ. ф. 325. оп. 1. д. 24. лл. 4—5.
[3] Л. Троцкий. Моя жизнь. т. 1. с. 227.
[4] См. С. А. Левицкий. Трагедия свободы. Мюнхен. 1958. с. 78. 150.

в Вене. Этот период революционер иногда именовал «венской главой». К ней, в качестве «приложения» примыкали периоды последующего вынужденного пребывания в Швейцарии, Франции, Испании и, наконец, в Америке.

«Венская глава» оказалась длительной паузой в революционной биографии Троцкого. Он много писал, но это, как правило, была интерпретация пережитого; много ездил и выступал — но рефераты были, по сути, прежними; сотрудничал с австрийскими социалистами, по-прежнему считая западных социал-демократов полуреволюционерами... Для понимания натуры Троцкого венский период дает немало. В какой-то степени был прав в этом отношении Сталин, утверждая, что сила Троцкого особенно видна тогда, когда революция идет в гору, на подъем; а слабость — когда революция отступает и терпит поражение [1]. Троцкий — человек действия. Обреченный на пассивное долгое выжидание, он сосредоточился на журналистской деятельности и поддержании активных связей с русскими эмигрантами, западными социал-демократами, известными практиками и теоретиками марксизма. Даже пятый («лондонский») съезд РСДРП, формально объединивший большевиков и меньшевиков, не вдохнул новой энергии в Троцкого.

Здесь впервые произошла «касательная» встреча Троцкого с большевиком из Тифлиса Джугашвили (на съезде он был под псевдонимом Иванович). Троцкий, как вспоминал позже, просто не заметил молчаливого кавказца, который за три недели съезда ни разу не попросил слова, хотя однажды прямой повод для этого был, когда делегаты обсуждали вопрос о партизанских выступлениях и экспроприациях. Съезд постановил, что он «какое бы то ни было участие в партизанских выступлениях и экспроприациях или содействие им воспрещает...» [2] А Джугашвили, как говорят определенные свидетельства, имел к экспроприации непосредственное отношение. В последующем Троцкий будет неоднократно на этом настаивать. В 1930 году, будучи уже депортированным, в большой статье «К политической биографии Сталина» изгнанник напишет: «В 1907 году Сталин принимает участие в экспроприации тифлисского банка... Приходится, однако, изумляться, почему этот факт трусливо устранен из всех официальных биографий Сталина?» [3]. Но будущий генсек и диктатор громадного государства, видимо, имел свое мнение об экспроприациях. Так или иначе, публично своего мнения по этому поводу он не высказал ни тогда, ни когда-либо.

Джугашвили, конечно, обратил внимание на худощавого молодого человека с голубыми глазами и пышной шевелюрой в очках, очень уверенно державшегося во время выступлений. Сталин не мог не заметить, что во время перерывов между заседаниями вокруг Троцкого всегда группировались люди; он как бы притягивал их к себе, о чем-то споря или что-то рассказывая. В то старое время о таких людях говорили — душа общества.

Вернувшись из Лондона через Берлин, где его ждала Н. И. Седова, Троцкий с семьей на долгие семь лет бросил якорь в Вене. К этому периоду относятся его многие новые политические и идейные знакомства, возобновление старых, глубокое проникновение в ткань социалистического движения в Европе. Пожалуй, ни один российский революционер того времени не был бóльшим «европейцем», чем Троцкий. Блестяще владея немецким и французским языками, слабее английским, «любимчик революции» был своим у социал-демократов Германии, Франции, Швейцарии, Англии. Везде у него были близкие знакомые, журналистские интересы, планы на издательство своих работ.

Прежде всего он возобновил тесные связи с Парвусом (А. Л. Гельфандом), социал-демократом, выходцем из России, который, как и Троцкий, «приезжал» «в революцию 1905 года» и, как и он, был осужден к ссылке в Сибирь. Парвусу удалось бежать. Это был высокообразованный марксист, выдвинувший основные элементы концепции перманентной революции, которые его друг у него основательно заимствовал. Троцкий не скрывал, что в молодые годы он многому научился у Парвуса. Но этот человек поражал его, если так можно сказать, «контрастностью» желаний. Он все время мечтал создать большую социалистическую газету

[1] См.: И. Сталин. Соч., т. 6, с. 329—331.
[2] ВКП(б) в резолюциях и решениях. Часть первая. (Издание шестое). 1940. с. 107.
[3] Бюллетень оппозиции № 14 август 1930 г., с. 7.

на трех языках. Но для этого ему надо... разбогатеть [1]. В конце концов второго он позже добился. Но ценой разрыва с социалистическим движением. Когда началась империалистическая война, Парвус проводит какие-то удачные военные германо-турецкие сделки и быстро богатеет. Свой путь марксиста Парвус закончил обычным ренегатством, защитником германского милитаризма. Троцкий до смерти Парвуса (в 1924 г.) сохранил к нему, «раннему», личные теплые чувства. Этот человек познакомил его в 1907 году с «папой» II Интернационала Карлом Каутским. Вот как описывал первую встречу с ним Троцкий: «Беленький, веселый старичок с ясными голубыми глазами приветствовал меня по-русски «здравствуйте». В совокупности с тем, что я знал о Каутском из книг, это создавало очень привлекательный образ. Особенно подкупало отсутствие суетности, что, как я понял впоследствии, было результатом бесспорности в то время его авторитета и вытекавшего отсюда внутреннего спокойствия... Его ум угловат, сух, лишен находчивости, непсихологичен, оценки схематичны, шутки банальны...» [2] Но масштабность мышления его поразила. Троцкому показалось, когда прощались с Каутским, что они были ниже на голову этого маленького старичка.

Через десяток с небольшим лет Троцкий напишет уже совсем по-другому об этом теоретике. Не останется и тени восхищения Каутским: «весь авторитет Каутского держался на примирении оппортунизма в политике с марксизмом в теории... Война принесла развязку, раскрыв в первый же день всю ложь и гниль каутскианства... «Интернационал есть инструмент мира, а не войны» — Каутский ухватился за эту пошлость, как за якорь спасения». Этот человек, продолжал безжалостно Троцкий, «разрабатывая марксизм в квакерском направлении, ползал на четвереньках перед Вильсоном...» [3]

Во время своего второго европейского бивуака, который мы назвали раньше «Долгим ожиданием», Троцкий активно общался с Кларой Цеткин, Розой Люксембург, Карлом Либкнехтом, Францем Мерингом, Августом Бебелем, Виктором Адлером, Максом Адлером, Рудольфом Гильфердингом, Эдуардом Бернштейном, Макдональдом, Отто Бауэром, Карлом Реннером, Христианом Раковским, Фрицем Платтеном, Жюлем Гедом, Вандервельдом, Туратти, другими видными социал-демократами того времени. Даже краткий перечень некоторых фамилий мыслителей, практиков, политиков, общественных деятелей свидетельствует о том, что Троцкий являлся уже такой политической фигурой, которая была «вхожа» в орбиту внимания этих личностей. Троцкого знали, ценили за остроту и живость ума, энергию, самостоятельность суждений, широту взгляда, безбоязненную способность делать прогнозы и, не в последнюю очередь, за явную близость к европейской культуре. Венский «постоялец» был своим человеком в этих кругах.

Своим обликом и интеллектом Троцкий был выразителем того непреложного факта, что Россия лежала в Евро-Азии. Большинство россиян того времени все же были больше носителями азиатского и славянского, чем европейского. Здесь дело не в уровнях цивилизации, а в способности к синтезу культур. У людей, долгие годы проживших на Западе, к примеру Аксельрода, Дана, Парвуса, Плеханова, постепенно космополитические элементы сознания занимают все бо́льшее место, вытесняя национальные. Они везде себя чувствуют «дома». Такие люди, возможно, проще воспринимают общечеловеческие ценности, но одновременно утрачивают нечто такое, без чего нельзя в полной мере познать боль, горе и надежды собственной родины. Для Троцкого европейский «котел», где он основательно «выварился», означал рождение способности рассматривать революционные проблемы и задачи своего отечества в тесной взаимосвязи с международным характером социалистического движения. Едва ли идея «перманентной революции» посетила бы Троцкого, не встреться он с Парвусом, не впитай в себя достижений социал-демократической мысли Запада того времени.

Парадоксальность позиции Троцкого, бывшего всегда в душе революционным радикалом, а организационно и личностно — более близкого к демократически-реформистскому крылу, понимали далеко не все из блестящих знакомых Льва

[1] Л. Троцкий. Соч., т. II, часть 1, с. 592.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. 1, с. 244—245.
[3] Л. Троцкий. Соч., т. VIII, с. 47—48.

Давидовича. А может быть все было иначе: в душе знакомых социал-демократов он считал радикальными революционерами, а они его — реформатором-примиренцем?

В германской социал-демократии ближе всех по духу к большевикам были Роза Люксембург, Карл Либкнехт и Франц Меринг. Поддерживая с ними теплые близкие отношения, Троцкий тем не менее «дружил» и с их идейными противниками. Это настораживало немецких радикалов. Но русский социалист, живущий в Вене, придавал слишком большое значение личным симпатиям и антипатиям, чтобы жертвовать ими во имя «единства», «консолидации», «солидарности». Нередко их позиции были почти идентичными (например, у Троцкого и Люксембург на Штутгартском конгрессе), но это не означало его разрыва с меньшевиками, позиция которых была заметно иной. Когда Ф. Мерингу исполнилось 70 лет, Троцкий в своем публичном послании счел необходимым рядом с этим именем поставить и имя Р. Люксембург: «...мы с Мерингом и Люксембург находимся по одну и ту же сторону траншеи, проходящей через весь капиталистический мир. В лице Франца Меринга и Розы Люксембург мы приветствуем духовное ядро революционной немецкой оппозиции, с которой мы связаны нерасторжимым братством по оружию» [1].

О Карле Либкнехте сказал по-другому: «экспансивный, легко воспламеняющийся, он резко выделялся на фоне чинной, безличной и безразличной партийной бюрократии... Либкнехт всегда оставался наполовину чужаком в доме германской социал-демократии, с ее внутренней размеренностью и всегдашней готовностью на компромисс... Его неподдельный и глубокий революционный инстинкт всегда направлял его — через те или иные колебания — на правильный путь»[2].

Практически о каждом видном революционере, с кем он был знаком, встречался, спорил, боролся — у него есть написанные страницы. Это не сухие, бесстрастные строки политических характеристик. Взгляд на эти силуэты позволяет видеть не только идейные контуры личности, но и то, что Роза Люксембург «маленького роста, хрупкая, болезненная, с благородным очерком лица, с прекрасными глазами, излучавшими ум...», а жилище «Либкнехта было штаб-квартирой русских эмигрантов и его жена была русской»; о Меринге — это «историк внутренних боев немецкой социал-демократии».

Все годы после первой русской революции до 1917 года Троцкий провел в амфитеатре Европы, а события разворачивались в ложе. Его интересы как-то больше вращались вокруг фракций, европейского парламентаризма, новых веяний немецкой социал-демократии и т. д. Будучи в Европе, Троцкий, тем не менее, почти на десять лет оказался в «провинции» революции. Став почти профессором критики буржуазного парламентаризма, Троцкий как будто «не заметил», что не без влияния первой русской революции, где он был на первых ролях, родился и русский парламентаризм. Бойкот большевиками I, II и III Дум, как и активное участие в IV Думе, дали обильную пищу для размышлений об использовании парламентских форм борьбы рабочим классом. Все это прошло как-то мимо внимания Троцкого не только в силу физической удаленности, а и скептического отношения к русскому парламентаризму вообще. Сколь много внимания этим вопросам уделял Ленин, столь же пренебрежительно относился к ним радикал Троцкий.

К слову сказать, Сталину это дало возможность больно уколоть Троцкого за его, якобы, ликвидаторское отношение к легальной работе. В газете «Социал-демократ» 12 января 1913 года Сталин заявил: «Говорят, что Троцкий своей «объединительной» кампанией внес «новую струю» в старые «дела» ликвидаторов. Но это не видно. Несмотря на «геройские» усилия Троцкого и его «ужасные угрозы», он оказался в конце концов простым шумливым чемпионом с фальшивыми мускулами, ибо он за 5 лет «работы» никого не сумел объединить, кроме ликвидаторов. Новая шумиха — старые дела!» [3] — подытожил смертельный соперник Троцкого. Сталин опередил Троцкого; тот его еще не заметил, а первый уже приступил к его

[1] «Наше слово» № 53, 3 марта 1916 г.
[2] Л. Троцкий. Соч., т. VIII, с. 71—72.
[3] Большевистская фракция IV Государственной думы. Гос. изд-во Ленинград, 1938, с. 28—29.

развенчиванию. В целом вторая эмиграция Троцкого привела его к заметному отрыву от революционных дел в России — легальных и нелегальных.

Семья Троцких поселилась в скромной квартире из трех комнат. Единственной достопримечательностью жилища русского эмигранта было большое количество книг, подшивок газет, рукописей, журналов, довольно беспорядочно лежащих по углам. Свою семью Троцкий содержал, в основном, за счет литературного труда. Особенно долго он сотрудничал с газетой «Киевская мысль», весьма прогрессивного направления. Но заметную материальную помощь до самой революции Троцкому оказывал и старик Бронштейн. Поэтому положение бывшего Председателя Петербургского Совета было более предпочтительным, нежели у других политических эмигрантов, часто вынужденных влачить просто убогое существование, перебиваясь случайными заработками, будучи всегда озабоченными о куске хлеба. Лучшее, чем у других, материальное положение Троцкого позволяло ему полнее отдаваться творчеству, быть более независимым, чаще других переезжать из столицы в столицу, бывать на конгрессах, семинарах и прочее. В 1906 году, когда Троцкий был в тюрьме, и в 1908 году в Вене, в семье появилось два сына: Лев и Сергей, дети, судьба которых будет столь же трагична, сколь и их отца.

Троцкий поселился в Вене вынужденно; берлинские власти отказали ему в возможности жить в германской столице. Русский революционер, кроме занятий журналистикой и политической деятельностью, в тот период много времени отдавал постижению изобразительного искусства, бывал во многих картинных галереях, что позволяло готовить ему для «Киевской мысли» довольно профессиональные статьи о европейском искусстве.

Троцкий не тосковал. Или точнее — почти не тосковал. Возможно он был одним из первых «граждан мира», для которых дом там, где они находятся сейчас? Европеизация души, холодного интеллекта, посещения многих столиц старого континента, постепенное впитывание элементов различных культур, внутреннее олицетворение родины с режимом самодержавия, с которым он боролся, выработали у Троцкого иммунитет к ностальгии. Думаю, что и в последующем, в своей третьей и последней эмиграции, тоска по родине не была невыносимо острой. Была непреходящая горечь в связи с падением, утратой положения «выдающегося вождя», тоска по власти, замешанная на ненависти к Сталину. Троцкий слишком рано узнал заграницу и слишком долго там пробыл в своей жизни. Ну а главное, он, как и многие другие революционеры того времени, был насквозь «политический человек», живший борьбой, в которой почти не оставалось места тонким, неповторимым чувствам органического единства с землей твоих предков, родными песнями и обычаями, могилами тех, кому ты обязан жизнью.

Кстати, очень редкое письменное выражение тоски по родине мы находим в одном из его «балканских писем». Когда экипаж пересекал Добруджу, Троцкий до боли почувствовал ее сходство с херсонской степью, родной Яновкой, где два года назад умерла его мать и он не имел возможности поехать на ее похороны. «...Дорога такая русская. Такая пыльная, как наша херсонская дорога. Куры разбегаются из-под копыт лошадей, как и в России, а вокруг шей малорослых русских лошадей русская упряжь, даже спина кучера выглядит русской... Спускаются сумерки. Пахнет травой и дорожной пылью... Тишина. В ногах мурашки и кажется, что мы едем на каникулы со станции Новый Буг в деревню Яновка»[1]. Но это крайне редкое, почти уникальное признание Троцким своей тоски по родине.

В сентябре 1912 года «Киевская мысль» попросила Троцкого дать серию статей и репортажей о Балканах, где назревал взрыв. Материальные условия были предложены хорошие, в политической жизни Европы господствовал, как будто, штиль и Антид Ото (так подписывал свои статьи в киевской газете Троцкий) согласился.

С фронтов балканских войн он отправил более 70 статей, репортажей, корреспонденций, составивших VI том его сочинений. Почти все они написаны с блеском, мастерски, ярко. Думаю, что «балканские письма» с особой силой высветили литературную мощь Троцкого. Но он часто был не беспристрастным летописцем.

[1] Л. Троцкий. Соч., т. VI, с. 415—420.

На Балканах, этом «ящике Пандоры Европы», как он выражался, негативную роль, по его мнению, играли и «руки царизма», и панславистская идеология. Верно подмечая столкновения интересов крупных держав на Балканах, Троцкий и мысли не мог допустить, чтобы царизм, с которым он смертельно враждовал, мог иметь какие-то законные интересы в этом «ящике». Вначале его корреспонденции с фронтов выражали симпатию южным славянам, но по мере того, как он убеждался, какие надежды они питают по отношению к царской России, тон его стал меняться. Он неожиданно стал защищать терпящих поражение турок. Это сразу же вызвало бурю протеста в Софии, Белграде, Киеве, Петербурге. Болгары даже запретили ему посещать фронт, когда он стал писать о «зверствах» союзников по отношению к туркам. Троцкий все больше ополчался против славянофильства, стремясь и здесь видеть главным образом самодержавное влияние Петербурга.

Когда началась вторая Балканская война, Троцкий вновь оказался на театре военных действий, его симпатии вновь были на стороне побежденных, но теперь уже... болгар. Сейчас он писал о «зверствах» новых победителей... Повествуя о войне как антицивилизации, корреспондент «Киевской мысли», будучи до мозга костей политиком, пробовал формулировать рецепты будущего устройства для Балкан. Еще в 1909 году он писал: «Только единое государство всех балканских национальностей на демократическо-федеративных началах — по образцу Швейцарии или Северо-Американской республики — может внести внутреннее умиротворение на Балканы и создать условия для могущественного развития производительных сил»[1]. Затем, уже в ходе войны, он не раз высказывал эту, почти утопическую мысль. Правда, сама панорама войны с ее смертями и разрушениями часто заставляла усомниться в прожектах, которые рождаются на основе схематизма и абстрактных предположений. «Мы научились носить подтяжки, писать умные передовые статьи и делать шоколад «Милку»,— находим мы в рукописях саркастические строки корреспондента «Киевской мысли»,— а когда нам нужно всерьез решить вопрос о сожительстве нескольких племен на благодатном полуострове Европы, мы бессильны найти другой способ, кроме массового взаимоистребления»[2]. Впрочем, его основной смертельный оппонент на всю жизнь тоже пытался в 1947 году создать на Балканах федерацию... Вспомним, что вскоре после второй мировой войны Сталин хотел воскресить эту идею, из которой, естественно, кроме обострения отношений ничего не получилось.

Статьи Троцкого с балканских войн, как бы к ним не относились тогда и сегодня, несут на себе печать яркого пацифизма, против которого он через несколько лет так ополчится. В его работах, опубликованных всего два-три года спустя, пацифизм уже характеризуется как глубокая утопия. Заимствуя идеи циммервальдской резолюции, Троцкий напишет: «рабочие должны отвергнуть утопические требования буржуазного или социалистического пацифизма. Пацифисты порождают на место старых иллюзий новые и пытаются поставить пролетариат на службу этим иллюзиям...»[3].

Однако картины войны, создаваемые талантливым пером Антида Ото (иногда они подписывались и Л. Янов), вновь и вновь рождали эти «иллюзии», которые, десятилетия спустя, предстанут в сфере нового мышления как высшие истины. Но нельзя требовать от Троцкого того, что не выдвинула эпоха. Просто его умозрительные рассуждения о войне сильно расходились с тем, что он видел: «...На станции Чуприн, в Сербии, встретили транспорт пленных — 190 турок и арнаутов. Их высадили из вагонов и уводили за город — в казарму или в тюрьму. Это не первая картина горя и унижения человеческого, которую я видел в жизни и, в частности, здесь, на Балканах. Но **такой** я еще не видел. 190 человек израненных, истерзанных, больных, наряженных в лохмотья и тряпки, в какие-то последние остатки человеческой одежды, кое-как обмотанные вокруг несчастного человеческого тела. У многих сохранились на ногах опорки. У других ступени обернуты тряпками... Холодно, сыро, но около трети — совсем босые.

Эти пленные в Чуприи — самая правдивая картина войны: оборонительной

[1] Л. Троцкий. Соч., т. VI, с. 10.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 229, л. 42—43.
[3] Л. Троцкий. Соч., т. IX, с. 240.

и наступательной, колониальной и национальной. Эту картину должен был бы перенести иа полотио большой, честиый и умный художиик. И она была бы стократ страшнее всех симметричиых ужасов Верещагина или Леонида Андреева»[1].

В его рукописях, храиящихся в специальиом фонде Центрального партийиого архива, много материалов о Балканских войнах, осуждающих насилие вообще. «Я ехал на балкаискую войну, считая ее не только вероятиой, но и возможной. Но когда... я узнал, что несколько столь хорошо знакомых мне человек, политиков, редакторов и доцеитов, стоит уже под ружьем, на границе, на передовой линии, и что им первым придется убивать и умирать, тогда война, абстракцией которой я так легко спекулировал в мыслях и статьях, показалась мне невероятной и иевозможиой»[2]. Конкретиое видение событий часто ломает абстракции и логические конструкции и схемы, особеиио если видишь как «война всасывает в себя все иовые и новые свежие силы и выбрасывает к нам сюда отработанный человеческий материал: раиеиых и плениых»[3].

Балканские письма Троцкого — письма политика и журналиста, заглянувшего в «ящик Паидоры». Он еще ие знает, что менее чем через десять лет будет еще на одной войне, но не в качестве летописца, а одиим из главных действующих лиц долгой и кровавой драмы. Повторимся: Антид Ото своими писательскими миниатюрами срывал покровы со страшного оскала войны, осуждая ее, а в своих теоретических рассуждениях продолжал говорить о «безжизиеиности гуманистического, моралистического взгляда на войну». Троцкий все еще верил, что войиу можно искоренить войной. Тогда еще, пожалуй, иикто ие мог зиать, что это и есть страшная Утопия. Не пацифизм, способный в будущем стать планетарной теиденцией, а война, которая подменяет силой человеческий разум, будет уценена историей навсегда.

По следам Агасфера

В упомяиутом мной раньше разговоре с Ольгой Гребнер — маленькой, симпатичной и интеллигентиой старушкой, доживающей свои дни в доме для престарелых со звучным названием «Дом ветеранов сцены», она несколько раз назвала Л. Д. Троцкого, своего тестя, «Агасфером». Думаю, что это весьма точио. Согласно древней легенде, еврей Агасфер был обречеи иа вечные скитания в наказание за то, что отказался помочь Иисусу Христу нести крест. Став еще в молодости скитальцем, Троцкий, не пожелавший нести крест, уготованый судьбе колоииста, всю жизнь нес, однако, иной крест: мучеиий и славы, разочарований и неиссякаемой надежды. В иаказаиие за свою любовь к революции...

Закоичив свою балкаискую экспедицию, Троцкий еще не зиает, что в недалеком будущем, 2-го августа 1914 года, у него в Вене состоится разговор с шефом политической полиции Австрии Гейером. Гейер выразил осторожное предположение, что завтра утром может выйти приказ о заключении под стражу русских и сербов.

— Следовательно, вы рекомендуете уехать?
— И чем скорее, тем лучше.
— Хорошо, завтра я еду с семьей в Швейцарию.
— Гм... я бы предпочел, чтобы вы это сделали сегодня[4].

Но все это будет в августе четырнадцатого, когда Троцкому вновь придется идти по следам Агасфера — из одиой страны в другую. Вену он покииет иавсегда. Правда, взлетев через несколько лет иа самый гребень исторической известиости, ему придется не раз касаться дел, имеющих отношение к коммунистическому движению, в том числе и в Австрии. Но нет! В январе 1919 года, будучи влиятельнейшим Председателем Реввоеисовета Республики, ои подпишет однажды такую телеграмму:

«Москва, Центроплеивеж.
Мною получеиа из Царева нижеследующая телеграмма точка кавычки Австровеигерские военнопленные Царевский лагерь Астраханская губерния брошенные на произвол судьбы переутомленные в ожидании отправок на родину просят Вас воздействовать на надлежащие русские власти в пользу скорейшей отправки За лагерком Мицц точка кавычки

Предреввоенсовета Л. Троцкий»[1]

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 243, л. 9.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 229, л. 1.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 234, л. 1.
[4] См.: Л. Троцкий. Моя жизнь, т. I, с. 269.

Сколько он тогда подписывал разных телеграмм, приказов, распоряжений! Сколь огромна была его власть! Троцкий, который, кажется, навсегда, сбросив рубища Агасфера, приехал в свою обетованную землю — Революцию, поможет австрийцам вернуться на родину. В Австрию, но не на родину, приедет с Балкан перед империалистической войной и Антид Ото. Здесь его ждали семья и друзья.

Вернувшись в Вену, Троцкий вновь окунулся в атмосферу межпартийных разногласий, которые окончательно развели большевиков и меньшевиков в разные лагеря. Его по-прежнему привлекал радикализм большевиков, но удерживали на старых позициях личные симпатии к меньшевикам. Троцкий верил в новый подъем революции, старался не терять связи с некоторыми бывшими членами Петербургского Совета рабочих. Например, устанавливает переписку с меньшевиком Дмитрием Федоровичем Сверчковым, который после нескольких лет ссылки и каторги был амнистирован. Бывший Председатель Совета расспрашивает в письмах о новостях и даже находит время затеять с петербургским товарищем шахматную баталию.

Правда, придет время и Д. Ф. Сверчков будет просить покровительства и помощи у Троцкого, который станет к тому времени могущественным членом Политбюро и Председателем Реввоенсовета республики. Думаю, некоторые подробности этого обращения заинтересуют читателя, ибо характеризуют политический климат того времени. В мае 1922 года он получит письмо от Сверчкова, где тот сообщает: что летом 1917 года, когда Временное правительство арестовало Троцкого, «газеты вопили о необходимости жестокой расправы и я опасался, что тебе грозит расстрел. Я был в то время меньшевиком, занимал правую позицию и резко выступал против большевиков.

Еще в 1909 году в Париже, во время пленума ЦК я слышал от Мартова, Дана и других историю о присвоении большевиками наследства фабриканта Шмидта, который оставил его РСДРП. Мартов, которому тогда, в 1917 г. я безусловно верил, говорил об обманах, к которым прибегнул большевистский центр, чтобы воспользоваться наследством без раздела его с другой фракцией единой тогда партии с. д. Говорилось тогда много и резко на фракционных меньшевистских собраниях по поводу тифлисской экспроприации и размене за границей большевиками полученных от этой экспроприации 500-рублевок. Всему этому я верил, ибо самым категорическим образом говорили об этом Мартов с К. и родственники Шмидта — его сестра и ее муж, с которыми мне пришлось познакомиться в Париже...» Дальше Сверчков пишет, что все это он изложил в своем письме в 1917 году министру юстиции правительства Керенского, и как бы взамен «просил освободить тебя за моей ответственностью. В письме этом я противопоставил тебя большевистскому центру и, желая выгородить тебя и возродить полное доверие к себе со стороны правительства Керенского — тем резче отзывался о большевиках». Далее Сверчков пишет, что сейчас готовится большая публикация о выступлении большевиков 3—5 июля и будет напечатано это его письмо правительству Керенского. «...С опубликованием этого письма теперь чрезвычайно затруднится — если не станет совсем невозможной моя работа, т. к. письмом воспользуются для того, чтобы дискредитировать мои выступления и уничтожить мой авторитет...

20 мая 1922 г. Зам. Уполнаркомпуть Петр. округа путей сообщения Д. Сверчков»[2].

Это уже шахматы политические. Такое заступничество бывшего меньшевика, которое готовились огласить всенародно в самый апогей славы и возвышения

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 86, л. 6.
[2] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 141, л. 274.

Троцкого — было ему совсем ни к чему. Бутов и Сермукс, работники секретариата РВС, сделали тогда по поручению Троцкого несколько нужиых звонков...

С 1871 года по 1914 год Европа не знала крупных потрясений. Казалось, капитализм сам по себе вползает в либеральное русло. Социалисты постепенно упрочивали свое влияние. Во II Интернационале не без оснований верили, что реформы могут дать возможность достичь целей, провозглашенных марксизмом. Не все чувствовали, что под европейской крышей подспудно нарастали империалистические противоречия. На заводах рабочие все в большем количестве производили гигантские пушки, мортиры, цеппелииы, колючую проволоку, и в тайне — газы. Лето 1914 года выдалось жарким. Нужна была искра, чтобы воспламенить горючую смесь в подвалах Европы.

И она была высечена. В то время телеграф был таким же чудом, как телевидение в середине нашего века. В столицах Европы обсуждали драму: на наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жену герцогиню фон Гогенберг наборщиком Габриловичем совершено покушение. К счастью, высокая чета осталась жива... Через несколько часов новое сообщение: 19-летний сербский националист Гавриил Принцип двумя выстрелами из браунинга в упор довершил дело — наследник и его жена убиты.

— Это война,— отложив газету, сказал жене Троцкий.

Выйдя на улицу, он увидел большое оживление и скопление народа. Он писал потом в «Киевской мысли», что «бродил по улицам Вены и наблюдал на Ringe толпы демонстрирующих. Широкое пространство перед военным министерством было сплошь покрыто народом. И не «публикой», а действительно народом, в корявых сапогах и с корявыми пальцами. Было очень много подростков и школьников, но было и много зрелых людей, немало женщин. Махали в воздухе черно-желтыми флажками, пели патриотические песни, слышались выкрики: «Alle Serdan müssen sterben (Все сербы должны умереть!)» [1]. Проницательный ум Троцкого достигал: националистические, шовинистические, патриотические страсти опрокинут доводы разума, морали и просто самосохранения. Но и он тогда еще не знал, что в первые дни августа европейская социал-демократия в своем большинстве капитулирует перед милитаризмом. «Я не ждал,— вспоминал Троцкий,— что в случае войны официальные вожди Интернационала окажутся способны на серьезную революционную инициативу. Но в то же время я не допускал и мысли, что социал-демократия станет просто ползать на брюхе перед национальным милитаризмом» [2]. Троцкий провидчески напишет: «Мобилизация и объявление войны как бы стерли с лица земли все национальные и социальные противоречия в стране. Но это только историческая отсрочка, своего рода политический мораторий. Векселя переписаны на новый срок, но платить по ним придется...» [3]. Троцкий верно подметит: на первых порах война везде укрепит государственные машины с тем, чтобы затем их расшатать до предела. С этого времени Троцкий до конца своих дней станет на враждебные позиции по отношению к социал-демократам. «История сложилась так,— напишет он позже,— что в эпоху империалистической войны германская социал-демократия оказалась,— это можно сейчас сказать с полной объективностью,— наиболее контрреволюционным фактом в мировой истории» [4]. Троцкому оставался лишь один путь — к социалистическим радикалам. Ими были большевики.

Война вынудила Троцкого почти бежать с семьей в Швейцарию, ибо австрийские власти стали интернировать выходцев из России. Венская глава закончилась. Теперь он с семьей сделает к ней еще несколько иммигрантских «Приложений»: французское, испанское и северо-американское. Исход из Вены русских социал-демократов был стремительным. Вначале все перебирались в Швейцарию. Туда же переехали Ленин, Зиновьев, Радек, Бухарин и некоторые другие социалисты-иммигранты. Находясь под впечатлением предательства социал-демократов, поддержавших милитаристские планы воюющих государств в своих парламентах, Троцкий буквально за три дня написал брошюру «Война и Интернационал».

[1] «Киевская мысль» № 328, 28 ноября 1914 г.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. I, с. 270.
[3] Л. Троцкий. Соч., т. IX, с. 6.
[4] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 1, д. 178, л. 236.

В ней он настойчиво проводил ленинскую мысль (хотя по-прежнему был в состоянии «войны» с ним): мир без контрибуций и аннексий, мир для трудящихся можно достичь только обращением штыков против своих правительств. И здесь Троцкий выдвинул идею, которая всеми была воспринята как утопия: пролетариату, чтобы исключить войны, нужно создать Соединенные Штаты Европы, а затем бороться за образование Соединенных Штатов мира...

Троцкий любил пророчествовать. Далеко не все его прогнозы, скажем сразу, нашли подтверждение. Например, он был уверен, что после Октябрьской социалистической революции, если и не свершится в ближайшие годы революция мировая, то в Европе она состоится непременно. Он ошибся в прогнозах, касающихся перспектив и судеб мировой революции, значения IV Интернационала, отмирания мелких национальных государств; в некоторых других попытках приподнять завесу над грядущим. Однако многие последующие предположения, касающиеся своего отечества, опасностей перерождения, эволюции сталинизма и его последствий, оказались провидческими. Троцкий не боялся давать прогнозы. Еще в 1915 году он высказал предположение, что Россия может выйти из войны лишь с помощью революции. Он жил ею, ждал ее и торопил приход этого «праздника угнетенных».

В Швейцарии Троцкий пробыл всего два с половиной месяца. Из «Киевской мысли» поступило предложение: поехать корреспондентом газеты в Париж и с «высоты Эйфелевой башни» следить за европейским пожаром. Давнишний сотрудник киевской газеты тут же согласился.

Пробыв во Франции два года, он окончательно разошелся с Мартовым, Парвусом, Плехановым, все больше сближаясь с Лениным и большевиками. Посылая корреспонденции в «Киевскую мысль», Троцкий активно сотрудничал и в парижской русскоязычной газете «Наше слово», которая с антимилитаристских позиций освещала войну.

В Париже Троцкий фактически порвал с Августовским блоком и меньшевиками, сделав большой сдвиг в сторону Ленина. Здесь он сошелся с Антоновым-Овсеенко, дружба с которым у него была наиболее долгой и прочной, ближе узнал Луначарского, Рязанова, Лозовского, Мануильского, Сокольникова, Чичерина. Сейчас он вращался в кругу людей, с которыми ему предстояло в недалеком будущем быть в самом эпицентре русской революции. Ленинский «Социал-демократ» и газета Троцкого «Наше слово» (фактически он там быстро оказался первым лицом) все больше писали не только о Молохе войны, который не уставая собирал кровавую жатву, но и о тех подспудных толчках, которые начали сотрясать быстро уставшую от войны российскую империю.

После долгого перерыва Троцкий встретился с Лениным в сентябре 1915 года в Циммервальде — небольшой деревушке в Швейцарии, где 38 делегатов-социалистов от воюющих и некоторых нейтральных стран собрались, чтобы выработать общую позицию по отношению к продолжающейся бойне. По сути делегаты перешагнули через колючую проволоку и окопы, чтобы солидаризироваться в своей ненависти к войне.

Позиция Ленина была самой революционной: бороться за превращение войны империалистической в гражданскую. Троцкий сформулировал свою позицию иначе: «За окончание войны без победителей и побежденных». Хотя предложение Ленина не получило поддержки большинства, циммервальдская конференция свидетельствовала о возрождении радикального крыла социалистического движения, предтечи III Интернационала.

Троцкий продолжал писать. Некоторые статьи получили немалый резонанс. Например, такие: о пребывании в мае 1916 года Милюкова в Париже — «Со славянским акцентом и улыбкой на славянских губах», «Конвент растерянности и бессилия», «Год войны», «Психологические загадки войны» [1] и другие. Правда, Троцкому приходилось проявлять максимум изворотливости; ведь «Киевская мысль» была за войну, за войну до победы. Она охотно печатала критические статьи в адрес Германии и неохотно, с купюрами, то, что касалось Антанты. В «Нашем слове» можно было писать смелее. Каждый день Троцкий направлялся

[1] См.: Л. Троцкий. Соч., т. IX.

в кафе «Ротонда», где можно было прочесть все основные газеты Европы. Там он часто встречал Мартова, Рязанова, Луначарского... Информация о европейских событиях была дороже плохого военного кофе. Война, отношение к ней все больше разводили социалистов по разные стороны баррикад. Когда Троцкий узнал, что Засулич, Потресов и Плеханов «за войну», он был просто потрясен. Действительно, лучшую характеристику политических воззрений человека дают его конкретные дела!

В это же время Троцкий закрепит многие свои старые связи с французскими социалистами. Особенно близко он сойдется с А. Росмером, который станет большим другом изгнанника до конца его дней. С ним он поддерживал связь всю оставшуюся жизнь.

Дела Троцкого, между тем, осложнялись. В Марселе, куда прибывали все новые транспорты с русскими солдатами — «пушечным мясом», в одной из частей произошел бунт. Его жестоко подавили. У нескольких арестованных солдат обнаружили экземпляры «Нашего слова» с антивоенными материалами корреспондента «Киевской мысли». Реакция была быстрой: газету закрыли, а Троцкому предписали покинуть страну. Все протесты иммигрантов и друзей-социалистов не помогли. «Опасный подстрекатель», как окрестили его власти, просил разрешения выехать в Швейцарию или в Швецию. Он опасался, что в силу союзнических обязательств его могут просто выдать царским властям. В фонде Троцкого хранится вырезка из французской газеты, где говорится: «...В понедельник, 30 октября Троцкого уведомляют, что он должен выехать немедленно. С момента подписания приказа о его высылке он был поставлен под самый отвратительный полицейский надзор... Вечером два полицейских, которые были к нему приставлены, являются к нему, увозят его и отправляют на испанскую границу...» [1].

Троцкого с семьей силой выдворили в Испанию, где через несколько дней в Мадриде арестовали как «известного анархиста». Пробыв несколько недель в тюрьме, непрерывно протестуя против произвола, добился лишь одного: вместе с женой и детьми посадили на старый пассажирский корабль «Монсерат» и выслали в Северо-Американские Штаты. «Прощай Европа! — запишет он в своем дневнике.— Но еще не совсем: испанский пароход — частица Испании, его население — частица Европы, главным образом, ее отбросы» [2]. На борту корабля изгнанник напишет письма многим друзьям в разных странах, в том числе и близкому другу Альфреду Росмеру: «Я долгим взглядом провожал уплывающую в дымке эту старую каналью-Европу...»

Троцкий с женой и подросшими мальчиками в канун нового, 1916 года, стояли, тесно прижавшись друг к другу, на палубе второго класса и смотрели на тающие скалы Гибралтара. Ровно через двадцать один год, в канун 1937-го, Троцкий с женой, но уже без детей (один сын останется в Париже, где скоро погибнет, а другой к этому времени будет расстрелян в СССР), вновь пересечет океан. И тоже в направлении американских берегов. Изгнанник покинет Европу навсегда. Это будет через два десятилетия. А сейчас скиталец отправлялся в неизвестность. За кормой корабля с криком летали чайки. Троцкий мог вспомнить, что в Древнем Риме были жрецы-авгуры, которые толковали волю богов по крику птиц... Что сегодня чайки хотели передать ему? Какова теперь воля богов? Троцкий открывал главную страницу своей судьбы.

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 10, л. 5.
[2] Л. Троцкий. Соч., т. IX, с. 321.

(Продолжение следует.)

Публицистика и очерки

Сергей АНДРЕЕВ

Траурный марш

ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ ПЕРЕСТРОЙКИ

СЕЙЧАС, когда читатель держит в руках этот номер журнала, произошло достаточно много событий, не вошедших в описанную здесь ситуацию. Не вошедших — но имеющих причиной именно ее, в той или иной степени берущих начало осенью и зимой 1990—1991 года. Тогда в течение нескольких месяцев (которые и описаны на этих страницах) завершился начатый в 1985 году процесс, получивший столь популярное название «перестройка». Легко заметить, что даже слово это сейчас практически не употребляется, ибо утратило свое предметное содержание.

Кровавые события в Прибалтике, потрясшие нас в январе, катастрофа в экономической сфере, развивающаяся прямо на глазах, ужесточение режима (в первую очередь в хозяйственной сфере, но и в общественной тоже) — все это — следствие процессов, имеющих, конечно, весьма глубокие корни, но с максимальной наглядностью проявивших себя в конце прошлого года. Об этом и пойдет речь.

Экономика начала стремительно скатываться к кризису. В этой связи после первого полугодия 1990-го началось очередное массовое прозрение, столь характерное для жителей нашей страны. Всем вдруг стало ясно, что спасти может только рынок. Желательно не управляемый со стороны государства, потому что госуправлением мы за годы тоталитарного режима наелись так, что теперь, кроме этого, и кушать, собственно, нечего.

Подобная логика напоминала ход маятника, пошедшего в обратную сторону. У широких масс трудящихся представление о рынке формировалось до сих пор в основном во время походов в кино, где демонстрировались западные фильмы. Там женщины в изысканных туалетах ведут образ жизни, который и подобает вести женщинам, а мужчины, не менее элегантные, разъезжают на лимузинах в поисках места, где можно, наконец, избавиться от избытка денег. Как правило, такие места встречаются на каждом шагу: служба сервиса в странах развитого капитализма поставлена на должную высоту.

Между тем западный рынок — это еще и треть мира, живущая в нищете, голоде и болезнях, так называемые развивающиеся страны, похороненные под неподъемной горой международных долгов странам-империям. Рынок — это десятки миллионов бесправных рабов, которых цивилизованный мир выжимает и выбрасывает, изломав психически, как это происходит в Европе с турками или в Америке с мексиканцами. Ко всему прочему, рынок — это сильнейшая регуляция со стороны государства, позволяющая отбирать в казну у граждан почти половину их личного дохода (Германия, Швеция), а по отношению к предприятиям устанавливать жесточайший налоговый режим или содержать одни отрасли (угледобывающую, например), за счет других.

Об этом в кино не показывают. Экономисты, разбирающиеся в вопросах рыночных отношений, прекрасно все знают, однако многие из них тоже бросились раздувать истерию столь рьяно, что становилось страшно за многострадальный наш подопытный народ. Расхлебывать ошибки очередных умников всегда приходится ему. Раздавались, к слову сказать, и трезвые голоса, и голоса любителей ретроспекции (совместим ли социализм и рынок вообще?)...

Давление «снизу» нарастало, специалисты все чаще произносили слова, столь долго бывшие под запретом, и наконец даже правительству стало ясно, что необходимо предпринимать какие-то шаги. В условиях самостоятельности и конкуренции предприятий Совет Министров в нынешнем властном виде перестал бы существовать — вместе с Госпланом и Госснабом, поэтому перед Совмином СССР встала проблема: поменять все так, чтобы ничего не менять, но при этом избежать экономической катастрофы, способной вызвать взрыв глобального недовольства. Задача эта была сложной и требовала высшей политической квалификации, поскольку за ее решением стояли интересы класса хозяйственно-административного управления, с одной стороны, и общества — с другой. Обеим сторонам хотелось выжить, а само понятие «выжить» приобретало вполне физический смысл. Не нужно забывать уроков истории, в частности голод начала тридцатых годов на Украине. Тогда целый народ принесен был в жертву политическим амбициям управляющей вер-

хушки, десятки миллионов людей погибли ради того, чтобы усатый деспот мог с изуверским удовлетворением говорить о богатстве страны, по-прежнему продающей хлеб за границу. Поэтому ждать милостей от природы управленцев, полагая, что они тоже советские люди и зла другим не хотят, наивно. Зла они не хотят, пока ситуация не затрагивает их классовых интересов. Когда затрагивает — класс встает на дыбы. Относится это к любому классу вообще, хозаппаратчики здесь вовсе не выступают какими-то монстрами. Просто в силу сложившихся обстоятельств именно они, обладая определенными привилегиями, могут свои привилегии потерять — чему активно, используя свои средства, сопротивляются на всех уровнях, начиная с верхнего. Как это выглядит, нам и предстоит увидеть.

...С конца мая по сентябрь правительство работало над программой перехода к рынку. В результате программа легла на стол Президиума Верховного Совета точно в срок. В чем состояла ее суть, если брать аспект не экономический, а структурно-властный?

Первое. СССР остается целостным суверенным государством, основанным на федеративном принципе, имеющем свои единые структуры управления и другие атрибуты централизованной власти. В далеком будущем предполагается «отмирание» одних органов управления и замена их другими, видимо, аналогичными, служащими верой и правдой все той же командно-бюрократической пирамиде. Совмин категорически против одномоментного перекраивания управленческих звеньев.

Второе. Совмин предлагает безоговорочное подчинение республик законам, которые вырабатываются в Верховном Совете СССР. Республиканские нормативные акты, которые касаются собственности, земли, предприятий и т. д., должны быть объявлены недействительными, поскольку существование таких актов затруднит создание общесоюзного рынка. Вся программа правительства строится на том, чтобы опираться на уже принятые законы, в том числе в области социальной. Отрицается допустимость безработицы в сколько-нибудь массовом масштабе.

Третье. Предполагается осуществить жесткий государственный контроль за ценами. Если уж поднимать их, то не на основе «отпускания на свободу», а централизованно, под строгим совминовским оком. В результате можно будет сократить бюджетный дефицит до 30 миллиардов рублей, то есть почти на 100 миллиардов, в 1991 году.

Четвертое. Налоговая политика предполагает два канала поступления денег от предприятий в республиканский (23 процента) и союзный (22 процента) бюджеты. Итого — сорок пять процентов своей прибыли предприятие отдает. Принцип формирования доходов на республиканском уровне с последующей передачей в центр той доли, которая идет на функции только центральные, исключается.

...Здесь специально не выносятся на обозрение читателя чисто экономические моменты, такие, как сравнительный анализ новых цен,— выпущенных «на свободу», либо поднятых благодаря отеческой заботе Совета Министров, или, скажем, вопросы о закупочных ценах на сельхозпродукцию. Подобных моментов много, и каждый может считаться важнейшим, однако нельзя, чтобы они заслонили суть. А суть проста: назвав свою программу умеренно-радикальной, Совмин СССР весь ее радикализм свел к повышению цен без подкрепления реальной низовой самостоятельностью предприятий. При этом главным принципом, охватывающим все прочие, было главенство общесоюзных структур над республиканскими, как будто в республиках не шли вовсю процессы резкого обособления от центра.

Вторую программу перехода к рынку, как мы помним, разрабатывала группа под руководством академика С. Шаталина. Там выдвигались тезисы, прямо противоположные правительственным: в области построения государственной структуры, в политике ценообразования, финансово-кредитной и (что важно) в отношении к различным формам собственности.

В чем заключались принципиальные различия? Любопытно проследить, какими взаимными упреками обменивались группа С. Шаталина и правительство, чтобы понять не только глубину противоречий между ними, но и саму суть предлагавшихся концепций.

«Шаталинцы» считали, что одной из основ быстрого перехода к процветающей экономике является приватизация собственности. Люди должны на первом этапе вложить свои деньги в квартиры, садовые участки, транспортные средства и многое другое, что даст возможность избежать существенного роста цен при их последующем высвобождении. Высвобождении, подчеркнем, без единовременного централизованного повышения,— поэтапно, начиная с товаров, не входящих в число предметов потребления первой необходимости.

Для этого требуется быстрый и эффективный процесс приватизации. Имеются ли у нас основания считать, что так и будет? Вряд ли, полагает Л. Абалкин, один из авторов правительственного варианта. Ситуация в обществе не та, да и откуда людям взять деньги для выкупа земли, квартир и т. п.?

Во-вторых, многое зависит от того, насколько быстро удастся насытить рынок предметами потребления на базе предпринимательской деятельности. Это также проблематично.

Третье условие, которое может оказаться роковым при реализации шаталинской программы,— механизм защиты малоимущих слоев. Если срывается возможность быстрого разгосударствления собственности, то полновесный бюджет с превышением доходной части над расходной — недостижимая мечта. Доход бюджета складывается из налога с прибыли, налога с оборота и налога с личных доходов граждан. Значит, требуется крупномасштабный размах предпринимательства, обеспечивающий высокую прибыль и высокие заработки, и развернутое производство товаров, пополняющее бюджет налогом с оборота. Не выдержит хоть одно звено — можно выбрасывать всю цепь.

Ну, а дальше можно перечислить расхождения по вопросам самым общим. Если Союз ССР — федеративное государство, это один разговор. Если, как предлагает группа Шаталина, это экономический союз суверенных государств — совсем другой. Экономической базе центра придается расплывчатый характер: сколько сочтут республики нужным, столько и выплатят для общих нужд. Совмин хотел бы прямо противоположного: централизованно определять, каким образом следует распорядиться деньгами и фондами в отношении республик,— ему сверху видней. Изрядную долю собственных забот, конечно, те взвалят на свои плечи, однако общие вопросы решать будет все-таки центр.

В программе Шаталина, утверждали авторы правительственного проекта, намечается проведение республиками реформы оплаты труда. Чтобы обеспечить детей и стариков, потребуется увеличить зарплату не менее чем в полтора раза. Откуда взять на это средства, в программе не указано, говорится лишь о том, что уровни социальных гарантий и их формы вводятся республиками самостоятельно. Совмин считает, что такие вопросы можно решать только на основе единоначалия, обеспечивая равенство всех граждан страны. То есть выравнивая в нищете пенсионеров всех республик, несмотря на то, что в некоторых из регионов к некоему минимуму могут идти определенные доплаты.

Особенно серьезные возражения у Л. Абалкина и К° возникли по поводу земельной реформы, предлагавшейся группой С. Шаталина. В ней говорилось о том, что с 1 октября 1990 года земли колхозов и совхозов объявляются суммой участков их работников, после чего делятся (вначале условно) по паям, акциям и т. д. Такой шаг, считало правительство, может привести к агрессивным действиям одних крестьян по отношению к другим, драку за лучший участок и т. п. Лучше уж плохое, зато коллективное, считали «наверху», раньше так жили — и теперь проживем. Шаталин преувеличивает роль крестьянских хозяйств, решили в Совмине СССР, у нас ведь колхозы не хуже.

У нас колхозы не хуже, вещал в тон Совмину В. Стародубцев, особенно если речь идет о регионах, недостаточно обеспеченных рабочей силой. Резкое сокращение здесь совхозно-колхозного сектора приведет к исключению из оборота значительных площадей и, как следствие, уменьшению сельхозпродукции. Привычные стереотипы: чем больше колхозных земель, тем больше продуктов, довлели и здесь. Между тем фермерское хозяйство может и при небольших наделах обеспечить эффективность, которая и не снилась государственному хозяйству. Статистика утверждает: всего пять процентов угодий, отведенных индивидуальному сектору, дают стране 90 процентов плодов и ягод, 45 — овощей и картошки, четверть мяса. Молока в личных хозяйствах получают до 5000 литров от коровы, а в госсекторе — слава богу, если 2500 литров... Однако дай фермеру власть над землей, утратится монополия бюрократии на принятие решений, появится целый класс социально и экономически свободных людей... Совмин против.

Интересно, какие же тезисы правительство отстаивает? Одна из любопытных мер, выдвинутых в его программе, выглядит так. Совет Министров пересматривает переход на систему ценообразования, с помощью которой вынимает из карманов у граждан 135 миллиардов рублей. Все это должно, по замыслу, полностью компенсироваться населению. Цены тем самым приводятся в некий баланс, приближенный к реалиям дня. То есть вместо включения рыночных регуляторов Совмин считает нужным сделать административный ход и оформить все это актом «сдано — принято»: деньги взяты, затраты людям компенсированы. Основывалось подобное мнение на том, что при свободно плавающих ценах неизвестно, какую компенсацию и платить-то. А так — пожалуйста: подходите в собес и получайте... если хватит терпения стоять в чудовищных очередях, и без того возникших в связи с переоформлением пенсий.

Что же С. Шаталин? Он утверждал: процессы суверенизации республик начались, игнорировать их — глупость чрезвычайная. Напротив, нужно опираться на экономический союз равных государств, а не на принципы тоталитарной власти. Во-вторых, главным в области финансов должна являться первоначальная стабилизация рубля, а уже затем — введение свободного ценообразования (вместо повышения цен в 2—3 раза, как рекомендовало правительство).

Еще одно: частная собственность. Нужна она, считает С. Шаталин, нужна! — но к ней требуются сильные профсоюзы как гарантии социальной защищенности работников. Смысл всего: не богатых опустить до уровня бедняков, а беднякам дать возможность стать богатыми...

Столкнулись два подхода, каждый из которых обладал многими плюсами и минусами и имел столь серьезные концептуальные противоречия, что принять

некий паллиативный вариант ни та, ни другая сторона не видела возможности.

Тем не менее именно синтетический проект и поручено было создать группе во главе с академиком А. Аганбегяном. В середине сентября он выступил перед членами комитетов и комиссий Верховного Совета СССР, заявив, что за основу компромисса взят был все-таки шаталинский вариант. Почему?

Потому, во-первых, что СССР в том виде, каком он представляется из Совмина, больше не существует: реальные процессы далеко отстоят от того, что хотелось бы иметь правительству. Вместо уходящего в прошлое унитарного государства создается экономическое сообщество суверенных республик.

Во-вторых, шаталинский вариант начинается со стабилизации финансов, с их сбалансированности. И уж затем «отпускаются» цены под жестким контролем сверху. Все вместе это дает возможность найти поддержку именно в республиках, которые сегодня, напротив, выступают оппонентами при любой попытке давления из центра.

В результате полемики, которую вели под прицельным огнем депутатов Верховного Совета СССР А. Абалкин, С. Шаталин, А. Аганбегян, Г. Явлинский и другие, выяснилось, что старая гвардия, защищавшая правительственный проект, прекрасно владеет фактической стороной проблем, но сделать радикальные шаги не может и не хочет. Новые силы в лице группы Шаталина исходят из того, что если даже свежепринятый закон мешает программе «500 дней», то менять требуется закон, а не программу.

Любопытно, что несколько ранее, выступая в парламенте страны, М. Горбачев сделал неожиданное заявление: ему больше импонирует вариант группы Шаталина, сказал он. К тому же и Н. Рыжков весьма твердо заявил, что чужую программу реализовывать не собирается — следовательно, в случае принятия варианта Шаталина премьер подает в отставку. Похоже было, что дело предрешено, тем более что многие депутаты примерно на этом и настаивали: зачем, дескать, детальные разработки, примем «500 дней», и все.

Однако эксперты, приглашенные комитетом по вопросам экономической реформы, пришли к выводу: ни один из вариантов не ведет к полноценному рынку, чем поставили в тупик Верховный Совет СССР. При этом сами же эксперты предложили собственный проект, учитывающий и устраняющий (с их точки зрения) недостатки обеих программ. Проект назывался «Паритет».

Что предлагали эксперты?

Главное отличие созданной им программы от прочих состояло в том, что по проектам Шаталина и Абалкина на рынке взаимодействуют некие «свободные предприятия». Термин, как видим, довольно невнятный. У экспертов же довольно жестко определяется: взаимодействуют *собственники*. То есть субъекты, которые вправе полностью распоряжаться своим имуществом, нанимать рабочую силу, администрацию, устанавливать виды, объемы продукции и так далее. Монополию государства нужно заменить небольшим госсектором объемом около четверти всей собственности, как считали эксперты,— более точную цифру установит практика. 50 или даже 70 процентов государственной собственности необходимо передать гражданам страны безвозмездно, посчитав стоимость разгосударствленного имущества. Сумма получаемых акций зависит в основном от трудового стажа, хотя возможны и другие подходы.

Таким образом, в течение двух-трех лет каждый гражданин получает какую-то долю общенародной собственности и имеет право распоряжаться ею по своему усмотрению: продать, обменять передать по наследству и т. д.

Вопрос о земле эксперты решали следующим образом: вместо так называемой условной приватизации, предложенной Шаталиным (довольно сложной процедуры, когда создаются согласительные комиссии при местных Советах и т. д.),— вместо всего этого земельные наделы *сразу* передаются в собственность крестьянских семей. Если же те захотят объединиться — пусть делают это добровольно. Нечто подобное, как мы помним, было взято за основу в 1917 году и привлекло на сторону правительства стомиллионную массу крестьянства.

Теперь о структуре Союза. Экспертами предлагалось создание совета президентов республик под руководством Президента СССР. Права этому совету делегируются с мест на строго определенное время, но права эти весьма широки. В частности, советы министров республик подчиняются не своим Верховным советам, а этому суперпрезидентскому органу: ради согласованности действий, как считали эксперты. Окончание их программы 1 января 1993 года.

Что можно сказать по этому поводу? Самое серьезное, чего добились граждане Советского Союза за время перестройки,— это демократизация, которая начала было затрагивать производственную сферу. И если правительственная программа откровенно глушила любое проявление свободы, как рыбу динамитом, в результате чего вольнодумцы и коммерсанты должны были всплыть кверху белыми брюшками максимум через год, экономика — развалиться, а народ — потерять веру во все святое (да и в себя заодно), то программа Шаталина страдала иным перекосом. Она тащила народное хозяйство в счастливое будущее насильно, да еще погоняя кнутом. С самыми благими намерениями людей по этому проекту заставляли быть счастливыми. В частности, предполагалось перепрыгнуть сразу к акционерной форме собственности на крупных предприятиях, не прочувствовав, не потрогав руками даже предварительно

коллективного управления и владения производством. Здесь крылась прямая опасность сломать себе ноги, забираясь по лестнице на чердак через три ступеньки. История СССР, к сожалению, располагает богатым опытом на сей счет. В этой связи — о программе экспертов. Многое в ней хорошо взвешено с учетом ошибок, допущенных Шаталиным и Абалкиным. Только одна беда: чтобы реализовать благие планы, необходимо было бы на какое-то время чуть-чуть отказаться от демократии и создать суперпрезидентский орган управления. До 1 января 1993 года, не больше! А потом все вернуть обратно, договориться, так сказать, по-братски...

Вот в этом «чуть-чуть» и кроется, как сказали бы математики, умножение на нуль. Ведь у Абалкина тоже вначале стояло административное принуждение. Всем: равняйсь! Смирно! Балансируем хозяйство. После чего дружно, в ногу, шагаем в новую рыночную жизнь, но уже с экономическим заделом за плечами... Однако ни у кого не возникало иллюзий: период «балансировки» можно растянуть навеки.

... Получается, все варианты нехороши, причем в достаточно опорных своих моментах. Шаталинский — волюнтаризмом и непроработанностью, абалкинский — откровенной административной направленностью, экспертный — стремлением решить все вопросы через введение жесткой власти. Где же истина?

Пока шло топтание на месте, в Азербайджане начали передавать в семейную собственность малые предприятия в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании легкой и местной промышленности (шаталинский вариант). В то же время Киргизия наотрез отказалась следовать программе «500 дней» и выразила приверженность правительственному варианту. В Белоруссии республиканский Совмин заявил, что пойдет к рынку «своим путем», и начал с того, что ужесточил строгости по отношению к кооперации, а также запретил иной, чем из центра, порядок регулирования поставок продукции за пределы республики. Кто в лес, кто по дрова, а если уж к рынку, то задом наперед: в условиях, когда каждый день имел огромное значение, союзные парламенты демонстрировали всему миру, что такое паралич воли в сочетании с отсутствием квалификации.

В Кремле 21 сентября перед растерявшимися избранниками народа выступил Н. Рыжков и заявил, что в документах, представленных Совмином и группой Шаталина, есть... много общего, так что все-таки вполне возможен синтетический вариант. Требуется единая программа перехода к рынку, подчеркнул премьер, поскольку, стоит выйти с двумя документами, начнется бесконечная дискуссия.

Интересно заметить: не только депутаты, но и рабочая группа Шаталина, облеченная полномочиями Президента страны и Председателя Верховного Совета РСФСР, не получали информации при подготовке своих проектов. Игнорировали запросы шаталинцев следующие госконторы: Внешэкономбанк, Госплан СССР, Государственная внешнеэкономическая комиссия Совмина СССР, Министерство обороны, Управление делами ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС. Список изрядный, как видим. Если учесть еще маленькие хитрости Совмина, благодаря которым скрывается истинное положение дел, то станет ясно, что даже компетентным специалистам трудно оценить глубину ямы, в которой мы сидим. Например, на прямой вопрос о нашей помощи иностранным государствам Н. Рыжков в одном из интервью ответил, что она составляет 9,7 миллиарда рублей. В действительности приведенная цифра содержит только суммы государственных кредитов и безвозмездной помощи. А как быть со льготами, которые предоставлены в виде скидок-надбавок к экспортно-импортным ценам (например, нефть для Кубы и апельсины оттуда)? Плюс половина из тех 85 миллиардов, что нам задолжали друзья по нищете,— половина, которая отнесена к «сомнительной задолженности» и не будет, видимо, погашена *никогда*. Н. Рыжков, знал истинную картину и явно пытался представить ее в розовом свете. Так же, как и Минфин, включая в доходную часть бюджета статьи поступлений по кредитам из иностранных источников. Эти деньги даны нам в долг для покрытия дефицита, и это отнюдь не доход, а заем! Снова ложь, аналогичная еще большей лжи о кредитах Госбанка, которые тоже не есть доход, но включены именно в эту статью,— и дефицит бюджета вмиг сокращен на две трети. Единым, как говорится, росчерком пера.

Такие вот приемы из застойных времен — какая уж тут информированность у депутатов! На основании чего выносить им свои вердикты? На основании классового чутья, ответим мы, а поскольку большинство депутатов того же съезда страны — представители органов управления, то и отстаивают они интересы управленческого сословия. То есть в конечном итоге голосование высшего органа власти *обязано* склонить стрелку весов туда, где дается гарантия существования именно органов власти в их нынешнем виде. Каким бы ущербным ни оказалось это решение для всего прочего населения.

Вот о чем мы должны помнить, когда будем наблюдать столкновения по поводу предложенных проектов. Ведь в программе «500 дней» нет места... Совмину СССР! Цитируем: «Отраслевые министерства и Бюро Совета Министров СССР по производственным комплексам ликвидируются (...) На период проведения преобразований и стабилизации экономики создается межреспубликанский экономический комитет с самыми широкими полномочиями». То есть возникает орган, сформированный «на началах паритетного представительства республик — суверенных государств». Может быть, в этом

ключ к принятию или непринятию программы «500 дней» или ее правительственной антитезы депутатами?

Опустим парламентские дебаты, где, с одной стороны, народ и его избранников запугивали резким взлетом неуправляемых цен и призывали к умеренному, долгому пути под надзором Совета Министров СССР, а с другой — угрожали взрывом недовольства, поскольку народ устал терпеть издевательства со стороны административной системы. В конце концов М. Горбачев, Н. Рыжков и С. Шаталин пошли на определенное соглашение, в результате которого стали прорисовываться контуры некоего общего документа. Депутат Г. Фильшин задал на сессии Верховного Совета вопрос, не является ли такой шаг попыткой Президента спасти правительство, и получил ответ М. Горбачева:

— Не я его спасаю. Верховный Совет определит, что надо делать. Во-вторых, не упрощайте вопрос о правительстве. Известно, в какое время оно работает. И общество, подвергая его жестокой критике, предъявляя ему спрос, вместе с тем в значительной части стоит на позициях поддержки правительству.

Фактически можно считать, что, когда незадолго до этого Президент сделал шаг навстречу шаталинской программе, заявив о своей благосклонности к ней, правительственные круги его резко осадили. Теперь, в конце сентября, мнение М. Горбачева совпадало с мнением Н. Рыжкова о совместимости обеих программ.

Дискуссия продолжилась со вполне понятным ожесточением, когда председательствующий зачитал записку одного из депутатов: дескать, те, «кто готов бегать по нескольку раз к микрофонам, хотят увести Верховный Совет в сторону от неотложных вопросов текущего момента». Такой кукушонок, видимо, всегда сидит в зале и от имени раздраженной массы депутатов в нужный момент выпихивает из гнезда яйца вот-вот готовых родиться идей. Идеи разбиваются и гибнут. В тот момент диспут был прерван, хотя встал вопрос о проекте постановления, внесенного лично С. Шаталиным. Большинство вообще не захотело голосовать по поводу этого проекта, хотя, казалось бы, сам автор программы «500 дней» должен был иметь хотя бы право выдвинуть свой вариант резолюции. В такой уродливой форме парламент еще раз показал всем, на что может рассчитывать избравший его народ. Решили: подготовить единую программу на базе двух проектов, и точка.

— Даже Верховный Совет СССР,— с иронией заметил еще раньше в своем кратком выступлении по этому поводу академик С. Шаталин,— не может отменить уравнение Максвелла или закон Ома. Экономика — это тоже наука. Никакого компромисса между программами, представленными Президентом (на основе шаталинской.— С. А.) и правительством, быть не может. Я не хочу участвовать в спектакле...

Тем не менее спектакль продолжился, и С. Шаталин в нем участвовал,— видимо, чтобы хоть что-то спасти. Однако ситуация внезапно изменилась, поскольку на сцену вышел Верховный Совет РСФСР. Высший орган российской власти после достаточно короткого обсуждения... принял программу «500 дней», рассчитывая запустить ее с 1 октября 1990 года!

Это повергло в шок союзных депутатов. Собственно, то, что до сих пор лишь тлело — война законов Союза против входящих в него республик,— превратилось в вырвавшееся наружу пламя. Не имея еще четкого плана действий, не обретя программы перехода к рынку, союзные депутаты почувствовали, как у них отнимают возможность указывать народам страны путь в счастливое будущее. Нужно было что-то делать, и наши избранники, повинуясь общему настроению, решили упрочить позиции центра, передав Президенту чрезвычайные полномочия. Об этом попросил их сам М. Горбачев, не столь давно утверждавший (при вступлении на пост), что он противник сосредоточения слишком уж большой власти в одних руках. Правда, на XIX партконференции годом раньше именно он настаивал на совмещении постов партийных секретарей и первых лиц советских органов, так что вопрос о его отношении к данной проблеме достаточно сложен.

Российский парламент ответил на акцию союзного органа однозначно. «Президиум Верховного Совета РСФСР заявляет,— говорилось в широко опубликованном документе,— что в сложившейся ситуации:

1. Предоставление Президенту СССР запрошенных им чрезвычайных полномочий недопустимо.

2. В случае предоставления Президенту Верховным Советом СССР таких полномочий Верховный Совет РСФСР, Президиум Верховного Совета РСФСР, Председатель Верховного Совета РСФСР примут все необходимые меры по защите суверенитета и конституционного строя РСФСР.

Президиум Верховного Совета РСФСР обращается к Верховному Совету СССР, Президенту СССР, к высшим органам государственной власти суверенных республик с предложением безотлагательно разработать и принять согласованные меры по стабилизации экономической и политической ситуации в стране, основывающиеся на взаимном признании суверенитета и установленного в каждой из республик конституционного строя».

Подписал заявление Б. Ельцин.

Итак, война законов перешла в свою следующую стадию, поскольку Россия, объявившая о суверенитете,— это не Литва и не Эстония, так что путем экономической блокады дело здесь не решишь. Конституция СССР 1977 года определяла верховенство союзных актов над республиканскими. Со стороны суверенных государств, входящих в Союз, не было в юридическом смысле никакой опоры, кроме деклараций о независимости, и огромного желания свои декларации реализовать. До тех пор, пока в такого рода вопросах нельзя было опереться на **новые** республиканские конституции и создать иной, нежели прежде, Союзный договор, любое отрицание власти Верховного Совета СССР или Президента страны выглядело неправомочным. Однако реальные процессы шли именно в сторону обособления республик и чем туже центр пытался закрутить гайки (во имя экономической стабильности, как утверждалось, а по сути — спасая тоталитарную форму своего правления), тем сильнее оказывался отпор на местах. Экономика в результате всего этого действительно трещала по швам.

Когда российский парламент принял приведенное выше заявление, всесоюзный орган назвал устами некоторых своих делегатов такую инициатуву «поспешной». Другие депутаты, напротив, квалифицировали передачу дополнительных прав М. Горбачеву как наступление на демократию и шаг к возрождению авторитарной власти. М. Горбачев возразил: речь идет лишь о предоставлении дополнительной **ответственности**...

Игра словами длилась до тех пор, пока 24 сентября не было принято постановление, тут же возведенное в ранг закона: «О дополнительных мерах по стабилизации экономической и общественно-политической жизни страны». В частности, этим законом Президенту на полтора года предоставлялось право издавать оперативные указы и давать поручения по вопросам отношений собственности, организации управления народным хозяйством, бюджетно-финансовой системой, оплаты труда и ценообразования, укрепления правопорядка и так далее. Все ключевые моменты жизни могли теперь регулироваться указами Президента. До сих пор делегаты Верховного Совета зачастую выступали статистами, умело направляемыми авторитетным начальством. Теперь они вообще публично признали за собой эту роль, тем самым, по сути, подписав себе приговор. В качестве статистов они оказывались не нужны ни народу, который обманулся в своих ожиданиях, ни президентской команде, у которой вся эта гвардия шумящих по поводу и без повода молодцев, кроме раздражения, ничего вызвать не могла. Оставалась, правда, одна закавыка — Конституция страны, в соответствии с которой депутаты осуществляли законодательные функции. Но коль скоро они сами добровольно отдали такое право Президенту с его указами, то и надобность в парламенте отпадала. Закон «О дополнительных мерах...» утверждал, что Верховный Совет СССР может **рекомендовать** Президенту изменить или отменить принятое им решение — только и всего. Делом Президента было решать, станет он прислушиваться к этим рекомендациям или нет. Характерно, что закон, делегирующий М. Горбачеву такие возможности, подписал сам М. Горбачев (взявший на себя «дополнительную ответственность»).

Таким образом, появилась еще одна юридическая сила высшего порядка, при помощи которой можно было, как считали в Верховном Совете СССР, стабилизировать обстановку — то есть принудить республики сдаться. В первую очередь речь шла, естественно, о России.

Все это имеет самое прямое отношение к проектам перехода на рыночные рельсы, поскольку затрагивает основной концептуальный вопрос — о проведении реформ либо всем республикам вместе, либо порознь. В последнем случае неизвестно, как формировать «единое экономическое пространство», о котором все чаще заходила речь в связи с появившимися проектами создания собственных национальных валют.

На стартовой черте, перед запуском застыли два варианта, два механизма перехода к рынку. В случае победы правительственной схемы в ход, по мнению члена-корреспондента АН СССР Н. Петракова, должен был пойти печатный станок: 30—32 миллиарда пустых рублей нужно будет закачать в экономику, чтобы обеспечить «компенсацию» для населения реформы цен. К тому же правительство уже включило печатание денег, объявив о повышении закупочных цен на зерно (9 миллиардов рублей) и о досрочном выкупе у населения старых облигаций (еще 6 миллиардов). Все это могло привести только к развалу и сползанию производства к системе жестких централизованных госзаказов. За что и боролись, видимо, все пять лет, пока шла перестройка. Парадокс!

С. Шаталин заявил, что право выбора форм собственности, включая частную, хотя бы на землю,— такое право принадлежит республикам. «У правительства,— сказал он,— на этот счет иная точка зрения, и с ней я принципиально не согласен».

Академик Л. Абалкин, напротив, заявил, что все еще просматривается возможность компромиссных решений. Развал Союза экономически невыгоден всем, в этом залог грядущей консолидации... Консолидации под пятой Совмина СССР, видимо, забыл добавить уважаемый автор правительственной концепции.

Как бы то ни было, парламент страны перенес решение вопроса на середину октября, чем заведомо поставил под удар принятую в России схему «500 дней». Ясно стало, что начать реформу подобного масштаба в одиночку ни одна республика не может, даже такая, как РСФСР. Требуется согласование действий между всеми участниками, а тут не только общего договора нет, но и горизонтальные связи еле-еле начали складываться после того, как многие суверенные государства позакрывали свои границы на экономические замки.

Нужно понимать оперативную ситуацию, возникшую к октябрю 1990 года,

чтобы адекватно воспринять все происшедшее потом. Сложилась катастрофическая обстановка с уборкой урожая. На полях погибали картошка и овощи. Заготовка на зиму практически не велась.

С другой стороны, в неясной ситуации оказались и промышленные предприятия. «Меня, руководителя экономической службы крупного машиностроительного объединения,— высказала мнение А. Тарасова (МГО «Криогеника»),—очень беспокоит полный разлад горизонтальных связей между заводами-смежниками. И во многом виноваты Госснаб и Госплан СССР. Что делали их работники целое лето? Думали, как сохранить свои кресла. Почему пышным цветом процветает натуральный обмен продукцией? Почему госзаказы превратились в пустые бумажки, нарушена ритмичность поставок металла, комплектующих узлов? Звоним на завод, задержавший выполнение заказа, а оттуда в ответ: «Если не переведете такую-то сумму на наш счет для пополнения фонда развития, тогда детали в срок не отправим». Обратите внимание: деньги требуют не за детали, а для своих внутризаводских нужд. Но это же не рынок, а шантаж!»

Ну, а пока «виноваты Госплан и Госснаб», необходимыми становятся меры, которые к рынку не имеют никакого отношения, зато вселяют некоторую уверенность в надежности и порядке. Меры эти, заметим, до принятия какой-либо общей программы на уровне Верховного Совета СССР оформляются в виде Указа Президента. Носят они длинное название и касаются стабилизации хозяйственных связей с октября 1990 года и на весь 1991-й.

Меры строгие. Во-первых, все связи, сложившиеся между предприятиями на момент Указа, сохраняются впредь. Действия местных органов власти, дезорганизующих эти связи, признаются недопустимыми (в том числе имеются в виду и межреспубликанские шлагбаумы).

Во-вторых, если какое-то предприятие откажется заключать договоры в соответствии с фактическими связями, его штрафуют: до 50 процентов стоимости не принятого к исполнению заказа идет в местный бюджет. Прокуратура должна привлекать к строгой административной ответственности тех, кто не выполняет Указ.

В-третьих, в случае необходимости Совмин СССР может вводить особый режим работы общегосударственных систем жизнеобеспечения страны. В первую очередь это железные дороги, но ими дело не ограничивается...

Еще раз подчеркнем: Указ датирован 27 сентября, в то время как в России хотели начать отсчет «500 дней» буквально с 1 октября. Закрепление связей означало госзаказ там, где предполагался рынок. Тем самым Президент положил начало серии директивных актов, разрушающих самую суть радикальных реформ группы С. Шаталина. Первый из них появился спустя неделю: «Указ Президента СССР о первоочередных мерах по переходу к рыночным отношениям». Каждый из четырех пунктов документа отражает абсолютную, непоколебимую уверенность в том, что рынок есть хаос и вести дело можно только путем грубого администрирования. Чтобы в этом убедиться, обратимся к тексту.

В народном хозяйстве разрешалось перейти к широкому применению договорных цен (как будто они и без разрешения не применялись). Но какими должны быть эти цены? Читатель, видимо, решил, что раз «договорные», то — как решат заказчик и исполнитель. Нет! Они устанавливаются на основании оптовых цен, разработанных в соответствии с постановлением Совмина двухлетней давности. То есть никакой вольницы: правительство думает за всех.

Во-вторых, чтобы цены не слишком росли, вводился предельный уровень рентабельности. «Имея в виду,— говорилось в Указе,— что вся прибыль, полученная сверх этого уровня, зачисляется в равных долях в союзный и республиканский бюджеты». То есть если у кого-то и появится желание сработать не на доли процента лучше, а качественно модернизировать производство, то у такого предприятия выгребут под метелку все, что оно заработает сверх какого-то процента. Кто же определит тот уровень, выше которого не должна расти прибыль? В пункте третьем четко сказано: этим строгим судьей будут Совмин СССР и Совмины республик. Те, кто кровно заинтересован в условиях экстенсивного, замедленного развития производства,— ибо только так сохраняется власть административных структур.

Фактически Президент передал в руки хозбюрократии контроль над зарождением рынка. Оправдание этого шага тем, что цены на продукцию монополистов-производителей могут «слишком» подскочить, несостоятельно: рынок вправит вывихнутый сустав достаточно быстро. Только при условии, что создан будет действительно к о м п л е к с н ы й рынок, включающий в себя и сельское хозяйство. Еще одно: существуют эффективные способы воздействовать именно на предприятия, которые волей судеб оказались единственными производителями какого-то продукта. Не нужно только давить на в с е х производителей без разбора... ан нет! — давят. Ко всему, Указ предусматривал повышение взносов на государственное страхование, сдирая с предприятий увеличенные по сравнению с недавним прошлым суммы.

Что ж, вполне логично. В конечном итоге все измеряется не декларациями, а делом. Дело же высвечивало истинные намерения лидера государства: сначала сосредоточение в своих руках как можно большей власти (включая, как мы помним, сферу финансов, отношений собственности и т. д.), а затем проведение линии на невозможность перехода к рынку. С целью — держать в административной узде появившуюся плеяду людей

нового толка: государственных коммерсантов, носителей идеи свободной экономики. Раскрепощение предприятий госсектора было заморожено, и все бы шло по плану Президента (очевидному после первых же двух «чрезвычайных» Указов), если бы не позиция России. Требовалось сделать невозможным переход к рынку и там — если уж быть последовательным. Служить этому и должна была синтетическая программа.

Попутное замечание. Что такое рентабельность? Это отношение прибыли (числитель) к затратам производства (знаменатель). Следовательно, руководитель, желающий сохранить предельный уровень рентабельности, может неограниченно наращивать прибыль за счет цены, параллельно увеличивая затраты. Каким образом? Покупая дорогое сырье вместо дешевого и увеличивая зарплату работникам. Таким образом, внешние ограничения могут быть легко отброшены, поскольку в условиях затратной экономики не возбраняется, а поощряется «освоение» средств, то есть вложение их в дело без оглядки на результат. Указ Президента тем самым может служить стимулом именно для затратной части производства, компенсируемой ростом цен на продукцию, против которых он и направлен!

Несостоятельность подобных документов с точки зрения перехода к реальному рынку очевидна. Более того, в своих выступлениях на сессии Верховного Совета РСФСР и заместитель российского премьера Г. Фильшин, и сам премьер И. Силаев, пояснив кошмарную картину деградации республиканской экономики, однозначно обвинили М. Горбачева в том, что он явочным порядком проводит в жизнь программу правительства. Между тем только за 9 месяцев 1990 года национальный доход упал на два процента, а к концу года — до 5 процентов. Снизился (что самое неприятное) и объем добычи ресурсов, которые являются основным источником обмена на импортные товары: в лесном комплексе на десять процентов, в нефтяном — на пять. Нарастает неудовлетворительный покупательский спрос — уже к октябрю 1990 г. он составил почти 18 миллиардов рублей...

В такой невероятно сложной обстановке как крик прозвучало Обращение Верховного Совета РСФСР «К гражданам России» с просьбой поддержать программу «500 дней» — в надежде, что ее начнут реализовывать и другие республики. Видимо, сохранялась еще определенная вера в то, что программа, принятая центром, будет носить радикальный характер — подобно той, что разработана группой Шаталина.

Между тем, как мы уже отмечали, Совмином СССР были неожиданно и без всякого предупреждения повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и приняты неосуществимые обязательства по социальным программам. Это привело к тому, что финансовую обстановку в стране стабилизировать оказалось невозможно, инфляция получила мощный толчок, и первый этап шаталинских «500 дней» (стабилизация финансов) оказался практически сорван. Без него теряло смысл все остальное. Более того, вслед за повышением закупочных цен и взвинчиванием (по договоренности между поставщиком и потребителем) оптовых цен до уровня, определенного пределом рентабельности, следовало ожидать повышения и розничных цен. (Теперь мы знаем, что так и произошло.) То есть случилось именно то, что обозначалось в программе правительства: «Правительство считает необходимым ввести с 1 января 1991 года новые оптовые цены, а также коэффициенты к ним, и подтверждает свое решение о введении новых закупочных цен».

Таким образом, Совмин СССР начал свою централизованную реформу, не особенно спрашивая на то разрешения. В союзном парламенте все еще царил разброд мнений, и шаги хозаппарата ставили парламентариев перед свершившимся фактом. Выбирать, собственно, оказывалось не из чего.

Не будем рассматривать механизм раскручивания спирали на республиканском уровне: Совмин РСФСР здесь тоже повел себя не лучшим образом, по сути, пойдя на поводу у союзного правительства и вводя повышенные закупочные цены на мясо. Отметим лишь, что в результате умственных потуг ученых и политических деятелей на свет родились «Основные направления по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике», каковые и были преподнесены союзному Верховному Совету СССР от имени Президента. На первом этапе предлагались «чрезвычайные меры», говорилось о сдерживании роста цен, но тут же указывалось: повышены будут госрасценки на сырье, материалы и топливо. Спрашивается: можно ли совместить такое «сдерживание» и такое повышение? Причем речь шла исключительно об административных мерах, не подразумевающих связывания денег населения. Далее, проведение земельной «реформы» не предполагало частной собственности на землю... Не, не, не...

Затем должен был наступить второй этап, когда приобретало масштабы разгосударствление, но сохранялись твердые цены не менее чем на треть всех товаров. После чего начинался долгожданный переход к рынку.

Депутаты посмотрели на программу и увидели, насколько она неконкретна. Однако страна устала ждать, и все это чувствовали. А раз так, нужно было хоть что-то принять, а там уж разбираться — примерно такие настроения овладели избранниками народа.

Еще одна деталь. Незадолго до этого Верховный Совет РСФСР принял решение об отставке союзного правительства,

выразив волю населения РСФСР, переставшего верить команде Н. Рыжкова. Естественно, парламент страны высказался против (потому «естественно», что сам же и способствовал развалу экономики по административному сценарию, представленному Совмином). 16 октября, когда Россия вынужденно перенесла на месяц срок старта «500 дней», ожидая поддержки от других республик или от народных депутатов страны, увязших в непроходимых дебрях гипотез,— Борис Ельцин выступил перед российскими избранниками. Он предложил три варианта действий парламента и правительства РСФСР в складывающейся обстановке. Саму обстановку он назвал катастрофической. Перспективы же обрисовал самые мрачные, потому что, по его мнению, делалась «очередная попытка сохранить ставшую ненавистной народу систему. Одновременно, еще до решения этого вопроса Верховным Советом СССР (о том, какую экономическую программу принять.— **С. А.**), издаются Указы Президента, направленные, по существу, на реализацию программы правительства Н. Рыжкова,— правительства, которое завело страну в тупик, а сейчас ведет к хаосу».

Итак, предполагалось трн варианта действий, которые сводились к следующему. Либо идти на конфронтацию с центром, вводить свою валюту, учреждать независимый банк, не участвовать в программе Президента, устанавливать таможни на границах — словом, война. Либо: реальная коалиция, если удастся договориться о паритете и сформировать «правнтельство согласия». Наконец, в третьем случае останется лишь немного подождать (примерно до середины 1991-го), когда правительственная программа развалится в силу своей несостоятельности, и начать проводить линию России уже с этого момента. А до тех пор — защнтить население республики социальными гарантнями.

Ясно, что в этом заявлении, несмотря на его решительный тон, сквозила некая растерянность. В первую очередь она шла от того, что республика ничем не могла подтвердить свой экономический суверенитет: на ее территории действовали союзные ведомства, а союзные законы позволяли грабить предприятия России с той же интенсивностью, что и раньше, в пользу Совмина СССР, который, по сути, и владел аккумулируемой в госбюджете российской прибылью. Война законов, переросшая в войну таможен, чревата была дестабилизацией в самой же Российской Федерации, и это Б. Ельцин тоже прекрасно понимал. Кроме того, «ждать», пока утонет весь корабль, чтобы потом спасать отдельно его трюм и машинное отделение, было столь же бесперспективно, как и грубо воевать... Оставался лишь один вариант из трех: искать компромисс. Учитывая при этом, что существует самая серьезная зависимость России от Союза. В условиях господства административных правил, в том числе финансовых, в одиночку войти в рыночные отношения республике можно было лишь путем огромных потерь. Неизвестно, оправдывали такие средства цель или нет.

В этот момент и подал в отставку Г. Явлинский, один из основных разработчиков программы С. Шаталина. Проект «500 дней», заявил он, в настоящих условиях уже не может быть реализован вообще. Явочным порядком осуществляется программа правительства, и становится невозможным не поднять розничные цены на товары первой необходимости, не снизить уровень жизни, стабилизировать рубль и т. д.

Лучшее, чего можно желать сейчас, отметил Г. Явлинский,— это создание коалиции Горбачев — Ельцин, но если она не сложится, то России есть чем заняться в период чехарды экономических проектов: защитой населения от инфляции, проведением жилищной н земельной реформ, разгосударствлением экономики.

Нарочнто наивное, последнее утвержденне тем не менее не закрывало сути: «500 дней» реализованы быть не могут, потому что правительство и Президент резко взяли курс на административный вариант, отодвигающий рынок в туманное будущее. Осуществив маневр: от поддержки шаталинского варианта к поддержке правительственного,— М. Горбачев выпустил собственные «Основные направления» — безликую, неконкретную гипотезу, маскируясь которой хозбюрократня устроила самую решительную атаку на демократизацию экономики. О позицни Президента и его мотивах мы поговорим особо, а сейчас уточним одно первостепенной важности обстоятельство.

Любопытно, что программа «чрезвычайных мер», предложенная новым премьер-министром В. Павловым весной 1991 года, является прямой преемницей «Основных направлений»: так же расплывчата в экономическом плане, зато декларирует ужесточение властных функций центра.

И еще одно: наметнвшийся было в ы н у ж д е н н ы й альянс между Россией и центром не имел согласованной исходной точки: суммы дефицита бюджета, с которым страна входила в 1991 год. Вообще дефицит бюджета для развитой экономики вещь не страшная, однако такие масштабы, какие намечалнсь в СССР, были нз ряда вон выходящими. По предварнтельным расчетам команды Ельцина, дефицит составлял 300 миллиардов рублей; согласно «Основным направлениям» — должен был оказаться ровно в десять раз меньше; по данным, полученным из Минфина после настойчивых требований заместителя Предсовмина РСФСР Г. Фильшнна,— 285 миллиардов *.

* Для США, например, эта цифра равна 3,6 процента от валового национального продукта и полностью покрыта выпуском ценных бумаг.

Почему неясность этой цифры представляется моментом принципиальным? Потому что любое действие по разграничению функций между Союзом и республиками упирается в сумму, которую республики перечисляют в центр на осуществление общих нужд. Раньше сбор податей снизу вверх пронзводился автоматнчески, с последующим перераспределением вложений (всем сестрам по серьгам). Теперь республики заявили о суверенитете, в общий котел особо много давать не захотели, соответственно и «долги» государства повисали между республиками. Без учета суммы этих долгов и вариантов их погашения никакая коалиция была невозможна. Вот почему наметившийся компромисс между М. Горбачевым и Б. Ельциным носил характер в определенном смысле умозрительный: любая попытка сделать ответственным за погашение бюджетного дефицита преимущественно центр либо преимущественно Россию приводила к конфликту.

Выступая на сессии Верховного Совета СССР, М. Горбачев объяснил свою позицию. Союзное правительство и Совмин РСФСР, сказал он, внесли вклад в дестабилизацию экономической ситуации, увеличив общий уровень закупочных цен в стране. К тому же из-за бездействия правительства СССР, обещавшего повышение также и оптовых цен, предприятия не заключали хоздоговора на следующий год и возникла угроза массового их разрыва. Далее следовал знаменательный вывод: «В этих условиях теперь уже Президент под давлением ситуации идет на принятие известных двух Указов».

Вот оно, значит, как! Правительство создает ситуацию, в которой Презндент не может сделать ничего, кроме как отдать народное хозяйство на откуп административной системе. Следовательно, системе этой, для того чтобы получить от Президента власть, только и следует ухудшать ситуацию.

В этой связи нужно вполне определенно высказаться в адрес «Основных направлений», которые при всей обтекаемости своих формулировок вполне четко декларируют некоторые важные положения. В частности, предлагается предотвратить гиперинфляцию связыванием «горячих денег»: займами, повышением налога с оборота, увеличением процентиых ставок в Сбербанке, распродажей жилья и сокращением производственных инвестиций. В то же время решено обеспечить действующие хозяйственные связи 1990 года и «заморозить» существующую структуру народного хозяйства. Но если вглядеться в эту «структуру», то можно обнаружить, что 90 процентов основных фондов приходится на группу «А» и лишь 10 процеитов — на мощности предприятий, пронзводящих товары для простых смертных или оказывающих им услуги. С введением договорных оптовых цен резко возрастает рентабельность и соответственно зарплата в группе «А», чего никакими мерами по «связыванию», естественно, не пресечь. Гиперинфляционный процесс заложен, таким образом, в самую сердцевину «Основных направлений...». Вот почему, когда спираль кризиса финансовой сферы начнет раскручиваться, не забудем соавторов проекта, компромиссного по форме, административного по сути и ущербного в силу малой своей радикальности. Эти соавторы: Президент, тогдашний Премьер-миннстр, активно поддержавший программу в Верховном Совете СССР, и депутатский корпус, проголосовавший за нее.

Вот такую основу имел документ, который предлагалось поддержать республикам, чтобы вместе выбираться из кризиса. При этом экономика подсказывала, что действительно крупные акции типа закупки сырья по импорту выгоднее осуществлять на весь Союз сразу, нежели это станет делать каждая республика в отдельности. Следовательно, консолидация себя окупает, но основу ее составляет президентский проект, отнюдь не сулящий рынка в скором будущем: центр вновь подчинял себе республики, если те, конечно, на это соглашались. Тем более что на одной из пресс-конференций Л. Абалкин заявил: центр должен владеть всеми правами в области финансов, кредитной политики, банковских ставок и т. д.— то есть узловыми вопросами, не допуская республики к самостоятельному их решению.

Для острастки Верховный Совет СССР принял также закон об исполнении законов, то есть об обеспечении актов законодательства Союза ССР. Президент страны иаделялся правом освобождать от должности руководителей госпредприятий, которые пошли бы на поводу у республиканского правительства,— тем самым роль Президента сводилась к должности зампредсовмина, а штурвал перекладывался еще на несколько румбов вправо.

Здесь требуется внимательнее взглянуть на тот раздел «Основных иаправлений...», где говорится о реорганизации системы управления народным хозяйством.

В первую очередь бросается в глаза, что для создания сильной власти упор делается на максимальное использование полномочий Президента СССР, предоставленных ему Верховным Советом СССР.

Вторая важная деталь: безотлагательное восстановлеиие вертикального подчинения местных органов центру так, чтобы и правительства республик, и исполкомы Советов разных уровней находились в двойном подчинении — соответствующих Советов народных депутатов и вышестоящих органов исполнительной власти. То есть для республик — никакого с у в е р е н и т е т а, только соподчинение. С учетом усиления президентской власти — акцент вполне понятный: стягивание всех исполнительных органов в единый кулак.

Третье: как формировать структуры рыночной экономики? В документе четко

сказано: не ломать существующие звенья «без учета создания в народном хозяйстве необходимых предпосылок». Если учесть, что подобные предпосылки, по мнению Л. Абалкина, потребуют десяти лет, а по заключению академика А. Аганбегяна — двух человеческих поколений (с учетом психологического фактора),— нетрудно понять, что власть хозбюрократии закрепляется надолго. Такой итог и можно считать *основным направлением* этой программы.

Россия попробовала было сопротивляться в форме запуска контрпроекта, но «500 дней», отсчет которых начался с 1 ноября 1990 года, как и предполагалось, захлебнулись на исходе первой же недели. Решено было перейти на долгосрочные меры, которые привели бы к желаемым результатам: бросить в сферу производства товаров для народа и инвестиции, и ресурсы; выработать там льготную налоговую политику, предоставить стимулы; ввести специальный госзаказ. Речь пошла об изменении *структуры* народного хозяйства, превращении его действительно в хозяйство для народа.

Пожалуй, один из важнейших элементов в варианте С. Шаталина состоял в быстром заключении межреспубликанского экономического союза. Такая возможность в силу нерасторопности Верховного Совета СССР (проявляемой как раз в той сфере, для которой и создавался этот орган),— в силу его нерешительности и некомпетентности оказалась упущена. Следовательно, согласованные действия республик и регионов осуществляться не могли, что еще более укрепляло экономическую необходимость усиления центральной власти. Путь для ее укрепления мы уже понимаем: административно-командный.

Фактически начавшееся повышение цен и вовсе перевело народное хозяйство на рельсы правительственной программы, в быстрые сроки грозящие гиперинфляцией,— так заявил С. Шаталин в ноябре 1990 года. Группа, работавшая над проектом «500 дней», сложила с себя ответственность за дальнейший ход дела. Народнохозяйственная сфера оказалась в ситуации, когда выбирать, собственно, было уже не из чего: административная система быстро овладела выпущенными было из рук рычагами управления. Опорой для этого процесса служил союзный парламент, в недавнее еще время с большим энтузиазмом избранный населением.

С этого момента, собственно, и берет начало ужесточение войны между теми, кто хотел бы затормозить процесс «администратизации» экономики, чтобы повернуть ее на рыночные рельсы хотя бы *в принципе*, и теми, кто сводил на нет любые усилия по демократизации производственно-экономических процессов. До сих пор неясно было, каково соотношение сил, на чьей стороне окажется Президент, удастся ли демократам сместить кабинет Рыжкова и т. д. Теперь, к октябрю — ноябрю 1990-го, ситуация полностью прояснилась.

Постановление Совмина СССР о переходе на договорные розничные цены по «отдельным» видам товаров народного потребления принято было 12 ноября, а с 15 ноября уже официально вводилось в действие. Принцип оставался все тем же: вырвать деньги у граждан, чтобы заткнуть дыры в бюджете. Парламент России сработал не менее оперативно, благо информацией снабжался неплохо. 14 ноября Верховный Совет РСФСР принял постановление о безотлагательных мерах, связанных с политикой цен на территории республики. В тот же день Совмин РСФСР *приостановил* решения Совмина СССР по России (не имея на это конституционных прав, но подчиняясь республиканскому парламенту). Первый зампред Моссовета С. Станкевич сообщил по столичному телевидению, что городские власти распорядились не вводить 15 ноября повышения цен, как это предусматривалось директивами Совмина Союза. Казахстан присоединился к мнению России и тоже остановил союзное постановление на своей территории.

Список товаров первой и не первой необходимости, для которых вводились договорные цены, родился в кабинетах Минторга и Госкомцен СССР. Выступая перед парламентом страны 16 ноября, М. Горбачев взял под защиту действия правительства, благодаря которому стоимость некоторых товаров, по экспертным оценкам, должна была возрасти в три — пять раз. Смысл его выступления был таков: раз вы, уважаемые депутаты, дали карт-бланш Совмину СССР, то уж позвольте ему самому и решать, какую проводить политику...

Правительство вскоре предложило парламентариям проект: в 1991 году выплаты населению лишь на 32 процента производились бы «по труду», а остальные 68 процентов — в виде пенсий, стипендий, пособий и т. п. И это на фоне того, что объем товаров группы «Б» должен был увеличиться всего на 4,4 процента! Лавина пустых денег предполагалась к эмиссии, что означало переход на карточную систему во всех без исключения сферах производства и распределения. Социализм, таким образом, превращался в административную власть плюс талонизацию всей страны. Все это называлось «Общесоюзный прогноз Совета Министров СССР о функционировании экономики страны в 1991 году...» и предполагало для совминовских чиновников одним ударом завладеть всеми ключевыми позициями в финансовой и производственной сферах. Представил проект первый зампред Совмина СССР Ю. Маслюков. «Если Верховный Совет СССР одобрит этот план и утвердит его, то перед товаропроизводителями встает конкретная задача,— сказал он,— неукоснительное выполнение предусмотренных поставок. В отношении поставок

для государства нужно возродить старое, но по-прежнему жизненно необходимое понятие: план поставок для государства — это закон для предприятия».

План — закон, перевыполнение — честь! Сколько лет эти лозунги украшали фасад разваливающегося здания нашей экономики... И сколько лет еще мы должны терпеть оруэлловскую антиутопию, чтобы понять: в конечном счете это кончится генетическим вырождением нации, экологическим кризисом и смертностью, многократно превышающей рождаемость! А по дороге нас ждет кровь, потому что безработица для страны — явление непривычное, порождающее социальный нигилизм, а как следствие рост противоправных настроений и бунты, которые режим безо всяких колебаний раздавит танками. Ради этого ли начинали перестройку?

Хорошо еще, что комиссии ВС СССР первоначально отклонили предложенный Совмином проект, так же, как и проект по использованию валюты, поняв, что они ведут к проеданию последних скудных запасов. Но нет никакой гарантии, что в следующий раз не случится обратного.

На нескольких страницах мы коснемся теперь войны законов и указов, развернувшейся в последние месяцы 1990 и в начале 1991 года. Но, заканчивая беглое обсуждение самих *подходов* к преобразованию народного хозяйства, следует уяснить главное. **Во-первых,** победу одержали «Основные направления...» — вариант, укрепляющий позиции аппаратной бюрократии.

Во-вторых, произошла резкая, на глазах, консолидация хозяйственной бюрократии именно вокруг планов административного управления, усиления позиции центра в смысле распределительных функций и т. п.

В-третьих, невозможным на первых порах оказалось проведение радикальных реформ в отдельно взятой России. Б. Федоров, последний из тех, кто работал над программой «500 дней», подал в отставку в конце декабря 1990 года. Слишком жесткий нажим со всех сторон привел в конце концов к тому, что расходную часть бюджета пришлось увеличивать, не пополняя доходную, заявил он. Разгром финансовой сферы парализовал попытку исправить положение. Речь теперь могла идти только о серьезных шагах, меняющих весь уклад народного хозяйства страны в целом, и начать эту ломку вполне могла бы Россия при наличии радикально настроенного парламента, но — уже на следующем этапе.

На данной стадии мы и обратимся к развернувшемуся сражению. Проследим сначала за действиями Верховного Совета СССР и правительства. Еще в начале октября 1990 года появился проект договора, призванного заинтересовать республики остаться в составе Союза. В первом же разделе документа говорилось, что каждая республика «является суверенным государством и обладает всей полнотой государственной власти на своей территории». Прекрасно! Но какие-то права должны делегироваться и в центр. Какие же?

В полномочия Союза входило, по проекту, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики; составление и исполнение союзного бюджета; единая энергетика; оборона и внутренняя безопасность; магистральные трубопроводы; космос; природные ресурсы и экология; социальная политика; целевые общесоюзные программы. Кроме прочего, в части законодательной любые изменения Конституции СССР оставались в ведении Верховного Совета СССР.

Что касается собственности на землю и недра, то они, конечно, принадлежали республикам...— кроме того, что относилось к общесоюзным нуждам. Звучало это так: республики являются собственниками государственного имущества «за исключением той его части, которая необходима для осуществления полномочий Союза ССР». И далее: «Регулирование законодательством республик соотношений собственности на землю, ее недра и природные ресурсы не должно препятствовать реализации полномочий Союза».

Любопытная складывается картина. Союз в лице своей верховной власти способен закрепить в Конституции собственные гарантии, в том числе на принадлежащую ему госсобственность (а ее в СССР более 90 процентов), то есть обобрав «суверенные государства». Республики не имеют права вмешиваться в союзные программы, кроме как отчисляя для них деньги,— даже если программы эти затрагивают интересы республиканской собственности. Принципы формирования общего бюджета (также отнесенного к ведению Союза) неясны, о них говорится только, что для «осуществления полномочия Союза ССР устанавливаются союзные налоги и сборы...» Кем устанавливаются? Снова — центральной властью, подразумевается: тем же Минфином. А поскольку речь идет об общегосударственных нуждах, попробуй республика возрази: совместные решения в финансовой сфере принимаются согласно той же статье, лишь в области целевых программ...

А кто и на каких принципах будет управлять страной? Вроде бы признавался двухпалатный демократический принцип формирования Верховного Совета: по территориям (Совет Союза) и по делегациям от высших органов власти республик (Совет Национальностей). Надо всем этим стоит Президент... хотя должен бы, по сути, стоять внизу, ибо осуществляет он распорядительно-исполнительные функции.

Но Президент все-таки наверху, под его руководством из глав республик создается Совет федерации, фактически *подчиненный* Союзному парламен-

ту. Кабинет же министров СССР, в составе премьера, министров и руководителей «других государственных органов» (как сказано в проекте) вообще формируется Президентом. Поскольку туда, как уже говорилось, входят главы правительств союзных республик, постольку Президент фактически назначает подчиненных ему непосредственно республиканских премьеров. В завершение всего закрепляется существование республиканских министерств и ведомств как формы управления — без конкретного их перечисления.

Столь подробное знакомство с предложеиным проектом необходимо нам для того, чтобы понять *стратегию*, предлагавшуюся номенклатурой для закрепления своих прав уже в ином, «обновлеином», качестве. «Обновленный» Союз должен был сохранять строгую пирамидальную организацию власти, с центральным регулированием региональных проблем: «Верховный Совет СССР, рассматривая новый Союзный договор как основу радикального обновления Союза ССР (...) призывает (...) в это сложное время проявить выдержку и ответственность во имя будущего наших народов». Предполагалось, очевидно, что после того, как проект будет обсужден, у республик не появится желания вообще вытащить штепсель центральной власти из розетки, его питающей. По данному поводу Верховным Советом СССР создавался подготовительный комитет для выработки окончательного варианта договора — дескать, все еще можно поправить, не волнуйтесь, граждане.

Характерно, что уже в 1991 году, когда многие статьи проекта договора были изменены, стратегия все равно сохранялась прежней — до подписания договора «9 + 1»...

Граждане не волновались, пока в первом чтении 10 октября не был принят Закон о занятости. Из двух альтернативных проектов (представленных ВЦСПС и Совмином СССР) депутаты проголосовали за совминовский, который был на 8—9 миллиардов рублей «легче». «Легче», но гарантий будущим безработным тоже давал мало. Пособие в размере 50 процентов зарплаты по тарифам, без учета надбавок, на полгода — вот и все. При захлестнувшем народное хозяйство структурном кризисе, когда нужны работники одних специальностей, а в избытке оказываются другие, положение может быстро стать взрывоопасным...

Поскольку в октябре приняты были «Основные направления...», то Верховный Совет СССР постановил: практическое их осуществление поручить Президенту и Совмину СССР, прн участии иных органов власти. В то же самое время Верховный Совет СССР чрезвычайно резко оценил действия Совмина СССР и подведомственных ему структур по реализации самых животрепещущих мер, например, по подготовке к зиме. Начиная с кардинальных срывов в нефтедобывающем и угольном комплексе и коичая развалом коммунального хозяйства, дела обстояли из рук вон плохо. Интересно это вот в какой связи: признавая полную неспособность решать проблемы административным путем, Верховный Совет тем не менее не видит иных возможностей, кроме как отдать в руки хозбюрократии дело по уничтожеиию ее самой (путем введения рынка). В отличие от «500 дней», где осуществляется контроль за каждой фазой перехода к рыночным отношениям, «Основные направления» во временно́м смысле оказались безразмерными. Тем самым Совмин мог сводить каждый пункт к бесконечной пробуксовке.

Потом Верховный Совет СССР взялся за предпринимательскую деятельность. Но вместо *разрешительного* закона, которого требовала жизнь, пошли дебаты о том, чего же *нельзя*. В результате увидела свет подробная ииструкция «Об усилении ответственности за злоупотребления в торговле и спекуляцию», названная законодательным актом и определявшая, что такое коммерческая деятельность и в чем состоят признаки спекулятивной «наживы». Оказывается, что около половины(!) товаров, производимых в стране, к октябрю 1990-го доходило до потребителя только через руки спекулянтов, и это явление можно пресечь росчерком пера. Со спекулянтами могли бы достаточно жестко расправиться коммерсанты-посредники, дай им только волю. Верховный Совет предпочел такому подходу — прокурорский. Так привычнее.

Видимо, понимая собственную ущербность в глазах выбравшего их народа, депутаты Верховного Совета СССР 14 ноября вдруг потребовали обсуждения складывающейся в стране ситуации. А затем, спустя восемь дней, предложили следующее: считать деятельность *нсполнительных* органов союзной и республиканских властей неудовлетворительной и реорганизовать их в структурном, функциональном и кадровом смысле. Таким образом, не парламент страны оказался виновен в безобразном ходе дела, а стрелочники из числа исполнителей. К таковым косвенно был отнесен и Президент, но в какой форме? К нему обращали свои упреки депутаты: мы, дескать, выделили вам дополнительные (принадлежащие, по сути, Верховному Совету) полномочия, что же вы ими не пользуетесь? Пора, дескать, и власть употребить.

Для каких нужд?

Во-первых, чтобы перестроить систему исполнительных органов.

Во-вторых, для регулирования процессов приватизации.

В-третьих, для применения чрезвычайных мер в случае, если возчикает угроза жизни и имуществу граждан.

А также для стабилнзации социально-экономического положения на период до подписания Союзного договора и для пре-

одоления законодательных противоречий между Союзом и республиками.

Президент кратко ответил: главная мера, которую мы должны предпрнять,— это безотлагательное реформирование государственной власти. Но, сказал он далее, есть силы, которые не хотят нормализовать жизнь в стране...

Как всегда, *конкретио* такие «силы» названы не были, но виделись они в свете подхода Президента к проблеме совершенио отчетливо. «Силами» выступали парламенты республик, ие желающие связывать свое будущее с тоталитарным диктатом центра. Например, собравшийся в Юрмале Совет балтийских государств заявил, что если предложения по реорганизации власти, выдвинутые М. Горбачевым, будут приняты в тогдашнем виде, это равнозначно отказу республикам в суверенитете. О нежелании заключать союзный договор говорил и тогдашний председатель Верховного Совета Грузии З. Гамсахурдиа. Резко были настроены протнв программы, выдвинутой Президентом западноукраинские РУХовцы. Прямо противоположные точки зрения высказывались в Молдове... Но прежде всего речь шла, безусловно, о России.

Последние месяцы 1990-го и первые 1991-го оказались отмеченными каскадом ударов, нанесенных Верховиым Советом СССР по всем сопротивлявшимся ему (ради своей самостоятельности) структурам, в том числе и по российскому парламенту. В частности, было принято упоминавшееся постановление «О положении в стране», в котором предусматривалось объявить мораторий на все законодательные акты республиканского уровня, противоречащие союзным законам. Зампред Моссовета С. Станкевич по данному поводу заявил, что если конституционного порядка добиваться столь грубым силовым давлением, то это не укрепит, а развалит Союз.

Затем были приняты «Основы законодательства об инвестиционной деятельности в СССР», где за Верховным Советом и Совмином Союза закреплялось право централизованных вложений в крупные и крупнейшие стройки, а в статье 20 говорилось:

«В случае принятия актов законодательства, положения которых ограничивают права субъектов инвестиционной деятельности, соответствующие положения этих актов не могут вводиться в действие раиее чем через год с момента их публикации». Речь шла о компенсации расходов в связи с ущемлением прав инвесторов (т. е. Совмина СССР). По сути централизованные капвложения, безусловно, нужны. По форме же, если республика вдруг решит не участвовать в какой-нибудь «стройке века», ее могут заставнть выплачивать такую компенсацию, что регион станет лет на сто вперед заложником подобного проекта...

Верховный Совет СССР постановил: сохранить название Союза; считать необходимым его существование в качестве обновленного сообщества *социалистических* республик (независимо от того, что они сами думают о своей политической ориентации) и провести по этому поводу общенародный референдум.

В конце декабря 1990-го Съезд народных депутатов СССР, вырабатывая меры по преодолению кризиса в стране, ввел пункт о необходнмости реорганизации структуры управления и формироваиия ее «под Президента». Мы подробнее коснемся данного аспекта, когда речь пойдет о тактике М. Горбачева, но смысл действа, очевидно, ясен из того, что уже говорилось ранее: стягивание властных функций не просто в центр, а к одному лицу. Лицо же, должное *исполнять*, наделялось чрезвычайными полномочиями в области *законодательной* и вставало по своему новому, фактическому статусу над любыми демократическими органами власти вообще. Это называлось президентской формой правления в отечественном варианте. Последовательность действий Верховного Совета СССР прослеживается здесь вполне отчетливая: обвиняя «исполнителей» (Совмины, республиканские парламенты) и наделяя М. Горбачева особыми функцнями, самому Верховному Совету уйти от ответственности за происходящее.

Съезд строго-настрого предупреждал возможных ослушников: «Главным условием достижения согласия является соблюдение до подписания нового Союзного договора всеми государственными органами действующих Конституций СССР и союзных законов, недопущение принятия решений, ущемляющих суверенные права и законные интересы субъектов федерации...»

Будто не в иашем бурном мире жили депутаты. Будто не развивалнсь повсеместно процессы, для которых брежневская Конституция — тюрьма, а союзиые законы — удавка! Самое лучшее, что можно было сделать,— еще годом раньше заключить Союзный договор; либо за полгода детально согласовать его концепцию; либо на худой конец в Москве осенью срочно закрепить межреспубликанские связи на прямой основе, не дожидаясь, пока республики станут заключать договоры, минуя центр вообще. Вместо этого депутаты предлагают: терпите, покуда мы придумаем нечто такое, под чем вы, республики, сможете подписаться. Можно добавить еще столько же вопросов к проекту союзного договора — вопросов без ответов,— сколько поставлено было раньше (например, о судьбе автономий, объявивших себя республиками), но к чему? Отставая от жизни, высший орган власти страны еще существовал постольку, поскольку экономическая необходимость удерживала регионы вместе. Политический же балансир Верховного Совета резко сместился в сторону административной (т. е. нерентабельной) системы управления, что делало само управление с политической и

экономической точек зрения нерентабельным.

В этот момент Съездом и приняты были поправки к Конституции. Важнейшие из них относились к реорганизации структур власти в стране, подчинению всех органов госуправления Президенту и формированию при нем Кабинета Министров. Под руководством Президента формировался и Совет федерации, куда теперь входили высшие лица госуправления республик, впоследствии «иа местах» реализующие решения этого органа. Таким образом, и законодательная, и исполнительная власть сходилась к Президенту, а функцин Верховного Совета в основном являлись контролирующими и сдерживающими.

Появилась в Констнтуции и любопытная Статья 131, касающаяся Кабинета Министров (избираемого по представлению самого Президента): Верховный Совет лишь утверждает или отклоняет кандидатуры, но выдвигать их, в соответствии со Статьей 113^2, не может. Итак, в Статье 131 Основного Закона говорится: «Кабинет Министров СССР правомочен решать вопросы государственного управления, отнесенные к ведению Союза ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции СССР, в компетенцию Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР и Совета Федерации». Какое-то смутиое подозрение должно закрасться в душу при таких словах. Кто мешает Съезду, утверждающему поправки к Конституцни, закрепить за собой в этом документе право устанавливать режим и формы управления в стране? Но вместо этого констатируется, что раз такого права за Съездом не закрепляется (им же самим!), то и отдается оно на откуп Совмину... то бишь Кабинету Министров, подконтрольному Президенту,— значит, продолжнв мысль, отдается самому Президенту страны. Фактически это означает высшую законодательную власть, сосредоточенную у исполнителя, о чем мы говорили ранее.

Пока высший орган СССР пытался навязать тот же образ мышления и поведения республикам,— какие же действия предприняты были на уровне их собственных парламентов? В первую очередь речь идет, конечно, о России, поскольку именно здесь сокрыты возможности для кардинального изменеиия описанных выше тенденций.

Россия начала защищаться, и довольно активно. 16 октября был принят республиканскнй Закон о референдуме, предусматривающий, кстати, достаточно жесткие санкции к его нарушителям. Незадолго до того Верховный Совет РСФСР принял также постановление об участии, точнее, неучастии своих граждан в разрешении межнациональных конфликтов за пределами России. И еще: использование военной силы в подобных случаях предлагалось считать возможным т о л ь к о на условиях договора между парламентами заинтересованных сторон, а характер ее применения следовало поставить под контроль специальных комиссий. Никакой «чрезвычайной власти» у Президента СССР в данном вопросе не просматривалось. Верховный Совет СССР проигнорировал официальное решение парламента РСФСР.

Здесь уже упоминалось о выступлении Б. Ельцина по поводу вариантов развития страны. «Сегодня мы отчетливо видим,— сказал он тогда депутатам российского парламента,— что центр добровольно не уступит необходимую долю власти республикам». Спустя неделю депутаты России подняли вопрос о механизмах защиты республиканского суверенитета: обсуждался проект Закона РСФСР о применении актов союзного масштаба на ее территории. Смысл был таков: акты эти начинают действовать т о л ь к о после ратификации их в России. Однако Председатель Совмина РСФСР высказал опасение, что в таком случае республика будет лишь плестись в хвосте событий. Непонятно было также, что делать, если Президент СССР своим Указом зачеркнет закон об отмене всесоюзных актов в РСФСР.

Но сложившаяся после принятия Союзом «Основных направлений стабилизации экономики...» ситуация требовала разрешения. Действительно, центр, оставляя у себя ресурсы, финансы и валюту, «передавал» республикам часть внешнего долга, часть дефицита бюджета, социальные программы и, естественно, ответственность за их выполнение. Подобный подход рождал справедливое негодование на местах. Нужно было крепко подумать, прежде чем отрезать.

Подумали и — отрезали. 24 октября Закон о действии актов органов Союза ССР на территории СССР был подписан. Там говорилось: в пределах полномочий, переданных Россней центру, распоряжения центральных властей действуют в республике непосредственно. Остальные — после их ратификации на соответствующем уровне.

Разумность такого подхода очевидна, если исходить из презумпции взаимного уважения. Если нет, это должно было взбесить центр как попытка выйти из-под его диктата.

Не особо рассчитывая на понимание центра, Верховный Совет России созвал внеочередной Съезд своих народных депутатов, чтобы уже через него решить целый комплекс вопросов, не решаемых вялым союзным парламентом. В первую очередь речь шла о земельном кодексе, крестьянском хозяйстве, развитии села, продналоге,— то есть земельной реформе во всей ее совокупности. Кому-то нужно было кормить страну. Кроме того, требовалось выработать экономическую стратегию в условиях провала «500 дней» и наступления по всему фронту со стороны правительственной администрации Союза ССР.

В основе такой стратегии лежали три положения: о горизонтальных связях между предприятиями на 1991 год; о формировании бюджета; о возможности распоряжаться богатствами своих недр. Закон о закреплении хозяйственных связей на уровне не ниже 1990 года приняли в конце октября. Там же указывалось, что 20 процентами продукции по госзаказу предприятие может распоряжаться самостоятельно, а принудить его к невыгодным условиям договора нельзя. Тем самым в условиях жестокой привязки друг к другу у производителей сохранялась и возможность для самостоятельных решенний.

Что касается бюджетов, то здесь в принятом для РСФСР законе утверждалось: ставки налогов и других платежей определяются Верховным Советом России и другими входящими в его состав республиками. О ц е н т р а л ь н о м, союзном налоге речь, как видим, не идет. Более того. Для территорий предусматривались льготы в случае превышения госзаказа предприятиями, на зтой территории расположенными. По поводу валюты — порядок ее зачисления в бюджет республики являлся делом самой республикн...

Линия, как можно видеть, однозначная. До заключения Союзного договора центр вообще лишался каких-либо полномочий, нравилось это ему или нет. Сие означало переход от войны законов к войне бюджетов, поскольку никто в Совмине СССР не знал, какую сумму разные республики отдадут на общесоюзные нужды. Свои целевые программы Россия собиралась выполнять сама.

Наконец, о собственности на недра и использование их богатств. Ясио, что нефть и золото Союза в основном находятся в РСФСР. Федерация собиралась отстаивать свое право на владение этими ресурсами, хотя и провозглашенное на уровне союзного законодательства, но получившее политическую окраску в связи с обострившимися отношениями центра и республик. В конце концов уже в Законе «О собственности в РСФСР» появилась статья, где говорится: «отношения собственности на землю и другие природные ресурсы (...) регулируются законами РСФСР и республик, входящих в Российскую Федерацию». Таким образом, признавалось и право Якутни на кимберлитовые трубки,— но только не Союза ССР в качестве указчика и распорядителя.

В такой форме триада положений, составляющих существенную часть суверинитета, была дополнена принципиально новым подходом к проблемам землепользования. Быть нли не быть частной собственности на селе? Многим это понятие все еще казалось идеологическим пугалом; для гвардии администраторов колхозно-совхозного образца оно являлось смертельной опасностью.

3 декабря 1990 года по праву можно считать историческим днем. Съезд депутатов России принял акт, устанавливающий — впервые с 1917 года — частную собственность на землю наравне с собственностью государственной, колхозной и кооперативной. Правда, ожидать особого взрыва энтузиазма по этому поводу со стороны сельскохозяйственных работнинов не стоило, поскольку лишь та земля, которая находилась в пользовании 10 лет, переходит в полную собственность владельца, включая право продажи.

Расширяя прорывы на разных участках законодательного фронта, ВС РСФСР утвердил ставки иалогов, которые с 1991 года должны выплачиваться предприятиями. Кстати, разные формы собственности оказывалнсь при этом уравнены в правах. Максимальная ставка для предприятий республиканского подчинения оказывалась на 7 процентов ниже, чем для союзных, что создавало законное желание перейти из союзного в российское подчинение. Правда, когда закон в январе 1991-го был опубликован, оказалось, что далеко не всем предприятиям такая льгота положена. Видимо, бюджет Россин трещал по швам — отсюда и строгости.

Помимо этого гражданам РСФСР предлагалась шкала налогообложения доходов, позволяющая зарабатывать больше, чем в качестве подданных СССР. Наконец-то принято стало считать, что хорошо зарабатывать — вовсе не аморально, если деньги платятся действительно за труд. Проглядывалась политика пряника, применяемая внутри республнки. Относилась она не только к соотечественннкам, но и к иностранным инвесторам, которые могли использовать в своих операциях теперь и рубли тоже, в отличие от того, что могло происходить в Союзе в силу действия устаревших инструкций Минфина.

Россия давала дополнительные полномочия и местным Советам народных депутатов, используя этот рычаг для укрепления своих позиций по отношению к центру. Принят был специальный Закон, согласно которому муниципалитеты наделялись большими хозяйственными правами, в том числе в области разгосударствления и приватизации. Поскольку Совмин СССР не выполнил требований Верховного Совета СССР и не создал механизм разгосударствления — со вполне понятной целью в период беззакония сделать номенклатуру не только распорядительницей, но фактической владелицей госсобственности,— постольку в России на уровне краевых и областных Советов разрешалось устанавливать условия и порядок продажи имущества предпрнятий, перевод их в акционерную форму и т. д. На этом местные бюджеты пополнялись, но главное заключалось в самой возможности быстро, с учетом сложнвшихся условий и мнения населения сделать дело, которое не смог потянуть Верховный Совет СССР. К тому же местным органам власти в РСФСР предоставлялнсь права по организации

посреднических фирм в вопросах купли-продажи,— что с учетом нашей основанной на взяточничестве системы каким-то образом включало исполнительную власть в коммерцию, прибавляя бюджету процент от выручки за продаваемую или приватизируемую собственность.

Постепенно стала проясняться позиция российского парламента и стал ясен его курс. Понимая, что в руках у республики находятся основные богатства страны, но в экономическом смысле она опутана таким количеством связей, что без решения глобальных вопросов на союзном уровне не обойтись,— Россия пошла путем принятия опережающих законов и постановлений. Тем самым союзная власть ставилась в положение, когда она должна была либо повернуть туда, куда указывала Российская Федерация, либо пойти на прямую конфронтацию. Россия шла к рынку напролом, обеспечивая гарантии социально не защищенным слоям, приличную зарплату квалифицированным работникам и льготы предприятиям на своей территории. Для реализации всего этого необходима была лишь одна мелочь: игнорировать законы СССР, которые расходились с российскими.

Центр имел прямо противоположные планы. Поставить республики в зависимость от кремлевских кабинетов, сохранив контроль над финансами, бюджетом, армией, крупной промышленностью и т. д.,— вот для чего следовало проучить непокорных еще, как говорится, на подступах к редутам. Банковская система по крайней мере оставалась в руках у центра, через нее многое можно было осуществлять по его воле.

В этот момент с новой, четко определенной стратегией действий вышел на Съезд российских депутатов Совмин РСФСР. Стратегия отличалась от программы «500 дней» тем, что упор теперь делался на экспортные возможности республики. То есть следовало жестко ударить по рукам, выгребающим валютную прибыль от продажи ресурсов (нефти и др.) в союзный бюджет, тогда положительное сальдо РСФСР составило бы 24 миллиарда рублей. Война законов перемещалась в сферу борьбы за валюту всех видов.

Ходы были для этого продуманы правильные: в России следовало, например, создать с о б с т в е н н у ю систему распределения материальных ресурсов. Такой шаг мог бы подтолкнуть все предприятия, в том числе и союзные, к поддержке российских властей. Предлагались и принятые затем меры по конверсии, снабжению продовольствием и т. д. Но главное: отстаивались права России на все, что находится на ее территории в смысле сырья и ресурсов,— момент для характеристики ситуации принципиальнейший.

Чтобы укрепить свои позиции, центр начал настаивать на скорейшем подписании Союзного договора. То, что следовало сделать еще год или два назад, вдруг оказалось важным прокрутить в считанные недели. Безусловно, ситуация складывалась угрожающая, развал Союза шел достаточно быстро. Но Россия, Украина и Казахстан уже заключили прямые договоры, да и другие республики собирались сделать то же. Форсировать подписание сырого документа, где явно обозначены были противоречия центра и республик? Это наводило на размышления, которыми в своей обычной острой манере поделился с депутатами Б. Ельцин. В целом депутаты его сомнения поддержали.

Декларация о независимости — хорошо, но Конституция лучше. К ее проектам депутаты России пришли с представлениями достаточно радикальными — правда, выявился радикализм как левого, так и правого толка. Вряд ли есть смысл комментировать представленные проекты, которых было несколько,— в одном вообще предлагалось «похоронить советскую власть и социализм», как выразился кто-то из депутатов. «В какую Россию верим?» — патетически восклицали заголовки газет различного толка. Последовало спокойное разъяснение: большинство парламентариев хоронить социализм не собирается.

В результате принимали не новую Конституцию, а поправки к старой — видимо, опасаясь попасть в цейтнот, а может, из-за слишком явных противоречий. Социологический опрос, на который ответило 80 процентов депутатов, выявил разброд, царящий в их среде.

Решив отчасти конституционные проблемы, депутаты Верховного Совета приняли тем не менее Закон о собственности в РСФСР, где прямо указывалось на легализацию ее частной формы и право найма работников. Предприятия, в том числе и крупные, по этому закону могут быть куплены частными владельцами. В совокупности с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», сделавшим резкий шаг вперед по сравнению с союзными актами (в частности, в вопросах о наделении трудовых коллективов серьезными полномочиями по р а с п о р я ж е н и ю госсобственностью), такой ход означал поворот в сторону создания в России примитивного капитализма. От формы индивидуального частного владения крупными средствами производства Запад ушел уже лет сорок назад... Тем не менее признание частной собственности без особых ее ограничений в России состоялось.

Россия пошла также на принятие крупных программ по развитию села и фермерского хозяйства. Здесь, как говорится, вопросов не возникало. Если в очередной раз окажется не задавлена инициатива тех, кто хочет работать на земле, можно будет достаточно быстро поднять деревню. Чего стоит только упомянутое в Законе (!) перечисление 15 процентов годового национального дохода на нужды сельского хозяйства! Правда, и раньше в агропромышленный сектор вливали м н о г о, а толку не было. Где гарантии сегодня? В том же слое фермеров, на который вся и надежда.

...Подытожим. Встав на путь конфронтации с Центром и заключая прямые договоры с республиками, Россия провела ряд законов, обеспечивающих развитие инициативы на самых разных уровнях. И отдельные граждане, и предприятия, и местные и областные Советы, находящиеся на территории РСФСР,— все оказались поставлены в льготные по сравнению с общесоюзными условия. При этом Россия все-таки в законодательном смысле должна была подчиняться Союзу (Конституция СССР 1977 года), да и по экономическим соображениям пуститься в автономное плавание не могла. Противоречия разрешил бы Союзный договор, но представленный его вариант был для России неприемлем.

В такой ситуации третейским судьей и силой, примиряющей Россию с Союзом (к общей пользе), мог бы выступить Президент страны. Какую же линию он повел и почему?

Если проследить за деятельностью главы государства с сентября 1990 по январь 1991 года, то она выстраивается во вполне определенную линию. Сейчас, когда перед читателем этот номер журнала, события даже полугодовой давности кажутся далеким прошлым, не говоря уже о более ранних. Тем не менее все, что происходит в наши дни, имеет истоком именно кризис 1990—1991 года, а в кризисе этом ключевую роль сыграла позиция Президента. С одной стороны, она являлась лакмусовой бумажкой, показывающей, какие тенденции и в какой степени определяли развивающиеся в стране процессы. С другой — политика М. Горбачева, наделенного огромными полномочиями и в то же время теряющего реальную опору, самым серьезным образом подобные тенденции формировала.

Итак, что можно было наблюдать?

Мы помним подписанный 27 сентября 1990 года Указ по стабилизации хозяйственных связей, привязывающий предприятия друг к другу даже на невыгодных для них условиях. Следующим был Указ от 4 октября «О первоочередных мерах по переходу к рыночным отношениям», где, во-первых, оптовые цены определялись в договорном порядке, но «порядок» этот регламентировался постановлением Совмина двухлетней давности, а во-вторых, предусматривалось введение предельного уровня рентабельности, выше которого начинались тотальные поборы в пользу государства. Об этих двух Указах мы уже говорили, обсуждая невозможность экономического прорыва административной блокады в таких условиях. Но выяснилось, что подобного рода запретительные декреты — лишь первые ласточки. Настоящая весна для бюрократии наступила позже.

Передача М. Горбачеву дополнительных полномочий (под недоуменные вопросы некоторых депутатов: не идет ли речь о восстановлении абсолютной монархии?) была следующей ступенькой той лестницы, по которой Президент поднимался к сосредоточению исполнительно-законодательной власти в своих руках. Выступая в программе «Время» 23 сентября 1990 года, член Президентского Совета Е. Примаков сообщил, что полномочия эти вручаются на период перехода к рыночным отношениям, то есть, по его выражению, процесс очерчен во времени. Остается только спросить, уверен ли Е. Примаков, что рынок начнется строго по расписанию?

В тот момент развернулась острая полемика по поводу имущества КПСС, которое, видимо, в большой своей части было приобретено за счет народа — попросту узурпировано. Высказывались предложения посчитать, в какой степени здания, где расположились партийные органы, и кормушки для номенклатурных чинов принадлежат именно им, а не всем гражданам великой страны. Готовились даже решения местной Советской власти по вопросу «департизации» народного добра.

М. Горбачев отреагировал достаточно оперативно. Его Указ от 12 октября гласил, что... Вчитаемся:

«Действия должностных лиц или граждан, совершаемые в целях фактического изъятия у собственника его имущества (...), не основанные на решении суда, государственного арбитража или иного компетентного государственного органа, являются неоправданными (...)».

Любопытно. Насильственный захват собственности незаконен без всяких указов. А тут — действия должностных лиц (председателей Советов? Президента?) без решения государственных органов (каких опять же?) объявляются заведомо неправомерными. Запомним этот Указ, потому что сам Президент нарушил его несколькими месяцами позже.

В то же время М. Горбачев получил значительные кредиты от западных стран «под перестройку». Марки, франки и доллары потекли в карманы государственных органов. Их использование на первостепенные нужды, а не на модернизацию экономики должно испугать тех, кто разбирался в ситуации... Например, на 5 миллиардов франков, полученных в Париже, покупали зерно, продовольствие, а также сырье для химической промышленности, черной металлургии и т. д., а часть суммы пустили на погашение внешней задолженности. Первый зампред Совмина Л. Воронин говорил об этом с достаточно оптимистическим настроением, как будто и не понимал, что страна нуждается в структурном изменении народного хозяйства, а не проедании подачек.

Заручившись доверием развитых стран, Президент вновь обратился к проблемам внутренним. 25 и 26 октября были изданы Указы об иностранных ин-

вестициях в СССР, о введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и о Сбербанке СССР. Что они из себя представляли по сути?

Прежде всего иностранные фирмы допускались на наш рынок. Им давалась возможность участвовать своим капиталом в широком круге вопросов, включая создание предприятий со 100 процентами западного имущества. Правда, не предусматривалось открывать в СССР рублевые счета. Для солидных иностранных организаций здесь проблем почти не возникало, а вот мелкий и средний бизнес из-за этого оказывался в своих возможностях сильно ограничен. Именно он мог бы стать серьезным партнером, но...

Курс рубля, соответственно другому Указу, назначался (без оглядки на реалии жизни) в размере 1,8 за доллар. На самом деле на черном рынке рубль стоил дешевле, но по крайней мере устанавливалась некоторая твердая такса при расчетах по внешнеторговым операциям. Раньше существовали десятки и сотни методик расчетов, где курс рубля фактически зависел от вида совершаемой сделки. Одновременно (и это важно запомнить!) предприятиям с 1 января 1991 года давалось право свободного распоряжения валютой при действиях на биржах, аукционах, совершении межбанковских операций и т. д. Свобода готова была встретить радостно у входа в валютный рынок тех, кто оказывался там конкурентоспособен.

В Сбербанке повышали ставки за хранение денег при долгосрочных вкладах. Правда, инфляция все равно опережала этот административный ход, сжигая вклады быстрее, чем прирастал к ним процент. Тем не менее вклад обещал прибавку к сбережениям — так казалось доверчивым гражданам. До 9 процентов за долгосрочное хранение гарантировал Минфин. Неясно было, правда, почему именно Сбербанку давалась монополия на вклады и в чем, собственно, проявлялась коммерческая конкуренция банков? Ведь желая быстро обернуть деньги в крупных масштабах, какой-нибудь акционерный банк мог повысить у себя процент за хранение, предположим, вдвое, тем самым привлечь клиентов и рассчитываться с ними из прибыли. Но административный стиль возобладал и здесь — Указ был издан.

Это, так сказать, расслабляло публику. Наступил ноябрь, и с первых же дней из Кремля подули холодные ветры.

2 ноября Президент подписал Указ «Об особом порядке использования валютных ресурсов в 1991 году», опубликованный в центральной прессе. В целом суть его сводилась к тому, что для предприятий исключалась обретенная было (в соответствии со столь недавним Указом) возможность свободного распоряжения своей валютой. Ее теперь по большей части надлежало в обязательном порядке продавать государству в соответствии с установленным курсом, что начисто лишало желания зарабатывать ее вообще. Централизация валютной выручки должна была, по мнению М. Горбачева, дать возможность СССР рассчитаться по внешнему долгу, ободрав как липку непосредственных производителей. И если для них до сих пор еще оставалась надежда (пусть — подпадая под предельный уровень рентабельности, пусть — в условиях насильственного привязывания друг к другу, пусть — расплачивающихся по прейскурантам 1988 года и т. д.), надежда решить свои проблемы, обновляя производство за счет заработанных валютных средств, то теперь такую надежду отнимали.

Здесь нужно сделать одно отступление. Верховный Совет к тому времени готовился принять закон о валютном регулировании. Рубль должен был стать единственным законным платежным средством в СССР. Это вытесняло систему валютных фондов предприятий. И тут же говорилось о невозможности без особого на то разрешения держать валюту на счетах иностранных банков, как для граждан, так и для предприятий... Большинством голосов в обеих палатах законопроект был принят в первом чтении,— мы оставим этот факт без комментариев. Указ Президента пришелся весьма кстати: по формирующемуся закону, если уж быть последовательным до конца, следовало отбирать всю прибыль в валюте, а не большую ее часть.

Ноябрь оказался насыщен событиями. Произошла встреча М. Горбачева и Б. Ельцина с глазу на глаз. Вопросы обсуждались самые насущные, в том числе о разграничении полномочий между республикой и центром. Б. Ельцин предложил сформировать новое коалиционное правительство, с чем согласился и Президент. Не сошлись они в проценте налога с предприятий, а значит, и суммах для формирования бюджетов (хотя о самих принципах такого формирования пришли вроде бы к консенсусу...).

А М. Горбачев проводил свою линию. Мы возьмем лишь экономический аспект, поскольку здесь характер президентских действий проявлялся наиболее явно,— хотя, конечно, интересны и другие аспекты. В частности, характерна линия на защиту (от общества, вероятно) Вооруженных Сил и КГБ, явно прослеживающаяся на встрече М. Горбачева с депутатами-армейцами. Но мы вернемся к экономическим регламентациям. Народное хозяйство — основа основ, на нем держится все прочее.

«Все прочее» — это еще и власть в ее новой форме. Наделенный чрезвычайными правами, Президент сосредоточивал ее в своих руках, а Верховный Совет СССР торопливо отказывался от своих прав в пользу первого лица государства. По предприятиям и организациям СССР стал рассылаться документ «О порядке подчинения в условиях временного президентского правления», созданный в соответствии с Законом СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения». Было ли это бредом чиновников или имело более серьезную подоплеку — трудно сказать. Ясно одно: готовность к чрезвычайным мерам возрастала. Совет безопасности должен был формироваться при Президенте; орган по координации деятельности правоохранительных сил — при Президенте; контрольная палата (экспертиза экономики) — при Президенте. И так далее. На фоне того, что рейтинг М. Горбачева с декабря 1989 года (52 процента) к октябрю 1990-го (21 процент) упал в ноябре катастрофически, а усиление его властных функций пошло в прямо противоположную сторону — увеличилось, становилось ясно: складываются объективные предпосылки для возможности диктатуры. Такое видение необходимо, когда мы станем анализировать Указы Президента в народнохозяйственной сфере. Видимо, не одними эмоциями руководствовался и Э. Шеварднадзе, покидая свой пост министра иностранных дел...

Итак, в условиях, когда вдруг оказалось, что «демократии нужна сильная власть», а газеты стали публиковать письма рабочих под заголовками «Вот, Президент, наше плечо»,— М. Горбачев издал Указ «Об усилении рабочего контроля в целях наведения порядка в хранении, транспортировке и торговле продовольствием и товарами народного потребления». Видимо, расчет был на то, что на саботажников, сцепленных с мафией, можно спустить разгневанных трудящихся. Дело оказалось проигрышным, экономика продолжала разваливаться. Подключили КГБ «бороться с саботажем», но система оставалась прежней: сколько в тюрьмы ни сажай, экономический интерес черного рынка (в условиях отсутствия рынка нормального) перевесит.

Чтобы задержаться в скольжении к хаосу, Президенту требовалось на что-то опереться. Верховный Совет СССР для этой цели не подходил в силу своей явной беспомощности. Россия выступала в оппозиции. Армия? Слишком одиозно, этот шаг мог сгодиться напоследок. В такой момент М. Горбачев и получил поддержку с самой неожиданной стороны.

Она пришла в виде жесточайшей критики справа, но уже не на уровне парламентских ораторов (которые сами, кстати, заявляли, что присутствуют в зале заседаний только как статисты: «Создается ощущение, что за нашей спиной работает какой-то механизм, управляющий нами»,— сказал, например, депутат Г. Игитян во время «однодневного путча» в Верховном Совете 14 ноября). Критиковали Президента... директора предприятий союзного подчинения, собравшиеся в начале декабря 1990 года на свой съезд в Москве. Об этом стоит сказать чуть подробнее, потому что политический курс был явно изменен в сторону ужесточения режима именно после совещания директоров.

Прежде всего кто они, сегодняшние директора? Если взять, скажем, Россию как индикатор, то окажется, что среди руководителей производственных отраслей высшее образование имеют 76 процентов. Четверть, стало быть, неграмотна — в смысле прямой квалификации, а не умения пробить-достать.

Далее. Экономистов среди директоров 6,2 процента, юристов — 0,4 процента. Остальные в основном бывшие инженеры. Причем профиль руководимого предприятия в большинстве случаев не тот, что указан в дипломе. Так, по строительным организациям и на предприятиях связи лишь четвертая часть начальников имеет специальности инженеров-строителей и связистов.

Ученую степень кандидата и доктора наук получили 0,9 процента руководителей: углубленно своим предметом не занимается практически никто (если говорить о специфике, а не о командах вокруг производства).

Таким образом, пирамида выстраивается следующая: работающие не по профилю, специальность свою зачастую знающие поверхностно, при этом ориентирующиеся не на законы коммерции, а на технологические процессы, эти люди являются и заложниками, и опорой административно-хозяйственной системы. Они должны ненавидеть рынок в силу своей неприспособленности к бизнесу, понимая, что рынок несет им социальную смерть. В спину бюрократическим технократам дышат коммерсанты и наступают им на пятки, но пока власть в руках у бюрократии. Как они с ней обойдутся — вопрос уже не экономический, а политический.

Первый ход сделан был еще в октябре, когда правительство Н. Рыжкова издало постановление № 1073 «О порядке найма и освобождения руководителя государственного союзного предприятия». Там прямо говорилось, что контракт заключается между министерством и директором, а трудовой коллектив оказывается вообще ни при чем. Министр — представитель собственника, государство его назначило, при чем тут трудящиеся?

Естественно, в ножки хозяину-министру директор завода и должен был кланяться теперь. До конца 1990 года постановлением предписывалось обеспечить заключение контрактов по всей стране. При этом в неявной для широких слоев форме началось повышение окладов у директоров союзных предприятий: хозяин жаловал.

Дальше — больше. 24 ноября постановлением Совмина СССР № 1179 был создан Совет руководителей госпредприятий при Председателе Совета Министров. В задачи этой организации входило

в первую очередь «активное и постоянное содействие последовательному проведению в жизнь экономической реформы». Тридцать семь директоров вошли в Совет.

Видимо, в Совмине решили, что настало время консолидировать среднее звено всерьез.

Вот и съехались в Кремль директора крупных предприятий. Дело происходило в начале декабря, а на 1991 год заключено было лишь 40 процентов договоров. Во многих отраслях сложилось критическое положение. Например, из-за закрытия 600 химических производств текстильщики оказались лишены красителей, а следовательно, и сбыта. Что делать? Вопрос был поставлен в ультимативной форме: нужно защитить и вылечить командно-административную систему, она одна и спасет.

Поспешность в переходе к рынку, непродуманность приводят к беде: так примерно и высказался руководитель ассоциации государственных предприятий А. Тизяков, делавший содоклад совместно с Н. Рыжковым. О том же сказал и генеральный директор Курского кожевенного объединения Н. Пичугин. Звучали предложения вновь реконструировать министерства как органы, отвечающие за обеспечение производственного процесса. Если не укрепить дисциплину производства вплоть до уголовной ответственности, считали собравшиеся, то экономика рухнет. Фактически был предъявлен ультиматум: или сделаете по-нашему, или пеняйте на себя, в условиях развала никакая власть не уцелеет.

Никакая, кроме хозяйственной! Вот что стояло за всеми этими декларациями. Класс хозбюрократии при развале как раз и сохранит себя вместе со своим преимущественным положением в общественной и государственной структуре. Номенклатура — лишь верхняя часть айсберга, девять десятых которого состоят из мелких начальников, директоров, управляющих и т. д. Они-то вместе исподволь и диктуют государственную политику — безусловно, в своих интересах. А интересы эти от рынка далеки.

Поэтому 91 процент директоров высказались за введение в 1991 году чрезвычайного экономического положения, при котором им нужно будет лишь выполнять идущие сверху команды. Подавляющее большинство (77 процентов) допускало частный сектор экономики лишь в небольшом объеме. Подобный стиль мышления складывался в четкую позицию, а позиция эта обретала плоть в требованиях к Президенту.

М. Горбачев выступил с ответом. Сначала он остановился, так сказать, на истории вопроса, то есть обрисовал, как в рамках административной системы не удалось с 1985 года решить проблему модернизации машиностроения. Зато сейчас «даны мощные импульсы позитивным переменам». Это — отношение к собственности. И все-таки трудности есть: нам мешают.

Но кто мешает? Антисоциалистические, деструктивные силы, разумеется. И если раньше интеллигенция выступала со здоровых позиций, то теперь она оказалась за спиной у этих «сил». Примерно так говорил М. Горбачев директорам, в которых видел «плеяду истинно выдающихся руководителей, которая имеет громадный реформаторский опыт».

Тут мы остановимся, чтобы кое-что осмыслить. Опыт администраторы среднего звена действительно имели: все послевоенные реформы были задушены именно хозяйственно-бюрократическим аппаратом, опиравшимся на их интересы. Во-вторых, противопоставлять хозуправление и интеллигенцию (которая, по мнению М. Горбачева, теперь встает на антисоциалистические позиции,— уж не потому ли, что социализм вновь обернулся не более чем барахтаньем в болоте административного управления?) — противопоставлять эти группы можно, лишь сделав выбор в пользу одной из них. М. Горбачев, похоже, такой заведомо ложный выбор сделал.

Если положить слева требования, сформулированные совещанием директоров, а справа — Указ Президента о мерах по предотвращению дезорганизации производства, появившийся неделей спустя, нельзя не заметить определенного тождества. Такого рода сравнение должно убедить сильнее, чем десятки умозрительных заключений. Что же требовали и что в результате получили директора?

«Мы убеждены,— читаем мы в их обращении,— что для стабилизации и сохранения структур экономического жизнеобеспечения необходимо безотлагательно Указом Президента ввести экономические меры чрезвычайного характера», для чего, соответственно, республиканские экономические законы отменить, договоры о поставках ужесточить, структурных изменений в основных секторах народного хозяйства не производить, забастовки запретить; о валюте говорить с точки зрения «целесообразности»...

В обращении также содержались не упомянутые здесь требования по конверсии, по банковским делам и по вопросу собственности на средства производства, который (вопрос) «должен однозначно решиться в пользу трудовых коллективов». Последнее заявление нуждается в пояснении, его можно найти в одном из первых абзацев обращения. Звучит пояснение достаточно просто: директора самих себя и считают представителями и выразителями воли трудовых коллективов,— по их словам, они выступают «от имени десятков миллионов рабочих и инженеров»... Если рассуждать с точки зрения административной власти, так оно и есть. Другое дело, что приватизация должна идти под совершенно другим флагом, в результате собственником становится коллектив, а директор — нанятым менеджером. Тогда от имени трудящихся говорить будет председатель совета предприятия, либо председатель СТК, либо представитель иного органа самоуправления. А может быть, это будет и директор — только уполномочит его уже коллектив, а не министр. Именно так ставился вопрос на проходившем в эти же дни в Москве съезде СТК страны.

Как же отреагировал Президент?

Читаем его Указ от 14 декабря 1990 года «О мерах по предотвращению дезорганизации производства...». Там всего четыре пункта, но как много они в себя вобрали!

Пункт первый: жесткое заключение предприятиями договоров о поставках, на основе лимитов централизованно распределяемой продукции. То есть вновь распределительная система ставилась во главу экономики: от чего убегали в 1985-м, к тому пришли в 1990-м.

Пункт второй: считать недействительными на 1991 год решения республиканских органов власти, ведущих к нарушениям поставок и к прямым натуральным обменам. Мораторий на экономические республиканские законы, таким образом, был введен.

Третий пункт: вместо свободы торговать на валюту — определить валютные дотации в некоторых отраслях (легкая, пищевая промышленность, химия и т. д.). Опять та же распределиловка, с вливаниями и послаблениями для тех, кто громче попросит... Как привычно!

Наконец, четвертый пункт — Совмину: установить жесткие санкции за вывоз сырья на экспорт без разрешения «сверху». Ко всему, еще ранее в пункте третьем правительству даются широкие полномочия в обеспечении «сложившихся связей в производстве», то есть фактически чрезвычайные права,— как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

В основном все требования директорского совещания удовлетворены. Только к добру ли? Говорит его участник, генеральный директор ПО «Пенздизельмаш» О. Мещеряков: тревога его не уменьшается, потому что...

Еще большее ужесточение ситуации дает благодаря новому Указу в руки правительства чрезвычайную хозяйственную власть, а подталкивают к тому Президента директора предприятий: костяк административной системы.

Таким вот образом хозбюрократия ставит Президента в положение, в котором у него попросту нет выбора. А народ обижается на М. Горбачева: что он там такое творит! Нет, это его руками формируют процесс мощные силы, которые (в отличие от намеков, разбрасываемых в отношении «антиперестроечных» неопознанных объектов) можно назвать вполне определенно. Это: Госплан, Госснаб и Совмин. В этих органах, опирающихся на огромный слой преданных им начальников производства разных уровней, и формируются гибельные для перестройки решения. Голое администрирование посадит всех на распределение по карточкам: предприятия — обеспечением их сырьем, граждан — продуктами питания и ширпотреба. А М. Горбачев, ссылаясь на трудности, закрепит подобную ситуацию новым указом.

К Указам мы и возвращаемся.

В конце декабря 1990 года были подписаны еще два документа. Первый вводил налог на реализацию продукции (с продажи) в размере 5 процентов. Второй декретировал создание фондов стабилизации экономики, куда вносились: взносы на соцстрах в размере 11 процентов дополнительно к тому, что планировалось на 1991 год; 20 процентов суммы амортизационных отчислений; прибыль, полученная сверх уровня рентабельности, средства от выкупа коллективами имущества госпредприятий.

«Рождественский подарок» М. Горбачева трудящимся уже не вызвал шока: на фоне происходящего поборы, выгребающие остатки прибыли в централизованные фонды, не удивляли. Нигде в мире суммарные налоги не поднимались до уровня 90 и более процентов, Советский Союз здесь уверенно лидировал. Центр забирал себе всё и распределял не в зависимости от выгоды, а по мотивам иного, административного порядка. Демагогия о социальной защищенности, ради которой все это делается, выглядела теперь открытым цинизмом, нация нищала. Указы Горбачева делали рынок нереальным, людей обрекали на полуголодное существование, власть во всей полноте переходила все к той же хозяйственно-распорядительной системе. К тому же Президент нарушил свой собственный Указ о защите собственности, отбирая у коллективов предприятий то, что им принадлежит, ну да чего не сделаешь ради административной системы!

Любопытно, как комментировал министр финансов (впоследствии — председатель Кабинета министров) В. Павлов Указы Президента:

— Именно для того, чтобы иметь средства на обеспечение социально-экономической программы и программы защиты, вводится налог с продаж.

Но захотят ли люди получать копейки на ту же бесплатную медицину из нищего бюджета — или предпочли бы сильную экономику, дающую возможность медицине действительно на хорошем уровне обслуживать население? Такая экономика реальна лишь в условиях, когда производство раскрепощено, а В. Павлов настаивает на обратном. Его можно понять: он является защитником административной системы в принципе, перестройка ей — смертный враг. Вот он и душит ее через поборы и подати, не оставляющие на местах ничего для развития... Делая тем самым и местные Советы бескровными тенями при мощных хозяйственных органах.

В январе 1991 года Президент издал

еще несколько Указов. Среди них — один особенный, по вопросам земельной реформы. Правда, там частная собственность не упоминалась, фигурировало «пожизненно наследуемое владение» землей и ее аренда, боязливые предтечи истинного хозяйствования.

Но далее, буквально через два дня, увидел свет документ с названием «О некоторых мерах по улучшению продовольственного положения в 1991 году». В нем говорилось: «Внести на 1991 год государственный заказ или иные формы обязательных поставок сельскохозяйственной продукции в государственные ресурсы для всех землевладельцев и землепользователей...»

«Иные формы обязательных поставок» страна в свое время уже видывала. «Для всех землевладельцев» — значит, и для фермеров, только встающих на ноги, тоже: фактически вводится продналог, размер которого зависит от чиновников,— «с оплатой по государственным закупочным ценам», как указывалось в документе,— а не продажа по ценам рыночным!

Петля затягивалась все туже.

Анализируя поворот Президента к явно административной схеме, И. Клямкин выявил силу, которая незримо присутствовала за сценой. Военно-промышленный комплекс. Именно ВПК является стержнем для хозяйственной системы, работающей на производство средств производства, а не товаров для народа. Именно там имеет опору хозяйственная бюрократия — принуждающая все структуры власти, включая и Президента, действовать в соответствии со своими планами...

Заканчивая анализ документов, вышедших из-под пера Президента осенью и зимой 1990—1991 года, можно констатировать следующее. Его сдвиг вправо совершен был ровно в той степени, в какой его подвинула бюрократическая машина. Никакой личной позиции М. Горбачев здесь не занял, поскольку, с одной стороны, он не имеет сил оказать сопротивление хозяйственному развалу, не опираясь на старые хозяйственные структуры, с другой — у него нет возможности такие структуры заменить принципиально новыми. С третьей — не созданы еще демократические механизмы, способные самостоятельно осуществлять либерализацию хозяйственной сферы и защищать ее на политическом уровне.

Проигрывает общество. Кровавые события в Прибалтике в начале 1991-го лишь подтверждают логику начавшегося неостановимого отката страны назад: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь!» Военные стали той частью оборонно-промышленного комплекса, который начал уже явно проявлять свое всевластие в самых разных сферах. Прежде всего — в хозяйственной, но одновременно и в политической. М. Горбачев оказался заложником той коалиции, которая требовала твердого порядка, и начал выступать фактически от ее имени и по ее указанию. Поэтому у нас не должно быть ни возмущения, ни удивления. Свобода есть осознанная необходимость; для Горбачева она в том, чтобы, сохраняя остатки демократизма, неизбежно скатываться к диктатуре, столь любезной для бюрократии в целом. Диктатуру можно назвать просвещенной монархией или как угодно еще, суть от этого не изменится.

Зыбкое равновесие всевозможных составляющих дополнилось борьбой России и центра по вопросам формирования союзного бюджета. Не останавливаясь на деталях, посмотрим на главное.

Еще в октябре неясно было, каким окажется дефицит бюджета СССР. Назывались цифры от 25 миллиардов до 300. В ноябре министр финансов В. Павлов пояснил: Верховный Совет СССР утвердил 60 миллиардов, на них и будем стоять. Потом добавил: эмиссия составит не 10, как планировали, а, пожалуй, 30 миллиардов рублей...

Напечатаем, ничего страшного, и введем в оборот. Цифры менялись, сдвигаясь в основном к тремстам миллиардам.

Верховный Совет, как положено, заседал и глубокомысленно вникал, почему расходы д о л ж н ы превысить доходы. У нас каждая кухарка знает, что купить в магазине на сумму, большую, чем есть в кошельке, нельзя. Те же, кто управляет нынче государством, рассуждали иначе, имея в руках печатный станок.

Однако республики не очень хотели брать на себя то бремя долгов и дефицитов, которое взваливал на них центр. Наоборот, они подходили как и раньше, с позиций нахлебничества, справедливо полагая, что если налоги текут в Москву, то дотации потекут из Москвы обратно. В этот момент «плановый порядок» Съезда народных депутатов СССР нарушила Россия, перечеркнув все, что наработал высший орган власти СССР.

Верховный Совет России принял решение не перечислять в союзный бюджет прежнюю сумму. Смысл этого заключался в том, что Россия сначала хотела бы узнать, куда пойдут эти деньги, а потом отдать центру столько, сколько необходимо для решения межреспубликанских вопросов. Свои проблемы Российская Федерация собиралась решать сама.

М. Горбачев сказал, что это развал не только экономики, но и страны, который должен быть отвергнут Съездом и народом.

Назревали глобальные неприятности. Однако все пришло в норму довольно быстро. Да, Россия недодала около 40 миллиардов рублей Союзу, но зато и взяла на себя многое из того, что раньше считалось «централизованным».

Утвердили дефицит бюджета Союза в 27 миллиардов рублей, остальную часть

его рассредоточили по республикам. Договорились о взаимодействии, в том числе по вопросам о внешних займах. Если бы Россия не топнула ногой, и думать бы ни о чем не пришлось, например, что жить нужно по средствам...

В бюджете выросли расходы на оборону. Если в 1990 году это была сумма в 71 миллиард, то теперь она поднялась до 96,5 миллиарда, что соответствует и большему удельному весу в национальном доходе страны. Военные оправдывали такой шаг тем, что дорожают сырье и услуги, лезут вверх тарифы: дескать, в ценах прошлых лет они даже снизили затраты... На деле, как видно из элементарных арифметических операций, все обстояло иначе. Оно и понятно: военно-промышленный комплекс брал свое. Россия тут ничего поделать не могла и несла свой груз военного бюджета, как и прежде, сгибаясь под его тяжестью. Доля РСФСР в союзных расходах на оборону была пропорциональна национальному доходу республики.

Подводя общий итог, нужно сказать следующее. С перестройкой в том виде, как она замышлялась, в 1991 году было покончено. Экономика развалилась, высшие органы власти страны встали на путь, ведущий от демократии к новому тоталитаризму. Верховный Совет СССР практически превратился в безвольный механизм по штамповке заведомо реакционных законов, устаревающих в большей своей части еще до их принятия. Исполнительная власть и власть законодательная концентрировались в руках у Президента, теряющего популярность в глазах народа, но послушного воле аппаратно-бюрократического клана. В народнохозяйственной сфере на глазах завершался переход к старым, неэффективным методам управления, а новые формы свободной деятельности предприятий последовательно пресекались Указами Президента. Фактически игрался похоронный марш по тем надеждам, которые возлагались на «революцию сверху», начатую в 1985 году.

Российский парламент создал на этом фоне более льготный режим для предприятий, граждан и органов местной власти в республике. Но, пронизанное экономическими связями старого образца, разрубленное на части министерствами союзного подчинения, имеющее в своей структуре массу хозяйственных управленцев старой генерации,— народное хозяйство России в ы н у ж д е н н о деградировало вместе с экономикой Союза. Спасти дело мог только договор между республиками, в котором существенно менялись бы права и обязанности центра. Первоначальный проект нового союзного договора служил, однако, лишь интересам союзной бюрократии и не мог быть принят даже за основу для переговоров.

Перестройка закончилась, начинался новый этап жизни страны, и требовалось определиться, по каким законам и принципам эту жизнь строить.

Наверное, теперь, отойдя на определенную историческую дистанцию, легко рассуждать, как следовало и как не следовало поступать. Даже несколько месяцев кажутся в наших условиях сроком необычайно длительным. Нашей задачей было увидеть на этих страницах, каким образом оказалась подведена черта под тем периодом, который обозначен был как перестройка. Дальнейшие события, нарастающие подобно снежному кому, свидетелями чего являемся мы сегодня, стартовали именно с этой черты. Поэтому есть смысл окинуть пройденный путь с самых общих позиций и понять во всей совокупности происходящие процессы.

Яснее ясного, что потеря единого экономического пространства в СССР привела бы к катастрофе. Однако и сохранение Советского Союза в качестве «империи зла», основанной на крови,— это бумеранг, запущенный в собственное будущее. Вот почему центральные органы, проводящие политику железной руки в народнохозяйственной и социальной сферах, в национальных вопросах, должны быть в ближайшем будущем заменены новым хозяйственно-политическим органом, которому от республик делегируются координирующие функции. Подобная акция означает смену всего нашего уклада, наем управленцев любых уровней с оплатой их по труду, приход экономически гораздо более эффективных систем и в конечном итоге — конец тоталитаризма.

Все, что в окружающей нас жизни этому способствует, имеет историческую перспективу. Все, что сопротивляется, продлевая агонию административной системы, обречено. К сожалению, агония эта болезненно отражается на простых людях, но тем самым общество подводится к пониманию, что без борьбы за свои интересы оно обречено на нищету и голод.

Может быть, в этом и заключается главный урок закончившейся к январю 1991 года перестройки.

Как и первые авторы (Ст. Рассадин и М. Золотоносов), открывшие нашу рубрику, Анатолий Бочаров, продолжая разговор о современной литературе, нашел свой особый ракурс: на происходящие в ней процессы попытался посмотреть как бы двуединым взглядом человека и из 60-х, и из 90-х годов. Такая «стереоскопичность» позволяет увидеть литературную панораму нашего времени под неожиданным углом зрения...

А. БОЧАРОВ

Две оттепели: вера и смятение

1

Наверное, требуется сразу же объяснить, почему пятилетие перестройки я считаю для литературы всего лишь оттепелью, а не открытием шлюзов, в которые хлынул неостановимый и все ширящийся поток.

Да, отступили заморозки прямых цензурных запретов, но завершился «праздник тепла» — праздник упоения гласностью, богатством «задержанной» и эмигрантской литературы. Кстати, не так-то и легко все проходило, особенно если вести речь о произведениях бывших диссидентов: только на пятом году перестройки позволили печатать В. Аксенова, В. Максимова, Г. Владимова, И. Бродского, с трудом пробилось повествование В. Войновича о Чонкине, вызывая жаркие протесты — увы, не только со стороны военных! — против якобы надругательства над родимой армией. А постыдное кликушество по поводу «Прогулок с Пушкиным» А. Синявского! Наконец, только благодаря мощнейшему напору снизу появился «Архипелаг ГУЛАГ», затем и остальная проза А. Солженицына. Так что не столь уж победительно горячими, а именно тепловато-оттепельными были эти праздничные лучи. Будет еще тянуться шлейф публикаций из богатств зарубежья — как тянулись после 1964 года рожденные обманчивым оттепельным духом прекрасные книги. Но это перестанет быть потрясением, праздником, событием, превратится в обычную, будничную практику. Уже не возникнет эффекта «Жизни и судьбы», «Чевенгура» или «Приглашения на казнь»! Да и осознали мы, что так обрадовавшая нас поначалу гласность еще не есть свобода слова, свобода творческого духа. И когда (вернее, если) мы наконец обретем эту свободу, то поймем, что минувшее пятилетие и впрямь оказалось всего лишь оттепелью.

Правда, первая оттепель была насильственно придушена, а вторая увяла как бы сама собой еще до социальных потрясений нынешнего года. Не разразилась очистительная «гроза в начале мая», и текущая литература так и не обрела весенний настрой, весенний напор, весеннюю победительность. Не сошлись, не слились воедино та литература, что была прежде задержана, и «текущая», или, вернее, слабо сочащаяся. Не смогла «задержанная» литература и всерьез подпитать новую литературу, поскольку исповедовала во многом иные социальные и эстетические идеалы. Впрочем, об этом несколько ниже.

Статья С. Чупринина, открывающая четырехтомный сборник литературы 1954—1964 годов, названа «Оттепель: время больших ожиданий». Так и пятилетие провозглашенной перестройки было поначалу и в жизни, и в литературе временем больших ожиданий. Но ожиданий в подавляющей части несбывшихся — и вряд ли может быть интересен спустя четверть века подобный четырехтомник, озаглавленный «Перестройка». Оказалось, что для заметного и сильного рывка потребны новые силы — не те старые кони, что борозды не испортят, и не тот молодняк, что пасся в пойме, не приученный к пахоте. Допускаю, что литература неприметно пошла вглубь, но ведь вглубь она шла и после той оттепели, пробиваясь под пристывшим настом. Сейчас же, к общему разочарованию, ничего действительно значительного, действительно крупного так и не пробилось.

Тем более актуальны уроки, извлекаемые из сопоставления этих оттепелей. Уроки, которые могли бы дать предлагаемой статье другой, более завлекательный заголовок: «Дождемся ли мы третьей оттепели?»

Годы первой из них можно счесть своего рода генеральной репетицией того, что прокрутится четверть века спустя в более значительных масштабах, на ином историческом витке. Видимо, освобождаясь от любого тоталитарного гнета, общество проходит сходный путь: морозная власть пытается управлять старыми методами, но вынуждена все-таки, хоть и контратакуя, уступать силам высвобождения, смиряться до поры до времени с прорывами тепла.

Оправдывая образ генеральной репетиции, можно сослаться на многие частные примеры, вроде того, что на месте двух придушенных альманахов — «Литературная Москва» и «Тарусские страницы» — расцвел теперь целый букет уже незапретных альманахов — а ведь в обоих случаях выход альманахов был попыткой устроить «смотр» новых веяний, своего рода «капелью», не умещающейся в тесные рамки традиционных изданий[1]. Или тот факт, что новое наступление весенних сил открыли многие тогдашние лидеры — Д. Гранин, В. Быков, Е. Евтушенко, Б. Окуджава. И, конечно же, нельзя минуть роль А. Сахарова и А. Солженицына, которые к 1985 году уже выросли в народном восприятии до общепризнанных символов чести, гражданского мужества, национального спасения.

И пусть одни не принимали общегуманистические принципы «западника» Сахарова, а другие — склонность Солженицына к гиперболизации российской самобытности, его осуждение Октябрьской революции и религиозный настрой. Объективно это было слиянием двух истоков, пожатием двух рук, даже когда оба лидера вели полемику при личных встречах и в статьях.

Но если их полемика была неизменно исполнена внутреннего достоинства и уважения к оппоненту, то в 80-е годы у «прорабов» и «заединщиков» пропало всякое взаимное уважение, хотя и те, и другие вроде бы смыкались в неприятии пустотелых заклинаний насчет «социалистического выбора» и «коммунистической перспективы». И не исключено, что такое ожесточение внесло свою лепту в малую результативность и быстрый конец литературной оттепели. Настоящая литература ожесточением не оплодотворяется. И это один из главных уроков, подтвержденных хотя бы неудачей романа В. Белова «Все впереди».

В первую оттепель возродилось понятие гуманизма — того, который не делится на «абстрактный» и социалистический, а зиждется на доверии к личности и вере в неистребимость человеческого в человеке. В 1962 году в ИМЛИ была проведена первая конференция на сугубо оттепельную тему: «Гуманизм и современная литература».

В понятии «гуманистический пафос» воплотился тогда интерес к человеку как самоценной личности, а не винтику, к его совести, а не его преданности скрижальным догматам. Тогда же возник тот двуединый настрой, который можно определить как нравственные искания и духовный поиск — то, что идет изнутри самой личности, а не диктуется ей извне. Человек ищущий противостоял человеку исполняющему, которого формировала тоталитарная система.

В годы второй оттепели упрочившиеся идеи гуманизма привели уже к официальному государственно-партийному признанию приоритета общечеловеческих ценностей перед классовыми, сословными. Поспособствовал этому и поток западной и эмигрантской литературы, которая была настояна как раз на общечеловеческих нравственных ценностях. Опять-таки генеральной репетицией этого потока были в годы первой оттепели пробившиеся, вернее, прорвавшиеся сквозь заслоны одиночные книги Хемингуэя, Ремарка, Сэлинджера (ах, как любили тогда бдительные критики укорять военных прозаиков в ремаркизме, а молодых писателей в сэлинджеровщине!). А из эмигрантов — проза И. Бунина, из «задержанных» — «Мастер и Маргарита». По тогдашней общественной ситуации (особенно после второй «исторической» встречи руководителей партии с деятелями искусства в 1963 году) и это было несомненным прорывом, готовившим будущее знакомство и с психологическим западным, и с мифологическим латиноамериканским романом. И в обеих оттепелях обновление художественных ориентиров протекало не легко, не просто, приходилось одолевать сопротивление тех, кто упорно держался за социальное первородство советской литературы в первую оттепель и национальную девственность и самодостаточность русской литературы — во вторую.

А возглавляли всякий раз это сопротивление маститые, олауреаченные и канонизированные создатели многоликих кавалеров Золотой звезды и Журбиных в ту пору и многотомных саг о вечном зове или семье Дерюгиных — в нынешнюю. Вот почему в ту пору напряженнее всего писатели бились против оголтелой лакировки действительности, а ныне — против вялости, нелитературности, словоблудного многотемья. И в том еще разница, что тогда партийная власть открыто брала под защиту своих «автоматчиков», а теперь была более склонна имитировать внешний нейтралитет.

Но как тогда всеми средствами сопротивлялись В. Кочетов, Н. Грибачев,

[1] Выпуском альманахов несколько компенсировалось отсутствие новых журналов, тогда как славой первой оттепели стало экстенсивное расширение «журнального поля»: за те годы было создано свыше двадцати новых литературно-художественных журналов и в центре, и в республиках, и в областях.

А. Софронов, М. Алексеев, так и в иную пору сопротивлялись подросшие за времена застоя А. Иванов, Н. Шундик, П. Проскурин, Ю. Бондарев.

И в этом сходстве, видимо, просвечивает непреложный закон всяких радикальных изменений: контрастное, непримиримое размежевание, противостояние двух сил, причем силы уходящие спешно и умело организуются, осознав, что теряют последний рубеж, а силы наступающие упоенно — и часто опрометчиво—полагаются на чисто творческие завоевания, оптимистично веря в непреложную победу истины и красоты. Правда, в только что минувшую оттепель весенние силы обрели новые плацдармы — не только, как в былые годы, «Новый мир» и «Юность», а еще и «Знамя», «Октябрь», «Дружбу народов», «Аврору». Возник несравненно больший потенциал, но и задачи ведь стали иными, более основательными, объемными. И урок несомненный, дважды пройденный: не полагаться безоглядно на неизбежную победу таланта, иначе опять придется долгие годы — до следующей оттепели! — утешать себя тем, что «рукописи не горят».

2

Главным наступательным оружием новых сил было в обоих случаях требование писать правду, отстаивание права на правду (как и ответной охранительной реакцией было тогда обвинение в очернительстве, а теперь — в «чернухе»: словарь обновился, но суть осталась, ибо сохранилась глубинная суть режима). И все-таки тогдашнее требование — и художественное воплощение! — правды отличалось от нынешнего. И дело тут не в объеме, а в качестве открываемого.

В ту, уже давнюю, пору пытались разобраться, что же произошло, что же происходит в стране и в душах людей. После сталинской стужи все было вновь, даже само понятие культ личности. Теперь же тогдашние озарения уже стали прописями, а на месте относительно локального «культа личности» открылись леденящий тоталитарный строй и геноцид против собственного народа как следствие российской революции — и литературе остается лишь иллюстрировать, расцвечивать общеизвестное, ставшее расхожим достоянием средств массовой информации. Для общественного сознания этот колодец, можно сказать, уже вычерпан.

Отчасти по этой причине, а отчасти из-за народной оторопи при виде совершающегося развала всех структур литература обратилась к нажимному показу *ужасного* в повседневной жизни: ужаснуться тому, как мы живем, до чего дожили. Можно сказать, что тогдашняя художественная правда преобразовалась в эстетизацию ужасного. Но ведь и сознание общества сгустилось до понимания всего ужаса исторических последствий российской революции. Так что эстетизация ужасного в немалой мере резонирует новому характеру общественного сознания. Вот и Г. Белая фиксировала в статье с категоричным названием «Литература эпохи распада» «агонизирующую советскую цивилизацию», «культуру эпохи распада», «к современному искусству относят только то, что «ужасно» по самому внеэстетическому признаку — жизненному материалу».

И действительно, сравним повесть «Ночевала тучка золотая...» А. Приставкина, написанную на исходе времен застоя, но ставшую одной из самых первых ласточек новой оттепели, и изданную лишь к концу оттепели повесть «Одлян, или Воздух свободы» Л. Габышева, хотя она была написана примерно в те же годы. При всей трагедийности повествования Приставкин и нашел трогательный художественный ход с двойняшками, вносящими забавную путаницу, и дал симпатичные образы взрослых, и высветил дружбу мальчишек из двух станов, а Габышев рубит сплеча — бесконечно ужасна жизнь, выпавшая на долю его героя. То же, в сущности, и в «Стройбате» С. Каледина — долгий непроницаемый мрак.

Как и следовало ожидать, в обеих оттепелях на авансцену выходили молодые — именно они чаще всего торят дорогу для нового осознания мира и искусства. Так поднялась на рубеже 60-х «вторая волна» военной прозы, развились таланты К. Воробьева, В. Семина, Ю. Казакова. Именно вокруг их повестей закручивались водовороты критических дискуссий и державных запретов. Вот и сейчас, вслед за наконец-то прорвавшейся Л. Петрушевской, привлекли внимание С. Каледин со «Смиренным кладбищем» и «Стройбатом», В. Пьецух с рассказами и «Новой московской философией», В. Нарбикова с эксцентричными повестями... И эффект «Смиренного кладбища» оказался вполне соотносим с общественным и художественным эффектом тендряковской повести «Тройка, семерка, туз» для того времени. (А в годы застоя вполне логично вспенились «сорокалетние» с их успокоившимся или, чаще, опустошенным героем.)

В годы первой оттепели прорывавшихся молодых перечисляли обоймами: Бондарев, Бакланов, Быков или Аксенов, Гладилин, А. Кузнецов или Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина. Так происходит и теперь. И отнюдь не только потому, что еще недостает материала или желания говорить о самобытном художественном мире при всей, скажем, разнице между прозой С. Каледина и В. Пьецуха. Основа — в их общем фронте.

Сердито заметила в помянутой выше статье Г. Белая: «Поражает именно это мышление поголовьями писателей, это нежелание различать отдельные лица, стремление подавать литературу отряда-

ми»: Л. Петрушевская и Т. Толстая, Виктор Ерофеев и Венедикт Ерофеев; «а Валерия Нарбикова, Сергей Каледин, Олег Ермаков, Леонид Габышев и вовсе выступают почти как родня». Но и сама она тут же определяет то, что их роднит: изображение ужасного.

И впрямь для прозы большинства из них характерен переход от изображения правды к изображению ужасного, а былую «исповедальную» прозу с ее ёрничающим, но душевно чистым героем сменило высвечивание потаенно-темных глубин человеческой натуры.

Но, как я уже поминал, не просто ужасного и темного, а *эстетизированного* ужасного. И это крайне важно.

Ни В. Быков, ни В. Тендряков, ни К. Воробьев, ни В. Семин не тосковали по «эстетически чуткой» критике, им важна была критика, отзывающаяся на их боль, ибо проза «шестидесятников» жила нетерпением прямо — иногда, впрочем, прямолинейно — обнажить острую, болевую проблему, а нынешние молодые алчут не столько понимания ужасного (это, дескать, общеизвестно), сколько отзывчивости на их эстетическую новизну и смелость. Оттого и требуют они для себя сугубо эстетической критики, отвергающей, подобно им, современную «гиперморалистичную» (Вик. Ерофеев) литературу.

В самых разных обличьях предстает ужасное в сегодняшней литературе — от описания жестокости в повести «Одлян, или Воздух свободы» и «жесткой» стилистики Л. Петрушевской до эротического натурализма повестей В. Нарбиковой и ироничной эротики Вик. Ерофеева.

Но в том-то и дело, что в большинстве случаев это всего лишь эпатаж — стремление ошеломить, бросить вызов общепринятому, хоть и уверяет О. Дарк, будто «в целом «другой прозе» присуща сверхповышенная (! — **А. Б.**) идеальность»[1]. Эпатаж — плод эстетизации ужасного, и эпатажное слово — игровое, зовущее подивиться его дерзости или нарочито, по-игровому подделывающееся под народную речь, только не фольклорную, а сленговую.

Отсюда и столь распространившаяся ирония, которая почти отсутствовала в первую оттепель, разве только за исключением В. Аксенова и В. Войновича. Но у них тогда была победительная ирония, усмешка сильного. Сейчас же ирония, как ни горько это сознавать, побуждается отчуждением, отстранением личности от свершающегося или еще чаще «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Не такова ли ирония Л. Петрушевской, Т. Толстой, В. Пьецуха, Вик. Ерофеева, Е. Попова[2]?! Некоторые критики даже почитают иронию первейшей чертой всплывшего и теперь вольно растекшегося «андеграунда». Ирония для них служит элементом литературной игры, рассчитанной на «посвященных», на умение проникнуть в представляющийся автору глубоким подтекст, хотя чаще все сводится к легкому осмеянию былых идеологических штампов и жизненных стереотипов.

[1] «Дружба народов», 1990, № 6, с. 223.

[2] М. Кураев: «Ирония — знак своеволия и непокорности. Ирония — объявленное право на сомнение. Ирония — это вызов и отсутствие дисциплины» («Литературное обозрение», 1990, № 6, с. 107).

В те же времена застоя зародились, а в годы последовавшей оттепели вошли в рост аллюзия, недоговоренность, сюрреалистическое смещение, широкое использование цитатного, «чужого» слова.

«Я не несу идейную правду. Если уж говорить о правде, то, скорее, правду эстетическую, которая сама для меня раскрывается»[1],— объяснял Ф. Горенштейн летом 1990 года свое отличие от «шестидесятников», к которым его иногда причисляли за рассказ «Дом с башенкой».

Если в ту оттепель, взыскуя правды, писатели добивались речи точной и нагой, то сейчас они, по тонкому замечанию Н. Ажгихиной, увлекаются новонайденным барокко (и даже — придумают же такое! — «куртуазным маньеризмом»!); литература жизнеподобных форм стала уже казаться пресной, вялой, дидактичной.

«Игровой способ существования»,— сказал Г. Вирен о художественном мире Е. Попова, и это можно распространить в равной мере на многих других выходцев из андеграунда. Поэт и драматург В. Коркия «саморазоблачался»: «Ведь и «Черный человек» — это театрализованная игра вождя с народом. Только вождь не в Кремле, а на сцене, а народ — в зале. Игра между сценой и залом лежит в основе концепции того театра, который я про себя называю тотальным». А Г. Гордеева, убеждая в существовании особой «ленинградской школы», назвала одной из первых черт ее внутренней общности как раз «игровую стихию» на всех уровнях, «игру как с героем, так и со словом: речевыми штампами и клише, канцелярской, идеологической и жаргонной лексикой» и рядом с этим «дарованную иронией и виртуозно культивируемую склонность к фантастике и абсурду, проступающим сквозь быт»[2].

Решительная же Н. Иванова вообще уверяет, что проза совершила «вдруг некий неожиданный поворот от описательности прямо на 180 градусов: в сторону условных форм — фантастического смещения, гиперболизации, метафорической сверхнасыщенности. Для чего? Для того, чтобы лучше ее, эту обыденность, эту жизнь нашу — узнать, понять»[3].

Пожалуй, слишком резко она судит: не совершила литература поворот, а всего лишь обрела еще одну художественную форму, которую, правда, молодые критики, торопясь, уже именуют сверх-

[1] «Московские новости», 1990, № 47.

[2] «Новый мир» 1990, № 7, с. 233

[3] «Знамя» 1990, № 8, с. 233.

реализмом (по Достоевскому) и даже постмодернизмом, представляющим собой чуть не царство божие в словесности: «органичное совмещение в рамках одного стиля всех возможных стилей, направлений, течений, тенденций — словом, всех ценностей предшествующей культуры»[1]. По моему разумению, эпатаж, фантасмагория, гротеск, «балаганная» игра, поэтика абсурда в большей степени выглядят как литературный аналог рок-музыки с ее тяготением к «шоковой терапии»[2]. И здесь уже не жди меры и гармонии, коль скоро сам мир представляется авторам скособоченным, дисгармоничным, раздробленным. Оттого и не ужасаются они ужасному, не пугаются абсурда, не удивляются фантасмагории.

Вполне логично рядом с поэтикой «ужасного» и образом человека отчаявшегося возник и жанр антиутопии — тоже в известном смысле разновидность литературной игры.

Помимо увлечения открывшимися антиутопиями Е. Замятина, Дж. Оруэлла, О. Хаксли, толчком для антиутопий послужили и жизненные основания: предвидение того, что может случиться, если сохранится ужасное настоящее.

Вот и А. Курчаткин, и ранее не чуждавшийся игры реального и ирреального, вслед за бытописательной «Газификацией» написал антиутопию «Записки экстремиста (строительство метро в нашем городе)». Впрочем, количество антиутопий было невелико, да и общественный отклик получила «на новенького» лишь повесть «Невозвращенец» А. Кабакова, литературными достоинствами не блещущая. Даже сатирическая антиутопия «Москва 2042» В. Войновича такого отклика пока не вызвала.

Подобной проекции ужасного в годы первой оттепели вообще не было: писатели тогда еще верили в то, что можно, прозрев, легко отрешиться от старого; к нынешней же оттепели накопился уже опыт застойных лет и удручающих прорух перестройки, основательно подрубивший и без того слабую надежду на успех исторического эксперимента по расчисленному социальному переустройству.

Опять главными жанрами стали повесть и рассказ. И даже в большей мере рассказ — и у Вик. Ерофеева, и у В. Попова, и у В. Пьецуха, и у Т. Толстой. Но в ту оттепель — ее определяют иногда как «повестной этап» в отличие от романного разлива прежних лет — малые жанры помогали обнажить жгучую жизненную проблему, поставить острый нравственный эксперимент. Теперь же, при нынешнем состоянии умов и в реальной литературной ситуации, рассказчику легче чувствовать себя свободным от концептуально осмысленной картины жизни, но зато дать «блестинку», «изюминку», щегольнуть удачно найденным приемом, игровым ходом. Эстетика то и дело подменяет этику. Не потому ли даже «Палисандрия» Саши Соколова и «Чонкин...» Владимира Войновича выглядят для нынешнего восприятия затянутыми, скучноватыми и, как ни странно, сходны в этом с дилогиями и трилогиями, вновь расплодившимися в застойные годы. «Фантастический реализм» (А. Синявский) хорош, будучи лаконичным!

Вот почему и таранили цитадель утвердившихся художественных форм и воззрений не столько романисты, сколько рассказчики. До истинно романной концепции жизни наша литература, видимо, дойдет позже, когда хоть что-нибудь установится. Пока же в цене этюды, фрагменты, кунштюки.

Короче говоря, молодая поросль времен первой оттепели резала правду-матку открыто, напрямую, полагая, что былые времена окончились, как кончается постылая вьюжная непогода. Нынешняя же поросль, изведав застойное ненастье, предусмотрительно усвоила разговор обиняком, намеком, знаком для посвященных. Да и в немалой мере она то ли вдохновлена, то ли поражена скепсисом и философским релятивизмом.

Уже в первую оттепель призыв к стилевому многообразию стал попыткой вырваться из канонов соцреализма — одного из неизбежных следствий политического тоталитаризма, единомыслия. Напомню хотя бы статью-манифест И. Сельвинского «Наболевший вопрос», эпатирующую поэзию А. Вознесенского, «исповедальную» прозу молодой плеяды, «модернизм» В. Катаева, «фантастический реализм» А. Синявского. Можно прибавить к этому и мифологизм Ч. Айтматова в «Белом пароходе», иронико-философскую прозу молодых эстонских писателей Э. Ветемаа, Э. Беэкман, М. Унта и т. д. Хотя в целом литература, будучи новой по мыслям, сферам изображения и героям, все-таки еще прочно придерживалась тех коренных принципов традиционного реалистического «жизнеподобия», которые взял себе на службу и соцреализм. Достаточно сослаться на опыт А. Солженицына: и Иван Денисович, и Матрена были поистине художественным открытием, но своей открытой идеологичностью и стилевой нормативностью они вполне вписывались в любезные «Новому миру» Твардовского реалистические традиции. Разве не был тот же Иван Денисович душевно и стилистически близок Семену Тетерину из тендряковского «Суда», опубликованного в «Новом мире» чуть раньше?

Вообще если для первой оттепели

---

[1] Курицын В. На пороге энергетической культуры «Литературная газета», 1990, 31 октября

[2] Но столь же не прав и М. Золотоносов, изничтожающе объявив нашу «постмодернистскую» литературу литературой «восьмидерастов», ибо она, видите ли, «оплодотворяется самой же литературой и словесными, но внелитературными жанрами (плакат, реклама, цитата из Брежнева, надпись на консервной банке)». «Час пик», 1990, № 36, с. 7.

были более всего характерны вера и энтузиазм, напористость фронтового поколения, то для ныне завершившейся — смятение: то перед обвалом гласности, то перед тотальным развалом экономики, то перед превращением религиозных культов в феномен маскультуры, то перед разверзшейся апокалипсической пропастью, то, наконец, перед дьявольским искушением свести все к взаимопожиранию революционных пауков в банке. «Духовные лидеры и любимцы той оттепели были людьми до мозга костей советскими», и оттого «творчество оттепелевской плеяды не было изначально свободно»[1],— с гневом и пристрастием писал недавно Ю. Кублановский. Но как бы ни относиться к социальным идеалам, признаем, что в еще большей степени несвободными оказались смятенные души: нет свободы без убежденности, хотя и не всякая убежденность ведет к свободе.

Может быть, оттого и смогли взять разгон в первую оттепель крупные и сильные таланты, властители дум, а новое время не дало духовных лидеров, возбудивших бы внимание общества, повлиявших на общественное движение, предложивших самобытную концепцию человека и человеческого сообщества. Невиданная россыпь студийных театров и «независимых» киностудий тоже идет не столько от хлынувшей свободы самовыражения, сколько от отсутствия мощных объединительных идей, способных хоть сколько-нибудь реально ответить на трагичнейший вопрос: во что верить? И в этом, наверное, тоже примета неуверенной оттепели, а не торжествующей весны. А может быть, и урок на будущее.

3

Пожалуй, именно в этом месте удобно перейти к наиболее глубоким различиям, которые обнаруживаются между оттепельными периодами. Ведь воистину дважды в одну реку не входят.

Особый характер второй оттепели придало — и, пожалуй, составило ее примечательнейшую особенность — множество произведений «задержанной» прозы, поэзии, драматургии: романы А. Платонова, В. Гроссмана, Б. Пастернака, «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева и т. д. (в первую оттепель единственным потрясением такого рода послужил выход почти в самом ее конце «Мастера и Маргариты»). Всплытие этого континента быстро и решительно подняло уровень всей литературной тверди, не только показав истинную цену привычной текущей литпродукции, но и сделав совершенно иным социальное и эстетическое мышление. Не современная, как тогда, а всплывшая литература задавала тон, поднимала температуру духовной жизни общества.

На ее примере читающая масса воочию увидела, что и в советских условиях возможны произведения, столь проникающие в глубь жизни, что обретают уже силу прозрения, предвидения, откровения. Причем немалое число этих удивительных книг было порождено весенним духом первой оттепели, когда на журнальных страницах главенствовали произведения, созданные, что называется, с пылу с жару. Теперь же основную пищу давали произведения, выбравшиеся из-под глыб, а не современные творения, в которых не оказалось ни пылу, ни жару; общественная же острота стала достоянием исторической и проблемной публицистики.

И когда иные критики и писатели недавно сетовали на то, что «некрофилия» лишает современных авторов возможности печататься, то у современных-то как раз и не было произведений, способных по своему внутреннему накалу, жизненному драматизму, эстетическим достоинствам всерьез конкурировать с «задержанной» прозой. Ведь совсем не случайно весьма слабыми — и, кстати, не только на таком фоне — выглядели «просочившиеся» на страницы журналов произведения, созданные в перестроечные годы. Я уж не говорю о безнадежно тусклом «Отречении» П. Проскурина, как раз и запустившего в оборот словцо «некрофилия». Но напомню хотя бы из публикаций 1990 года невыразительные, на мой взгляд, «Пастораль» С. Бардина и «Аннушка и Евгеша» М. Палей в журнале «Знамя» — а это один из тех журналов, которые заботятся не только о «направлении», но и о художественном уровне публикаций. То же не случайно происходит и в драматургии. Званые-то есть, избранных не видно...

Но самое, может быть, примечательное различие заключается в том, что в первую оттепель фактически не было идеи национального духа, национальной самодостаточности искусства. Тогда твердо уповали на скорые и благие социально-нравственные преобразования, на торжество «правильных» социалистических начал. Теперь же, разуверившись в них, писатели все чаще пытаются перебраться с социальной почвы на национальную, многое в их книгах настояно на отрицании быстрых исторических, особенно революционных преобразований народной жизни, на поиск исконно национальных начал, трансисторических национальных традиций. Права этноса то и дело ставятся выше прав личности, а соборность (новый лик коллективизма) выше свободы индивидуального выбора. Возникли также еще не осознанные нами в полной мере последствия очевидного крушения былой аксиомы насчет «единой советской многонациональной литературы», поскольку все ее составные части разбрелись по национальным квартирам, отчуждаясь в большей или меньшей степени от опыта «братских литератур» и особенно опыта «старшего брата».

---

[1] «Независимая газета», 1991, 17 января.

Напоминать ли, что одним из наиболее заметных знаков конца первой оттепели стало задиристое противопоставление «земли и асфальта» (так называлась одна из воинственных программных статей в «Молодой гвардии» 1966—1968 годов)? «Деревенская» национальная проза осталась вместе с «военной» и «диссидентской» неоспоримым достижением промежуточных десятилетий, способствовала отказу от идеологических ориентиров и возникновению неведомой социалистическому реализму «онтологической» прозы. Но в то же время исподволь она идеально притерлась — порой даже вопреки намерениям авторов — к застойным временам, поскольку уводила от героя ищущего к герою извечно заколдованному, от социальной изменчивости к национальной неизменности. И былой успех этой прозы, продолжавшей усердно боронить уже сплошь пропаханный тонкий нечерноземный слой, еще сильно довлел над литературой начала 80-х годов, хотя деревенская проза и сосредоточилась уже не столько на изображении богатств души простого крестьянина и сущности природного бытия, сколько на изображении ужаса и противоестественности коллективизации, разрушившей ядро нации — крестьянство. (И это, кстати, тоже свидетельствует о своего рода общем переходе от правдивого к ужасному.)

На фоне «задержанной» прозы, да и самой деревенской прозы конца 60—70-х годов даже «Мужики и бабы» Б. Можаева и «Кануны» В. Белова, что там ни говори, выглядели довольно скромно. А попытки В. Белова в пьесах и романе «Все впереди» снова вернуться к стравливанию «земли и асфальта», русского национального с неким жидомасонским объективно тормозили становление реального, немифологизированного мышления, уводя от подлинных истоков социального бедствия. Впрочем, о достоинствах, завоеваниях и слабостях деревенской прозы во всех ее ипостасях — «экологической», «онтологической», «патриотической», «лирической», «ностальгической» — говорено уже так много, что в пределах данной статьи достаточно сослаться на то, что ее влияние на многоликих и агрессивных «постдеревенщиков» оказалось одним из кардинальных различий между оттепелями.

Скажу лишь, что глубоко прав был, видимо, Н. Бердяев, уверяя в «Судьбе России»: «Если недопустимо противоположение идеи человечества идее национальности, то недопустимо и обратное противоположение. Нельзя быть врагом единства человечества во имя национальности в качестве националиста. Такое обращение во имя национальности против человечества есть обеднение национальности и ее гибель... Национальность и человечество — одно».

Какие же нравственные опоры найдет литература в грядущем третьем прорыве? Отыщет ли живительный симбиоз национального и социального, национального и всечеловеческого или, пресытившись бесплодными кликами о мессианском предназначении России, ринется проходить западный путь экзистенциализма, абсолютного доверия к нравственному императиву отдельного человека? А может, успокоит сердце христианскими заповедями?

Ведь вместе с прочно укоренившимся «национальным духом» ошеломляюще возрастала тяга к религиозному началу. Прямую связь между ними категорично декларировал В. Крупин: «Понять историю России без истории православия невозможно» [1]. Все более ощутимо воздействует не только на историософское сознание, но и на изображение сегодняшнего бытия религиозная нравственность, чего практически не было в 50—60-е годы,— разве только в прозе А. Солженицына. Этому способствует и заметное угасание веры в спасительную силу «истинно ленинских начал», и погружение общественной мысли в прежде запретные концепции русских философов «серебряного века», где такое слияние национальных и религиозных начал было отчетливым и притягательным. Следы этого — и в первых же появившихся на родине романах и повестях Ф. Горенштейна, и в прозе Л. Бородина, и в повестях «Инвалид детства» О. Николаевой, и «Джвари» В. Алфеевой, стихах С. Липкина, С. Аверинцева, О. Чухонцева... Именно в возрождении религиозной нравственности видят многие писатели единственно оставшийся путь к надежным нравственным устоям. Даже такой абсолютно «светский», ни в каких религиозно-философских штудиях не замеченный критик, как Е. Сидоров, не устоял и принялся уверять: «Я убежден, что без возвращения к основам христианской этики русское общество не поднять, не возродить», а «лучшие писатели это, как правило, верующие или близкие христианской культуре люди» [2]. Не буду отвлекаться на бесплодный, хотя и необходимый спор, скажу о другом: боюсь, что объятия религиозной нравственности станут скоро вызывать наше внутреннее сопротивление из-за слишком уж явного поощрения религиозной обрядности со стороны не только государства, но и партии коммунистов. Провозгласил же П. Палиевский как «практическое дело и призыв истории — воссоединение двух мировых идей, захвативших в разные эпохи русский народ, этих противоположностей, которые были несовместимы,— коммунизма и веры» [3]. А мы не раз убеждались, что барские ласки чаще всего губительны для духовных сфер. Впрочем, далеко ходить не нужно. У ротного подголоска (если соизмерить с голосом известного «соловья Генштаба») Карема Раша можно прочитать

[1] «Литературная Россия», 1989, 6 мая.
[2] «Иностранная литература», 1990, № 11, с. 211
[3] «Литературная Россия», 1990, 1 июня.

и этакое: «Подлинный парад есть проявление соборности. Соборность — всепроникающий метафизический принцип устроения общества, где множество собрано и едино силой любви. Красота и величие офицера и монаха в том, что они не судят, а повинуются... Недавно видел и бой-парад, и соборность в небе, когда дивизия десантников на учениях расцветила куполами поднебесье» [1].

А еще чаще прославляется праведная, святая жизнь — вслед за солженицынской Матреной и распутинскими «старухами». Вот как завершает свой рассказ о двух старых женщинах молодой прозаик Марина Палей: «Она была святая,— вдруг сказала я, с интересом слушая не свой голос.— Святая,— повторила,— и ударила кулаком по перилам крыльца».

Но, по-моему, прав Д. Урнов, сказав, что любовь к человечеству у Достоевского «была христианской, а не гуманистической, мы же упорно называем его «гуманистом»,— но христианская любовь к ближнему, по-моему, исключает гуманизм — высокую оценку человеческой личности» [2].

(Кстати, и андеграунду несвойственны религиозные сюжеты и ориентиры; не приняв веру в состоятельность марксистского материализма и «коммунистической перспективы», эта литература так и не обрела религиозного исповедания, что естественно для «городских» интеллигентов, уповающих на гуманистические, а не религиозные начала).

Впрочем, широкое знакомство с литературой, проникнутой религиозным духом, уже выходит за временные рамки оттепели. Будущее явит, насколько продуктивной она окажется для накоплений третьей оттепели.

Итак — как вывод — логично проступает некая общая тенденция, подтверждаемая и сходством, и различиями обеих оттепелей, и, если угодно, намекающая на вектор дальнейшего движения. Ратуя за правду, литература сдвинулась от правды социальной к правде историософской, онтологической, уповающей не на совместные людские усилия, а на высшие силы. И в этом отношении литература отдаляется от народа, все резче раскалываясь на элитарную и общедоступную. К этому добавляется и эстетизация художественной ткани. «Эксперименты в области формы, эстетический поиск, игра со словом вошли в кредо «андеграунда», отделили его от официальной литературы, так же как и от писателей-традиционалистов, исповедующих принципы классического реализма»,— прямо сформулировал Г. Вирен, обозревая альманахи 1989—1990 годов [1]. А О. Дарк, как бы поддакивая ему, уверяет, что «однозначно ориентированная литература» должна превозмогаться, хотя «читатель не только *хочет* такой литературы, но и *привык* к ней, считает ее едва ли не единственно нормальной» [2].

Обычно такой процесс эстетико-философской элитарности оправдывается тем, что только элитарное искусство продвигает всю культуру к необходимым новым завоеваниям. Но это, увы, справедливо лишь для одиночных прорывов, а не для целых пластов, поддавшихся моде или желанию реализовать смену идей в непременной смене традиционной стилистики. Годы застоя и впрямь засосали в вязкую трясину конструктивную роль искусства в самосознании общества и как непременное следствие склоняли к эстетической утонченности. Социальные катаклизмы дали сразу после смерти тирана — как противодействие — высокие творческие взлеты, из трясинного же застоя выдираться труднее — словно Мюнхгаузену тащить себя за волосы из болота. Но путь от, условно говоря, открытой социальности к тому, что мы именуем духовностью, представляется все-таки исторически правильным, он как бы резонирует всему движению к общечеловеческим нравственным и духовным ценностям. И это тоже немаловажный урок. А сможет ли на этом пути русская — именно русская во всем настое своих традиций — литература еще раз подняться до общенациональных ожиданий, создать нечто равное таким книгам, как «Доктор Живаго», «Жизнь и судьба», «Архипелаг ГУЛАГ», ознаменовавшим первую оттепель,— покажет время.

[1] «Литературная Россия», 1990, 4 августа.
[2] «Знамя», 1990, № 7, с. 216.

[1] «Октябрь», 1990, № 9, с. 161.
[2] «Дружба народов», 1990, № 6, с. 225.

Самоволка

Дневник Владимира ВЫСОЦКОГО

После Владимира Высоцкого практически не осталось материалов, прямо раскрывающих внутренний мир поэта: дневников, переписки, заметок, маргиналий. При всей уникальности этого духовного опыта, прямой доступ к нему закрыт. Или почти закрыт. Мы можем, конечно, догадываться о чем-то, подкрепляя свои догадки анализом стихотворных текстов, но при этом вряд ли сумеем доказать, что наша трактовка взятых текстов единственно верна...

В такой ситуации просто спасением становятся те малые эпистолярные островки, которые сегодня уже известны нам, и, конечно, особое значение обретает так называемый «Дневник В. Высоцкого», датируемый зимой 1975 г., публикация которого стала возможна только сейчас, благодаря любезному согласию Марины Влади.*

Год 1975-й был необычным в жизни поэта. Это был год его 37-летия, а к датам и цифрам В. Высоцкий относился более чем серьезно, по крайней мере к тем, которые сам выделял как фатальные. Двумя годами раньше, в 1973 г., он посвятил им даже отдельное стихотворение, известное больше как песня «О поэтах и кликушах» («Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт...»), но имеющее в черновиках еще несколько промежуточных «говорящих» заглавий, в том числе «О цифрах и поэтах» и, в частности, «О фатальных датах и цифрах». Все три возрастных рубежа, выделенных автором в этом стихотворении в качестве фатальных (26 лет, 33 года, 37 лет), не прошли бесследно и для него самого.

1964 год (26 лет) в жизни В. Высоцкого отмечен одновременно попыткой самоубийства и приходом на Таганку. Это был слом, катарсис, после которого началось быстрое восхождение поэта, а главное — обретение себя в очень непростых социальных условиях того времени.

Следующий рубеж — 1971 год (33 года) — стал временем премьеры «Гамлета» и ознаменовал собой завершение процесса самостановления В. Высоцкого. В этот год было написано, например, следующее:

Это смертельно почти, кроме шуток —
Песни мои под запретом держать.
Можно прожить без еды сорок суток,
Семь без воды, без меня — только пять.

И, наконец, 1975 год — год тридцатисемилетия, дата смерти кумиров, рубеж, через который не удалось перешагнуть, пожалуй, ни одному из тех, кого на тот момент В. Высоцкий числил для себя Поэтами, с большой буквы. Об этой дате он писал:

С меня при цифре тридцать семь в момент слетает хмель,
Вот и сейчас, как холодом подуло,—
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль,
И Маяковский лег виском на дуло.

Задержимся на цифре тридцать семь! Коварен бог,
Ребром вопрос поставил: или-или...
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние как-то проскочили...

Не обещал ничего хорошего этот год и В. Высоцкому. Уже на подступах к нему началось то, что в старину, наверное, назвали бы дурными предзнаменованиями.

В сентябре 1974 года, во время гастролей в Вильнюсе, В. Высоцкий страшно запил. Его поместили в больницу, предложив сделать вшивку, из больницы он сбежал. «Дыховичный страхи рассказывает про Володю,—записал 18 сентября 1974 года в своем дневнике В. Золотухин.— «Дай мне умереть». Никто не едет. Врач вшивать отказывается: «Он не хочет лечиться, в любое время может выпить — и смертельный исход. А мне — тюрьма». Шеф сказал, что он освободил его от работы в театре».

Вшивку-таки пришлось сделать, и это повлекло за собой естественную депрессию. 4 октября, во время переезда театра на гастроли в Ленинград, В. Высоцкий попал в аварию, автомобиль его перевернулся, но сам он, к счастью, не пострадал.

В это же время из жизни ушли сразу два человека — В. Шукшин и Г. Шпаликов,— смерти которых потрясли В. Высоцкого. Буквально на одном дыхании он пишет стихотворение «На смерть Шукшина» («Еще ни холодов, ни льдин...»), насквозь пронизанное предощущением и своего ухода, мыслями о нем. Там есть, в частности, такая строфа

* См. например, «Советская библиография», 1989, № 4; «Литературное обозрение», 1990, № 7.

— Должно быть, он примет не знал,—
Народец праздный суесловит,—
Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирал.

Подобное «суесловие» на пороге его собственного 37-летия символично.

Однако, кроме вероятной физической смерти, В. Высоцкого в этот год угнетало еще и ощущение предела своих духовных возможностей, истощения своего поэтического дара. 1974 год оказался для него одним из самых скудных в творческом отношении. В. Золотухин вспоминает, как признавался ему В. Высоцкий в своей зависти к тому, что Золотухину-де по-прежнему удается все успевать в этой жизни: и сниматься в кино, и играть в театре, и писать, и даже запивать временами. В жалобе этой отчетливо слышится ностальгия самого В. Высоцкого по своему, еще совсем недавнему прошлому, когда и ему удавалось без труда все это совмещать.

Так что отнюдь не случайно 20 января 1975 года в дневнике того же В. Золотухина, с которым в этот период В. Высоцкий был особенно близок, появляется следующая запись: «Высоцкий уезжает во Францию. Для чего? Для того, чтобы сидеть и работать. Это хорошо. В поезде он сказал мне, что страдает безвременьем... «Я ничего не успеваю. Я пять месяцев ничего не писал».

Франция, конечно, не вывела его из этого состояния. Там были свои проблемы — большие и малые: проворовавшийся бывший муж Марины; ее сын, лежащий в больнице для наркоманов; беспрерывный, вездесущий надзор КГБ; чужая речь, чужая муза, чужие воздух и жизнь.

Это была совсем иная, иным способом организованная, но по сути своей — все та же, что и в России, круговерть, от которой В. Высоцкий искал спасения в Париже. Поэтому, наверное, и там ему так не хватает покоя (того самого, что соединенный с волей, в пушкинской формулировке есть эквивалент счастья для поэта). На время он обретает его, бродя бесцельно вслед за Мариной по городу, глазея на свои любимые «вуатюры», изредка ходя в гости и по ресторанам. Но этого покоя ему хватает ненадолго.

«...Веду полуживотное состояние,— записывает он,—и думаю — зачем я здесь? Не пишется: или больше не могу, или разленился, или на чужой земле — чужое вдохновение для других, а ко мне не сходит?

А приеду домой — там буду отговариваться тем, что суета заела... Я — бездельничаю, и сам не знаю, что хочу...».

На самом деле уже знал, хотя, возможно, и не отдавал себе в том полного отчета. Хотел — в свою жизнь, из предложенной ему благоустроенной, чужой. Хотел и вправду покоя, но не обжитого в четырех стенах, а того безграничного, которым манил своего мастера М. Булгаков...

В результате поспешно вернулся из своей парижской «самоволки» в Союз, к кошмарным кинематографическим премьерам «Бегства мистера Мак-Кинли», «Ивана да Марьи», «Стрел Робин Гуда» с их изувеченными, а то и вовсе вымаранными песнями и балладами, которые он писал для этих фильмов и на которые так надеялся. Вернулся к беспощадным театральным интригам, к изменам друзей, к собственным бесконечным срывам, загулам, клиникам...

И Франция зимы 1975 года на этом фоне стала для него как бы краткой отлучкой, каникулами, сродни тем, что спустя пять лет по его просьбе Э. Володарский описал в киносценарии, так и названном «Венские каникулы» и мечтой о постановке которого В. Высоцкий только и жил последние месяцы своей жизни, будто заново переживая уже минувшие 37 лет...

Виза в посольстве ФРГ.

Дежурный взял мой паспорт, а потом чужие, которые положил поверх моего, потом пришел человек из консульского отдела и взял мой паспорт из-под низа и вызвал меня первым,— немецкий порядок.

Немцы на дороге взяли нас на прицеп, трос оборвался, но они, проехав еще километр, вернулись и принесли мне обрывок троса — немецкая сверхчестность. Одному из них — молодому я дал свою куртку, еще когда он осматривал наш мотор, просто взял да накинул ему на плечи, не обращая внимания на его «найн». Он был поражен.

Мы остановились в темноте, без света, с заглохшим мотором, на иностранной машине, не доехав 200 км до Бреста.

Грязь, слякоть, проносились грузовики, я поехал за помощью, Маринка осталась.

Я попал с каким-то любезным владельцем «Москвича», разбудившим свою маленькую дочку, чтобы дать мне место, попал по его указке на автобусную базу, представился дежурному.

Пошли по щиколотки в грязи, во тьме, между автобусами искать трезвого шофера, кончившего смену.

Шофера стояли у окошка сдавать дневную выручку — 7—8 руб. уже все выпивши, один шатался и бессвязно бормотал.

Другой вспомнил, что лучший электрик Болтичко Иван Данилович — третий дом от станции техобслуживания. Поехал со мной и подъехавшим кстати Петей — трезвым шофером — до Ивана. Ивана не было, он где-то пил, пятница ведь, а завтра охота — нужно ловить с утра. Петя меня знал, но был сдержан, деловит и расположен. Я совался всюду со своей фамилией, но они и так помогли бы, хотя Петя, нас отбуксировав, денег не взял,

сказав «Если узнают, что я с Вами был, да еще гроши брал...»

Маринка, соорудив из двух колес и серебряной облатки знак, осторожно сидела, запершись в машине, мерзла, пугалась, но не злилась и не привередничала.

Спали в гостинице.

Одна администраторша чуть позавидовала нашему путешествию, но не злобно, а другая, помладше рангом и летами, да деловитостью постарше и поопытней, посоветовала номер дать.

Ночью Марина чуть выпила с устатку водочки, чтобы не простыть, а водочку мы добыли с Петей, который подкинул меня до ресторана и обратно (это после дня езды на работе). А потом легли и т.д.

То друзей моих пробуют на зуб,
То цепляют меня на крючок.

Рифму найду, а дальше пойдет — придумаю.

Утро! Ничего не ясно. Встал. Поел. Пошел. Чувство было такое, что все равно ведь поедем, что-нибудь да придумаем. Подошел к горкому — суббота. Никого и вдруг «Москвич», а в нем человек: «Я, — говорю, — такой-то. Из Москвы. Сломались мы. Что делать?» «Вам, — говорит, — повезло, только наша база и работает».

Поехали. Он оказался каким-то у них начальником, дал трос, приказал шоферу, подцепили, привезли.

Долго не верили они, что я тот самый, а я назойливо фамилию называл. Поверили. Шофер хихикал и застенчиво глядел.

Хлопотали возле мотора, заряжали аккумулятор.

Аккумуляторщик — бывший шофер, простудил артерии на ногах, больше шоферить не может. Надеется на минскую медицину. Звать Жора. Благожелательный, добрый. Другие тоже, копались в моем реле, ничего не понимали, экспериментировали с проводами и отверткой, да так все и оставили.

Уехали мы и через знакомых таможенников проскочили без проверок и приехали в Варшаву.

У Вайды на спектакле-премьере был я один. Это «Дело Дантона». Пьеса какой-то полячки, умершей уже. Рука у нее, как у драматурга, мужская. Все понял я, хоть и по-польски. Актер — Робеспьера играл. Здорово и расчетливо. Другие похуже. Режиссура вся рассчитана на актеров и идею, без образного решения сценического. Но все ритмично и внятно.

Хорошо бреют шеи приговоренным к гильотине. Уже и казнь показывать не надо, уже острие было на шее.

Потом дома пел. Был Даниэль и Моника[1] — разломавшаяся «пара», как говорит Марина. Были гости — монстры из «8 ½» Феллини. Спали в хорошей комнате, где работает «maitre».

Утром уехали. Поляки, к сожалению, немецких машин не чинят. Поехали на одном аккумуляторе, т. е. нервничали всю дорогу, однако дотянули до Западного Берлина. Любезный немец выпускал нас из ГДР — в этот любимый и ненавистный для демократических Зап<адный> Берлин. Пограничники ФРГ — просто машут рукой, даже не проверяя паспортов — зачем?

Устроились в маленьком пансионате «Антика». 30 марок — ночь. Пошли есть — ели место выдающееся. Берлинский какой-то гигантский кусок — целую ногу с костью от свиньи, т.е. вареный окорок. Весь съесть невозможно — мы съели. Потом погуляли: город богатый и американизированный — ритм высокий, цены тоже, и все есть на тротуарах — стеклянные витрины-тумбы, там лежит черта в ступе. Никто не бьет стекла и не ворует. Центр<альная> улица — Курфюрстенштрассе — вся в неоне, кабаках, магазинах, автомобилях. Вдруг ощутил себя зажатым, говорил тихо, ступал неуверенно, т. е. пожух совсем. Стеснялся говорить по-русски — это чувство гадкое, лучше, я думаю, быть в положении оккупационного солдата, чем туристом одной из победивших держав в гостях у побежденной.

Даже Марине сказал, ей моя зажатость передалась. Бодрился я, ругался, угрожал устроить Сталинград, кричал (но для двоих) «суки-немцы» и т. д. Однако я их стесняюсь, что ли? Словом — не по себе, неловко и досадно. И еще ореол скандальности и нервности над городом. И есть какое-то напряжение, у всех, кроме Зап<адных> берлинцев.

Смотрели кино французское: «Эммануэль». Там есть все, что касается секса женского. Трахают ее везде, все, и помногу. Мужики, бабы, аборигены, в самолете, на природе, дома, она тоже не отстает и ударяется в лесбос.

Пошли спать.

Утром делали машину. Не мы, конечно, в гараже BMW. Пока мы гуляли — несколько картинок: мусор на тележке был уложен камушек на камушек, соринка к соринке. Хотели мы купить что-нибудь на память и для дома, но когда пришли, всего было так много, что расстроились мы и ничего не купили, только приценились для порядка и без надобности. Ели много раз немецкие специальные сосиски с горчицей и еще что-то, чего названия не помню, но вкусно и много. Поехали, заплатив и поохав на цену. В машине почему-то было веселее, может быть оттого, что здесь мы были все-таки на своей территории французско-русской.

Завертелись строчки и рифмы:

Пассатижи — парижи
обглоданы — гондоны
Однако, Ваня, мы в Париже
Нужны, как в бане — пассатижи.

Хотя в бане — пассатижи — нужней.

Дороги в ФРГ — это что-то особенное, о чем даже и писать не надо. Марина шпарит по-немецки, как я на английской

[1] В силу деликатности публикуемого материала имена знакомых В. Высоцкого не раскрываются и не комментируются.

абракадабре. Объяснили нам, что мы проехали поворот на какой-то Кассель, а Кассель — это как раз перед Карлерус, а Карлерус — тьфу, и не выговоришь — перед Страсбургом, а нам туда и надо.

— «Давай-ка остановимся спать!» Кто это предложил — не помню, но оба согласились и остались в маленьком Карлеруйском домике-отеле, где у хозяев 3 пуделя — два умных, один глухой. Хозяева в прошлом, должно быть, имели бурный роман, но теперь этот Ганс или Фриц, а может быть, и Зигфрид постарел, а Гретхен или Брунгильда обрюзгла, но бюст сохранила и поддерживает. Я в ванной мылся за 10 дойче марок. Не стоит ванна таких денег — нормальная ванна с гор<ячей> и хол<одной> водой, только почище наших будет гостиничных ванн, да побольше.

Спали, однако, как дома, но с кошмарами. Маринка уже которую ночь во сне давила на тормоз и вертела руль, а я ей советы давал и дорогу указывал. Она не возражала, потому что спала.

Встал, позавтракали бесплатно, как у них у всех западных принято, да поехали.

На границе, в Страсбурге, нас не осматривали, а наоборот — пропустили, только спросили по-французски — хотите что-то объявить из контрабанды. Мы не захотели — они не настаивали. Страсбург — это город. Его немцы всегда себе хотели, но никогда не получили, французы его любили и берегли. Еще бы — там еда хорошая и готический собор в мире известный, и магазины, а в них — что угодно. Мы пепельницу купили — на память, дешевую. Продавщица мерсикала и хотела нам добра. Ели шукрут[1]. Отравились, но городок красивый, даже не городок он вовсе, а город. Пошли на почту звонить, что, мол, мы уже тут, во Франции, что, мол, скоро уже и дома будем, — в Мэзон то есть Ляффите.

Дамочка-телефонистка третировала какую-то непонятливую девушку, та все что-то мешала, что-то не так набирала и мешала дамочке спокойно жить. А дамочка — бровки подбритые, тон на личике, причесочка короткая, глазки порочные — хотела и любезничала с молоденьким таким, смазливеньким таким французиком, а девушка мешала, ну, и та ее убивала взглядами и презрением. Мы в игре не участвовали, а позвонили да ушли.

Дорога национальная № 4 — узкая, но ровная, дождь над Францией весь день, грузовики с дороги сбивают, а мы себе едем и беседуем или молчим, это когда каждый думает, что его ждет. Но нам и молчать хорошо, потому что ведь едем мы вместе и машина, слава богу, обещает довезти до места.

В Париж въехали неожиданно спокойно, как и положено Марине в который, а мне в третий все-таки раз. Просекли город насквозь и сразу — в магазин, к итальянцам, за едой. Это — Марина, а я бороду отпускать решил, небрит был и противен и в магазин не пошел.

Дома разгружались, ели, звонили. Было уютно, тепло, но нервно. Пришли Миша и Милка, и окунулись все в проблемы детей, которые томятся в Шарантоне[1] и не знают за что, а родители-то их сами туда посадили, иначе бы они сбежали под кайфом куда-нибудь и померли бы где-нибудь или, еще хуже, в преступники бы вышли.

Я Игоря[2] не видел 2 года, после того как поверил ему и убедил Марину отпустить его на природу, уж очень они рвались с другом на природу, как Лев Толстой почти, да и не он один. Что из этого вышло — понятно. Природа их не приняла, испугала и отторгла, и заменили ее ребята марихуаной да ЛСД.

На том до сих пор стоят, хотя воды много утекло, и нервов родительских источилось.

И Испания была, и Англия, и Франция, и у отца 1 месяц, а воз и ныне там. Спасать надо парня, а он не хочет, чтобы его спасали, — вот она и проблема, очень похожа на то, что и у меня. Хочу пить и не мешайте. Сдохну — мое дело и т. д. ...очень примитивно, да и у Игоря не сложнее. А у Александра то же, но хуже для него, а для родителей чуть проще, можно и пригрозить — он под надзором. Вот как...

Сейчас они там видятся даже, что я считаю большим врачебным идиотизмом. Однако... завтра увидим.

Я наладил аппаратуру. Музыка играет, жизнь идет. До утра — а там увидим.

Поехали в больницу. Похоже на наши дурдома, только вот почище, и все обитатели — вроде действительно больные. Ко мне разбежался кретин в щетине и потребовал закурить. Я дал. Врачи разговаривали часа 3.

Главный мне не приглянулся. Марину перебивал и даже уязвлял несколько. Она для него из другого мира, где слава, деньги, весь мир и, конечно, эгоизм и полное равнодушие к судьбе детей вообще и своего, в частности. А она еще в истерике не билась, говорила разумно и сдержанно.

А им откуда знать-то, что у нее внутри, тем более, им надо причину болезни установить, и проще всего найти ее в матери и отце, что они обижали детю, тепла ему не давали, притесняли всячески и издевались над ним.

У них практики нет — общаться с молодыми наркоманами, да еще из творческой интеллигенции. Однако врач все-таки человек культурный и не хулиганил, и открыто не обижал, меня слушал.

Я вякал вещи верные, и показалось мне, что все очень ясно. Все хотят своего — покоя.

Врачи — избавлением от беспокойного пациента. Покой.

[1] запеченная капуста (фр.).

[1] имеется в виду психиатрическая клиника
[2] Игорь — старший сын М. Влади

Игорь — избавлением от всех, чтобы продолжать начатое большое дело. Покой.

Родители, чтобы больше не страдать. Покой.

Я — чтобы мне было лучше. Все — своего и по-своему, потому общего решения найти почти нельзя.

План таков, вернее варианты:

1) отца уговорить взять Игоря;
2) взять его нам;
3) уговорить все же долечиться.

Разделить их и т. д.

Увидели Игоря. Он сидел и что-то калякал, даже не встал. Под лекарствами он — бледный и безучастный, глаз — остановлен, все время на грани слез. Я даже испугался, увидев. Говорили с ним.

Он хочет в Африку, хочет жить у нас, с Александром обязательно, хочет работать, чтобы потом в Африку, все хочет сейчас же и ничего не хочет в то же время. Я пока не могу это описать, и как мать это выдержала, и выдерживала, и будет выдерживать — не понимаю. Но положение безвыходное. Созерцать, как парень гибнет, ведь нельзя. А он-то хочет гибнуть. Вот в чем вопрос. Ушли. И весь остаток дня прожили в печали, ужасе и страхе.

Звонил К. В. Позвали его и друга с женой к Жану, где живет Алеша Дмитриевич. Ели там. В маленьком кафе возле театра много вкусного. Алеша песни пел, я тоже. Костя говорил тосты, пьянел и был счастлив, хвастался большой поэтической и политической эрудицией, намекал на близкие отношения с Мариной, словом вы...вался, но симпатично, я ему потакал. Он ловко подводил свою речь к цитатам из стихов и называл Пастернака Борей (как Ильича назвать Вовчик), друг его и жена балдели от нашествия знаменитостей и от гордости за высокопоставленного своего друга.

Маринка держалась отлично, а я тоже хорошо. Отвезли Константина домой в отель. Завтра он гос<ударственные> дела будет заканчивать, ему спать надо, а нам необходимо. И завтра много звонков и дел дома, надо мне раб<очее> место устроить. Я ведь работать буду, хочу, намереваюсь. Поглядим, что будет.

Целый день разбирали хлам: почту, журналы старые, даже негодные диски и всякое-разное. Сделали мне рабочее место, установили систему, стало чище и просторней.

У Марины почта колоссальная. В основном все просят деньги, налоги, страховки, помощь, штрафы, гонорары адвокатам, которые что-то там писали, отписывались, атаковали, защищались от Турнье и его адвокатов, которые делали то же, только им платит Турнье. Звонки были от тележурналистов, чтоб делать фото для тележурналов.

Я чихал во время уборки и таскал хлам вниз. Все пошли за едой и за всякой всячиной. Это здесь быстро и время не берет. Только все-таки досадно, что тут все, а у нас не всем, тут красиво и быстро, а у нас не так чтобы очень. Вернулись да легли, только посмотрели «Айседору» по-американски. Ее играет Ванесса Редгрейв — очень хорошо. Есть там изображение: Россия 1921 г. и Есенин, который говорит с английским акцентом, читает стихи, даже с акцентом водку пьет, дерется и изображает русского безумца.

Революционные солдаты одеты в потертые дубленки и поют «Калинку» с акцентом. Она пляшет в каком-то зале, где висит все, что они знают из лозунгов «знание-сила». Плакат: «Убей немца». Портреты Ленина во всех ракурсах, и все красно от кумача. Господи, как противна эта клюква. Стыдно.

Но ведь мы-то про них делаем, должно быть, еще хуже.

Утром поедем по делам, не по моим, конечно. Хотя и я зайду по поводу нашей машины и, может быть, поглазею на вуатюры, я их люблю.

Спокойной ночи.

Да! Я забыл, я ведь разговаривал с матерью — они там все перевезли. Все идет и без нас.

Поехали в Париж. Марина — к парикмахеру, а в 1 час и 30 у нее интервью и съемка, а я с двумя бутылками «Житно» польской водки к месье Жозефу.

Его на месте не было, и я как дурак пошел с водкой в консульство, где меня приняли как родного, а один человек, Миша, повез к себе обедать. Я только успел зайти во РНАК, где всем иностранцам скидка. На будущее надо знать.

Обедали у Миши, он вроде чуть левых взглядов, или хотел мне так показать, меня щупал, но я осторожничал, что-нибудь скажу эдакое и сразу что-нибудь такое. Очень мы свободные люди со своими соотечественниками. У него жена беременная, Таня звать, простая такая девушка из Коломны. Он тоже. Имеет некоторый опыт борьбы за жизнь, с завистью сталкивался, локтями шуровал, но больше не хочет. Хочет защититься, и в маленький город преподавать, чтобы спокойней, думаю, что заблуждается. Везде ведь то же, а на периферии — еще в более невыносимой форме. Гуляли мы с ним по Елисейским полям, у него кофе пили в маленькой квартирке-комнате, она здесь называется «студия». Это когда кухня прямо в комнате, поэтому, должно быть, наши мастерские тоже наз<ываются> студии.

Пешком прошелся, у всех жандармов, преимущественно негров, спрашивал, как пройти. Отвечали. Нашел дом Тани, дождался Марину, пришли репортеры, а тут и сама хозяйка приехала из Швейцарии, со съемок. А у Карла, старшего сына, вчера было 20-летие, мы провели с ней агитацию, чтобы она не осталась у разбитого корыта, потому что после развода герцоги и графы, конечно, ее выкинут. Так, чтобы она ушла сама и в сильной позиции. Но она как будто ничего не слышит. А, может, просто она что-то другое, кроме этого, жизнью и не считает, так тогда, что мы ей голову крутим? Глупо.

Был потом ужин, все веселились, и Варвара с мужем — очень респектабельным молодым фининспектором — показывали слайды, мы даже удивились: у нее талант есть, это приятно обрадовало, что она не только красивая, но и еще что-то. Был, словом, пир во время чумы для взрослых и скучный, ненужный вечер для детей. Уехали домой и, конечно, дорогой обсуждали все.

Кёртис, муж Бижи, объяснял мне ситуацию с «Континентом». Но это я позже сам узнаю. Слайды были о свадебном путешествии в Сицилию — в основном развалины древнего храма, близ Сиракуз, колоннада, потом церковь с мозаикой, в пламени фотовспышки — золотая.

Утром поехали в больницу, опять беседа с врачом по-французски, видели Александра, он сказал: «А! Ты пришел?! Извини меня за воровство, это была глупость!» Хороша глупость на 200 000 Fr. Почему-то мы все стесняемся ему показать свое истинное отношение к этому делу, даже лобызаемся троекратно, как раньше. Может, нам его жаль, а, может, хотим благородство выказать. Игорь в этот раз лучше намного, ему снизили дозу транквилизаторов. Мерил штаны, говорил много, то разумного, то ерунды, все хочет жить вместе с Аленсом: «Мы, мол, одно тело, одна душа».

Он, должно быть, из породы не вожаков, а самоотверженных приближенных, очень увлекается людьми и влюбляется, но, к сожалению, в тех, кто ему потакает.

Уехали мы все опять в полном отчаянье, говорили о том же и, конечно же, все не знали, что же будет дальше.

Дома глядели фильм — дурацкий человек, который стоит 3 миллиарда. Это такой электрический благородный супермен, который спасает мир. Потом был матч. Регби: Италия — Франция. Очень жестоко и интересно. Французы выиграли. Маринка снова давала интервью и фотографировалась в уголочке.

Я лег спать и проспал до утра, а утром уехал к детям. Я себе мышцу простудил или нерв прищемил во сне, шею не повернуть. Глупо. Ойкал в машине при каждом толчке и божился больше никогда не спать. Володька[1] обрадовался. Визжал и был похож на белокурого дьяволенка, но намерения имел благие — нам понравиться и быть пай-мальчиком. Это ему не удается. Петя[2] — громадный. Смотрел ноты для поступления и играл на гитаре. Неплохо. Но, конечно, еще очень по-школьному. Говорили про его учебу у нас — ему и хочется и колется.

Я пока еще точного отношения к плану переезда в Москву не имею, но что-то у меня душа не лежит пока. Не знаю почему, может быть, потому, что никогда не жил так и потому внутри у меня ни да, ни нет. Но Марина очень хочет и решила. Ну что же, поглядим. Дети хорошие, а я привыкну, может быть.

Принял горячую ванну и натерли меня огненной мазью, я ее вытерпел минут 10 и снял — щипет ужасно.

Да-а! Смотрели фильм «Голос бога» с Гарри Купером. Это про семью квакеров. Скучный, длинный, замечательный фильм, полный юмора и драматизма. Очень тонкая режиссура и игра. Очень добротно по-американски. Фильм 50-х годов, но он вне времени. Проблемы вечные — жизнь ломает философию непротивления и пуританства. Натура человеческая берет верх.

Уснули как убитые и мы, и дети, которые очень счастливы, особенно Володька, который вертится и хохочет за пятерых.

Целый день ели, гуляли, ели, спали. Я мучился со спиной и вывернутой шеей, однако написал кое-что из баллад. Очень меня раздражает незнание языка. Я все время спрашиваю: Что? Что? И это раздражает окружающих. Мне пишется трудно, и ангел спускается неохотно, и ощущение, что поймал за хвост, не приходит. Но все-таки вымучиваю, и в благодарность за работу мозг начинает шевелиться. Спали. Встали. Поели, я пописа́л, пошли затем шмотки покупать, опять поели и поехали, взяв Петю. Володьке не сказали, он бы это воспринял как предательство.

Ехали хорошо и радовались, что убежали от снега и гололеда. Ели в какой-то по-ихнему придорожной забегаловке. Вроде нашего Арагви, только побыстрее и посвежее. Привыкнуть к этому нельзя, как им невозможно, наверное, привыкнуть к нашему. Каждому свое. Цены — агромадные.

Я всю дорогу вертел строчки:

Вы были у Беллы
Мы были у Беллы
Убили у Беллы
День белый, день целый
И пели мы Белле
Молчали мы Белле
Уйти не хотели
Как утром с постели
  И если вы слишком душой огрубели
  Идите смягчиться не к водке, а к Белле
  И если вам что-то под горло подкатит
  У Беллы и боли и нежности хватит
Препинаний и букв чародей
Лиходей непечатного слова
Трал украл для волшебного лова
Рифм и наоборотных идей
  Автогонщик, бурлак и ковбой
  Презнравший гладь плоскогорий
  В мир реальнейших фантасмогорий
  Первым в связке ведешь за собой
Мы неуклюжие, мы горемычные
,Идем и падаем по всей России
Придут другие, еще лиричнее
Но это будут не мы — другие
    Пришли дотошные «немыдругие»
    Они хорошие, стихи плохие.
Стонешь ты эти горькие личные
В мире лучшие строки! Какие:
Придут другие еще лиричнее,
Но это будут не мы — другие.

Сколько же я пропустил. А уже и Игорь несколько дней дома, и Петю вчера проводили, он 2 дня внизу на гитаре играл с кузеном, Игоря повидал и уехал

[1] Володя — младший сын М. Влади.
[2] Петя — средний сын М. Влади.

с Гар де Лион, т. е. с Лионского вокзала. Вокзалы везде в мире одинаковы — большие и грязные и напоминают, что все непостоянно: и место, и время, и люди. Накануне смотрели кино «Фантом де Парадис». Гипертрофированная история доктора Фауста — мюзикл с прекрасной музыкой и фантастическими съемками. Фильм получил «Гран при» за лучший фантастический фильм. Вообще кино смотрим.

«Кровь для Дракулы» про вампиров. Много здорового и нездорового секса, и бедный старый Дракула волосы подмазал, чтобы соблазнять невинных девочек, а их уже и нет. он кровь-то все-таки посасывает, но потом блюет ужасно, потому что девочек уже испортил садовник, а девочки — аристократки и развратны поэтому. Кроме двух, но молодую vierge (новое слово, означает девственность) садовник все-таки успел лишить невинности, прямо стоя у стены, и мама их застала, а Дракула пьет кровь на полу. Но старую деву он все-таки высосал, и когда его садовник изрубил на куски и вбил кол в него, эта дева умирает вместе с Дракулой, предварительно поорав. Хорошо, что умер Дракула, — уж очень он мучился и бился в припадках от недостатка невинной крови.

Еще глядели «Мякоть хризантемы» с Рампаинг, английской актрисой, хорошей. Там много смертей и сумасшествий, но сделано неплохо.

Отец Игоря принял, обещал помочь и помогает, но он вчера подкурил малость, мерзавец, а в гостях у Бориса выпил водочки и стал спать.

Борис позвал говорящих по-русски, и я говорил. Слушал его новую пластинку, где он поет, Марина текст читает. Это история его, Бориса, в поэзии — довольно странная, но красивая. Ели вкусно, я попел, все придумывали, как бы перевести. В один голос сказали — это невозможно.

Еще были дела автомобильные, купили «кадиллак» — старый, 67 г., но красивый. Купили больше из-за цены и для юмора.

Я послал 3 баллады Сергею[1] и замучился с 4-й о любви. Сегодня, кажется, добил. Надо завершить Робин Гуда и начинать для Эдика[2] — военные.

[1] Сергей — С. Тарасов, режиссер фильма «Стрелы Робин Гуда». Для этого фильма В. Высоцкий написал шесть баллад.

[2] Эдик — Э. Володарский, к его пьесе «Звезды для лейтенанта» В. Высоцкий написал песню «Их восемь, нас двое — расклад перед боем не наш...»

Пошел я с одним человеком, который приятель Бориса, на вручение премии А. Синявскому и всех их там увидел, чуть поговорил, представляли меня всяким типам. Не знаю, может, напрасно я туда зашел, а с другой стороны — хорошо. Хожу свободно и вовсе их не чураюсь, да и дел у меня с ними нет, я сам по себе, они тоже. А пообщаться интересно. Они люди талантливые и не оголтелые.

А ночью позвонил один тип, который уехал, — В. З., упрекал, что я его избегаю и т. д., задавал вопросы вроде: «Ты из повиновения вышел?» Я отвечаю: «Я в нем и не был», и т.д. Он, по-моему, записывал — хрен его знает. Хочет увидеться.

Занервничали мы. Как они все-таки, суки, оперативны. Сразу передали по телетайпу — мол, был на вручении премии.

Утром виделся с нашими. Мимоходом им сказал — реакция слабая. Они ведь теперь тоже либералы. Хотя — кто их знает.

Но ведь общаться-то с кем-то надо, а то ведь полуживотное состояние, и думаю — зачем я здесь? Не пишется — или больше не могу, или разленился, или на чужой земле — чужое вдохновение для других, а ко мне не сходит?

А приеду домой — там буду отговариваться тем, что суета заела. Каждый день здесь работает телевизор, развращает, хотя ни хрена не понимаю. Маринка мечется между плитой, счетами и делами. Я — бездельничаю и сам не знаю, что хочу.

А тут к тому же случилась у нас утром кража, а может, и не утром — мозги и наблюдательность притупились — и я и Маринка не помним и не можем сократить период возможной кражи.

Либо это у Ольги, когда я пришел в 5 часов и до 6.30 м., но я не помню — снимал ли я куртку в это время, когда ходил в «С» — наверх. Если снимал — это могло случиться там, потому что в 4.30 они еще были в кармане — я их ощущал, да и вынимал, а если это не так — значит уже ночью — дома. На Игоря трудно подумать. Может, кто-то случайно зашел в открытый дом и не удержался от искушения, а может быть, и вор. Но тогда почему он больше ничего не взял?

Влез только в сумку и в куртку. Денег забрал 2000 Fr. (франков) — в общем. Много. Я расстроен жутко. Маринка чем-то отравилась, и рвало ее, да еще голова...[1].

[1] Здесь текст обрывается.

Предисловие и публикация Евг. КАНЧУКОВА.

Моралист перед сфинксом

•

Леонид Бородин. Женщина в море... Повесть. — «Юность», 1990, № 1; **Расставание.** Роман — «Юность», 1990, №№ 7, 8, 9.

•

Сюжеты Леонида Бородина эффектны.

Писатель владеет искусством, весьма редким в отечественной литературе, — искусством динамичного, событийно насыщенного повествования. Русская беллетристика, как правило, скучна. Ей слишком хочется походить на «большую» литературу, и она, пыжась вторичным глубокомыслием, как-то забывает о своем главном предназначении — увлекать читателя. Проза Леонида Бородина увлекает. Если уж вы добрались до первого сюжетного узла, то прочитаете рассказ или повесть до конца, независимо от того, нравятся или не нравятся вам идеи, которые исповедует автор.

Это тем более интересно, что Бородин — рационалист и моралист, и в его прозе первичны именно идеи, а не сюжеты, не поставляющая их жизнь. Ради идей, ради проверки их качества во всех мыслимых «режимах» писатель и «закручивает» свои умопомрачительные сюжеты, не брезгуя при этом опираться на «трех китов» развлекательной беллетристики — фантастику, детектив и мелодраму. Именно с идеями происходят в книгах Бородина разнообразные приключения, именно идеи не позволяют назвать его беллетристом и развлекателем, заставляют отнестись к его прозе серьезно.

Что же это за идеи?

Леонид Бородин принадлежит к плеяде людей, «политическое упрямство» которых в известном смысле спасло «лицо» нашего общества. Многие годы он провел за колючей проволокой, в политических лагерях совсем недавних времен, и там же, очевидно, встали перед ним особенно остро те вопросы, на которые он и попытался ответить, обратившись к литературе. Это не были вопросы типа «что делать» и «кто виноват», то есть эти вопросы были как бы «правопросами», на которые ответом явилось уже само «политическое упрямство». Настоящие проблемы возникли скорее всего как следствие, они были продиктованы необходимостью нравственно обеспечить свою позицию. Духовная ситуация, в которую непременно попадают протестанты: и революционеры: ложь и насилие, против которых они поднимаются, очевидны, их отрицание не составляет моральной проблемы. Гораздо сложнее ответить на следующий вопрос, на вопрос «что есть истина», то есть положительно определить свое «во имя». Это драматический пункт для всякого оппозиционного движения. Именно здесь люди, плечом к плечу стоявшие против неправедного устройства жизни, непримиримо расходятся, поскольку праведное ее устройство представляется им по-разному, поскольку в качестве знамени они выбирают разные идеи. Вот эти-то идеи и испытываются в прозе Бородина.

В. Липатов, представляя читателям «Юности» первую подборку рассказов писателя, доверчиво процитировал его слова: «Я прожил легкую жизнь, — сказал он, — у меня никогда не было проблемы выбора». Вполне возможно. «В жизни», во всяком случае, в общественно-литературном размежевании наших дней Бородин сразу занял определенную позицию, в чем не оставляют сомнений его публицистические выступления со стереотипными фразами о «русофобии» и прочих ужасах.

Но «в литературе», в художественных произведениях писателя Леонида Бородина не все так просто. Дело даже не в том, что всех своих сколько-нибудь значительных героев он ставит именно в ту ситуацию, которой, по его словам, он счастливо избежал, — в ситуацию нравственного выбора. Дело в том, что и автор этой энергичной, авторитарной, жестко срежиссированной прозы, если прочитать ее внимательно, стоит перед сфинксом и мучительно размышляет, не в силах сделать выбор, ответить, наконец, «с последней прямотой» на вопрос о том, во имя чего все-таки стоит «положить жизнь», во имя каких ценностей?

Личность, Свобода, Культура, Право, Разум, Прогресс, Цивилизация.

Справедливость, Добро, Бог, Отечество, Природа...

Вот два ряда слов с большой буквы, два неполных перечня символов, за которыми реальные ценности. Все мы прекрасно понимаем, что точка и абзац, которыми я разделил два эти списка, бессмысленны, что на самом деле там должна стоять запятая. Но кроме собственно действительности есть еще и действительность общественного сознания, которое поляризовано и которое заставляет решительно ставить точку, переводить каретку и отстукивать пять знаков, потребных для красной строки...

В первом ряду перечислены ценности, условно говоря, либерально-гуманисти-

ческие, во втором, говоря так же условно,— почвенно-национальные.

Пока эти ценности пребывают в абстрактном эфире, в области чистых значений и идеальных моделей, нет ничего проще доказательства их великолепной совместимости и взаимной необходимости. Но как только с эфирных высот спускаешься на грешную землю, категории и понятия сразу становятся целями и средствами, аргументами и знаменами в руках конкретных людей, партий или групп. И выбор — если, конечно, человек живет в человеческом мире — неизбежен.

Проза Леонида Бородина поляризована в такой же сильной степени, как современное общественное сознание, она строится на антитезах, на столкновениях, исключающих друг друга идей. И парадокс ситуации в том, что каждый раз писатель совершенно отчетливо и громогласно, на первых же страницах объявляет о своем выборе, и каждый раз внимательный читатель, следящий не только за прямым авторским словом, но и за художественной логикой всего произведения, имеет право Бородину не поверить. Это доказуемо.

Начнем с повести «Женщина в море...», датированной декабрем 1988 года. Повесть тем еще хороша для анализа, что в ней действует лирический герой, весьма близкий по строю души самому автору, во всяком случае, наделенный авторской биографией.

Сюжетная схема повести проста: диссидент, освобожденный перестройкой, лечится в приморском санатории. Полжизни он положил на противостояние власти и подводит теперь кое-какие личные итоги этого противостояния. Из его внутренних монологов ясно, что он человек с определенным моральным кодексом, выработанным за нелегкую жизнь. С некоторой осторожностью можно назвать этот кодекс христианским.

Случайность сталкивает его с людьми совершенно иной морали, с людьми, причастными к мафии. По-своему они тоже противники Системы, но, конечно, не союзники повествователю. С его точки зрения, их мораль — извращение всех человеческих норм, доморощенный «люциферизм». С их точки зрения, он нечто вроде марсианина, поскольку общее мнение обеих высоких договаривающихся сторон состоит в том, что мир, где судьба определила им родиться, в его нынешнем состоянии предельно аморален. Что касается философии, то повествователю не стоит особого труда выявить «гносеологические корни» кустарного сатанизма и наголову разбить противника на этом, логическом уровне. Да и на эмоциональном уровне ясно с самого начала, что Людмила и Валера, считающие себя свободными от каких-либо обязательств перед миром и людьми, даже самыми близкими (крайний полюс «свободы», на котором она превращается Бородиным в некий жупел), заблуждаются, а прав лирический герой, связанный моральными обязательствами даже и с ними — подлыми и преступными. Но из такого конфликта, ясного с самого начала, повести не сделаешь, и автор это прекрасно понимает. Он усложняет ситуацию: лирическому герою противостоит не урка, не старуха-процентщица, а прекрасная юная женщина, в которую он почти влюблен. Она вертит им, как хочет, использует его сугубую честность и неподкупность в корыстных целях, а он, преисполненный чувством морального превосходства, непрерывно рефлектирует по этому поводу, не уставая, правда, любоваться своей безнравственной знакомой. В конце концов он нечаянно помогает Людмиле и ее «партнеру» завладеть деньгами мафии. Они бегут за границу, почти что благословленные им, а он остается в сильном смущении обдумывать сей казус.

На сюжетной поверхности фиксируется «ничья», и это должно, видимо, свидетельствовать о неоднозначности авторской позиции. Но «Женщина в море...» написана моралистом, и автор не дает героям расстаться «при своих». Для этого вовсе не надо изображать полное раскаяние заблудших, как это делается в расхожей беллетристике. Достаточно нарушить логику реальности чуть-чуть: все-таки своим высокоморальным поведением лирический герой потряс оппонентов, вызвал их на доверие и откровенность, и Людмила сказала ему многозначительные слова: «Если бы я была сейчас, как в пятнадцать лет, я побежала бы за вами, как бездомная собачка». Значит, он и такие, как он, всего лишь немного опоздали, и в будущем, когда таких будет больше, прекрасные юные женщины не станут убегать в Турцию. Моральная победа остается за лирическим героем, хотя грустно, конечно, что данная конкретная Людмила в Турцию все-таки убежала. Абсолютная свобода, которую она исповедует, сатанински прекрасна, но все-таки посрамлена.

Если бы повесть исчерпывалась вот этой, легко поддающейся ироническому пересказу схемой, о ней не стоило бы и говорить.

Все дело в том, что «свобода» у Людмилы и лирического героя только на языке, и отрепетированным столкновением карикатурной «свободы» и высокой морали автор прозрачно маскирует другой конфликт, по-настоящему, интимно для него значимый,— конфликт п р и р о д ы и морали. Эта женщина — воистину «в море», а море в повести — огромная метафора аморальной природы. Как только не обзывает море герой-моралист, чувствуя свое бессилие перед ним,— «мертвая стихия», «мировая свалка аш два о», «дохлая кошка ветров» и т. д., и т. п. «Море действует на меня атеистически...» — так начинается повесть, и этому веришь. Моралисты всех времен и народов решительно не знали, что им делать с природой,— с природой просто и с

природой в человеке. Никак она не желала подчиняться нравственному закону. Мучения по этому поводу разрешались, как правило, двояко: полной сдачей на милость природы, проповедью ее правоты (идея «естественного человека»), или проповедью ее греховности, аскетической судорогой.

Но нужно оговориться: мучились по поводу нравственной индифферентности природы главным образом моралисты-безбожники. В присутствии Бога все становилось на свои места, проблема лишалась остроты. И когда видишь, что при соприкосновении с природой у лирического героя Бородина рушатся моральные устои, понимаешь, какую страшную догадку он боится даже высказать. Нет, не о том, что Бога нет. О том, что он, основавший на бытии Бога всю свою мораль, рационально «вычисливший», что Бога не может не быть, сам в него не верит. При этом нужно учесть, что он гордец и неверие для него — знак собственной неполноценности.

То, что этот внутренний конфликт чрезвычайно важен для Бородина, доказывает и рассказ «Посещение». Там главный герой «объявил» себя верующим, но поверить по-настоящему не в силах даже и с помощью чуда. Характерно, что писатель героя своего сурово осуждает и причину неверия видит в крайнем рационализме, в неумении непосредственно почувствовать. Заодно и индивидуалистическая «свобода», приверженцем которой обнаруживает себя герой, тоже осуждается. Она — одно из препятствий на пути благодати.

Словом, Бородин загоняет себя некоторым образом в безвыходную ситуацию, в порочный круг. Рационализм не позволяет по-настоящему поверить в Бога, преодолеть его можно, только разбудив в себе непосредственное, природное, но природа аморальна, ее сатанинская прелесть для героев писателя — соблазн почти непреодолимый. То есть шаток оказывается сам фундамент, на который старается — видит Бог, действительно старается — опираться Бородин, вынося свои приговоры героям и жизни.

Бог у него объявленный, вычисленный и статуарный, он буквально «стоит» в каждом «помещении» бородинской прозы, а вокруг него живет, движется и превращается безбожная, природная жизнь, и кажется, она-то и волнует писателя по-настоящему, кровно и чувственно.

Именно так обстоит дело и в повести «Третья правда», которая написана десять лет назад. В ней на фоне тайги и советской истории выведены в качестве главных героев друзья-соперники — браконьер, безбожник и стихийный индивидуалист Селиванов, который не остановится перед убийством, чтобы отстоять свою свободу, и средоточие всех мужицких, общинных добродетелей — егерь Иван Рябинин. Писатель все делает, чтобы наши симпатии были на стороне Ивана,— награждает он его красотой и силой (Селиванов, напротив, неказист и непородист), чувством справедливости и правды (Селиванов вечно юлит и притворяется), смелостью (Селиванов — трус). Наконец, Ивану уготавливается мученическая судьба — четверть века он проводит в сталинских лагерях за то, что не позволил браконьерствовать на своем участке заезжему начальнику. Из лагеря он возвращается крепко уверовавшим в Бога и даже внешне походит на святого с иконы. Селиванов же уцелел в эти лихие годы, как уцелел он и в гражданскую войну, он даже денег кучу скопил. Умирает Иван патетически, от разрыва сердца, не в силах вынести надругательства, которое творят неразумные пацаны над любимой его тайгой. Селиванов живуч — «подколотый» и ограбленный поселковой шпаной, он совсем собирается было помирать, да животная, природная жажда жизни не дает. Последние слова повести: «Зажал рукой рану и поспешно заковылял к вокзалу». Вот такая история, такие Хорь и Калиныч...

Что же получается в повести? Святой Иван, как и полагается иконе, стоит в «красном углу», плоско нарисованный по старинному трафарету, а все реальное пространство повествования занимает грешный, зато живой, объемный, сложный Селиванов. Он врет, плутует, заискивает, презирает и боится «мужиков», готовых, как он считает, сунуть шею в любой хомут. Добро, которое он совершает, невозможно развести со злом, причиной которого тоже становится он. Бестрепетно наблюдает он со стороны борьбу двух «правд» — «правды» белых и «правды» красных, противопоставляя им свою «правду» — правду автономной, не зависимой ни от кого — ни от «господ», ни от «мужиков» личности.

Писатель, называя свою повесть «Третья правда», явно замышлял утвердить ее пророком уверовавшего Ивана Рябинина, потому что для Бородина «третья правда» — правда Бога. Но вышло — насколько я понимаю в литературе — не по-задуманному. Если и есть в повести какая-то живая идея, «правда», то хозяин ее — Селиванов, а никак не статичный, плоский Иван Рябинин.

Роман «Расставание», завершивший серию журнальных публикаций прозы Леонида Бородина в 1989—1990 гг., тоже построен вокруг идеи Бога, и в нем концы с концами тоже не сведены. Его лирический герой — московский интеллигент «средней стоимости» (если воспользоваться горьковскими словами о Климе Самгине) — решает начать новую жизнь. Где-то в Сибири он отыскивает настоящее сокровище — попа Василия и его дочь Тосю, которая готова стать его женой. Эта семья — поп Василий и Тося — живет с Богом в душе, вокруг них особая атмосфера чистоты и любви, властно притягивающая героя. Но он не чувствует себя достаточно чистым, чтобы принять от судьбы такой подарок, он уезжает в Москву, чтобы привести свои

дела — прежде всего душевные — в порядок. Бородин, описывая московскую жизнь своего героя, не жалеет иронии и сарказма на картины «трудов и дней» московской интеллигенции. Достается всем — диссидентам, журналистам, окололитературной и околотелевизионной богеме, даже оппозиционному священнику, чья фигура в сравнении с образом попа Василия выглядит мелкой и суетной. Вся эта жизнь безбожна, бессмысленна, неблагообразна. Вся она — осуждена — и автором, и героем. Как чеховские сестры мечтали о Москве, так герой романа Бородина мечтает о сибирской глубинке, где живут Тося и поп Василий.

В конце концов два рационалиста — автор и его герой, без конца осуждающие рационализм, — попадают в собственноручно устроенную ловушку. Из Сибири, где рядом с Геннадием была живая и любящая Тося, вся его московская жизнь казалась ему ясной, понятной и легко преобразуемой в нужном для очищения направлении. Приехав и столкнувшись с ее живым и непредсказуемым потоком, он безнадежно в ней запутывается, поскольку общение с Тосей наделило его способностью гораздо острее видеть чужую жизнь и воспринимать чужую боль, чем это было прежде. Арестовывают его сестру-диссидентку, и он не может уже сказать «допрыгалась», он мучительно сострадает; его отец, отношения с которым были так просты и удобны, оказывается вдруг человеком ранимым и способным на неожиданные поступки; «халтура», которую раньше он сделал бы с хладнокровным цинизмом, превращается в моральную проблему; любовница ждет от него ребенка, и этот факт перерастает свое бытовое содержание, предопределяет судьбу, и так далее. Душевный переворот совершился, холодный рационалист стал живым человеком, теперь он ближе к Богу, чем когда бы то ни было. Однако цена всему этому — погубленная судьба Тоси, к которой герой уже не может вернуться. И вот, чтобы эта цена не показалась читателю чрезмерной, зачеркивающей все благотворные перемены в душе Геннадия, автору приходится идти на сомнительный с точки зрения человеческой, да и художественной логики ход. Он постепенно, страница за страницей, превращает живую и страдающую Тосю в абстракцию, в символ. Символу ведь не больно. И вот в апофеозе романа, в финальной сцене амбивалентного свадебного веселья появляется — в сознании героя — призрачное видение: танцующая Тося. И так уж написана сцена, что это ирреальное появление выглядит не напоминанием герою о загубленной Тосиной судьбе, а благословением его выбора. Но свершился ли выбор? Если все-таки Тося — живой человек, а не символ, то совершился лишь обмен одного зла на другое. И с Богом в душе, и без Бога — герой одинаково несет зло.

И если бы из этого зерна автор честно вырастил трагическую коллизию! Но в щелочи трагедии мгновенно полиняла бы вся моралистическая подкладка романа, пришлось бы признать, что жизнь сильнее и богаче самой высокой морали, и пойти на такое Бородин не может. Поэтому финал смазан; он мог бы быть многозначен, но он — увы! — всего лишь двусмыслен.

Так и во всех опубликованных на сей день произведениях Леонида Бородина — на рациональном, логическом уровне его проза сурово утверждает правоту христианской морали, а всей своей эмоциональной, чувственной плотью (то есть всем собственно художественным, что есть в ней) буквально вопиет о прелести греховной, безбожной, живой и свободной жизни. И писатель — человек умный, искусный, умеющий выстраивать изощренные цепочки силлогизмов (вся «Женщина в море...» — сплошная такая цепочка), — не может, как мне кажется, не понимать противоречивости своего «выбора» и своего ответа.

Выходит, моралист отвечает сфинксу не вполне искренне?

Александр АГЕЕВ

г. Иваново.

На свободе

•

Анатолий Стреляный. Стреляный на «Свободе», или Последнее мирное лето.— Минск: ЦПТ «Полифакт», 1990. **Лев Тимофеев.** «Я — особо опасный преступник. Одно уголовное дело. СП «Вся Москва». 1990.

•

Едва ли не самым большим потрясением в жизни оказался для бывшего политзаключенного Льва Тимофеева либерализм судебных властей, разрешивших ознакомиться с материалами «дела», по которому он был осужден на 11 лет. Так возникла документальная повесть «Я — особо опасный преступник», вошедшая в книгу вместе с другими произведениями автора, за которые он и получил свой срок: большим очерком-исследованием «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», пьесой «Москва. Моление о чаше» и романом в четырех письмах «Ловушка».

Публикация у нас, в СССР, очерков Анатолия Стреляного, до того прочитанных их автором на известной западной радиостанции, еще недавно могла поразить воображение, но сегодня воспринимается как вполне обычный факт.

Может быть, не только А. Стреляный и Л. Тимофеев, но и все мы уже на свободе?

И право же, поначалу кавычки, вынесенные на обложку книги А. Стреляного, кажутся чисто игровыми, дразня проступающим за ними очевидным главным смыслом. И напротив, отсутствие тех же кавычек в заголовке тимофеевского сборника лишь добавляет иронии формуле «особо опасный преступник». Но когда вчитываешься в книги, понимаешь, что именно это и есть их общая главная тема — на какую свободу мы все отпущены, игрушечную или подлинную. Главная тема и главный вопрос...

Глухое недовольство, переходящее в агрессивность, — вот мрачноватый фон стреляновских диалогов лета 89-го года, лета массовых шахтерских забастовок, иронично названного автором книги «мирным».

« — Про какую перестройку вы меня спрашиваете, если остается весь этот репрессивный аппарат? — сказал один колхозный зоотехник», имея в виду райкомы партии. « — Но как же... Как же появился, вырос в этом аппарате Горбачев? — воскликнула Элизабет» (участница западной съемочной группы, снимавшей фильм на родине Горбачева). « — Не знаю, как. А вы что имеете в виду? — хмуро спросил зоотехник.— Ну, вот хотя бы то, что теперь можно писать, чего раньше не давали, — помог я ей.— А-а! — сказал он равнодушно.— Ну пишите, пишите... Раз вам теперь дали...»

«Я поежился, — продолжает Стреляный, — серьезный тут у Горбачева народ. Ну что, что им надо, чтобы поверили, воодушевились, сделали бы хоть шаг ему навстречу, хоть полшага?

— Дела надо! — резко сказал зоотехник и пошел к своей машине».

Образ зоотехника как бы раздваивается. То ли в нем глубоко засела злоба на интеллигенцию, зависть к дарованной ей свободе. То ли он упрекает «пишущую братию» за предательство дела общей свободы, за «перестроечное» чириканье, скрывающее негласное и небескорыстное сотрудничество с властями. И какого дела ждет он от Горбачева? Нового «закручивания гаек», наведения «порядка» или действительного освобождения для всех, — а может быть, и того и другого вместе?

В непроясненности образа, мне кажется, сказалась не слабость, а сильная сторона Стреляного как очеркиста. Он не подгоняет своих собеседников «под готовый ответ», он дает им свободу быть такими, каковы они на самом деле. Ведь не найден ответ ни зоотехником, ни нашей общественной мыслью. И от того, каким он окажется, этот ответ, зависит очень многое. Этот образ — почти что символ, смутный и даже пугающий, символ нашей двусмысленной ситуации.

Найдем ли мы путь если не к сотрудничеству, то хотя бы к компромиссу между нами, такими разными и часто просто непримиримыми друг к другу, — вот тема, которая стала дежурной в речах политиков и на страницах прессы. После 1985 года реформаторы воодушевили страну обещанием гражданского мира, и не только обещанием, они сделали важные шаги к этому миру, освободив, например, политзаключенных, в том числе и Л. Тимофеева. И вот его ответный шаг: «Уважение государства к свободе убеждений может быть только полным — и тогда уважение будет взаимным. Сотрудничество может быть только искренним — и тогда оно плодотворно. Я готов к сотрудничеству. Я ищу социального мира. Я жду освобождения тех, кто пошел на страдания ради своих убеждений».

Это строки из открытого письма Л. Тимофеева в газету «Известия». Они были вызваны тем, что в обмен на свободу власть негласно предложила таким, как он, всего-навсего промолчать о правах других, о тех, кого оставили сидеть. И еще при всем своем плюрализме она предложила Тимофееву — тоже, конечно, негласно — род сделки: отказаться от открытой защиты своих убеждений. «Начальник управления информации МИД Г. Герасимов, — продолжает Тимофеев, — на брифингах начала и середины февраля упорно вбивал в головы западным журналистам, что освобождение политзаключенных произошло в ответ на их «прошение о помиловании», в ответ на «отказ от противоправной деятельности»... Опасная ложь!»

Конечно, требовать от власти всего и сразу неразумно. Демократия не экстремизм, писали в те годы «Московские новости», осуждая демонстрации крымских татар. Верно, не экстремизм. Но демократия, заслуживающая этого имени, обязана отличать честное сотрудничество от подкупа и нового способа выворачивания рук под видом плюрализма. На такие подмены надо было реагировать сразу. Тимофеев, прошедший в заключении школу солидарности с товарищами по несчастью, это остро почувствовал. Был ли он услышан теми, кто находился тогда на гребне событий, переживая перестроечную эйфорию?

Пресса, например, тогда была занята войной с Ниной Андреевой. В разгар этой битвы А. Стреляный — не в тон общему хору — заметил, что для него свобода включает и свободу публичной защиты убеждений сторонникам Нины Андреевой.

«В моих принципах — воздавать справедливость даже дьяволу», — сказал Марат. В одном из своих очерков А. Стреляный, как бы следуя этому маратовскому принципу, предоставляет свободу слова «рабочей лошади партии», секретарю горкома из глубинки. О политике Горбачева секретарь судит так: «... он рассчитывал, что наши люди будут вести себя, как всегда. Как стадо — куда сказано, туда и пойдут. А они его не стали слушаться. Раз дал им волю, по-

своему стали говорить и действовать». И вот его вывод: «Раз начал эту игру в демократию, должен был играть до конца, а не рты затыкать и по-своему поворачивать».

— Так на что же мы купились? — этот вопрос задают сегодня многие вчерашние поклонники Горбачева. На что купились явные конъюнктурщики от перестройки — понятно, и говорить об этом неинтересно. Сложнее с так называемыми добросовестными заблуждениями. Не сразу стало очевидно: вместо того чтобы отдать власть, партийный аппарат отдавал «своих», но не преступников, а «рабочих пчел», оказавшихся в положении добровольных заложников этого аппарата. Лицемерная защита «марксизма-ленинизма» в партийных изданиях и свобода критики «преступной утопии», дарованная массовой прессе, служила отвлекающим маневром. Ведь уже давно, по словам Льва Тимофеева, «не идею охраняют они, но лишь собственную власть и личные привилегии». Ради сохранения власти и привилегий и сбрасывался балласт. Как бы ни были зачастую точны и остры суждения «рабочей лошади партии», ее оценки текущих событий и отдельных лиц, таких, например, как Лигачев, — все равно в голове у нее каша, считает Стреляный. Но, продолжает он, «страна по-настоящему не знает, ЧТО у тебя в голове. Ей не разрешают знать. При всей нашей гласности тебе не дают поставить свою кашу на стол, свободно открыть горшок: смотрите, люди, что в горшке, пробуйте, разбирайтесь!».

Потому не дают, что если люди будут разбираться *сами*, то непременно кончится власть обветшалых догм. И тогда уж пусть какой-нибудь новый идеологический погром, способный увлечь воображение масс, — и чем крикливее, чем фанатичнее он будет, тем больше шансов управлять сознанием людей из-за кулис. Впрочем, в их же собственных интересах: зачем мужичью и кухаркам лезть в большую политику, в которой они ничего не смыслят?

Так называемый народ — механики, доярки, комбайнеры, шахтеры — это, по словам Стреляного, «большие дети». Так и называется один из его очерков. Обмануть этих доверчивых детей легко, тем более что многие из них даже не отличают Яковлева от Лигачева. И большую, трудную игру, которую затеял Горбачев против консерваторов на Первом съезде, они тоже, полагает автор, понять не способны.

Одна телятница у Стреляного, мать семерых детей, формулирует общее мнение так: «Вот я за съездом следила. Знаете, все равно ведь вот есть что-то нехорошее. Все равно ведь проталкивается то, чего не хочет народ. Открыто проталкивается. А что самое главное? Народ же главное! Обидится на него народ — и ничего не выйдет».

Народ главное? Да с таким детским лепетом серьезный политик даже спорить не станет. Мысль наших профессионалов была занята поиском нетрадиционных способов реформирования общества. Решение пришло незаметно, но естественно, как нечто самоочевидное. Однако в эпоху гласности оно, это судьбоносное решение, было выражено между строк так, чтобы его уразумел лишь посвященный, а не темная кухарка и телятница. Что означали торжественные гимны великому преобразователю России Столыпину? Поначалу было трудно понять, чем же все-таки привлек он радикалов, группирующихся, скажем, вокруг журнала «Огонек», — равно как и тех, что стояли за «Нашим современником». Но когда в прессе появились статьи о необходимости бонапартизма для успеха перестройки и вреде демократии для экономических реформ, кое-что стало проясняться. Само собой разумеется, «аграрный бонапартизм» Столыпина трудно отнести к традиции демократической мысли и практики, но он, по признанию Ленина, в случае успеха преграждал дорогу революции. Эта же мысль, кстати, на все лады толковалась в книге некоего Ф. Горячкина, яростного противника революции и фанатичного почитателя Столыпина. Но Ленин не сходил с уст, а о Горячкине, «православном фашисте» из Харбина — никто пока не вспомнил. Может быть, потому, что его книга называлась «Первый русский фашист Петр Аркадьевич Столыпин»?

Опять-таки, кажется, один только Стреляный нарушал общую гармонию: «Столыпин, — рассуждает он в одном из очерков книги, — не только преобразовывал Россию, о чем сегодня охотно пишут, одновременно он ее и усмирял... Нынешние же друзья Столыпина молчат об этом по своей доброй воле, чтобы не падала тень на их героя. Одна брехня сменяется другой». А если не «брехать», как выражается автор, то следует согласиться с тем, что цена экономического прогресса, прогресса, конечно, несомненного, хотя и несколько сегодня, как у нас водится, преувеличиваемого, прогресса по-столыпински, — попрание зарождавшейся отечественной демократии. Это, например, и разгон либеральной (и крестьянской) II Думы за десяток лет до разгона Учредительного собрания большевиками, и шовинистическая вакханалия, и избиения крестьян полицией просто за то, что они позволяли себе на сельских сходках высказывать не вполне угодное властям... Не говоря уже о репрессиях по отношению к бастующим рабочим. Если верить Стреляному, то при Столыпине «не проходило и дня, чтобы в газетах не печатались списки казненных крестьян и рабочих, разночинцев и дворян».

Итак, если не «брехать», то вывод очевиден: придется прибегнуть к массовому сечению «больших детей». Несмотря на все разъяснения, часто совсем неглупые, население после Первого съез-

да приняло близко к сердцу только одну эту истину: секли, секут и будут сечь. И чем же ответило? Не только обидой, переходящей в презрение, но и уроком творцам реформы. Вы считаете себя нашими вождями, учителями? Вы мудрее, опытнее нас? Допустим. Но настоящий учитель, развивает мысль Стреляный, «знает, что от него требует сама природа: правдивости, искренности, благородства. Нет в тебе этого — и ты не учитель, а палач».

А палача рано или поздно необходимо призвать к ответу: «Чтобы ОНИ отвечали — в этом настроении народа есть что-то и беспомощное, детское, и грозное». Стреляный, кажется, невольно признает народную правоту, хотя в ней — поражение его собственной теоретической установки на прогрессивную политику кнута и пряника. Задумаемся и мы, обогащенные опытом прошедших лет: чья реакция на события, о которых повествует автор, предпочтительнее и ближе к истине — «больших детей» или ученых публицистов, вооруженных самой передовой в мире рыночной теории?

Но не стоит и обольщаться, потому что действительно — дети. Обозленные постоянным обманом и в особенности бесстыдством властей, они хоть сегодня готовы начать с «раскулачивания гадов», видя своих ближайших, если не главных врагов, в кооператоре и спекулянте. «Да что вы, мужики!» — увещевает Стреляный толпу, сгрудившуюся вокруг комбайна. А в ответ один, «вытирая соломой замасленные руки, гогочет: — Да, разбираться не будем. У кого есть дубленка, того и прибьем. Нет дубленки — тоже прибьем».

Почти все они яростно клеймят спекулянтов, и почти всегда, если верить Стреляному, он брал в споре над ними верх. Он кладет их на лопатки простым вопросом: как мы выйдем из нищеты, если нам не поможет «капитал, капиталист, торговец, спекулянт»? В самом деле, в наших условиях капиталист — это почти всегда спекулянт. Без обмана, взятки, мафиозных связей ему просто не выжить. Такова система, в которой, по мнению Льва Тимофеева, три главных хозяина: «Подкуп, спекуляция, коррупция».

Старая работа Тимофеева о черном рынке заслуживает внимания прежде всего потому, что она убедительно доказывает: черный рынок и спекулянт — это не альтернатива партийно-административной системе, а ее естественное дополнение, обратная сторона, дающая возможность, до поры до времени, процветать бюрократически-мафиозной надстройке.

Так называемое «цивилизованное общество» немыслимо без жесткого контроля над коррупцией и спекуляцией. Наверное, Стреляный наслышан о скандальной истории с нашими эмигрантами, придумавшими то, что не приходило в голову ни одному американцу: покупать большими партиями бензин в одном штате и продавать его в другом, где цена несколько выше. Дельце обернулось многомиллионными прибылями — и тюрьмой для хитроумных предпринимателей из Одессы. Так, может быть, наш спекулянт заинтересован в цивилизованной рыночной экономике так же, как сицилийская мафия в торжестве правосудия и законности?

Во всяком случае, отпущенный на свободу, он тут же взял всех нас под свой контроль. Но ведь не раскулачивать же «гадов»? К тому же нужно учесть, пишет Л. Тимофеев в «Литературной газете» уже в наши дни, что капитал, честно говоря, нередко имел криминальное происхождение. Даже тот, что потом стал «цивилизованным», действующим в рамках законности и развитой системы контроля. Отдадимся же воле событий, их естественному течению — глядишь и придем рано или поздно к блистательному результату.

Увы, «естественный ход» событий — это и война Северных штатов с Южными. Сам собою, без моря крови, американский криминальный рынок не трансформировался в рынок «цивилизованный».

Если говорить об американском капитализме, то естественным для него был не отпущенный на волю спекулянт, а прежде всего свободный фермер, объединенный и организованный, способный с помощью институтов демократической власти до известной степени контролировать и спекулянта. А обладает ли Аксинья Егорьевна из очерка Тимофеева властью для того, чтобы воздействовать на тех, кто под прикрытием «репрессивного аппарата», да не одного, тянет из крестьянина все соки?

Так уж получилось, что в результате перестройки на свободу оказался выпущен спекулянт, а Аксинья Егорьевна не получила ничего. Ей многое обещают, о ее правах многие, кажется, искренне заботятся. Но суда она сегодня боится так же, как вчера. Потому что против компании местных «хороших людей», промышляющих и спекуляцией тоже, она совершенно бессильна. Где ей искать справедливости?

Вчера она верила хотя бы в Ленина. А сегодня она не верит никому: ни «правым», ни «левым», ни «центру». Кому же поверит? Мне кажется, она, как и комбайнер, зоотехник, даже «рабочая лошадь партии», поверит тому, кто сможет найти управу на всю эту компанию «хороших людей», что заставили ее голодать и нищать. Пусть даже это будет сам дьявол: какая-нибудь неожиданная разновидность православного фашизма с невзоровским лицом. Так где же выход?

Будь он найден, ни Стреляный, ни Тимофеев не написали бы своих очерков. И нас занимало бы что-нибудь другое. Ответы на общий вопрос сталкиваются, отрицая друг друга. Но в этом волную-

щемся море все же удается различить главные подводные течения.

Одно из них — не просто абстрактный призыв к сотрудничеству, скрывающий иные интересы, а борьба за свободу другого. «Обидится народ — и ничего не выйдет». Этот путь требует не игры в демократию, а мужества в поддержке масс, которые начали разбираться сами. За интеллигенцией в этой ситуации пристально следит взгляд хмурого зоотехника. А что же они, наши новые пророки? На высоте своей исторической роли?

Меньше всего мне хотелось бы присоединяться к числу обличителей и хулителей интеллигенции, говорящих от имени народа. Потому что даже в справедливо звучащих упреках угадывается стремление рассорить низы с честным писателем, художником, ученым. Однако нельзя упускать из виду и другое, то, что, может быть, и неприятно, но тоже правда. Она, эта правда, пусть и не полная, не окончательная, сказана устами одного из интеллигентов, Льва Тимофеева: «С партийной бюрократией тесно срослись и техноструктура, те, кто непосредственно руководят производством, и научная интеллигенция, и интеллигенция художественная. Все они получают свою долю прибавочного продукта». Получали, добавим, в феодально-коррумпированной системе, а теперь, очевидно, не прочь получать свою долю прибавочной стоимости в системе коррумпированно-рыночной.

Так, может быть, Стреляный был отпущен на «Свободу» как раз для того, чтобы вопреки его собственным намерениям у нас по-прежнему не было свободы? И Лев Тимофеев был выпущен из заключения с той же целью? Тенденция в целом, на мой взгляд, увы, такова. Объективная тенденция перестраивающейся системы, а не только намерения ее реформаторов. Но в случае со Стреляным и Тимофеевым произошел все же сбой. И причина его не только в талантливости авторов книг. То есть не в одном только субъективном, как говорится, факторе.

Почему Стреляному удалось «разговорить» такую разную, хмуро молчащую, обманутую и обозленную российскую глубинку? Потому что эта глубинка, громко называемая Россией, заговорила Стреляного, и он благодаря ей нашел слова, в которых сказалось нечто большее, чем личные пристрастия. Он потому так точно, выразительно передает мысли телятниц, комбайнеров, шоферов, что видит их опасные заблуждения, их легковерие, их рабство, но не играет на чужих слабостях в своих интересах, а честно говорит неприятную правду.

Мне было грустно и тяжело читать пьесу Льва Тимофеева, названную комедией, «Москва. Моление о чаше». Утешала лишь та беспощадность, с какой на белый свет выставлены наши общие пороки, кажется, даже обострившиеся при угрозе ареста. Беспощадность всем нам сейчас очень нужна — по отношению к самим себе. И даже страх необходим, преодоленный страх человека, добровольно избравшего свою судьбу, страх, который очищает. Вот другой путь, путь московского интеллигента, к познанию себя и познанию прав другого, к гражданскому миру. Увы, никакой путь, даже самый лучший, не освобождает и от трагических заблуждений тоже.

...Просвет пока лишь маячит. Но альтернатива, хотя и не переломившая пока господствующей тенденции, все же не мираж. Мираж — это надежда получить свободу как дар или в обмен, потому что власть свободу дать не может. Свобода прорастает только снизу, подобно тому, как пробились к нам «голоса из России», зазвучавшие в очерках Стреляного. Та истинная свобода, которая без кавычек.

В. АРСЛАНОВ

Приношу свои извинения Станиславу Красовицкому и редакции журнала за то, что, выступая публикатором его стихов («Октябрь», № 4 с. г.), я представил творчество поэта без согласования с ним.

Я опирался на авторитетные западные издания, однако после выхода журнала в личной беседе со мной С. Красовицкий опроверг принадлежность ряда текстов его перу.

Виктор КРИВУЛИН